ИЗБРАННОЕ

И. БАБЕЛЬ

И. БАБЕЛЬ

избранное

избранное

И. БАБЕЛЬ

Издательство
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Москва 1966

Вступительная статья
Л. ПОЛЯК

Комментарии
Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

7—3—2
57—66

И. БАБЕЛЬ

1

Писать о Бабеле трудно. Каждый пишущий о нем обязан помнить, с каким упорством, как ожесточенно искал сам Бабель послушные ему слова, отбрасывая лишние, как шлифовал, уплотнял он каждую фразу. Эта отточенность языка, отточенность формы достигалась нелегкой, поистине подвижнической работой писателя.

«Я по-прежнему сочиняю не страницами, а одно слово к другому...» — писал он своему редактору В. П. Полонскому.

Известна склонность Бабеля к переделкам, к переписке своих произведений.

«У меня какая-то особая любовь к переделкам, — говорил он в беседе с начинающими писателями. — Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится».

Паустовский рассказывает, что в 1921 году видел у Бабеля двадцать вторую, еще не удовлетворявшую его редакцию рассказа «Любка Казак», опубликованного лишь три года спустя в «Красной нови» [1].

Настоящее искусство — плод не бездумного вдохновения, а творческой сосредоточенности, медленного, мученического, самозабвенного труда — такова внутренняя тема одного из рассказов Бабеля — «Вдохновение».

---

[1] К. Паустовский, Время больших ожиданий, Одесское книжное изд-во, 1961, стр. 134.

В этом раннем, забытом произведении Бабеля уже дано его понимание искусства, понимание нелегкого пути художника, взыскательного, непримиримо-требовательного к своему творчеству.

Бабель обладал необыкновенным чувством ответственности, сознанием своего высокого долга, долга советского революционного писателя.

Выступая на I Всесоюзном съезде советских писателей, он звал отказываться от «выдуманных», пошлых, казенных слов, искать и находить «хорошие слова», нужные в нашей революционной борьбе.

В той же речи он назвал себя «великим мастером молчания», имея в виду не паузы в своей работе, а перерывы в печатании, которые наступали у него обычно в периоды творческих исканий, неудовлетворенности уже завершенными, напечатанными произведениями.

Невыполненные обязательства, задержанные рукописи, денежные затруднения, просьбы и угрозы редакторов, издателей теснили его, но преодолеть свою писательскую добросовестность он был не в силах. «Вы можете сечь меня розгами в 4 часа дня на Мясницкой улице — я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова», — писал он В. П. Полонскому.

В его медлительности и «молчаливости» была своя страстность, страстность революционного художника, уверенного в силе искусства, изменяющего мир.

Бабель был чужд отрешенности романтика, он всегда тянулся к живой жизни и из нее старался черпать свои темы, сюжеты и характеры. На этот путь толкал его и Горький, близость к которому сыграла огромную роль в творческой биографии Бабеля.

Начинающий писатель, уже познавший первую радость печатания, он послушно следует совету Горького «толком узнать жизнь и пойти в люди». «И я на семь лет — с 1917 по 1924, — вспоминает Бабель, — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч.».

Хождение «в люди» не прошло для Бабеля бесследно. Цель, которую преследовал Горький, благословляя своего молодого друга в 1916 году на семилетнюю «командировку», была достигнута.

Газетная работа сталкивала его с живой жизнью, делала участником революционной действительности, способствовала

формированию стиля. «Работа на репортаже, — вспоминал впоследствии писатель, — дала мне необычайно много в смысле материала и столкнула с огромным количеством драгоценных для творчества фактов» [1].

Но наибольшую роль в творчестве Бабеля сыграл жизненный опыт, полученный им на полях гражданской войны, в походах Первой Конной армии. Именно там зародилась его будущая книга, состоящая из цикла новелл, книга «Конармия».

Казалось, буйное воображение, безудержная фантазия автора конармейских рассказов создали образы этих живописных, красочно-декоративных конармейцев, весь этот пестрый, полуфантастический, гротескный быт фронта и близкого тыла — польских фольварков и еврейских местечек. Но вот перед нами дневник Бабеля, который он вел во время буденновского похода. К сожалению, дневник не дошел до нас полностью. Но и сохранившаяся часть его показывает, как из самой жизни вырастают герои и конфликты бабелевских рассказов.

Так, в дневниковой записи от 13 июля 1920 года уже вычерчена фигура будущего героя новеллы «Начальник конзапаса» с сохранением имени прототипа.

«Начальник конского запаса Дьяков — феерическая картина, кр<асные> штаны с серебр<яными> лампасами, пояс с насечкой, ставрополец, фигура Аполлона, корот<кие> седые усы, 45 лет, есть сын и племянник, ругань фантастична... Дьяков — коммунист, смелый старый буденновец... Танцор, гармонист, хитрец, враль, живописнейшая фигура...» [2] и т. д.

В записи от 24 июля 1920 года заложено основное ядро рассказа «Прищепа»:

«Душа Прищепы — безграмотный мальчик, коммунист, родителей убили кадеты, рассказывает, как собирал свое имущество на станице. Декоративен, башлык, прост, как трава, будет барахольщик, презирает Грищука за то, что тот не любит и не понимает лошадей» [3].

Имена Дьякова, Прищепы, Грищука и ряда других конармейцев, встречающиеся в дневнике, без изменения переходят в новеллы.

Подлинность фактов в «Конармии» не исключает, конечно, тенденциозности в самом отборе этих фактов, увиденных под

---

[1] «Литературная газета», № 40, 5 сентября 1932 года.

[2] Из дневника 1920 года. Хранится у вдовы писателя А. Н. Пирожковой.

[3] Из дневника 1920 года.

определенным углом зрения художника. Правда революции получит порой субъективное истолкование. В несколько ином виде, в свободной трактовке, по сравнению с дневником, предстанут события и люди, конфликты и ситуации в новеллах Бабеля.

Однако сравнение дневника с завершенной книгой невольно заставляет вспоминать слова самого Бабеля, воспроизведенные К. Паустовским в его воспоминаниях: «Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе ничего я не смогу написать. На моем щите вырезан девиз — «подлинность!» [1].

Из тех же воспоминаний мы узнаем, что Бабель, задумав цикл «Одесские рассказы», селится, не без риска для себя, в центре Молдаванки, чтобы погрузиться в быт окраин Одессы и ее дерзких обитателей.

В конце 20-х годов, исчерпав тематику гражданской войны и «Одесских рассказов», Бабель повторяет опыт, проделанный в молодости по совету Горького. «Летом буду работать и бродяжить, — пишет он В. П. Полонскому весной 1929 года, — собираюсь поехать в Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным, нищенским и, по-моему, поучительным способом».

Свои намерения он выполняет. Сжигаемый беспокойством и любопытством и стараясь «смотреть на жизнь изнутри», он ездит по Украине, Северному Кавказу, посещает строительство «Россельмаша», совхоз «Гигант», районы сплошной коллективизации. Из этих наблюдений, изучения жизни должна была вырасти задуманная им книга «Великая криница», посвященная преобразованию деревни. Первую главу этой книги, «Гапа Гужва», он успел опубликовать в 1931 году, другая глава, «Колывушка», осталась ненапечатанной.

Художник романтического склада, он создает свои произведения на строго выверенной жизненной основе. Его неуемная фантазия, романтическая экспрессия сочетаются с достоверностью и документальной точностью, его жизнелюбие отягощено «густой печалью воспоминаний», его отталкивание от жестокости уживается с оправданием насилия во имя высокой и большой человечности.

Произведения Бабеля, построенные на неожиданных контрастах, драматических столкновениях, острых коллизиях отражают во многом внутреннюю борьбу самого писателя, писателя сложного, противоречивого, «писателя трудной судьбы», по его собственным словам.

---

[1] К. Паустовский, Время больших ожиданий, стр. 133.

2

Бабель прочно вошел в советскую литературу как автор «Конармии». Появление в печати этой книги, поразившей своей самобытностью, стилистическим своеобразием, вызвало бурную реакцию современников. Закипели страстные споры. «В Москве шумит в последнее время Бабель... От него все в восторге» [1], — писал К. Федин М. Горькому 16 июля 1924 года. Но были и другие точки зрения. А. Воронский, редактор «Красной нови», в которой печатался Бабель, вспоминает, сколько самых жестоких упреков ему пришлось выслушать «от некоторых виднейших военных работников Красной Армии». «Писателю ставили в вину, что в его миниатюрах дана не Конная армия, а подлинная махновщина, что местами это пасквили и поклеп на Конармию, что так может писать о нашей армии только белогвардеец и заведомый контрреволюционер и т. д.».

Одним из первых защитников «Конармии» выступил сам А. Воронский. «Бабель, — писал он, — новое достижение послеоктябрьской советской литературы, достижение немаловажное и весьма бодрящее» [2].

С наибольшей остротой противоположные взгляды на конармейские рассказы Бабеля выражены в известном споре Буденного и Горького. Буденный не нашел в рассказах советского новеллиста тех жизненно правдоподобных образов бойцов, с которыми он сражался бок о бок на полях гражданской войны. Не нашел он в книге Бабеля и летописи величайших сражений, описания героических атак и незабываемых подвигов Первой Конной. Неприемлем был для него и самый метод Бабеля, его тяготение к экзотике в изображении характеров, быта и ситуаций [3].

Все это вызывало у прославленного командарма резко отрицательную оценку «Конармии», обвинение ее автора в написании карикатуры на Первую Конную.

Горький, однако, возражал Буденному. Он защищал героический пафос Бабеля.

«Его книга, — писал он в ответе С. Буденному, — возбудила у меня к бойцам Конармии и любовь и уважение, показав мне

---

[1] «Литературное наследство», т. 70, «М. Горький и советские писатели», изд-во «Наука», М. 1963, стр. 475.

[2] «Красная новь», 1924, № 5, стр. 284, 278.

[3] С. Буденный, Бабизм Бабеля из «Красной нови». — «Октябрь», 1924, № 3; С. Буденный, Открытое письмо Максиму Горькому. — «Правда», № 250, 26 октября 1928 года.

их действительно героями, — бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы»[1].

Чем вызваны были эти жестокие споры и исключающие друг друга оценки? Почему по-разному был прочитан текст Бабеля?

Бабель, без сомнения, сузил масштабность и величие того мира, который отражен на страницах «Конармии». Большие исторические события заслонены у него острыми бытовыми эпизодами, необычными ситуациями. В состав книги вошли рассказы «Гедали» и «Рабби», «Пан Аполек» и «Сашка Христос» и другие, не имеющие прямого отношения к походам прославленной армии, но связанные с общей художественной концепцией книги.

В своих заметках о Бабеле Д. А. Фурманов, очень высоко оценивавший «Конармию», ее «сюжетность», «яркую оригинальность», указывал, что в ней «нет боев», «нет массы», «нет подлинных коммунистов». Эти заметки, сделанные Фурмановым в связи с подготовкой к выступлению на диспуте о «Конармии», представляют собой краткий конспект статьи А. Воронского. Фурманов, по-видимому, отмечал то, что соответствовало его собственным взглядам на «Конармию» (см. «Литературное наследство», № 74, «Из творческого наследия советских писателей», «Наука», М. 1966, стр. 500—502).

Но Бабель ставил перед собой другие цели, другие задачи. Он хотел передать (и это, как художника, привлекало его больше всего) драматизм, напряженность первых лет революции, взрыв проснувшейся энергии, трагическое столкновение сменявших друг друга миров.

Он хотел решить, дать ответ на самый волнующий, самый больной вопрос для него, писателя-интеллигента, — вопрос о праве на насилие во имя революции, о жестокости во имя высшей правды и человечности, о необходимости пролития крови во имя бескровного будущего.

Вопросы революционного гуманизма были животрепещущими, насущными вопросами времени: над ними бились многие советские писатели 20-х годов.

О гуманизме истинном и ложно понятом, о гуманизме революционном и абстрактном, о мертвой морали и большевистской этике писали в эти годы Всеволод Иванов и Федин, Неверов и Шолохов, Либединский и Лавренев, Тренев и Сейфуллина и, может быть, острее всего — Фадеев, автор «Разгрома».

Все это были жгучие вопросы тех лет, встававшие не перед одним только Бабелем.

---

[1] М. Горький, Ответ С. Буденному. — «Правда», № 275, 27 ноября 1928 года.

В 1918 году Бабель еще полон наивных иллюзий. Он противопоставляет жестокости вооруженной борьбы «настоящую революцию»: «Вскинуть на плечо винтовку и стрелять друг в дружку — это, может быть, иногда бывает неглупо, но это еще не вся революция. Кто знает — может быть, это совсем не революция? Надобно хорошо рожать детей. И это — я знаю твердо — это настоящая революция» («Дворец материнства»)[1].

Тревога о «настоящей революции» не покидает Бабеля и дальше. В дневнике 1920 года (14 июля), который он ведет в армии Буденного, встречается такая лаконичная, но выразительная запись: «Буденновцы несут коммунизм, бабка плачет...»

И как бы продолжением этих мыслей о правоте революции и о слезах, сопутствующих ей, является рассказ «Гедали». В дневниковой записи, в которой набросана уже вся сюжетная схема будущей новеллы, автор не возражает своему герою, он внутренне присоединяется к нему. «Его философия (Гедали. — *Л. П.*) — все говорят, что они воюют за правду, и все грабят. Если бы хоть какое-нибудь правительство было доброе. Замечательные слова».

Иная позиция у Бабеля в рассказе. Здесь автор уже спорит со старым философом, мечтающем об «интернационале добрых людей», о «сладкой революции» без пороха и без крови.

Голос старика, хозяина «диккенсовской лавки древностей», которая прячется «в наглухо закрытых торговых рядах», заглушается голосом рассказчика: «Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция».

«Да», кричу я революции, «да», кричу я ей» — такова скрытая тема, скрытый подтекст «Конармии».

«Летопись будничных злодеяний» еще теснит рассказчика, когда он вместе с буденновцами «оскверняет» пчелиные ульи: «Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед». Но устами взводного Афоньки Биды автор спорит с рассказчиком, оправдывая эти «злодеяния» во имя будущего: «Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...» («Путь в Броды»).

В «Конармии» поэзия забубенной вольницы, не терпящей снисходительности к врагу, сливается с поисками правды и справедливости. Не знает жалости молодой кубанец Прищепа к своим односельчанам, которые расхитили его дом, имущество после того, как белые убили его родителей. «Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом». Не «отбитая мебель» и домашняя утварь дороги При-

---

[1] «Новая жизнь», № 56 (271), 31/18 марта 1918 года.

щепе. Жажда мщения за несправедливость, за зло заставляет его оставлять «подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом» там, где «находил вещи матери или чубук отца» («Прищепа»).

Изрядно «потоптал» своего барина Никитинского его бывший пастух Павличенко, Матвей Родионыч, «потоптал» за жену свою Настю, за свое прошлое бесправие и унижение, за всю свою горькую жизнь у барина («Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча»).

Не знает жалости и эскадронный Трунов, отдающий свою жизнь родине, не только к военнопленным, но и к своим, когда они позорят молодую Республику. «Измена!» — кричит эскадронный, торопливо вскинув карабин на плечо и стреляя в конармейца Андрюшку, воспользовавшегося «барахлом» убитых пленных. «...республика наша Советская живая еще, рано дележку ей делать...» («Эскадронный Трунов»).

Бабеля ужасает эта жестокость, его пугает «огонь молчаливого и упоительного мщения».

Писатель-интеллигент, раненный этой жестокостью, одновременно защищает ее. Революционную стихию поэтизирует Бабель и в то же время от нее отталкивается.

Вся книга Бабеля — это оправдание вынужденной беспощадности, насилия во имя будущего его уничтожения.

В этом страстном споре писателя с самим собою обнажаются его идейные противоречия, противоречия, порой неустранимые, трагические.

«Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом».

Не таится ли внутренний смысл книги, да и внутренняя борьба самого художника в этих двух, непосредственно следующих друг за другом фразах?

Александр Блок увидел, как известно, в двенадцати марширующих красноармейцах, еще не свободных от скверны прошлого, от крови и насилия, от клейма каторжников («На спину б надо бубновый туз»), увидел апостолов нового мира, защищающих революционную правду:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

Подобно Блоку, Бабель в своих конармейцах, пусть еще захваченных стихией ненависти и злобы, мести за несправедливое прошлое, еще не знающих силы пролетарской дисциплины и

исторической сознательности, разглядел «гордую фалангу», бьющую «молотом истории по наковальне будущих веков».

И автор, а вместе с ним и читатель, верит Галину — герою рассказа «Вечер», убежденному в том, что «кривая революции бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железной щеткой...».

3

Как и других советских писателей — Фурманова, Фадеева, Всеволода Иванова, Лавренева, — автора «Конармии» привлекал образ человека, в психике которого причудливо переплетаются старые предрассудки с новой, еще не установившейся моралью, революционные идеалы, мечты о мировой революции — с плотными навыками прошлого.

Психологические контрасты характерны для конармейцев Бабеля. Мы видим в них сочетание жестокости и человечности, великодушия и беспощадности, миролюбия и злобы, необузданного своеволия и скрытой сдержанности, бессердечия и товарищеской солидарности, грубости и почти материнской нежности.

Комвзвода Балмашев («Соль») проявляет отеческую заботливость по отношению к женщине, которую он принимает за мать. Но он же собственноручно стреляет ей в спину, смывает «позор с лица трудовой земли и республики», когда узнает, что она его обманула, а с ним и «Расею, задавленную болью», что в руках у нее не «дите» было, а «добрый пудовик соли».

Конармеец Курдюков («Письмо») бесстрастно сообщает в письме к матери среди «текущих новостей», как «кончали папашу», стражника при царском режиме, командира роты у Деникина, порубившего собственного сына — буденновца. И рядом взволнованные строки о любимом коне с человеческим именем Степка, тревога и нежная забота о нем.

Андрюшка Восьмилетов, барахольщик, неохотно расстающийся с награбленным у пленных добром, без колебаний выполняет свой революционный долг. Он остается рядом с тяжело раненным эскадронным у пулемета, выдерживая неравный бой с американскими летчиками («Эскадронный Трунов»).

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир («Вдова»). А его кучер Левка в это же время рядом, в ложбинке, «забавляется» с подругой умирающего. «Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...»

Но после смерти командира этот же Левка неукоснительно выполняет свой долг перед умершим, свято блюдет его завещание — «одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек».

И он рвет волосы, разбивает в кровь лицо «вдовы» Сашки, чтобы помнила она, «гадючья кость», чтобы не нарушила она завещание мертвого командира.

В новелле «Сын рабби» рассказчик, складывая в сундучок рассыпавшиеся вещи умирающего красноармейца Брацлавского, сына раввина, находит среди них сваленные вместе «...мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом... Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны».

В этом отрывке — ключ к пониманию Бабелем эпохи, полной противоречий, несоединяемых представлений, полярных крайностей. Страницы «Песни песней» — и рядом «револьверные патроны».

В непокорном сыне Рабби, красноармейце Брацлавском, столкнулись эти два мира, и победителем оказался мир новый, мир революции, мир с кровью и порохом.

Сына житомирского раввина, раненого Илью, этого «последнего принца династии», «переломанного надвое солдатской котомкой», подобрали конармейцы. На ходу поезда, красного поезда политотдела, его втащили в вагон.

«— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали привел меня к вашему отцу, рабби Моталэ, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал он, затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт».

Художника-романтика больше всего привлекают контрасты эпохи, столкновения двух миров — мертвого, угасающего мира Гедали и нового, нарождающегося. Приметы нового мира и в сияющем огнями красном агитпоезде Первой Конной, и в волшебном блеске радиостанции, и в пахнущей свежей краской газете «Красный кавалерист».

Не менее настойчиво останавливаются глаза Бабеля на контрастах быта.

В Берестечке, куда врываются лихие, задорные буденновцы, еще не выветрилась гниль старины. Еще жители в испуге перед новыми пришельцами плотно закрывают ставни железными болтами.

Еще стоит на горе опустошенный замок графов Рациборских, в котором помешанная графиня хлестала кучерским кнутом своего единственного сына за то, что он не дал наследников их угасающему роду. А там, где «нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод», раздается восторженный голос военного комиссара, его убеждающие слова о Втором Конгрессе Коминтерна. И под звуки страстной речи комдива рассказчик читает строки забытого, пожелтевшего письма, любовного послания, написанного по-французски в дни смерти Наполеона.

Современность врывается в историю — смерть Наполеона и выбор Ревкома. Ликующий марш конармейцев заглушает заунывную песню старого деда-бандуриста про былую казачью славу.

На этих перебоях строится бессюжетная и одновременно драматическая новелла «Берестечко».

Романтическая антитеза характерна для всего стиля «Конармии». Без переходов, без полутонов даются и описания быта, и обстановка, и пейзаж.

«Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление».

А в костеле в Новограде, среди распятий и пергамента папских булл, серебряных черепов, церковных катафалков, среди статуй святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, в этом древнем храме на полу раскинут вшивый тюфяк, и тут же рядом под откосом «валяется раздетый труп, и лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь».

Игра контрастами — один из любимых приемов Бабеля. Драматические эпизоды, убийство, насилие, кровь уживаются в «Конармии» с описаниями будничного, мелочно-бытового. Рядом с обезображенным трупом поляка брошена обычная тетрадка, в которой записаны «карманные расходы, порядок спектаклей в Краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза» («Иваны»). И оттого, что страшное дается рядом с привычным, оно становится еще страшнее и драматичнее.

С эпическим спокойствием повествует рассказчик о трагическом, скрытая ирония сопровождает возвышенное, патетика направлена на низменное и циничное.

Хладнокровно и сухо говорится о смерти, расстреле, убийстве, пролитой крови: «Кудря правой рукой вытащил кинжал

и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись» («Берестечко»).

Это внешнее бесстрастие усиливает внутренний трагизм сказанного.

В новеллах Бабеля сосуществуют вместе смешное и возвышенное, жестокое и прекрасное, грубое и поэтическое, трагическое и праздничное.

Поэзия и проза живут рядом... «Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны» («Солнце Италии»).

Грубо-натуралистическое облекается в поэтические формы: «Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия».

Бабель скрещивает различные языковые пласты, различные интонации. Декламационно-ораторская речь перебивается прозаической.

«Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..»

И рядом почти информация: «Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу...»

В взволнованные, патетические интонации просачивается чуть скрытая ирония: «О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом».

Охотно обращается Бабель и к простонародному сказу, к стилизации красноармейского письма, где «серьезное» перемежается с комическими словосочетаниями, типа «речка способная до купания» или сестры, «разводящие симпатию», и т. д.

Все эти стилевые контрасты нужны Бабелю, чтобы в конечном счете подчеркнуть противоречия самой жизни, развороченного революцией времени, неожиданностей и изломов эпохи.

Склонность Бабеля ко всему исключительному, необыкновенному, чрезвычайному приводит его нередко к сознательному нарушению пропорций. Словно он смотрит на окружающее через увеличительное стекло. Мир предстает у него в огромных ошеломляющих размерах. Чувства достигают высшего накала. Один из любимых его эпитетов «чудовищный»: «чудовищные семейные портреты», «чудовищные трупы», «чудовищная грудь». И рядом другие «преувеличивающие» эпитеты — «гигантские ступни»,

«гигантское тело», глаза, «раскаленные бессонницей», «невиданные облака», «беспредельно одинокий», «страстные лохмотья», «ослепительная усмешка» и т. д. и т. д.

И в том же романтическом ключе даются в «Конармии» словесные образы, сравнения, метафоры: «Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь», «горбатая звезда — зловещий костер мечтателей», «угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали», «вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец».

И снова стилевая антитеза. Романтическая патетика рядом с беспощадной физиологичностью, грубым утрированным натурализмом, сгущенным эротикой.

Но это — не натурализм «правдоподобия», это — не покорность фактам. В этой нарочитой грубости, как это ни парадоксально, есть своеобразная экзотика, натуралистическая экзотика. Она как бы защищала художника от оперной пышности описаний, от излишней «красивости». «Вы, по существу, кажетесь романтиком, но кажется, что вы почему-то не решаетесь быть таковым» [1], — писал Горький в одном из писем к Бабелю.

И опять-таки в этом сочетании высокой патетики и обнаженной физиологичности, уродливого, плотского, неотесанного искал Бабель средств для выявления противоречий эпохи, ее контрастов.

В книге Бабеля, кроме героев-буденновцев, есть еще один герой. Это рассказчик Лютов, «очкастый» интеллигент «с чирьями на шее, с забинтованными ногами». Скованный еще старой моралью, «интеллигентской жалостью», он противопоставлен людям, выходящим на арену новой истории, не знающим ни суеты, ни размагничивающей рефлексии, ни бесплодных сомнений, людям, путь которых тверд и уверен. Изнемогший, «согбенный под могильной короной», обессиленный Лютов вымаливает «у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека».

Полны превосходства слова конармейца Афоньки Биды, застрелившего своего смертельно раненного товарища для того, чтобы он живьем не попался врагу, обращенные к этому интеллигенту в очках, предпочитающему не пачкать кровью свои руки: «Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку».

«Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов», — злобно упрекает хилого «четырехглазого» интелли-

---

[1] «Литературное наследство», т. 70, «М. Горький и советские писатели», стр. 47.

гента, ищущего душевного покоя, командир эскадрона Баулин, который в свои двадцать два года «был тверд, немногословен, упрям», потому что «путь его жизни был решен».

Рассказчик — кандидат прав Петербургского университета — добивается признания буденновцев только после того, как он решился собственноручно зарезать хозяйского гуся. Но ликование и торжество героя, которого казаки после «убийства» приняли в свой круг, омрачено: «Сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло».

Однако автор «Конармии» отнюдь не сливается с образом рассказчика. С нескрываемой иронией, подчас презрительной иронией, относится к этому интеллигенту, с очками на носу и «осенью в сердце», интеллигенту, обремененному «чистенькой моралью», сам Бабель. Но иной раз ирония писателя — и в этом противоречивость его позиции — незаметно переходит в скрытое сочувствие к герою-рассказчику. И тогда не знаешь, кого отталкивает «неистребимая людская жестокость», жестокость войны, кого страшит необходимость обагрить кровью врага свои руки, чье сердце теснит «летопись будничных злодеяний». И в этих случаях размываются границы между автором и его героем Лютовым.

В непоследовательности, в отсутствии твердой идейной позиции автора, встающего иной раз на защиту человеколюбия в его абстрактной форме, «человека вообще», — слабая сторона «Конармии», уязвимость этой книги, полной глубокого и скрытого драматизма.

4

Одновременно с «Конармией» Бабель писал свои «Одесские рассказы».

Тяга к экзотике, к романтической чрезвычайности, жизненным парадоксам, столь характерная для Бабеля 20-х годов, заставляет его обратиться к живописной Молдаванке.

Драматизму «Конармии», передающему напряженность первых лет революции и гражданской войны, противостоит щедрый юмор «Одесских рассказов», в которых меньше всего чувствуется время и история.

Неожиданны и исключительны сюжеты и ситуации, люди и их поступки, бытовые эпизоды в одесских новеллах Бабеля.

Старый биндюжник, «рыжий вор» Фроим Грач терпеливо, «как мужик в канцелярии», ждет под дверью одной из комнат публичного дома, пока не выйдет оттуда его будущий зять, чтобы уговорить его жениться на своей родной дочери («Отец»).

Одесские налетчики во главе с Беней Криком торжественно, по первому разряду, хоронят («Такие похороны Одесса еще не видала, а мир не увидит») ими же убитого во время бандитского налета приказчика.

А самому убийце, похороненному рядом в некрашеном гробу, и не снилась та «полная панихида», которую устроил тот же Беня Крик («Как это делалось в Одессе»).

Бабель поэтизирует бандитскую смелость, рыцарскую справедливость, ухарство и удачливость Бени Крика и его гвардии.

За бандитской «деятельностью» рыцарей Молдаванки видится не только смутный протест против всемогущего господина пристава, против «денежного мешка» — богача Тартаковского, против жирного бакалейщика и его жены, высокомерной мадам Каплун, но и поиски жизненной правды. Носителем справедливости выступает все тот же неуловимый и изворотливый, «неустрашимый» Беня Крик.

«Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез» («Король»). Одесские бандиты грабят «тяжелые кошельки», чтобы избавить бедных людей от слез — таков подтекст рассказов Бабеля.

Есть какая-то перекличка, которую, кстати, ощущали и современники Бабеля в 20-е годы, одесских бандитов, тоже своего рода вольницы, с романтическими босяками Горького.

Экзотическая обстановка, живописные костюмы одесских налетчиков, разодетых, «как птицы колибри», баснословная пышность вещей и событий содержит своего рода вызов тусклому миру мещан, их серой, неприглядной обыденности.

В одном из своих бытовых очерков об Одессе в 1918 году Бабель, предсказывая ей славную будущность, писал, что Одесса расцветет еще «ярким, собственноручно сделанным словом» [1].

Передать колорит этого «собственноручно сделанного Одесского слова» было одной из задач автора «Одесских рассказов».

Одесский жаргон был подслушан писателем с раннего детства. Он сумел передать в своих рассказах специфическую одесскую интонацию, обороты речи, «жаргонный синтаксис», одесскую фразеологию.

«— Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше».

«— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов».

---

[1] И. Бабель, Листки об Одессе. — «Вечерняя звезда», Петроград, № 38, 21 марта 1918 года.

«— Попробуй меня, Фроим... и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу».

«Хорошую моду себе взял — убивать живых людей».

«Какая-то женщина колотится до твоего помещения».

Такого рода речевые обороты создают живописный диалог и расцвечивают не только речи героев, но и сказ повествователя, а иной раз вкрапливаются и в язык самого автора.

Эта стилевая окраска придает всему повествованию юмористическую тональность. Она проясняет и отношение автора к миру своих героев, которыми он любуется, о судьбах которых он грустит и печалится, а иной раз заразительно смеется.

В 1926 году Бабель в киноповести «Беня Крик» делает попытку приблизить Молдаванку к революционному времени (действие происходит в 1917 году) и осудить ее с точки зрения пролетарской идеологии. Резче стали социальные характеристики: богач Тартаковский, лишенный прежнего благополучия, выступает в роли жадного эксплуататора, а Беня Крик — в роли анархического бунтаря. Носителем революционной пролетарской идеологии является рабочий-большевик Собков.

Но сценарий получился неудачным. Худосочен, невыразителен образ коммуниста. Неубедительна и натянута художественная концепция повести.

Сблизить Молдаванку с новой действительностью Бабелю не удалось.

И, наконец, следующим этапом одесского цикла явилась пьеса «Закат» (1928).

В основу ее легла семейная трагедия Криков, история отца Бени — Менделя Крика, в старости потерявшего свою былую славу.

На фоне символического пейзажа, данного в ремарках («Закат». «Вечер. Синяя тьма, но над тьмой небо еще багрово, изрыто огненными ямами» и т. д.), изображен закат буйной и неутоленной жизни Менделя Крика.

Ослепительная яркость красок, жизнерадостная, многоцветная живопись «Одесских рассказов» сменяется в «Закате» сумеречными тонами, зловещей тьмой: «Как темно в моем доме». «Темно. Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле».

Налетчики в пьесе лишены тех черт «правдоискателей», благородства, которые присущи были молдаванской вольнице. Биндюжники «Заката» жестоки, грубы, бесчеловечны. Драматическая сцена драки сыновей с отцом — кульминационная сцена пьесы — лишена юмора «Одесских рассказов». Исчезли и веселые, живописные пиршества и свадьбы, которые проходили на Молдаванке

под бурные звуки оркестра и не менее бурные возгласы веселых, охмелевших гостей. «Заунывный туш оглашает комнату» на балу у Криков, а кутеж Менделя в трактире сопровождает хор слепцов, поющих мрачную песню о каторжнике.

Пьеса Бабеля, несмотря на великолепный диалог, малодинамична, она скорее повествовательна. В нее врываются несвойственные автору «Одесских рассказов» интонации символистских драм, декадентских пьес Леонида Андреева; бытовые фигуры порой превращаются в условные маски.

Недолгая жизнь «Заката» на советской сцене связана прежде всего с несозвучностью ее современности. Это сознавал и сам писатель. «Беда та, — писал Бабель, — что к революции пьеса эта не имеет никакого отношения, — как ни верти, она чудовищно дисгармонирует с тем, что теперь в театре делают» [1].

«Закат» Бабеля — это не только закат Менделя Крика, это не только закат старого мира, это закат одесской темы для самого автора: от поэтизации молдаванской вольницы он приходит к ее развенчанию.

К одесскому миру возвращается Бабель позднее в рассказе «Фроим Грач» (1933). Действие рассказа относится уже к революционному времени — к 1919 году. Поэзия Молдаванки сталкивается здесь с железной логикой революции.

Фроим Грач, глава «сорока тысяч одесских воров», чтобы выручить своих «сподвижников», которые, по законам военного времени, должны быть расстреляны, отправляется к председателю Чека за защитой: «Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену».

Но революция непреклонна, она не терпит соглашательства, она не вступает ни в какие сделки. Фроим Грач был тут же расстрелян.

Автор, с одной стороны, любуется могучей, богатырской фигурой бандитского главаря, этого «грандиозного парня» («Это эпопея, второго нет»), последнего отпрыска молдаванского рыцарства. Он опечален его гибелью. И вместе с тем он не знает — «зачем нужен этот человек в будущем обществе».

В рассказе снова чувствуется двойственная позиция автора, от лица которого ведется повествование.

Невидимая тень старого Гедали, мечтавшего некогда о «сладкой революции», снова как бы проходит перед нами.

Расставаясь с одесской вольницей, Бабель еще не изжил тех внутренних противоречий, которые окрасили и его лучшую книгу «Конармия».

---

[1] Письмо от 26 декабря 1927 года. Из архива Т. К.

8

Творческий перелом, «пора странствий, молчания и собирания сил» [1], наступил у Бабеля во второй половине 20-х годов. В письме к друзьям он жалуется на неудовлетворенность прежними писаниями. Неустанно говорит он о поисках новой формы, об охлаждении к экзотике, к «вычурам и цветистости». Его влечет теперь другая манера письма — строгая, сдержанная, скупая.

Новеллистика Бабеля второй половины 20-х, а в основном 30-х годов и была попыткой заговорить по-иному. Еще слышны отголоски прежних тем. Эпизоду из конармейской жизни посвящен рассказ «Поцелуй». Завершает одесский цикл новелла «Конец богадельни». Это уже не закат старой Одессы, а окончательный, бесславный ее конец. Остались только одни тени прошлого. Это убогие, трясущиеся калеки в уродливых грязных лохмотьях, изгнанные из последнего убежища — кладбищенской богадельни. Им нет уже места в новой, просыпающейся жизни.

По своей художественной выразительности и завершенности выделяется в этот период цикл автобиографических рассказов Бабеля: «История моей голубятни», «Первая любовь», «В подвале» и «Пробуждение».

Не случайно первый из них посвящен Горькому. Внутренняя связь с горьковской автобиографической трилогией очевидна. Поэзия детства вступает в конфликт с жестоким миром. Во время погрома безногий калека, зараженный стихийной яростью ослепленной толпы, разбивает на виске у мальчика нежную, вишневую голубку — предмет его давней затаенной и только что осуществленной мечты. «Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен».

Образ рассказчика, тщедушного, болезненного еврейского мальчика с «воспаленным воображением» объединяет все автобиографические рассказы Бабеля.

Суровая действительность неумолимо врывается в мир выдуманной фантазии экзальтированного романтика в другой новелле того же цикла — «В подвале».

Конфликт мечты и реальности разрешается в последней новелле — «Пробуждение». Четырнадцатилетний герой, под влиянием

---

[1] «Автобиография» 1932 года (машинопись с правкой автора, ЦГАЛИ, ф. 1559, оп. 1, ед. хр. 3).

своего старшего друга и наставника, «пробуждается». Он находит настоящую поэзию не в вымышленных грезах, а в живой жизни. Настоящее искусство — напрашивается вывод из этого рассказа — может создать человек, ощутивший красоту и величие реального, рядом лежащего мира.

Тайна искусства всегда влекла к себе Бабеля. И если один из ранних его рассказов «Вдохновение» открывал собой эту тему, то новелла «Ди-Грассо» (1937) завершала ее. Сицилийский трагик Ди-Грассо своей игрой, своей исступленной благородной страстью на сцене поразил Одессу.

Потрясенный рассказчик, возвращаясь после спектакля, с «ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву на бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел *в первый раз* окружавшее... таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным (Курсив мой. — *Л. П.*). К искусству, помогающему видеть, открывающему заново жизнь, звал Бабель.

Все настойчивее звучит в рассказах Бабеля последнего периода мысль о могуществе революции, разбивающей вдребезги осколки старого мира («Конец богадельни», «Конец св. Ипатия», «Дорога»).

Битве за новую жизнь, за счастье будущих поколений, за счастье детей посвящен рассказ «Карл-Янкель». Смысл его подчеркнут концовкой: «Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель. Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...»

«Новостей много, как всегда» — с этой фразы начинается новелла «Нефть», представляющая собой письмо женщины — управделами нефтесиндиката. На перебоях острых личных переживаний и волнующих общественных тем — выполнения планов первой пятилетки, увеличения добычи нефти — строится рассказ. Эти перебои планов, взволнованный голос автора письма передают напряженный ритм эпохи, ритм строящейся, грохочущей Москвы.

Совершенно в другом ключе написана одна из лучших новелл Бабеля 30-х годов — «Гюи де Мопассан». Автор-рассказчик выступает в роли переводчика Мопассана, сюжет его новеллы «Признание» затейливо вплетается в повествование Бабеля.

Включение в поэтический мир Мопассана, овладение мопассановской фразой — «свободной, текучей, с длинным дыханием страсти» — настолько органично для Бабеля, что местами теряется грань между стилем французского классика и автора новеллы.

Но, кроме основного сюжета, в рассказе есть еще и другой план. Он связан с печальной судьбою любимого Бабелем французского классика, яростно боровшегося за право на жизнь и на творчество.

В поисках новой манеры Бабель обращался не только к прозе, к жанру киноповести, киносценария, но и к драматургии. За пьесой «Закат» последовала последняя пьеса «Мария». Она посвящена истории распада дворянской семьи Муковниных в первые годы революции. Оригинален замысел пьесы: главная героиня Мария, чьим именем и названа пьеса, на сцене ни разу не появляется. Это старшая дочь Муковнина, ушедшая на фронт, «в солдаты», в политотдел Красной Армии. Ее имя у всех на устах, ее вспоминают, о ней говорят многие — одни с восхищением, другие с завистью, с ожесточением и злобой. Мария, фигурирующая только за сценой, — это воплощение всего лучшего, это носитель высоких революционных идей. Она своеобразный критерий, которым измеряются слова и поступки морально павших людей старого общества — вырождающихся дворян, меньшевиков-спекулянтов, бывшего князя, бывшего ротмистра и других «бывших людей».

Пьеса «Мария» была задумана Бабелем как начало трилогии, осуществить которую ему не удалось. 15 мая 1939 года Бабель был незаконно репрессирован и погиб. Незавершенными остались и другие замыслы, — в частности, книга «Великая Криница», посвященная деревне периода коллективизации.

В обширной и разноречивой литературе о Бабеле у нас и за рубежом его сравнивают с Мопассаном и Флобером, с Анатолем Франсом и Рабле, другие прибавляют имя Эрнеста Хемингуэя. Обращаясь к русской литературе, вспоминают нередко Гоголя, Лескова и чаще всего Горького.

Но каким бы влияниям он ни подвергался, чьи творческие университеты в молодости он ни проходил, его искусство остается самобытным и неповторимым.

Прозу Бабеля безошибочно узнаешь по тугой, уплотненной фразе, по блеску отделки, по ритмическому узору, по взрывной силе короткого рассказа. «Фраза, — писал он, — рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом». Эта тайна художника-мастера была доступна автору «Конармии».

Л. Поляк

АВТОБИОГРАФИЯ

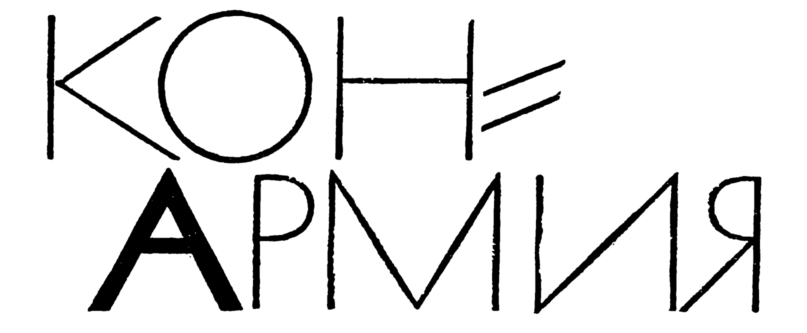
Родился в 1894 году в Одессе, на Молдаванке, сын торговца-еврея. По настоянию отца изучал до шестнадцати лет еврейский язык, Библию, Талмуд. Дома жилось трудно, потому что с утра до ночи заставляли заниматься множеством наук. Отдыхал я в школе. Школа моя называлась Одесское коммерческое имени императора Николая I училище. Там обучались сыновья иностранных купцов, дети еврейских маклеров, сановитые поляки, старообрядцы и много великовозрастных бильярдистов. На переменах мы уходили, бывало, в порт на эстакаду, или в греческие кофейни играть на бильярде, или на Молдаванку пить в погребах дешевое бессарабское вино. Школа эта незабываема для меня еще и потому, что учителем французского языка был там m-r Вадон. Он был бретонец и обладал литературным дарованием, как все французы. Он обучил меня своему языку, я затвердил с ним французских классиков, сошелся близко с французской колонией в Одессе и с пятнадцати лет начал писать рассказы на французском языке. Я писал их два года, но потом бросил: пейзане и всякие авторские размышления выходили у меня бесцветно, только диалог удавался мне.

Потом, после окончания училища, я очутился в Киеве и в 1915 году в Петербурге. В Петербурге мне пришлось ужасно худо, у меня не было правожительства, я избегал полиции и квартировал в погребе на Пушкинской улице у одного растерзанного, пьяного официанта. Тогда в 1915 году я начал разносить мои сочинения по редакциям, но меня отовсюду гнали, все редакторы (покойный

Измайлов, Поссе и др.) убеждали меня поступить куда-нибудь в лавку, но я не послушался их и в конце 1916 года попал к Горькому. И вот — я всем обязан этой встрече и до сих пор произношу имя Алексея Максимовича с любовью и благоговением. Он напечатал первые мои рассказы в ноябрьской книжке «Летописи» за 1916 год (я был привлечен за эти рассказы к уголовной ответственности по 1001 ст.), он научил меня необыкновенно важным вещам, и потом, когда выяснилось, что два-три сносных моих юношеских опыта были всего только случайной удачей, и что с литературой у меня ничего не выходит, и что я пишу удивительно плохо, — Алексей Максимович отправил меня в люди.

И я на семь лет — с 1917 по 1924 — ушел в люди. За это время я был солдатом на румынском фронте, потом служил в Чека, в Наркомпросе, в продовольственных экспедициях 1918 года, в Северной армии против Юденича, в Первой Конной армии, в Одесском губкоме, был выпускающим в 7-й советской типографии в Одессе, был репортером в Петербурге и в Тифлисе и проч. И только в 1923 году я научился выражать мои мысли ясно и не очень длинно. Тогда я вновь принялся сочинять.

Начало литературной моей работы я отношу поэтому к началу 1924 года, когда в 4-й книге журнала «Леф» появились мои рассказы «Соль», «Письмо», «Смерть Долгушова», «Король» и др.


КОН=
АРМИЯ

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ЗБРУЧ

Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем Первым.

Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая Волынь изгибается, Волынь уходит от нас в жемчужный туман березовых рощ, она вползает в цветистые пригорки и ослабевшими руками путается в зарослях хмеля. Оранжевое солнце катится по небу, как отрубленная голова, нежный свет загорается в ущельях туч, штандарты заката веют над нашими головами. Запах вчерашней крови и убитых лошадей каплет в вечернюю прохладу. Почерневший Збруч шумит и закручивает пенистые узлы своих порогов. Мосты разрушены, и мы переезжаем реку вброд. Величавая луна лежит на волнах. Лошади по спину уходят в воду, звучные потоки сочатся между сотнями лошадиных ног. Кто-то тонет и звонко порочит богородицу. Река усеяна черными квадратами телег, она полна гула, свиста и песен, гремящих поверх лунных змей и сияющих ям.

Поздней ночью приезжаем мы в Новоград. Я нахожу беременную женщину на отведенной мне квартире и двух рыжих евреев с тонкими шеями; третий спит, укрывшись с головой и приткнувшись к стене. Я нахожу развороченные шкафы в отведенной мне комнате, обрывки женских

шуб на полу, человеческий кал и черепки сокровенной посуды, употребляющейся у евреев раз в году — на пасху.

— Уберите, — говорю я женщине. — Как вы грязно живете, хозяева...

Два еврея снимаются с места. Они прыгают на войлочных подошвах и убирают обломки с полу, они прыгают в безмолвии, по-обезьяньи, как японцы в цирке, их шеи пухнут и вертятся. Они кладут на пол распоротую перину, и я ложусь к стенке, рядом с третьим, заснувшим евреем. Пугливая нищета смыкается над моим ложем.

Все убито тишиной, и только луна, обхватив синими руками свою круглую, блещущую, беспечную голову, бродяжит под окном.

Я разминаю затекшие ноги, я лежу на распоротой перине и засыпаю. Начдив шесть снится мне. Он гонится на тяжелом жеребце за комбригом и всаживает ему две пули в глаза. Пули пробивают голову комбрига, и оба глаза его падают наземь. «Зачем ты поворотил бригаду?» — кричит раненому Савицкий, начдив шесть, — и тут я просыпаюсь, потому что беременная женщина шарит пальцами по моему лицу.

— Пане, — говорит она мне, — вы кричите со сна и вы бросаетесь. Я постелю вам в другом углу, потому что вы толкаете моего папашу...

Она поднимает с полу худые свои ноги и круглый живот и снимает одеяло с заснувшего человека. Мертвый старик лежит там, закинувшись навзничь. Глотка его вырвана, лицо разрублено пополам, синяя кровь лежит в его бороде, как кусок свинца.

— Пане, — говорит еврейка и встряхивает перину, — поляки резали его, и он молился им: убейте меня на черном дворе, чтобы моя дочь не видела, как я умру. Но они сделали так, как им было нужно, — он кончался в этой комнате и думал обо мне... И теперь я хочу знать, — сказала вдруг женщина с ужасной силой, — я хочу знать, где еще на всей земле вы найдете такого отца, как мой отец...

КОСТЕЛ В НОВОГРАДЕ

Я отправился вчера с докладом к военкому, остановившемуся в доме бежавшего ксендза. На кухне встретила меня пани Элиза, экономка иезуита. Она дала мне янтарного чаю с бисквитами. Бисквиты ее пахли, как распятие. Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана.

Рядом с домом в костеле ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. Пани Элиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенья, я насладился пищей иезуитов.

Старая полька называла меня «паном», у порога стояли навытяжку серые старики с окостеневшими ушами, и где-то в змеином сумраке извивалась сутана монаха. Патер бежал, но он оставил помощника — пана Ромуальда.

Гнусавый скопец с телом исполина, Ромуальд величал нас «товарищами». Желтым пальцем водил он по карте, указывая круги польского разгрома. Охваченный хриплым восторгом, пересчитывал он раны своей родины. Пусть кроткое забвение поглотит память о Ромуальде, предавшем нас без сожаления и расстрелянном мимоходом. Но в тот вечер его узкая сутана шевелилась у всех портьер, яростно мела все дороги и усмехалась всем, кто хотел пить водку. В тот вечер тень монаха кралась за мной неотступно. Он стал бы епископом — пан Ромуальд, если бы он не был шпионом.

Я пил с ним ром, дыхание невиданного уклада мерцало под развалинами дома ксендза, и вкрадчивые его соблазны обессилили меня. О, распятия, крохотные, как

талисманы куртизанки, пергамент папских булл и атлас женских писем, истлевших в синем шелку жилетов!..

Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки, я вижу раны твоего бога, сочащиеся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц.

Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Ромуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колышутся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск струится по мертвым ногам, торчащим врозь.

Вот Польша, вот надменная скорбь Речи Посполитой! Насильственный пришелец, я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голову фолианты, в которых напечатана осанна ясновельможному и пресветлому Начальнику Панства, Иозефу Пилсудскому.

Нищие орды катятся на твои древние города, о Польша, песнь об единении всех холопов гремит над ними, и горе тебе, Речь Посполитая, горе тебе, князь Радзивилл, и тебе, князь Сапега, вставшие на час!..

Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу, мне навстречу два серебряных черепа разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, в подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю. И я вижу множество огней, бегущих в высоте, у самого купола. Я вижу военкома, начальника особого отдела и казаков со свечами в руках. Они отзываются на слабый мой крик и выводят меня из подвала.

Черепа, оказавшиеся резьбой церковного катафалка, не пугают меня больше, и все вместе мы продолжаем обыск, потому что это был обыск, начатый после того, как в квартире ксендза нашли груды военного обмундирования.

Сверкая расшитыми конскими мордами наших обшлагов, перешептываясь и гремя шпорами, мы кружимся по гулкому зданию с оплывающим воском в руках. Богоматери, унизанные драгоценными камнями, следят наш путь розовыми, как у мышей, зрачками, пламя бьется в

наших пальцах, и квадратные тени корчатся на статуях святого Петра, святого Франциска, святого Винцента, на их румяных щечках и курчавых бородах, раскрашенных кармином.

Мы кружимся и ищем. Под нашими пальцами прыгают костяные кнопки, раздвигаются разрезанные пополам иконы, открывая подземелья в зацветающие плесенью пещеры. Храм этот древен и полон тайн. Он скрывает в своих глянцевитых стенах потайные ходы, ниши и створки, распахивающиеся бесшумно.

О глупый ксендз, развесивший на гвоздях спасителя лифчики своих прихожанок. За царскими вратами мы нашли чемодан с золотыми монетами, сафьяновый мешок с кредитками и футляры парижских ювелиров с изумрудными перстнями.

А потом мы считали деньги в комнате военкома. Столбы золота, ковры из денег, порывистый ветер, дующий на пламя свечей, воронье безумье в глазах пани Элизы, громовый хохот Ромуальда и нескончаемый рев колоколов, заведенных паном Робацким, обезумевшим звонарем.

— Прочь, — сказал я себе, — прочь от этих подмигивающих мадонн, обманутых солдатами...

ПИСЬМО

Вот письмо на родину, продиктованное мне мальчиком нашей экспедиции Курдюковым. Оно не заслуживает забвения. Я переписал его, не приукрашивая, и передаю дословно, в согласии с истиной.

«Любезная мама Евдокия Федоровна. В первых строках сего письма спешу вас уведомить, что, благодаря господа, я есть жив и здоров, чего желаю от вас слыхать то же самое. А также нижающе вам кланяюсь, от бела лица до сырой земли...» (Следует перечисление родственников, крестных, кумовьев. Опустим это. Перейдем ко второму абзацу.)

«Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова. Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной армии товарища Буденного, а также тут находится ваш кум Никон Васильич, который есть в настоящее время красный герой. Они взяли меня к себе, в экспедицию Политотдела, где мы развозим на позиции литературу и газеты — Московские Известия ЦИК, Московская Правда и родную беспощадную газету Красный кавалерист, которую всякий боец на передовой позиции желает прочитать, и опосля этого он с геройским духом рубает подлую шляхту, и я живу при Никон Васильиче очень великолепно.

Любезная мама Евдокия Федоровна. Пришлите чего можете от вашей силы-возможности. Просю вас заколоть

рябого кабанчика и сделать мне посылку в Политотдел товарища Буденного, получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евши и безо всякой одежды, так что дюже холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, живой он или нет, просю вас, досматривайте до него и напишите мне за него — засекается он еще или перестал, а также насчет чесотки в передних ногах, подковали его или нет? Просю вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами, а если папаша мыло истребили, так купите в Краснодаре, и бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здеся страна совсем бедная, мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам, пшеницы, видать, мало и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и то же самое овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно; из него гонют самогон.

Во вторых строках сего письма спешу вам описать за папашу, что они порубали брата Федора Тимофеича Курдюкова тому назад с год времени. Наша красная бригада товарища Павличенки наступала на город Ростов, когда в наших рядах произошла измена. А папаша были в тое время у Деникина за командира роты. Которые люди их видали — то говорили, что они носили на себе медали, как при старом режиме. И по случаю той измены, всех нас побрали в плен и брат Федор Тимофеич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря — шкура, красная собака, сукин сын и разно, и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша пымали меня с письмом и говорили: вы — материны дети, вы — ейный корень, потаскухин, я вашу матку брюхатил и буду брюхатить, моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семя, и еще разно. Я принимал от них страдания, как спаситель Иисус Христос. Только вскорости я от папаши убег и прибился до своей части товарища Павличенки. И наша бригада получила приказание идти в город Воронеж пополняться, и мы получили там пополнение, а также коней, сумки, наганы и все, что до нас принадлежало. За Воронеж могу вам описать, любезная мама Евдокия Федоровна, что это городок очень великолепный, будет поболе Краснодара,

люди в ем очень красивые, речка способная до купанья. Давали нам хлеб по два фунта в день, мяса полфунта и сахару подходяще, так что, вставши, пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли, а в обед я ходил к брату Семен Тимофеичу за блинами или гусятиной и опосля этого лягал отдыхать. В тое время Семен Тимофеича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира и от товарища Буденного вышло такое приказание, и он получил двух коней, справную одежду, телегу для барахла отдельно и орден Красного Знамени, а я при ем считался братом. Таперича какой сосед вас начнет забижать — то Семен Тимофеич может его вполне зарезать. Потом мы начали гнать генерала Деникина, порезали их тыщи и загнали в Черное море, но только папаши нигде не было видать, и Семен Тимофеич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только, любезная мама, как вы знаете за папашу и за его упорный характер, так он что сделал — нахально покрасил себе бороду с рыжей на вороную и находился в городе Майкопе, в вольной одеже, так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при старом режиме. Но только правда — она себе окажет, кум ваш Никон Васильич случаем увидал его в хате у жителя и написал до Семена Тимофеича письмо. Мы посидали на коней и пробегли двести верст — я, брат Сенька и желающие ребята из станицы.

И что же мы увидали в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту и в ем повсюду измена и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеич в городе Майкопе с жидами здорово спорился, которые не выпущали от себя папашу и засадили его в тюрьму под замок, говоря — пришел приказ не рубать пленных, мы сами его будем судить, не серчайте, он свое получит. Но только Семен Тимофеич свое взял и доказал, что он есть командир полка и имеет от товарища Буденного все ордена Красного Знамени, и грозился всех порубать, которые спорятся за папашину личность и не выдают ее, а также грозились ребята со станицы. Но только Семен Тимофеич папашу получили, и они стали папашу плетить и выстроили во дворе всех бойцов, как принадлежит к военному порядку. И тогда Сенька плеснул папаше Тимофей Родионычу воды на бороду, и с бо-

роды потекла краска. И Сенька спросил Тимофей Родионыча:

— Хорошо вам, папаша, в моих руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо мне.

Тогда Сенька спросил:

— А Феде, когда вы его резали, хорошо было в ваших руках?

— Нет, — сказал папаша, — худо было Феде.

Тогда Сенька спросил:

— А думали вы, папаша, что и вам худо будет?

— Нет, — сказал папаша, — не думал я, что мне худо будет.

Тогда Сенька поворотился к народу и сказал:

— А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать...

И Тимофей Родионыч зачал нахально ругать Сеньку по матушке и в богородицу и бить Сеньку по морде, и Семен Тимофеич услали меня со двора, так что я не могу, любезная мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора.

Опосля этого мы получили стоянку в городе в Новороссийском. За этот город можно рассказать, что за ним никакой суши больше нет, а одна вода, Черное море, и мы там оставались до самого мая, когда выступили на польский фронт и треплем шляхту почем зря...

Остаюсь ваш любезный сын Василий Тимофеич Курдюков. Мамка, доглядайте до Степки, и бог вас не оставит».

Вот письмо Курдюкова, ни в одном слове не измененное. Когда я кончил, он взял исписанный листок и спрятал его за пазуху, на голое тело.

— Курдюков, — спросил я мальчика, — злой у тебя был отец?

— Отец у меня был кобель, — ответил он угрюмо.

— А мать лучше?

— Мать подходящая. Если желаешь — вот наша фамилия...

Он протянул мне сломанную фотографию. На ней был изображен Тимофей Курдюков, плечистый стражник в

форменном картузе и с расчесанной бородой, недвижный, скуластый, со сверкающим взглядом бесцветных и бессмысленных глаз. Рядом с ним, в бамбуковом креслице, сидела крохотная крестьянка в выпущенной кофте, с чахлыми светлыми и застенчивыми чертами лица. А у стены, у этого жалкого провинциального фотографического фона, с цветами и голубями, высились два парня — чудовищно огромные, тупые, широколицые, лупоглазые, застывшие, как на ученье, два брата Курдюковых — Федор и Семен.

НАЧАЛЬНИК КОНЗАПАСА

На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч кавалеристы забирают рабочую скотину. Бранить тут некого. Без лошади нет армии.

Но крестьянам не легче от этого сознания. Крестьяне неотступно толпятся у здания штаба.

Они тащат на веревках упирающихся, скользящих от слабости одров. Лишенные кормильцев, мужики, чувствуя в себе прилив горькой храбрости и зная, что храбрости ненадолго хватит, спешат безо всякой надежды надерзить начальству, богу и своей жалкой доле.

Начальник штаба Ж. в полной форме стоит на крыльце. Прикрыв воспаленные веки, он с видимым вниманием слушает мужичьи жалобы. Но внимание его не более как прием. Как всякий вышколенный и переутомившийся работник, он умеет в пустые минуты существования полностью прекратить мозговую работу. В эти немногие минуты блаженного бессмыслия начальник нашего штаба встряхивает изношенную машину.

Так и на этот раз с мужиками.

Под успокоительный аккомпанемент их бессвязного и отчаянного гула Ж. следит со стороны за той мягкой толкотней в мозгу, которая предвещает чистоту и энергию мысли. Дождавшись нужного перебоя, он ухватывает последнюю мужичью слезу, начальственно огрызается и уходит к себе в штаб работать.

На этот раз и огрызнуться не пришлось. На огненном англо-арабе подскакал к крыльцу Дьяков, бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса — краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар.

— Честным стервам игуменье благословенье! — прокричал он, осаживая коня на карьере, и в то же мгновенье к нему под стремя подвалилась облезлая лошаденка, одна из обмененных казаками.

— Вон, товарищ начальник, — завопил мужик, хлопая себя по штанам, — вон чего ваш брат дает нашему брату... Видал, чего дают? Хозяйствуй на ей...

— А за этого коня, — раздельно и веско начал тогда Дьяков, — за этого коня, почтенный друг, ты в полном своем праве получить в конском запасе пятнадцать тысяч рублей, а ежели этот конь был бы повеселее, то в ефтим случае ты получил бы, желанный друг, в конском запасе двадцать тысяч рублей. Но, однако, что конь упал, — это не хвакт. Ежели конь упал и подымается, то это — конь; ежели он, обратно сказать, не подымается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется...

— О господи, мамуня же ты моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей, сироте, подняться... Она, сирота, подохнет...

— Обижаешь коня, кум, — с глубоким убеждением ответил Дьяков, — прямо-таки богохульствуешь, кум, — и он ловко снял с седла свое статное тело атлета. Расправляя прекрасные ноги, схваченные в коленях ремешком, пышный и ловкий, как на сцене, он двинулся к издыхающему животному. Оно уныло уставилось на Дьякова своим крутым глубоким глазом, слизнуло с его малиновой ладони невидимое какое-то повеление, и тотчас же обессиленная лошадь почувствовала умелую силу, истекавшую от этого седого, цветущего и молодцеватого Ромео. Поводя мордой и скользя подламывающимися ногами, ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развевающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводила с Дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся глаз.

— Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко: — А ты жалился, желанный друг...

Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба.

ПАН АПОЛЕК

Прелестная и мудрая жизнь пана Аполека ударила мне в голову, как старое вино. В Новоград-Волынске, в наспех смятом городе, среди скрюченных развалин, судьба бросила мне под ноги укрытое от мира Евангелие. Окруженный простодушным сиянием нимбов, я дал тогда обет следовать примеру пана Аполека. И сладость мечтательной злобы, горькое презрение к псам и свиньям человечества, огонь молчаливого и упоительного мщения — я принес их в жертву новому обету.

В квартире бежавшего новоградского ксендза висела высоко на стене икона. На ней была надпись: «Смерть Крестителя». Не колеблясь, признал я в Иоанне изображение человека, мною виденного когда-то.

Я помню: между прямых и светлых стен стояла паутинная тишина летнего утра. У подножья картины был положен солнцем прямой луч. В нем роилась блещущая пыль. Прямо на меня из синей глубины ниши спускалась длинная фигура Иоанна. Черный плащ торжественно висел на этом неумолимом теле, отвратительно худом. Капли крови блистали в круглых застежках плаща. Голова Иоанна была косо срезана с ободранной шеи. Она лежала на глиняном блюде, крепко взятом большими желтыми пальцами воина. Лицо мертвеца показалось мне знакомым. Предвестие тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуаль-

да, помощника бежавшего ксендза. Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полная оживления, могущественно оттеняла глубокий фон плаща.

Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумке. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Элизы, экономки старого ксендза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо богоматери — это был портрет пани Элизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пани Элизе, где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши, с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Аполек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Янека?

Он пришел сюда со слепым Готфридом тридцать лет тому назад в невидный летний день. Приятели — Аполек и Готфрид — подошли к корчме Шмереля, что стоит на Ровненском шоссе, в двух верстах от городской черты. В правой руке у Аполека был ящик с красками, левой он вел слепого гармониста. Певучий шаг их немецких башмаков, окованных гвоздями, звучал спокойствием и надеждой. С тонкой шеи Аполека свисал канареечный шарф, три шоколадных перышка покачивались на тирольской шляпе слепого.

В корчме на подоконнике пришельцы разложили краски и гармонику. Художник размотал свой шарф, нескончаемый, как лента ярмарочного фокусника. Потом он вышел во двор, разделся донага и облил студеною водой свое розовое, узкое, хилое тело. Жена Шмереля принесла гостям изюмной водки и миску зразы. Насытившись, Готфрид положил гармонию на острые свои колени. Он вздохнул, откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласили стены еврейского шинка. Аполек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильды принесли к Шмерелю орган и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких башмаках.

Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполек с низким поклоном передал Брайне, жене корчмаря, лист бумаги.

— Милостивая пани Брайна, — сказал он, — примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет — как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства. Если бог Иисус продлит мои дни и укрепит мое искусство, я вернусь, чтобы переписать красками этот портрет. К волосам вашим подойдут жемчуга, а на груди мы припишем изумрудное ожерелье...

На небольшом листе бумаги красным карандашом, карандашом красным и мягким, как глина, было изображено смеющееся лицо пани Брайны, обведенное медными кудрями.

— Мои деньги! — вскричал Шмерель, увидев портрет жены. Он схватил палку и пустился за постояльцами в погоню. Но по дороге Шмерель вспомнил розовое тело Аполека, залитое водой, и солнце на своем дворике, и тихий звон гармоники. Корчмарь смутился духом и, отложив палку, вернулся домой.

На следующее утро Аполек представил новоградскому ксендзу диплом об окончании мюнхенской академии и разложил перед ним двенадцать картин на темы Священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск смарагдовых полей и цветистые покрывала, накинутые на равнины Палестины.

Святые пана Аполека, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седобородых, краснолицых, был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров.

В тот же день пан Аполек получил заказ на роспись нового костела. И за бенедиктином патер сказал художнику.

— Санта Мария, — сказал он, — желанный пан Аполлинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?..

Аполек работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блеяния стад, пыльного золота закатов и палевых коровьих сосцов. Буйволы с истертой кожей влеклись в упряжке, собаки с розовыми мордами бежали впереди отары, и в колыбелях, подвешенных к прямым стволам пальм, качались тучные младенцы. Коричневые рубища францисканцев окружали колыбель. Толпа волхвов была изрезана сверкающими лысинами и морщинами,

кровавыми, как раны. В толпе волхвов мерцало лисьей усмешкой старушечье личико Льва XIII, и сам новоградский ксендз, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободной, новорожденного Иисуса.

Пять месяцев ползал Аполек, заключенный в свое деревянное сиденье, вдоль стен, вдоль купола и на хорах.

— У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполек, — сказал однажды ксендз, узнав себя в одном из волхвов и пана Ромуальда — в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал коньяку художнику, работавшему под куполом.

Потом Аполек закончил тайную вечерю и побиение камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресений он открыл расписанные стены. Именитые граждане, приглашенные ксендзом, узнали в апостоле Павле Янека, хромого выкреста, и в Марии Магдалине — еврейскую девушку Эльку, дочь неведомых родителей и мать многих подзаборных детей. Именитые граждане приказали закрыть кощунственные изображения. Ксендз обрушил угрозы на богохульника. Но Аполек не закрыл расписанных стен.

Так началась неслыханная война между могущественным телом католической церкви, с одной стороны, и беспечным богомазом — с другой. Она длилась три десятилетия. Случай едва не возвел кроткого гуляку в основатели новой ереси. И тогда это был бы самый замысловатый и смехотворный боец из всех, каких знала уклончивая и мятежная история римской церкви, боец, в блаженном хмелю обходивший землю с двумя белыми мышами за пазухой и с набором тончайших кисточек в кармане.

— Пятнадцать злотых за богоматерь, двадцать пять злотых за святое семейство и пятьдесят злотых за тайную вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуды Искариота, и за это добавляется лишних десять злотых, — так объявил Аполек окрестным крестьянам, после того как его выгнали из строившегося храма.

В заказах он не знал недостатка. И когда через год, вызванная исступленными посланиями новоградского ксендза, прибыла комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, святотатственные, наивные и

живописные. Иосифы с расчесанной надвое сивой головой, напомаженные Иисусы, многорожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями — эти иконы висели в красных углах, окруженные венцами из бумажных цветов.

— Он произвел вас при жизни в святые! — воскликнул викарий дубенский и новоконстантиновский, отвечая толпе, защищавшей Аполека. — Он окружил вас неизреченными принадлежностями святыни, вас, трижды впадавших в грех ослушания, тайных винокуров, безжалостных заимодавцев, делателей фальшивых весов и продавцов невинности собственных дочерей!

— Ваше священство, — сказал тогда викарию колченогий Витольд, скупщик краденого и кладбищенский сторож, — в чем видит правду всемилостивейший пан бог, кто скажет об этом темному народу? И не больше ли истины в картинах пана Аполека, угодившего нашей гордости, чем в ваших словах, полных хулы и барского гнева?

Возгласы толпы обратили викария в бегство. Состояние умов в пригородах угрожало безопасности служителей церкви. Художник, приглашенный на место Аполека, не решался замазать Эльку и хромого Янека. Их можно видеть и сейчас в боковом приделе новоградского костела: Янека — апостола Павла, боязливого хромца с черной клочковатой бородой, деревенского отщепенца, и ее, блудницу из Магдалы, хилую и безумную, с танцующим телом и впалыми щеками.

Борьба с ксендзом длилась три десятилетия. Потом казацкий разлив изгнал старого монаха из его каменного и пахучего гнезда, и Аполек — о, превратности судьбы! — водворился в кухне пани Элизы. И вот я, мгновенный гость, пью по вечерам вино его беседы.

Беседы — о чем? О романтических временах шляхетства, о ярости бабьего фанатизма, о художнике Луке дель Раббио и о семье плотника из Вифлеема.

— Имею сказать пану писарю... — таинственно сообщает мне Аполек перед ужином.

— Да, — отвечаю я, — да, Аполек, я слушаю вас...

Но костельный служка, пан Робацкий, суровый и серый, костлявый и ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблекшие полотна молчания и неприязни.

— Имею сказать пану, — шепчет Аполек и уводит меня в сторону, — что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода...

— О, тен чловек! — кричит в отчаянии пан Робацкий. — Тен чловек не умрет на своей постели... Тего чловека забиют людове...

— После ужина, — упавшим голосом шелестит Аполек, — после ужина, если пану писарю будет угодно...

Мне угодно. Зажженный началом Аполековой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой и темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, ожерелья светящихся плодов повисли на кустах. Запах лилий чист и крепок, как спирт. Этот свежий яд впивается в жирное бурливое дыхание плиты и мертвит смолистую духоту ели, разбросанной по кухне.

Аполек в розовом банте и истертых розовых штанах копошится в своем углу, как доброе и грациозное животное. Стол его измазан клеем и красками. Старик работает мелкими и частыми движениями, тишайшая мелодическая дробь доносится из его угла. Старый Готфрид выбивает ее своими трепещущими пальцами. Слепец сидит недвижимо в желтом и масляном блеске лампы. Склонив лысый лоб, он слушает нескончаемую музыку своей слепоты и бормотание Аполека, вечного друга.

— ...И то, что говорят пану попы и евангелист Марк и евангелист Матфей, — то не есть правда... Но правду можно открыть пану писарю, которому за пятьдесят марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем простой святой, пан Франциск. И если у пана писаря есть в России невеста... Женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан...

Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполека. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновыми бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщиной овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. Икота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на отца ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь,

и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадания, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла к гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле, пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец...

— Где же он? — вскричал я.

— Его скрыли попы, — произнес Аполек с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы.

— Пан художник, — вскричал вдруг Робацкий, поднимаясь из тьмы, и серые уши его задвигались, — цо вы мувите? То же есть немыслимо...

— Так, так, — съежился Аполек и схватил Готфрида, — так, так, пане...

Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем.

— Блаженный Франциск, — прошептал он, мигая глазами, — с птицей на рукаве, с голубем или щеглом, как пану писарю будет угодно...

И он исчез со слепым и вечным своим другом.

— О, дурацтво! — произнес тогда Робацкий, костельный служка. — Тен чловек не умрет на своей постели...

Пан Робацкий широко раскрыл рот и зевнул, как кошка. Я распрощался и ушел ночевать к себе домой, к моим обворованным евреям.

По городу слонялась бездомная луна. И я шел с ней вместе, отогревая в себе неисполнимые мечты и нестройные песни.

СОЛНЦЕ ИТАЛИИ

Я снова сидел вчера в людской у пани Элизы под нагретым венцом из зеленых ветвей ели. Я сидел у теплой, живой, ворчливой печи и потом возвращался к себе глубокой ночью. Внизу, у обрыва, бесшумный Збруч катил стеклянную темную волну.

Обгорелый город — переломленные колонны и врытые в землю крючки злых старушечьих мизинцев — казался мне поднятым на воздух, удобным и небывалым, как сновиденье. Голый блеск луны лился на него с неиссякаемой силой. Сырая плесень развалин цвела, как мрамор оперной скамьи. И я ждал потревоженной душой выхода Ромео из-за туч, атласного Ромео, поющего о любви, в то время как за кулисами понурый электротехник держит палец на выключателе луны.

Голубые дороги текли мимо меня, как струи молока, брызнувшие из многих грудей. Возвращаясь домой, я страшился встречи с Сидоровым, моим соседом, опускавшим на меня по ночам волосатую лапу своей тоски. По счастью, в эту ночь, растерзанную молоком луны, Сидоров не проронил ни слова. Обложившись книгами, он писал. На столе дымилась горбатая свеча — зловещий костер мечтателей. Я сидел в стороне, дремал, сны прыгали вокруг меня, как котята. И только поздней ночью меня разбудил ординарец, вызвавший Сидорова в штаб. Они ушли вместе. Я подбежал тогда к столу, на котором писал Сидоров, и перелистал книги. Это был самоучитель итальянского языка, изображение римского форума и план города Рима. План был весь размечен крестами

а точками. Я наклонился над исписанным листом и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочитал чужое письмо. Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в коридоры здравомыслящего своего безумия. Письмо начиналось со второй страницы, я не осмелился искать начала:

«...пробито легкое и маленько рехнулся или, как говорит Сергей, с ума слетел. Не сходить же с него, в самом деле, с дурака этого, с ума. Впрочем, хвост набок и шутки в сторону... Обратимся к повестке дня, друг мой Виктория...

Я проделал трехмесячный махновский поход — утомительное жульничество, и ничего более... И только Волин все еще там. Волин рядится в апостольские ризы и карабкается в Ленины от анархизма. Ужасно. А батько слушает его, поглаживает пыльную проволоку своих кудрей и пропускает сквозь гнилые зубы мужицкую свою усмешку. И я теперь не знаю, есть ли во всем этом не сорное зерно анархии и утрем ли мы вам ваши благополучные носы, самодельные цекисты из самодельного цеха, made in Харьков, в самодельной столице. Ваши рубахи-парни не любят теперь вспоминать грехи анархической их юности и смеются над ними с высоты государственной мудрости — черт с ними...

А потом я попал в Москву. Как попал я в Москву? Ребята кого-то обижали в смысле реквизиционном и ином. Я, слюнтяй, вступился. Меня расчесали — и за дело. Рана была пустяковая, но в Москве, ах, Виктория, в Москве я онемел от несчастий. Каждый день госпитальные сиделки приносили мне крупицу каши. Взнузданные благоговением, они тащили ее на большом подносе, и я возненавидел эту ударную кашу, внеплановое снабжение и плановую Москву. В Совете встретился потом с горсточкой анархистов. Они пижоны или полупомешанные старички. Сунулся в Кремль с планом настоящей работы. Меня погладили по головке и обещали сделать замом, если исправлюсь. Я не исправился. Что было дальше? Дальше был фронт, Конармия и солдатня, пахнущая сырой кровью и человеческим прахом.

Спасите меня, Виктория. Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете — и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы

ратник подох столь неорганизованно, не вы ведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой. Вот и сентиментальность, ну ее к распроэтакой матери...

Теперь будем говорить дело. В армии мне скучно. Ездить верхом из-за раны я не могу, — значит, не могу и драться. Употребите ваше влияние, Виктория, — пусть отправят меня в Италию. Язык я изучаю и через два месяца буду на нем говорить. В Италии земля тлеет. Многое там готово. Недостает пары выстрелов. Один из них я произведу. Там нужно отправить короля к праотцам. Это очень важно. Король у них славный дядя, он играет в популярность и снимается с ручными социалистами для воспроизведения в журналах семейного чтения.

В Цека, в Наркоминделе вы не говорите о выстреле, о королях. Вас погладят по головке и промямлят: «Романтик». Скажите просто, — он болен, зол, пьян от тоски, он хочет солнца Италии и бананов. Заслужил ведь или, может, не заслужил? Лечиться — и баста. А если нет — пусть отправят в одесское Чека... Оно очень толковое и...

Как глупо, как незаслуженно и глупо пишу я, друг мой Виктория...

Италия вошла в сердце как наваждение. Мысль об этой стране, никогда не виданной, сладка мне, как имя женщины, как ваше имя, Виктория...»

Я прочитал письмо и стал укладываться на моем продавленном нечистом ложе, но сон не шел. За стеной искренне плакала беременная еврейка, ей отвечало стонущее бормотание долговязого мужа. Они вспоминали об ограбленных вещах и злобствовали друг на друга за незадачливость. Потом, перед рассветом, вернулся Сидоров. На столе задыхалась догоревшая свеча. Сидоров вынул из сапога другой огарок и с необыкновенной задумчивостью придавил им оплывший фитилек. Наша комната была темна, мрачна, все дышало в ней ночной сырой вонью, и только окно, заполненное лунным огнем, сияло, как избавление.

Он пришел и спрятал письмо, мой томительный сосед. Сутулясь, сел он за стол и раскрыл альбом города Рима. Пышная книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым невыразительным лицом. Над круглой его спиной блестели зубчатые развалины Капитолия и арена цирка, освещенная закатом. Снимок королевской семьи был

заложен тут же, между большими глянцевитыми листами. На клочке бумаги, вырванном из календаря, был изображен приветливый тщедушный король Виктор-Эммануил со своей черноволосой женой, с наследным принцем Умберто и целым выводком принцесс.

...И вот ночь, полная далеких и тягостных звонов, квадрат света в сырой тьме — и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, нависшая над желтым пламенем свечи.

ГЕДАЛИ

В субботние кануны меня томит густая печаль воспоминаний. Когда-то в эти вечера мой дед поглаживал желтой бородой томы Ибн-Эзра. Старуха в кружевной наколке ворожила узловатыми пальцами над субботней свечой и сладко рыдала. Детское сердце раскачивалось в эти вечера, как кораблик на заколдованных волнах...

Я кружу по Житомиру и ищу робкой звезды. У древней синагоги, у ее желтых и равнодушных стен старые евреи продают мел, синьку, фитили, — евреи с бородами пророков, со страстными лохмотьями на впалой груди...

Вот предо мною базар и смерть базара. Убита жирная душа изобилия. Немые замки висят на лотках, и гранит мостовой чист, как лысина мертвеца. Она мигает и гаснет — робкая звезда...

Удача пришла ко мне позже, удача пришла перед самым заходом солнца. Лавка Гедали спряталась в наглухо закрытых торговых рядах. Диккенс, где была в тот вечер твоя тень? Ты увидел бы в этой лавке древностей золоченые туфли и корабельные канаты, старинный компас и чучело орла, охотничий винчестер с выгравированной датой «1810» и сломанную кастрюлю.

Старый Гедали расхаживает вокруг своих сокровищ в розовой пустоте вечера — маленький хозяин в дымчатых очках и в зеленом сюртуке до полу. Он потирает белые ручки, он щиплет сивую бороденку и, склонив голову, слушает невидимые голоса, слетевшиеся к нему.

Эта лавка — как коробочка любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники.

В этой лавке есть и пуговицы, и мертвая бабочка. Маленького хозяина ее зовут Гедали. Все ушли с базара, Гедали остался. Он вьется в лабиринте из глобусов, черепов и мертвых цветов, помахивает пестрой метелкой из петушиных перьев и сдувает пыль с умерших цветов.

Мы сидим на бочонках из-под пива. Гедали свертывает и разматывает узкую бороду. Его цилиндр покачивается над нами, как черная башенка. Теплый воздух течет мимо нас. Небо меняет цвета. Нежная кровь льется из опрокинутой бутылки там, вверху, и меня обволакивает легкий запах тления.

— Революция — скажем ей «да», но разве субботе мы скажем «нет»? — так начинает Гедали и обвивает меня шелковыми ремнями своих дымчатых глаз. — «Да», кричу я революции, «да», кричу я ей, но она прячется от Гедали и высылает вперед только стрельбу...

— В закрывшиеся глаза не входит солнце, — отвечаю я старику, — но мы распорем закрывшиеся глаза...

— Поляк закрыл мне глаза, — шепчет старик чуть слышно. — Поляк — злая собака. Он берет еврея и вырывает ему бороду, — ах, пес! И вот его бьют, злую собаку. Это замечательно, это революция! И потом тот, который бил поляка, говорит мне: «Отдай на учет твой граммофон, Гедали...» — «Я люблю музыку, пани», — отвечаю я революции. «Ты не знаешь, что ты любишь, Гедали, я стрелять в тебя буду, тогда ты это узнаешь, и я не могу не стрелять, потому что я — революция...»

— Она не может не стрелять, Гедали, — говорю я старику, — потому что она — революция...

— Но поляк стрелял, мой ласковый пан, потому что он — контрреволюция. Вы стреляете потому, что вы — революция. А революция — это же удовольствие. И удовольствие не любит в доме сирот. Хорошие дела делает хороший человек. Революция — это хорошее дело хороших людей. Но хорошие люди не убивают. Значит, революцию делают злые люди. Но поляки тоже злые люди. Кто же скажет Гедали, где революция и где контрреволюция? Я учил когда-то Талмуд, я люблю комментарии Раше и книги Маймонида. И еще другие понимающие люди есть в Житомире. И вот мы все, ученые люди, мы падаем на лицо и кричим на голос: горе нам, где сладкая революция?..

Старик умолк. И мы увидели первую звезду, пробивавшуюся вдоль Млечного Пути.

— Заходит суббота, — с важностью произнес Гедали, — евреям надо в синагогу... Пане товарищ, — сказал он, вставая, и цилиндр, как черная башенка, закачался на его голове. — Привезите в Житомир немножко хороших людей. Ай, в нашем городе недостача, ай, недостача! Привезите добрых людей, и мы отдадим им все граммофоны. Мы не невежды. Интернационал... мы знаем, что такое Интернационал. И я хочу Интернационала добрых людей, я хочу, чтобы каждую душу взяли на учет и дали бы ей паек по первой категории. Вот, душа, кушай, пожалуйста, имей от жизни свое удовольствие. Интернационал, пане товарищ, это вы не знаете, с чем его кушают...

— Его кушают с порохом, — ответил я старику, — и приправляют лучшей кровью...

И вот она взошла на свое кресло из синей тьмы, юная суббота.

— Гедали, — говорю я, — сегодня пятница, и уже настал вечер. Где можно достать еврейский коржик, еврейский стакан чаю и немножко этого отставного бога в стакане чаю?..

— Нету, — отвечает мне Гедали, навешивая замок на свою коробочку, — нету. Есть рядом харчевня, и хорошие люди торговали в ней, но там уже не кушают, там плачут...

Он застегнул свой зеленый сюртук на три костяные пуговицы. Он обмахал себя петушиными перьями, поплескал водицы на мягкие ладони и удалился — крохотный, одинокий, мечтательный, в черном цилиндре и с большим молитвенником под мышкой.

Наступает суббота. Гедали — основатель несбыточного Интернационала — ушел в синагогу молиться.

МОЙ ПЕРВЫЙ ГУСЬ

Савицкий, начдив шесть, встал, завидев меня, и я удивился красоте гигантского его тела. Он встал и пурпуром своих рейтуз, малиновой шапочкой, сбитой набок, орденами, вколоченными в грудь, разрезал избу пополам, как штандарт разрезает небо. От него пахло духами и приторной прохладой мыла. Длинные ноги его были похожи на девушек, закованных до плеч в блестящие ботфорты.

Он улыбнулся мне, ударил хлыстом по столу и потянул к себе приказ, только что отдиктованный начальником штаба. Это был приказ Ивану Чеснокову выступить с вверенным ему полком в направлении Чугунов — Добрыводка и, войдя в соприкосновение с неприятелем, такового уничтожить...

«...*Каковое уничтожение,* — стал писать начдив и измазал весь лист, — *возлагаю на ответственность того же Чеснокова вплоть до высшей меры, которого и шлепну на месте, в чем вы, товарищ Чесноков, работая со мною на фронте не первый месяц, не можете сомневаться...*»

Начдив шесть подписал приказ с завитушкой, бросил его ординарцам и повернул ко мне серые глаза, в которых танцевало веселье.

Я подал ему бумагу о прикомандировании меня к штабу дивизии.

— Провести приказом! — сказал начдив. — Провести приказом и зачислить на всякое удовольствие, кроме переднего. Ты грамотный?

— Грамотный, — ответил я, завидуя железу и цветам этой юности, — кандидат прав Петербургского университета...

— Ты из киндербальзамов, — закричал он, смеясь, — и очки на носу. Какой паршивенький!.. Шлют вас, не спросясь, а тут режут за очки. Поживешь с нами, што ль?

— Поживу, — ответил я и пошел с квартирьером на село искать ночлега.

Квартирьер нес на плечах мой сундучок, деревенская улица лежала перед нами, круглая и желтая, как тыква, умирающее солнце испускало на небе свой розовый дух.

Мы подошли к хате с расписными венцами, квартирьер остановился и сказал вдруг с виноватой улыбкой:

— Канитель тут у нас с очками и унять нельзя. Человек высшего отличия — из него здесь душа вон. А испорть вы даму, самую чистенькую даму, тогда вам от бойцов ласка...

Он помялся с моим сундучком на плечах, подошел ко мне совсем близко, потом отскочил в отчаянии и побежал в первый двор. Казаки сидели там на сене и брили друг друга.

— Вот, бойцы, — сказал квартирьер и поставил на землю мой сундучок. — Согласно приказания товарища Савицкого, обязаны вы принять этого человека к себе в помещение и без глупостев, потому этот человек пострадавший по ученой части...

Квартирьер побагровел и ушел, не оборачиваясь. Я приложил руку к козырьку и отдал честь казакам. Молодой парень с льняным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки.

— Орудия номер два нуля, — крикнул ему казак постарше и засмеялся, — крой беглым...

Парень истощил нехитрое свое умение и отошел. Тогда, ползая по земле, я стал собирать рукописи и дырявые мои обноски, вывалившиеся из сундучка. Я собрал их и отнес на другой конец двора. У хаты, на кирпичиках, стоял котел, в нем варилась свинина, она дымилась, как дымится издалека родной дом в деревне, и путала во мне голод с одиночеством без примера. Я покрыл сеном разбитый мой сундучок, сделал из него изголовье и лег на

землю, чтобы прочесть в «Правде» речь Ленина на Втором конгрессе Коминтерна. Солнце падало на меня из-за зубчатых пригорков, казаки ходили по моих ногам, парень потешался надо мной без устали, излюбленные строчки шли ко мне тернистою дорогой и не могли дойти. Тогда я отложил газету и пошел к хозяйке, сучившей пряжу на крыльце.

— Хозяйка, — сказал я, — мне жрать надо...

Старуха подняла на меня разлившиеся белки полуослепших глаз и опустила их снова.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — от этих дел я желаю повеситься.

— Господа бога душу мать, — пробормотал я тогда с досадой и толкнул старуху кулаком в грудь, — толковать тут мне с вами...

И, отвернувшись, я увидел чужую саблю, валявшуюся неподалеку. Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле, гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разостлана в навозе и крылья заходили над убитой птицей.

— Господа бога душу мать! — сказал я, копаясь в гусе саблей. — Изжарь мне его, хозяйка.

Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне.

— Товарищ, — сказала она, помолчав, — я желаю повеситься, — и закрыла за собой дверь.

А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся.

— Парень нам подходящий, — сказал обо мне один из них, мигнул и зачерпнул ложкой щи.

Казаки стали ужинать со сдержанным изяществом мужиков, уважающих друг друга, а я вытер саблю песком, вышел за ворота и вернулся снова, томясь. Луна висела над двором, как дешевая серьга.

— Братишка, — сказал мне вдруг Суровков, старший из казаков, — садись с нами снедать, покеле твой гусь доспеет...

Он вынул из сапога запасную ложку и подал ее мне. Мы похлебали самодельных щей и съели свинину.

— В газете-то что пишут? — спросил парень с льняным волосом и опростал мне место.

— В газете Ленин пишет, — сказал я, вытаскивая «Правду», — Ленин пишет, что во всем у нас недостача...

И громко, как торжествующий глухой, я прочитал казакам ленинскую речь.

Вечер завернул меня в живительную влагу сумеречных своих простынь, вечер приложил материнские ладони к пылающему моему лбу.

Я читал, и ликовал, и подстерегал, ликуя, таинственную кривую ленинской прямой.

— Правда всякую ноздрю щекочет, — сказал Суровков, когда я кончил, — да как ее из кучи вытащить, а он бьет сразу, как курица по зерну.

Это сказал о Ленине Суровков, взводный штабного эскадрона, и потом мы пошли спать на сеновал. Мы спали шестеро там, согреваясь друг от друга, с перепутанными ногами, под дырявой крышей, пропускавшей звезды.

Я видел сны и женщин во сне, и только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло.

РАББИ

— ...Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери нет в живых, она оставляет по себе воспоминание, которое никто еще не решился осквернить. Память о матери питает в нас сострадание, как океан, безмерный океан питает реки, рассекающие вселенную...

Слова эти принадлежали Гедали. Он произнес их с важностью. Угасающий вечер окружал его розовым дымом своей печали. Старик сказал:

— В страстном здании хасидизма вышиблены окна и двери, но оно бессмертно, как душа матери... С вытекшими глазницами хасидизм все еще стоит на перекрестке ветров истории.

Так сказал Гедали, и, помолившись в синагоге, он повел меня к рабби Моталэ, к последнему рабби из Чернобыльской династии.

Мы поднялись с Гедали вверх по главной улице. Белые костелы блеснули вдали, как гречишные поля. Орудийное колесо простонало за углом. Две беременные хохлушки вышли из ворот, зазвенели монистами и сели на скамью. Робкая звезда зажглась в оранжевых боях заката, и покой, субботний покой, сел на кривые крыши житомирского гетто.

— Здесь, — прошептал Гедали и указал мне на длинный дом с разбитым фронтоном.

Мы вошли в комнату — каменную и пустую, как морг. Рабби Моталэ сидел у стола, окруженный бесноватыми

и лжецами. На нем была соболья шапка и белый халат, стянутый веревкой. Рабби сидел с закрытыми глазами и рылся худыми пальцами в желтом пухе своей бороды.

— Откуда приехал еврей? — спросил он и приподнял веки.

— Из Одессы, — ответил я.

— Благочестивый город, — сказал рабби, — звезда нашего изгнания, невольный колодезь наших бедствий!.. Чем занимается еврей?

— Я перекладываю в стихи похождения Герша из Острополя.

— Великий труд, — прошептал рабби и сомкнул веки. — Шакал стонет, когда он голоден, у каждого глупца хватает глупости для уныния, и только мудрец раздирает смехом завесу бытия... Чему учился еврей?

— Библии.

— Чего ищет еврей?

— Веселья.

— Реб Мордхэ, — сказал цадик и затряс бородой, — пусть молодой человек займет место за столом, пусть он ест в этот субботний вечер вместе с остальными евреями, пусть он радуется тому, что он жив, а не мертв, пусть он хлопает в ладоши, когда его соседи танцуют, пусть он пьет вино, если ему дадут вина...

И ко мне подскочил реб Мордхэ, давнишний шут с вывороченными веками, горбатый старикашка, ростом не выше десятилетнего мальчика.

— Ах, мой дорогой и такой молодой человек! — сказал оборванный реб Мордхэ и подмигнул мне. — Ах, сколько богатых дураков знал я в Одессе, сколько нищих мудрецов знал я в Одессе! Садитесь же за стол, молодой человек, и пейте вино, которого вам не дадут...

Мы уселись все рядом — бесноватые, лжецы и ротозеи. В углу стонали над молитвенниками плечистые евреи, похожие на рыбаков и на апостолов. Гедали в зеленом сюртуке дремал у стены, как пестрая птичка. И вдруг я увидел юношу за спиной Гедали, юношу с лицом Спинозы, с могущественным лбом Спинозы, с чахлым лицом монахини. Он курил и вздрагивал, как беглец, приведенный в тюрьму после погони. Оборванный Мордхэ подкрался к нему сзади, вырвал папиросу изо рта и отбежал ко мне.

— Это — сын равви, Илья, — прохрипел Мордхэ и придвинул ко мне кровоточащее мясо разорванных век, — проклятый сын, последний сын, непокорный сын...

И Мордхэ погрозил юноше кулачком и плюнул ему в лицо.

— Благословен господь, — раздался тогда голос рабби Моталэ Брацлавского, и он переломил хлеб своими монашескими пальцами, — благословен бог Израиля, избравший нас между всеми народами земли...

Рабби благословил пищу, и мы сели за трапезу. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном. Сын рабби курил одну папиросу за другой среди молчания и молитвы. Когда кончился ужин, я поднялся первый.

— Мой дорогой и такой молодой человек, — забормотал Мордхэ за моей спиной и дернул меня за пояс, — если бы на свете не было никого, кроме злых богачей и нищих бродяг, как жили бы тогда святые люди?

Я дал старику денег и вышел на улицу. Мы расстались с Гедали, я ушел к себе на вокзал. Там, на вокзале, в агитпоезде Первой Конной армии меня ждало сияние сотен огней, волшебный блеск радиостанции, упорный бег машин в типографии и недописанная статья в газету «Красный кавалерист».

ПУТЬ В БРОДЫ

Я скорблю о пчелах. Они истерзаны враждующими армиями. На Волыни нет больше пчел.

Мы осквернили ульи. Мы морили их серой и взрывали порохом. Чадившее тряпье издавало зловонье в священных республиках пчел. Умирая, они летали медленно и жужжали чуть слышно. Лишенные хлеба, мы саблями добывали мед. На Волыни нет больше пчел.

Летопись будничных злодеяний теснит меня неутомимо, как порок сердца. Вчера был день первого побоища под Бродами. Заблудившись на голубой земле, мы не подозревали об этом — ни я, ни Афонька Бида, мой друг. Лошади получили с утра зерно. Рожь была высока, солнце было прекрасно, и душа, не заслужившая этих сияющих и улетающих небес, жаждала неторопливых болей.

— За пчелу и ее душевность рассказывают бабы по станицах, — начал взводный, мой друг, — рассказывают всяко. Обидели люди Христа или не было такой обиды, — об этом все прочие дознаются по происшествии времени. Но вот, — рассказывают бабы по станицах, — скучает Христос на кресте. И подлетает к Христу всякая мошка, чтобы его тиранить! И он глядит на нее глазами и падает духом. Но только неисчислимой мошке не видно евоных глаз. И то же самое летает вокруг Христа пчела. «Бей его, — кричит мошка пчеле, — бей его на наш ответ!..» — «Не умею, — говорит пчела, поднимая крылья над Христом, — не умею, он плотницкого классу!..» Пчелу понимать надо, — заключает Афонька, мой взводный. — Нехай пчела перетерпит. И для нее небось ковыряемся...

И, махнув руками, Афонька затянул песню. Это была песня о соловом жеребчике. Восемь казаков — Афонькин взвод — стали ему подпевать.

— Соловый жеребчик, по имени Джигит, принадлежал подъесаулу, упившемуся водкой в день усекновения главы. — Так пел Афонька, вытягивая голос, как струну, и засыпая. — Джигит был верный конь, а подъесаул по праздникам не знал предела своим желаниям. Было пять штофов в день усекновения главы. После четвертого подъесаул сел на коня и стал править в небо. Подъем был долог, но Джигит был верный конь. Они приехали на небо, и подъесаул хватился пятого штофа. Но он был оставлен на земле — последний штоф. Тогда подъесаул заплакал о тщете своих усилий. Он плакал, и Джигит прядал ушами, глядя на хозяина...

Так пел Афонька, звеня и засыпая. Песня плыла, как дым. И мы двигались навстречу закату. Его кипящие реки стекали по расшитым полотенцам крестьянских полей. Тишина розовела. Земля лежала, как кошачья спина, поросшая мерцающим мехом хлебов. На пригорке сутулилась мазаная деревушка Клекотов. За перевалом нас ждало видение мертвенных и зубчатых Брод. Но у Клекотова нам в лицо звучно лопнул выстрел. Из-за хаты выглянули два польских солдата. Их кони были привязаны к столбам. На пригорок деловито въезжала легкая батарея неприятеля. Пули нитями протянулись по дороге.

— Ходу! — сказал Афонька.

И мы бежали.

О Броды! Мумии твоих раздавленных страстей дышали на меня непреоборимым ядом. Я ощущал уже смертельный холод глазниц, налитых стынувшей слезой. И вот — трясущийся галоп уносит меня от выщербленного камня твоих синагог...

УЧЕНИЕ О ТАЧАНКЕ

Мне прислали из штаба кучера, или, как принято у нас говорить, повозочного. Фамилия его Грищук. Ему тридцать девять лет.

Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву, северо-запад России, достиг Волыни и в Белеве был пойман самой безмозглой в мире мобилизационной комиссией и водворен на военную службу. До Кременецкого уезда, откуда Грищук родом, ему осталось пятьдесят верст. В Кременецком уезде у него жена и дети. Он не был дома пять лет и два месяца. Мобилизационная комиссия сделала его моим повозочным, и я перестал быть парией среди казаков.

Я — обладатель тачанки и кучера в ней. Тачанка! Это слово сделалось основой треугольника, на котором зиждется наш обычай: рубить — тачанка — кровь...

Поповская, заседательская ординарнейшая бричка по капризу гражданской распри вошла в случа́й, сделалась грозным и подвижным боевым средством, создала новую стратегию и новую тактику, исказила привычное лицо войны, родила героев и гениев от тачанки. Таков Махно, сделавший тачанку осью своей таинственной и лукавой стратегии, упразднивший пехоту, артиллерию и даже конницу и взамен этих неуклюжих громад привинтивший к бричкам триста пулеметов. Таков Махно, многообразный, как природа. Возы с сеном, построившись в боевом порядке, овладевают городами. Свадебный кортеж, подъезжая к волостному исполкому, открывает сосредоточенный

огонь, и чахлый попик, развеяв над собою черное знамя анархии, требует от властей выдачи буржуев, выдачи пролетариев, вина и музыки.

Армия из тачанок обладает неслыханной маневренной способностью.

Буденный показал это не хуже Махно. Рубить эту армию трудно, выловить — немыслимо. Пулемет, закопанный под скирдой, тачанка, отведенная в крестьянскую клуню, — они перестают быть боевыми единицами. Эти схоронившиеся точки, предполагаемые, но не ощутимые слагаемые, дают в сумме строение недавнего украинского села — свирепого, мятежного и корыстолюбивого. Такую армию, с растыканной по углам амуницией, Махно в один час приводит в боевое состояние; еще меньше времени требуется, чтобы демобилизовать ее.

У нас, в регулярной коннице Буденного, тачанка не властвует столь исключительно. Однако все наши пулеметные команды разъезжают только на бричках. Казачья выдумка различает два вида тачанок: колонистскую и заседательскую. Да это и не выдумка, а разделение, истинно существующее.

На заседательских бричках, на этих расхлябанных, без любви и изобретательности сделанных возках, тряслось по кубанским пшеничным степям убогое красноносое чиновничество, невыспавшаяся кучка людей, спешивших на вскрытия и на следствия, а колонистские тачанки пришли к нам из самарских и уральских приволжских урочищ, из тучных немецких колоний. На дубовых просторных спинках колонистской тачанки рассыпана домовитая живопись — пухлые гирлянды розовых немецких цветов. Крепкие днища окованы железом. Ход поставлен на незабываемые рессоры. Жар многих поколений чувствую я в этих рессорах, бьющихся теперь по развороченному волынскому шляху.

Я испытываю восторг первого обладания. Каждый день после обеда мы запрягаем. Грищук выводит из конюшни лошадей. Они поправляются день ото дня. Я нахожу уже с гордой радостью тусклый блеск на их начищенных боках. Мы растираем коням припухшие ноги, стрижем гривы, накидываем на спины казацкую упряжь — запутанную ссохшуюся сеть из тонких ремней — и выезжаем со двора рысью. Грищук боком сидит на козлах; мое сиденье устлано цветистым рядном и

сеном, пахнущим духами и безмятежностью. Высокие колеса скрипят в зернистом белом песке. Квадраты цветущего мака раскрашивают землю, разрушенные костелы светятся на пригорках. Высоко над дорогой, в разбитой ядром нише стоит коричневая статуя святой Урсулы с обнаженными и круглыми руками. И узкие древние буквы вяжут неровную цепь на почерневшем золоте фронтона... «Во славу Иисуса и его божественной матери...»

Безжизненные еврейские местечки лепятся у подножия панских фольварков. На кирпичных заборах мерцает вещий павлин, бесстрастное видение в голубых просторах. Прикрытая раскидистыми хибарками, присела к нищей земле синагога, безглазая, щербатая, круглая, как хасидская шляпа. Узкоплечие евреи грустно торчат на перекрестках. И в памяти зажигается образ южных евреев, жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино. Несравнима с ними горькая надменность этих длинных и костлявых спин, этих желтых и трагических бород. В страстных чертах, вырезанных мучительно, нет жира и теплого биения крови. Движения галицийского и волынского еврея несдержанны, порывисты, оскорбительны для вкуса, но сила их скорби полна сумрачного величия, и тайное презрение к пану безгранично. Глядя на них, я понял жгучую историю этой окраины, повествование о талмудистах, державших на откупу кабаки, о раввинах, занимавшихся ростовщичеством, о девушках, которых насиловали польские жолнеры и из-за которых стрелялись польские магнаты.

СМЕРТЬ ДОЛГУШОВА

Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Корочаев в черной бурке — опальный начдив четыре, сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу:

— Коммуникации наши прорваны, Радзивиллов и Броды в огне!..

И ускакал — развевающийся, весь черный, с угольными зрачками.

На равнине, гладкой, как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах. Сестры милосердия лежали на траве и вполголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирование. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы:

— Набили нам ряшку. Дважды два. Есть думка за начдива, смещают. Сомневаются бойцы...

Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас, и поставили пулеметы где-то близко. Пули скулят и взвизгивают. Жалоба их нарастает невыносимо. Пули подстреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на солнцепеке, закричал во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое, в красных полосах от неудобного сна, а карманы полны слив.

— Сукиного сына, — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку, — вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг!

— Пойдем, што ль? — спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про Третий Интернационал.

— Там видать будет, — сказал Вытягайченко и вдруг закричал дико: — Девки, сидай на коников! Скликай людей, эскадронные!..

Трубачи проиграли тревогу. Эскадроны построились в колонну. Из канавы вылез раненый и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченке:

— Тарас Григорьевич, я есть делегат. Видать, вроде того, что останемся мы...

— Отобьетесь... — пробормотал Вытягайченко и поднял коня на дыбы.

— Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, — сказал раненый ему вслед.

— Не канючь, — обернулся Вытягайченко, — небось не оставлю, — и скомандовал повод.

И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки Биды, моего друга:

— Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, до его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные... Хапать нечего — поспеешь к богородице груши околачивать...

— Шагом! — скомандовал Вытягайченко, не поднимая глаз.

Полк ушел.

— Если думка за начдива правильная, — прошептал Афонька, задерживаясь, — если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка.

Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, захрипел, гикнул и умчался.

Грищук со своей глупой тачанкой да я — мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез. Чужие части не принимали нас. Полки вошли в Броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул. Тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами.

— Грищук! — крикнул я сквозь свист и ветер.

— Баловство, — ответил он печально.

— Пропадаем, — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом, — пропадаем, отец!

— Зачем бабы трудаются? — ответил он еще печальнее. — Зачем сватання, венчання, зачем кумы на свадьбах гуляют...

В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный Путь проступил между звездами.

— Смеха мне, — сказал Грищук горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге, — смеха мне, зачем бабы трудаются...

Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор.

— Я вот что, — сказал Долгушов, когда мы подъехали, — кончусь... Понятно?

— Понятно, — ответил Грищук, останавливая лошадей.

— Патрон на меня надо стратить, — сказал Долгушов.

Он сидел, прислонившись к дереву. Сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени и удары сердца были видны.

— Наскочит шляхта — насмешку сделает. Вот документ, матери отпишешь, как и что...

— Нет, — ответил я и дал коню шпоры.

Долгушов разложил по земле синие ладони и осмотрел их недоверчиво...

— Бежишь? — пробормотал он, сползая. — Беги, гад...

Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька Бида.

— По малости чешем, — закричал он весело. — Что у вас тут за ярмарка?

Я показал ему на Долгушова и отъехал.

Они говорили коротко, — я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот.

— Афоня, — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку, — а я вот не смог.

— Уйди, — ответил он, бледнея, — убью! Жалеете вы, очкастые, нашего брата, как кошка мышку...

И взвел курок.

Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть.

— Вона, — закричал сзади Грищук, — ан дури! — и схватил Афоньку за руку.

— Холуйская кровь! — крикнул Афонька. — Он от моей руки не уйдет...

Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону.

— Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга...

Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко.

— Кушай, — сказал он мне, — кушай, пожалуйста...

КОМБРИГ ДВА

Буденный в красных штанах с серебряным лампасом стоял у дерева. Только что убили комбрига два. На его место командарм назначил Колесникова.

Час тому назад Колесников был командиром полка. Неделю тому назад Колесников был командиром эскадрона.

Нового бригадного вызвали к Буденному. Командарм ждал его, стоя у дерева. Колесников приехал с Алмазовым, своим комиссаром.

— Жмет нас гад, — сказал командарм с ослепительной своей усмешкой. — Победим или подохнем. Иначе — никак. Понял?

— Понял, — ответил Колесников, выпучив глаза.

— А побежишь — расстреляю, — сказал командарм, улыбнулся и отвел глаза в сторону начальника особого отдела.

— Слушаю, — сказал начальник особого отдела.

— Катись, Колесо! — бодро крикнул какой-то казак со стороны.

Буденный стремительно повернулся на каблуках и отдал честь новому комбригу. Тот растопырил у козырька пять красных юношеских пальцев, вспотел и ушел по распаханной меже. Лошади ждали его в ста саженях. Он шел, опустив голову, и с томительной медленностью перебирал кривыми, длинными ногами. Пылание заката разлилось над ним, малиновое и неправдоподобное, как надвигающаяся смерть.

И вдруг на распростершейся земле, на развороченной и желтой наготе полей мы увидали ее одну — узкую спину Колесникова с болтающимися руками и упавшей головой в сером картузе.

Ординарец подвел ему коня.

Он вскочил в седло и поскакал к своей бригаде, не оборачиваясь. Эскадроны ждали его у большой дороги, у Бродского шляха.

Стонущее «ура», разорванное ветром, доносилось до нас.

Наведя бинокль, я увидел комбрига, вертевшегося на лошади в столбах густой пыли.

— Колесников повел бригаду, — сказал наблюдатель, сидевший над нашими головами на дереве.

— Есть, — ответил Буденный, закурил папиросу и закрыл глаза.

«Ура» смолкло. Канонада задохлась. Ненужная шрапнель лопнула над лесом. И мы услышали великое безмолвие рубки.

— Душевный малый, — сказал командарм, вставая. — Ищет чести. Надо полагать — вытянет.

И, потребовав лошадей, Буденный уехал к месту боя. Штаб двинулся за ним.

Колесникова мне довелось увидеть в тот же вечер, через час после того, как поляки были уничтожены. Он ехал впереди своей бригады, один, на буланом жеребце, и дремал. Правая рука его висела на перевязи. В десяти шагах от него конный казак вез развернутое знамя. Головной эскадрон лениво запевал похабные куплеты. Бригада тянулась пыльная и бесконечная, как крестьянские возы на ярмарку. В хвосте пыхтели усталые оркестры.

В тот вечер в посадке Колесникова я увидел властительное равнодушие татарского хана и распознал выучку прославленного Книги, своевольного Павличенки, пленительного Савицкого.

САШКА ХРИСТОС

Сашка — это было его имя, а Христом прозвали его за кротость. Он был общественный пастух в станице и не работал тяжелой работы с четырнадцати лет, с той поры, когда заболел дурной болезнью. Это все так было:

Тараканыч, Сашкин отчим, ушел на зиму в город Грозный и пристал там к артели. Артель сбилась успешная, из рязанских мужиков. Тараканыч делал для них плотницкую работу, и достатку у него прибывало. Он не управлялся с делами и выписал к себе мальчика подручным: зимой станица и без Сашки проживет. Сашка проработал при отчиме неделю. Потом настала суббота, они пошабашили и сели чай пить. На дворе стоял октябрь, но воздух был легкий. Они открыли окно и согрели второй самовар. Под окнами шлялась побирушка. Она стукнула в раму и сказала:

— Здравствуйте, иногородние крестьяне. Обратите внимание на мое положение.

— Какое там положение? — сказал Тараканыч. — Заходи, калечка.

Побирушка завозилась за стеной и потом вскочила в комнату. Она прошла к столу и поклонилась в пояс. Тараканыч схватил ее за косынку, кинул косынку долой и почесал в волосах. У побирушки волосы были серые, седые, в клочьях и в пыли.

— Фу ты, какой мужик занозистый и стройный, — сказала она, — чистый цирк с тобой... Пожалуйста, не побрезгуйте мной, старушкой, — прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку.

Тараканыч лег с ней. Побирушка закидывала голову набок и смеялась.

— Дождик на старуху, — смеялась она, — двести пудов с десятины дам...

И, сказавши это, она увидела Сашку, который пил чай у стола и не поднимал глаз на божий мир.

— Твой хлопец? — спросила она Тараканыча.

— Вроде моего, — ответил Тараканыч, — женин.

— Вот деточка, глазенапы выкатил, — сказала баба. — Ну, иди сюда..

Сашка подошел к ней — и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал побирушке костей с обеда и серебряный пятачок, очень блесткий.

— Начисть его, молитвенница, песком, — сказал Тараканыч, — он еще более вида получит. В темную ночь ссудишь его господу богу, пятачок заместо луны светить будет...

Калечка обвязалась косынкой, забрала кости и ушла. А через две недели все сделалось для мужиков явно. Они много страдали от дурной болезни, перемогались всю зиму и лечились травами. А весной уехали в станицу на свою крестьянскую работу.

Станица отстояла от железной дороги на девять верст. Тараканыч и Сашка шли полями. Земля лежала в апрельской сырости. В черных ямах блистали изумруды. Зеленая поросль прошивала землю хитрой строчкой. И от земли пахло кисло, как от солдатки на рассвете. Первые стада стекали с курганов, жеребята играли в голубых просторах горизонта.

Тараканыч и Сашка шли тропками, чуть заметными.

— Отпусти меня, Тараканыч, к обществу в пастухи, — сказал Сашка.

— Что так?

— Не могу я терпеть, что у пастухов такая жизнь великолепная.

— Я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня, ради бога, Тараканыч, — повторил Сашка, — все святители из пастухов вышли.

— Сашка-святитель, — захохотал отчим, — у богородицы сифилис захватил.

Они прошли перегиб у Красного моста, миновали рощицу, выгон и увидели крест на станичной церкви.

Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирени, пили водку и пели. До Тараканычевой избы было с полверсты ходу.

— Давай бог, чтобы благополучно, — сказал он и перекрестился.

Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать доила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно. Тараканыч засмеялся и закричал у бабы за спиной:

— Мотя, ваше высокоблагородие, собирай гостям ужинать...

Баба обернулась, затрепетала, побежала из конюшни и закружилась по двору. Потом она вернулась к своему месту, кинулась к Тараканычу на грудь и забилась.

— Вот какая ты дурная и незаманчивая, — сказал Тараканыч и отстранил ее ласково. — Кажи детей...

— Ушли дети со двора, — сказала баба, вся белая, снова побежала по двору и упала на землю. — Ах, Алешенька, — закричала она дико, — ушли наши детки ногами вперед...

Тараканыч махнул рукой и пошел к соседям. Соседи рассказали, что мальчика и девочку бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Мотя писала ему, но он, верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь.

— Отделалась ты, Мотя, вчистую, — сказал Тараканыч, — терзать тебя надо.

Он сел к столу и затосковал, — и тосковал до самого сна, ел мясо и пил водку и не пошел по хозяйству. Он храпел у стола, и просыпался, снова храпел. Мотя постелила себе и мужу на кровати, а Сашке в стороне. Она задула лампу и легла с мужем. Сашка ворочался на сене в своем углу, глаза его были раскрыты, он не спал и видел, как бы во сне, хату, звезду в окне и край стола и хомуты под материной кроватью. Насильственное видение побеждало его, он поддавался мечтам и радовался своему сну наяву. Ему чудилось, что с неба свешиваются два серебряных шнура, крученных в толстую нитку, к ним приделана колыска, колыска из розового дерева, с разводами. Она качается высоко над землей и далеко от неба, и серебряные шнуры движутся и блестят. Сашка лежит в колыске, и воздух его обвевает. Воздух, громкий, как музыка, идет с полей, радуга цветет на незрелых хлебах.

Сашка радовался своему сну наяву и закрывал глаза, чтобы не видеть хомутов под материной кроватью. Потом он услышал сопение на Мотиной лежанке и подумал о том, что Тараканыч мнет мать.

— Тараканыч, — сказал он громко, — до тебя дело есть.

— Какие дела ночью? — сердито отозвался Тараканыч. — Спи, стервяга...

— Я крест приму, что дело есть, — ответил Сашка, — выдь во двор.

И во дворе, под немеркнущей звездой, Сашка сказал отчиму:

— Не обижай мать, Тараканыч, ты порченый.

— А ты мой характер знаешь? — спросил Тараканыч.

— Я твой характер знаю, но только ты видал мать, при каком она теле? У нее и ноги чистые, и грудь чистая. Не обижай ее, Тараканыч. Мы порченые.

— Мил человек, — ответил отчим, — уйди от крови и от моего характера. На вот двугривенный, проспи ночь, вытрезвись...

— Мне двугривенный без пользы, — пробормотал Сашка, — отпусти меня к обществу в пастухи...

— С этим я не согласен, — сказал Тараканыч.

— Отпусти меня в пастухи, — пробормотал Сашка, — а то я матери откроюсь, какие мы. За что ей страдать при таком теле...

Тараканыч отвернулся, пошел в сарай и принес топор.

— Святитель, — сказал он шепотом, — вот и вся недолга... я порубаю тебя, Сашка...

— Ты не станешь меня рубить за бабу, — сказал мальчик чуть слышно и наклонился к отчиму, — ты меня жалеешь, отпусти меня в пастухи...

— Шут с тобой, — сказал Тараканыч и кинул топор, — иди в пастухи.

И он вернулся в хату и переспал со своей женой.

В то же утро Сашка пошел к казакам наниматься и с той поры стал жить у общества в пастухах. Он прославился на весь округ простодушием, получил от станичников прозвище «Сашка Христос» и прожил в пастухах бессменно до призыва. Старые мужики, какие поплоше, приходили к нему на выгон чесать языки, бабы прибегали к Сашке опоминаться от безумных мужичьих повадок и не сердились на Сашку за его любовь и за его

болезнь. С призывом своим Сашка угодил в первый год войны. Он пробыл на войне четыре года и вернулся в станицу, когда там своевольничали белые. Сашку подбили идти в станицу Платовскую, где собирался отряд против белых. Выслужившийся вахмистр — Семен Михайлович Буденный — заправлял делами в этом отряде, и при нем были три брата: Емельян, Лукьян и Денис. Сашка пошел в Платовскую, и там решилась его судьба. Он был в полку Буденного, в бригаде его, в дивизии и в Первой Конной армии. Он ходил выручать героический Царицын, соединился с Десятой армией Ворошилова, бился под Воронежем, под Касторной и у Генеральского моста на Донце. В польскую кампанию Сашка вступил обозным, потому что был поранен и считался инвалидом.

Вот как все это было. С недавних пор стал я водить знакомство с Сашкой Христом и переложил свой сундучок на его телегу. Нередко встречали мы утреннюю зорю и сопутствовали закатам. И когда своевольное хотение боя соединяло нас — мы садились по вечерам у блещущей завалинки, или кипятили в лесах чай в закопченном котелке, или спали рядом на скошенных полях, привязав к ноге голодного коня.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПАВЛИЧЕНКИ, МАТВЕЯ РОДИОНЫЧА

Земляки, товарищи, родные мои братья! Так осознайте же во имя человечества жизнеописание красного генерала Матвея Павличенки. Он был пастух, тот генерал, пастух в усадьбе Лидино, у барина Никитинского, и пас барину свиней, пока не вышла ему от жизни нашивка на погоны, и тогда с нашивкой этой стал Матюшка пасти рогатую скотину. И кто его знает, — уродись он в Австралии, Матвей наш, свет Родионыч, то возможная вещь, друзья, он и до слонов возвысился бы, слонов стал бы пасти Матюшка, кабы не это мое горе, что неоткуда взяться слонам в Ставропольской нашей губернии. Крупнее буйвола, откровенно вам выскажу, нет у нас животной в Ставропольской раскидистой нашей стороне. А от буйвола бедняк утехи себе не добудет, русскому человеку над буйволами издеваться скучно, нам, сиротам, лошадку на вечный суд подай, лошадку, чтобы душа у нее на меже с боками бы повылазила...

И вот пасу я рогатую мою скотину, коровами со всех сторон обставился, молоком меня навылет прохватило, воняю я, как разрезанное вымя, бычки вокруг меня для порядку ходят, мышастые бычки серого цвета. Воля кругом меня полегла на поля, трава во всем мире хрустит, небеса надо мной разворачиваются, как многорядная гармонь, а небеса, ребята, бывают в Ставропольской губернии очень синие. И пасу я этаким манером, с ветрами от нечего делать на дудках переигрываюсь, покеда один старец не говорит мне:

— Явись, — говорит, — Матвей, к Насте.

— Зачем, — говорю. — Или вы, старец, надо мной надсмехаетесь?..

— Явись, — говорит, — она желает.

И вот являюсь.

— Настя! — говорю я и всей моей кровью чернею. — Настя, — говорю, — или вы надо мной надсмехаетесь?

Но она не дает мне себя слыхать, а пускается от меня бегом и бежит из последних сил, и мы бежим с нею вместе, пока не стали на выгоне, мертвые, красные и без дыхания.

— Матвей, — говорит мне тут Настя, — третье воскресенье от этого, когда весенняя путина была и рыбалки к берегу шли, — вы то же самое с ними шли и голову опустили. Зачем же вы голову опускали, Матвей, или вам какая думка сердце жмет? Отвечайте мне...

И я отвечаю ей.

— Настя, — отвечаю, — мне отвечать вам нечего, голова моя не ружье, на ней мушки нету и прицельной камеры нету, а сердце мое вам известно, Настя, оно от всего пустое, оно небось молоком прохвачено, это ужасное дело, как я молоком воняю...

И Настя, вижу, заходится от этих моих слов.

— Я крест приму, — заходится она, смеется напропалую, смеется во весь голос, на всю степь, как будто на барабане играет, — я крест приму, вы с барышнями перемаргиваетесь...

И, поговоривши короткое время глупости, мы с ней вскорости женились. И стали мы жить с Настей, как умели, а уметь мы умели. Всю ночь нам жарко было, зимой нам жарко было, всю долгую ночь мы голые ходили и шкуру друг с дружки обрывали. Хорошо жили, как черти, и все до той поры, пока не заявляется ко мне старец во второй раз.

— Матвей, — говорит он, — барин давеча твою жену за все места трогал, он ее достигнет, барин...

А я:

— Нет, — говорю, — нет, и простите меня, старец, или я пришью вас на этом месте.

И старец, безусловно, пустился от меня ходом, а я обошел в тот день моими ногами двадцать верст земли, большой кусок земли обошел я в тот день моими ногами и вечером вырос в усадьбе Лидино у веселого барина моего Никитинского. Он сидел в горнице, старый старик,

и разбирал три седла: английское, драгунское и казацкое, — а я рос у его двери, как лопух, цельный час рос, и все без последствий. Но потом он кинул на меня глаза.

— Чего ты желаешь? — говорит.

— Желаю расчета.

— Умысел на меня имеешь?

— Умысла не имею, но желаю.

Тут он свернул глаза на сторону, свернул с большака в переулочек, настелил на пол малиновых потничков, они малиновей царских флагов были, потнички его, встал над ними старикашка и запетушился.

— Вольному волю, — говорит он мне и петушится, — я мамашей ваших, православные христиане, всех таракани л, расчет можешь получить, только не должен ли ты мне, дружок мой Матюша, какой-нибудь пустяковины?

— Хи-хи, — отвечаю, — вот затейники вы, в сам-деле, убей меня бог, вот затейники! Мне небось с вас зажитое следует...

— Зажитое, — скрыгочет тут мой барин, и кидает меня на колюшки, и сучит ногами, и лепит мне в ухо отца, и сына, и святого духа, — зажитое тебе, а ярмо забыл, в прошлом годе ты мне ярмо от быков сломал, — где оно, мое ярмо?

— Ярмо я тебе отдам, — отвечаю я моему барину, и возвожу к нему простые мои глаза, и стою перед ним на колюшках ниже всякой земной низины, — отдам тебе ярмо, но ты не тесни меня с долгами, старый человек, а подожди на мне малость...

И что же, ребята вы ставропольские, земляки мои, товарищи, рóдные мои братья, пять годов барин на мне долги ждал, пять пропащих годов пропадал я, покуда ко мне, к пропащему, не прибыл в гости восемнадцатый годок. На веселых жеребцах прибыл он, на кабардинских своих лошадках. Большой обоз вел он за собой и всякие песни. И эх, люба ж ты моя, восемнадцатый годок! И неужели не погулять нам с тобой еще разок, кровиночка ты моя, восемнадцатый годок... Расточили мы твои песни, выпили твое вино, постановили твою правду, одни писаря нам от тебя остались. И эх, люба моя! Не писаря летели в те дни по Кубани и выпущали на воздух генеральскую душу с одного шагу дистанции, Матвей Родионыч лежал тогда на крови под Прикумском, и оставалось от Матвея Родионыча до усадьбы Лидино пять верст последнего перехода. Я и поехал туда один, без отряда, и,

взойдя в горницу, взошел в нее смирно. Земельная власть сидела там, в горнице, Никитинский чаем ее обносил и ласкался до людей, но, увидев меня, сошел со своего лица, а я кубанку перед ним снял.

— Здравствуйте, — сказал я людям, — здравствуйте, пожалуйста. Принимайте, барин, гостя или как там у нас будет?

— Будет у нас тихо, благородно, — отвечает мне тут один человек, по выговору, замечаю, землемер, — будет у нас тихо, благородно, но ты, товарищ Павличенко, скакал, видать, издалека, грязь пересекает твой образ. Мы, земельная власть, ужасаемся такого образа, почему это такое?

— Потому это, — отвечаю, — земельная вы и холоднокровная власть, потому оно, что в образе моем щека одна пять годков горит, в окопе горит, при бабе горит, на последнем суде гореть будет. На последнем суде, — говорю и смотрю на Никитинского вроде как весело, а у него уже и глаз нету, только шары посреди лица стоят, как будто вкатили ему шары под лоб на позицию, и он хрустальными этими шарами мне примаргивает тоже вроде как весело, но очень ужасно.

— Матюша, — говорит он мне, — мы ведь знавались когда-то, и вот супруга моя, Надежда Васильевна, по причине происходящих времен рассудку лишившись, она ведь к тебе хороша была, Надежда Васильевна, ты ее, Матюша, больше всех уважал, неужели ты не пожелаешь ее увидеть, когда она свету лишилась?

— Можно, — говорю, и мы входим с ним в другую комнату, и там он руки стал у меня трогать, правую руку, потом левую.

— Матюша, — говорит, — ты судьба моя или нет?

— Нет, — говорю, — и брось эти слова. Бог от нас, холуев, ушился; судьба наша индейка, жисть наша копейка, брось эти слова и послушай, коли хочешь, письмо Ленина...

— Мне письмо, Никитинскому?

— Тебе, — и вынимаю я книгу приказов, раскрываю на чистом листе и читаю, хотя сам неграмотный до глубины души. «Именем народа, — читаю, — и для основания будущей светлой жизни, приказываю Павличенко, Матвею Родионычу, лишать разных людей жизни согласно его усмотрению...» Вот, — говорю, — это оно и есть, ленинское к тебе письмо...

А он мне: нет!

— Нет, — говорит, — Матюша, хоть жизнь наша на чертову сторону схилилась и кровь в российской равноапостольной державе дешева стала, но тебе сколько крови полагается — ты ее все равно достанешь и мои смертные взоры забудешь, и не лучше ли будет, если я тебе половицу покажу?

— Кажи, — говорю, — может, оно лучше будет.

И опять мы с ним по комнате пошли, в винный погреб спустились, там он кирпич один отвалил и нашел шкатулку за этим кирпичиком. В ней были перстни, в шкатулке, ожерелья, ордена и жемчужная святыня. Он кинул ее мне и обомлел.

— Твое, — говорит, — владей никитинской святыней и шагай прочь, Матвей, в прикумское твое логово...

И тут я взял его за тело, за глотку, за волосы.

— С щекой-то что мне делать, — говорю, — с щекой как мне быть, люди-братья?

И тогда он сам с себя посмеялся слишком громко и вырываться не стал.

— Шакалья совесть, — говорит и не вырывается. — Я с тобой, как с российской империи офицером говорю, а вы, хамы, волчицу сосали... Стреляй в меня, сукин сын...

Но я стрелять в него не стал, стрельбы я ему не должен был никак, а только потащил наверх в залу. Там, в зале, Надежда Васильевна, совершенно сумасшедшие, сидели, они с шашкой наголо по зале прохаживались и в зеркало гляделись. А когда я Никитинского в залу притащил, Надежда Васильевна побежали в кресло садиться, на них бархатная корона перьями убрана была, они в кресла бойко сели и шашкой мне на караул сделали. И тогда я потоптал барина моего Никитинского. Я час его топтал или более часу, и за это время я жизнь сполна узнал. Стрельбой, — я так выскажу, — от человека только отделаться можно: стрельба — это ему помилование, а себе гнусная легкость, стрельбой до души не дойдешь, где она у человека есть и как она показывается. Но я, бывает, себя не жалею, я, бывает, врага час топчу или более часу, мне желательно жизнь узнать, какая она у нас есть...

КЛАДБИЩЕ В КОЗИНЕ

Кладбище в еврейском местечке. Ассирия и таинственное тление Востока на поросших бурьяном волынских полях.

Обточенные серые камни с трехсотлетними письменами. Грубое тиснение горельефов, высеченных на граните. Изображение рыбы и овцы над мертвой человеческой головой. Изображения раввинов в меховых шапках. Раввины подпоясаны ремнем на узких чреслах. Под безглазыми лицами волнистая каменная линия завитых бород. В стороне, под дубом, размозженным молнией, стоит склеп рабби Азриила, убитого казаками Богдана Хмельницкого. Четыре поколения лежат в этой усыпальнице, нищей, как жилище водоноса, и скрижали, зазеленевшие скрижали, поют о них молитвой бедуина:

«Азриил, сын Анания, уста Еговы.

Илия, сын Азриила, мозг, вступивший в единоборство с забвением.

Вольф, сын Илии, принц, похищенный у Торы на девятнадцатой весне.

Иуда, сын Вольфа, раввин краковский и пражский.

О смерть, о корыстолюбец, о жадный вор, отчего ты не пожалел нас хотя бы однажды?»

ПРИЩЕПА

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — молодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифилитик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе...

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В отместку они взяли заложниками его родителей и убили их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в прокисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жбаны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак находил вещи матери или чубук отца, он оставлял подколотых старух, собак, повешенных над колодцем, иконы, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опустошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель

в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое кольцо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскресенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бросил в огонь прядь своих волос и сгинул.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Савицкий, наш начдив, забрал когда-то у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Это была лошадь пышного экстерьера, но с сырыми формами, которые мне всегда казались тяжеловатыми. Хлебников получил взамен воронук кобыленку неплохих кровей, с гладкой рысью. Но он держал кобыленку в черном теле, жаждал мести, ждал своего часу и дождался его.

После июльских неудачных боев, когда Савицкого сместили и заслали в резерв чинов командного запаса, Хлебников написал в штаб армии прошение о возвращении ему лошади. Начальник штаба наложил на прошении резолюцию: «Возворотить изложенного жеребца в первобытное состояние», — и Хлебников, ликуя, сделал сто верст для того, чтобы найти Савицкого, жившего тогда в Радзивиллове, в изувеченном городишке, похожем на оборванную салопницу. Он жил один, смещенный начдив, лизуны из штабов не узнавали его больше. Лизуны из штабов удили жареных куриц в улыбках командарма, и, холопствуя, они отвернулись от прославленного начдива.

Облитый духами и похожий на Петра Великого, он жил в опале с казачкой Павлой, отбитой им у еврея-интенданта, и с двадцатью кровными лошадьми, которых мы считали его собственностью. Солнце на его дворе напрягалось и томилось слепотой своих лучей, жеребята на его дворе бурно сосали маток, конюхи с взмокшими спинами просеивали овес на выцветших веялках. Израненный истиной и ведомый местью, Хлебников шел напрямик к забаррикадированному двору.

— Личность моя вам знакомая? — спросил он у Савицкого, лежавшего на сене.

— Видал я тебя как будто, — ответил Савицкий и зевнул.

— Тогда получайте резолюцию начштаба, — сказал Хлебников твердо, — и прошу вас, товарищ из резерва, смотреть на меня официальным глазом...

— Можно, — примирительно пробормотал Савицкий, взял бумагу и стал читать ее необыкновенно долго. Потом он позвал вдруг казачку, чесавшую себе волосы в холодку, под навесом.

— Павла, — сказал он, — с утра, слава тебе господи, чешемся... Направила бы самоварчик...

Казачка отложила гребень и, взяв в руки волосы, перебросила их за спину.

— Целый день сегодня, Константин Васильевич, цепляемся, — сказала она с ленивой и повелительной усмешкой, — то того вам, то другого...

И она пошла к начдиву, неся грудь на высоких башмаках, грудь, шевелившуюся, как животное в мешке.

— Целый день цепляемся, — повторила женщина, сияя, и застегнула начдиву рубаху на груди.

— То этого мне, а то того, — засмеялся начдив, вставая, обнял Павлины отдавшиеся плечи и обернул вдруг к Хлебникову помертвевшее лицо.

— Я еще живой, Хлебников, — сказал он, обнимаясь с казачкой, — еще ноги мои ходют, еще кони мои скачут, еще руки мои тебя достанут и пушка моя греется около моего тела...

Он вынул револьвер, лежавший у него на голом животе, и подступил к командиру первого эскадрона.

Тот повернулся на каблуках, шпоры его застонали, он вышел со двора, как ординарец, получивший эстафету, и снова сделал сто верст для того, чтобы найти начальника штаба, но тот прогнал от себя Хлебникова.

— Твое дело, командир, решенное, — сказал начальник штаба. — Жеребец тебе мною возворочен, а докуки мне без тебя хватает...

Он не стал слушать Хлебникова и возвратил наконец первому эскадрону сбежавшего командира. Хлебников целую неделю был в отлучке. За это время нас перегнали на стоянку в Дубенские леса. Мы разбили там палатки и жили хорошо. Хлебников вернулся, я помню, в воскре-

сенье утром, двенадцатого числа. Он потребовал у меня бумаги больше дести и чернил. Казаки обстругали ему пень, он положил на пень револьвер и бумаги и писал до вечера, перемарывая множество листов.

— Чистый Карл Маркс, — сказал ему вечером военком эскадрона. — Чего ты пишешь, хрен с тобой?

— Описываю разные мысли согласно присяге, — ответил Хлебников и подал военкому заявление о выходе из Коммунистической партии большевиков.

«*Коммунистическая партия*, — было сказано в этом заявлении, — *основана, палагаю, для радости и твердой правды без предела и должна также осматриваться на малых. Теперь коснусь до белого жеребца, которого я отбил у неимоверных по своей контре крестьян, имевший захудалый вид, и многие товарищи беззастенчиво надсмехались над этим видом, но я имел силы выдержать тот резкий смех и, сжав зубы за общее дело, выходил жеребца до желаемой перемены, потому я есть, товарищи, до серых коней охотник и положил на них силы, в малом количестве оставшиеся мне от империалистической и гражданской войны, и таковые жеребцы чувствуют мою руку, и я также могу чувствовать его бессловесную нужду и что ему требуется, но несправедливая вороная кобылица мне без надобности, я не могу ее чувствовать и не могу ее переносить, что все товарищи могут подтвердить, как бы не дошло до беды. И вот партия не может мне возворотить, согласно розолюции, мое кровное, то я не имею выхода, как писать это заявление со слезами, которые не подобают бойцу, но текут бесперечь и секут сердце, засекая сердце в кровь...*»

Вот это и еще много другого было написано в заявлении Хлебникова. Он писал его целый день, и оно было очень длинно. Мы с военкомом бились над ним с час и разобрали до конца.

— Вот и дурак, — сказал военком, разрывая бумагу, — приходи после ужина, будешь иметь беседу со мной.

— Не надо мне твоей беседы, — ответил Хлебников, вздрагивая, — проиграл ты меня, военком.

Он стоял, сложив руки по швам, дрожал, не сходя с места, и озирался по сторонам, как будто примериваясь, по какой дороге бежать. Военком подошел к нему

вплотную, но не доглядел. Хлебников рванулся и побежал изо всех сил.

— Проиграл! — закричал он дико, влез на пень и стал обрывать на себе куртку и царапать грудь.

— Бей, Савицкий, — закричал он, падая на землю, — бей враз!

Мы потащили его в палатку, казаки нам помогли. Мы вскипятили ему чай и набили папирос. Он курил и все дрожал. И только к вечеру успокоился наш командир. Он не заговаривал больше о сумасбродном своем заявлении, но через неделю поехал в Ровно, освидетельствовался во врачебной комиссии и был демобилизован как инвалид, имеющий шесть поранений.

Так лишились мы Хлебникова. Я был этим опечален, потому что Хлебников был тихий человек, похожий на меня характером. У него одного в эскадроне был самовар. В дни затишья мы пили с ним горячий чай. Нас потрясали одинаковые страсти. Мы оба смотрели на мир, как на луг в мае, как на луг, по которому ходят женщины и кони.

КОНКИН

Крошили мы шляхту по-за Белой Церковью. Крошили вдосталь, аж деревья гнулись. Я с утра отметину получил, но выкамаривал ничего себе, подходяще. Денек, помню, к вечеру пригибался. От комбрига я отбился, пролетариату всего казачишек пяток за мной увязалось. Кругом в обнимку рубаются, как поп с попадьей, юшка из меня помаленьку капает, конь мой передом мочится... Одним словом — два слова.

Вынеслись мы со Спирькой Забутым подальше от леска, глядим — подходящая арифметика... Сажнях в трехстах, ну не более, не то штаб пылит, не то обоз. Штаб — хорошо, обоз — того лучше. Барахло у ребятишек пооборвалось, рубашонки такие, что половой зрелости не достигают.

— Забутый, — говорю я Спирьке, — мать твою и так, и этак, и всяко, предоставляю тебе слово, как записавшемуся оратору, — ведь это штаб ихний уходит...

— Свободная вещь, что штаб, — говорит Спирька, — но только — нас двое, а их восемь...

— Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю... Помрем за кислый огурец и мировую революцию...

И пустились. Было их восемь сабель. Двоих сняли мы винтами на корню. Третьего, вижу, Спирька ведет в штаб Духонина для проверки документов. А я в туза целюсь. Малиновый, ребята, туз, при цепке и золотых часах. Прижал я его к хуторку. Хуторок там был весь в яблоне и вишне. Конь под моим тузом как купцова

дочка, но пристал. Бросает тогда пан генерал поводья, примеряется ко мне маузером и делает мне в ноге дырку.

«Ладно, думаю, будешь моя, раскинешь ноги...»

Нажал я колеса и вкладываю в коника два заряда. Жалко было жеребца. Большевичок был жеребец, чистый большевичок. Сам рыжий, как монета, хвост пулей, нога струной. Думал — живую Ленину свезу, ан не вышло. Ликвидировал я эту лошадку. Рухнула она, как невеста, и туз мой с седла снялся. Подорвал он в сторону, потом еще разок обернулся и еще один сквозняк мне в фигуре сделал. Имею я, значит, при себе три отличия в делах против неприятеля.

«Иисусе, думаю, он, чего доброго, убьет меня нечаянным порядком...»

Подскакал я к нему, а он уже шашку выхватил, и по щекам его слезы текут, белые слезы, человечье молоко.

— Даешь орден Красного Знамени! — кричу. — Сдавайся, ясновельможный, покуда я жив!..

— Не моге, пан, — отвечает старик, — ты зарежешь меня...

А тут Спиридон передо мной, как лист перед травой. Личность его в мыле, глаза от морды на нитках висят.

— Вася, — кричит он мне, — страсть сказать, сколько я людей кончил! А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить.

— Иди к турку, — говорю я Забутому и серчаю, — мне шитье его крови стоит.

И кобылой моей загоняю я генерала в клуню, сено там было или так. Тишина там была, темнота, прохлада.

— Пан, — говорю, — утихомирь свою старость, сдайся мне за-ради бога, и мы отдохнем с тобой, пан...

А он дышит у стенки грудью и трет лоб красным пальцем.

— Не моге, — говорит, — ты зарежешь меня, только Буденному отдам я мою саблю...

Буденного ему подавай. Эх, горе ты мое! И вижу — пропадает старый.

— Пан, — кричу я, и плачу, и зубами скрегочу, — слово пролетария, я сам высший начальник. Ты шитья на мне не ищи, а титул есть. Титул, вон он — музыкальный эксцентрик и салонный чревовещатель из города Нижнего... Нижний город на Волге-реке...

И бес меня взмыл. Генеральские глаза передо мной, как фонари, мигнули. Красное море передо мной открылось. Обида солью вошла мне в рану, потому, вижу, не верит мне дед. Замкнул я тогда рот, ребята, поджал брюхо, взял воздух и понес по старинке, по-нашенскому, по-бойцовски, по-нижегородски и доказал шляхте мое чревовещание.

Побелел тут старик, взялся за сердце и сел на землю.

— Веришь теперь Ваське-эксцентрику, Третьей непобедимой кавбригады комиссару?..

— Комиссар? — кричит он.

— Комиссар, — говорю я.

— Коммунист? — кричит он.

— Коммунист, — говорю я.

— В смертельный мой час, — кричит он, — в последнее мое воздыхание скажи мне, друг мой казак, — коммунист ты или врешь?

— Коммунист, — говорю.

Садится тут мой дед на землю, целует какую-то ладанку, ломает надвое саблю и зажигает две плошки в своих глазах, два фонаря над темной степью.

— Прости, — говорит, — не могу сдаться коммунисту, — и здоровается со мной за руку. — Прости, — говорит, — и руби меня по-солдатски...

Эту историю со всегдашним своим шутовством рассказал нам однажды на привале Конкин, политический комиссар N...ской кавбригады и троекратный кавалер ордена Красного Знамени.

— И до чего же ты, Васька, с паном договорился?

— Договоришься ли с ним?.. Гоноровый выдался. Покланялся я ему еще, а он упирается. Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и по сей час подо мной. А потом, вижу, каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает, сапоги мои полны крови, не до него...

— Облегчили, значит, старика?

— Был грех.

БЕРЕСТЕЧКО

Мы делали переход из Хотина в Берестечко. Бойцы дремали в высоких седлах. Песня журчала, как пересыхающий ручей. Чудовищные трупы валялись на тысячелетних курганах. Мужики в белых рубахах ломали шапки перед нами. Бурка начдива Павличенки веяла над штабом, как мрачный флаг. Пуховый башлык его был перекинут через бурку, кривая сабля лежала сбоку.

Мы проехали казачьи курганы и вышку Богдана Хмельницкого. Из-за могильного камня выполз дед с бандурой и детским голосом спел про былую казачью славу. Мы прослушали песню молча, потом развернули штандарты и под звуки гремящего марша ворвались в Берестечко. Жители заложили ставни железными палками, и тишина, полновластная тишина взошла на местечковый свой трон.

Квартира мне попалась у рыжей вдовы, пропахшей вдовьим горем. Я умылся с дороги и вышел на улицу. На столбах висели объявления о том, что военкомдив Виноградов прочтет вечером доклад о Втором конгрессе Коминтерна. Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышкой. Еврей затих и расставил ноги. Кудря правой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика, не забрызгавшись. Потом он стукнул в закрытую раму.

— Если кто интересуется, — сказал он, — нехай приберет. Это свободно...

И казаки завернули за угол. Я пошел за ними следом и стал бродить по Берестечку. Больше всего здесь евреев, а на окраинах расселились русские мещане — кожевники. Они живут чисто, в белых домиках за зелеными ставнями. Вместо водки мещане пьют пиво или мед, разводят табак в палисадничках и курят его из длинных гнутых чубуков, как галицийские крестьяне.

Быт выветрился в Берестечке, а он был прочен здесь. Отростки, которым перевалило за три столетия, все еще зеленели на Волыни теплой гнилью старины. Евреи связывали здесь нитями наживы русского мужика с польским паном, чешского колониста с лодзинской фабрикой. Это были контрабандисты, лучшие на границе, и почти всегда воители за веру. Хасидизм держал в удушливом плену это суетливое население из корчмарей, разносчиков и маклеров. Мальчики в капотиках все еще топтали вековую дорогу к хасидскому хедеру, и старухи по-прежнему возили невесток к цадику с яростной мольбой о плодородии.

Евреи живут здесь в просторных домах, вымазанных белой или водянисто-голубой краской. Традиционное убожество этой архитектуры насчитывает столетия. За домом тянется сарай в два, иногда в три этажа. В нем никогда не бывает солнца. Сараи эти, неописуемо мрачные, заменяют наши дворы. Потайные ходы ведут в подвалы и конюшни. Во время войны в этих катакомбах спасаются от пуль и грабежей. Здесь скопляются за много дней человечьи отбросы и навоз скотины. Уныние и ужас заполняют катакомбы едкой вонью и протухшей кислотой испражнений.

Берестечко нерушимо воняет и до сих пор, от всех людей несет запахом гнилой селедки. Местечко смердит в ожидании новой эры, и вместо людей по нему ходят слинявшие схемы пограничных несчастий. Они надоели мне к концу дня, я ушел за городскую черту, поднялся в гору и проник в опустошенный замок графов Рациборских, недавних владетелей Берестечка.

Спокойствие заката сделало траву у замка голубой. Над прудом взошла луна, зеленая, как ящерица. Из окна мне видно поместье графов Рациборских — луга и плантации из хмеля, скрытые муаровыми лентами сумерек.

В замке жила раньше помешанная девяностолетняя графиня с сыном. Она досаждала сыну за то, что он не дал наследников угасающему роду, и — мужики рассказывали мне — графиня била сына кучерским кнутом.

Внизу на площадке собрался митинг. Пришли крестьяне, евреи и кожевники из предместья. Над ними разгорелся восторженный голос Виноградова и звон его шпор. Он говорил о Втором конгрессе Коминтерна, а я бродил вдоль стен, где нимфы с выколотыми глазами водят старинный хоровод. Потом в углу, на затоптанном полу я нашел обрывок пожелтевшего письма. На нем вылинявшими чернилами было написано:

«Berestetchko, 1820, Paul, mon bien aimé, on dit que l'empereur Napoléon est mort, est-ce vrai? Moi, je me sens bien, les couches ont été faciles, notre petit héros achéve sept semaines...» [1]

Внизу не умолкает голос военкомдива. Он страстно убеждает озадаченных мещан и обворованных евреев:

— Вы — власть. Все, что здесь, — ваше. Нет панов. Приступаю к выборам Ревкома...

---

[1] «Берестечко, 1820. Поль, мой любимый, говорят, что император Наполеон умер, правда ли это? Я чувствую себя хорошо, роды были легкие, нашему маленькому герою исполняется семь недель...» *(франц.)*

СОЛЬ

«Дорогой товарищ редактор. Хочу описать вам за несознательность женщин, которые нам вредные. Надеются на вас, что вы, объезжая гражданские фронты, которые брали под заметку, не миновали закоренелую станцию Фастов, находящуюся за тридевять земель, в некотором государстве, на неведомом пространстве, я там, конешно, был, самогон-пиво пил, усы обмочил, в рот не заскочило. Про эту вышеизложенную станцию есть много кой-чего писать, но, как говорится в нашем простом быту, — господнего дерьма не перетаскать. Поэтому опишу вам только за то, что мои глаза собственноручно видели.

Была тихая, славная ночка семь ден тому назад, когда наш заслуженный поезд Конармии остановился там, груженный бойцами. Все мы горели способствовать общему делу и имели направление на Бердичев. Но только замечаем, что поезд наш никак не отваливает, Гаврилка наш не крутит, в чем тут остановка? И действительно, остановка для общего дела вышла громадная по случаю того, что мешочники, эти злые враги, среди которых находилась также несметная сила женского полу, нахальным образом поступали с железнодорожной властью. Безбоязненно ухватились они за поручни, эти злые враги, на рысях пробегали по железным крышам, коловоротили, мутили, и в каждых руках фигурировала небезызвестная соль, доходя до пяти пудов в мешке. Но недолго длилось торжество капитала мешочников. Инициатива бойцов, повылазивших из вагона, дала поруганной власти железнодорожников вздохнуть грудью. Один только

женский пол со своими торбами остался в окрестностях. Имея сожаление, бойцы которых женщин посадили по теплушкам, а которых не посадили. Так же и в нашем вагоне второго взвода оказались налицо две девицы, а пробивши первый звонок, подходит к нам представительная женщина с дитем, говоря:

— Пустите меня, любезные казачки, всю войну я страдаю по вокзалам с грудным дитем на руках и теперь хочу иметь свидание с мужем, но по причине железной дороги ехать никак невозможно, неужели я у вас, казачки, не заслужила?

— Между прочим, женщина, — говорю я ей, — какое будет согласие у взвода, такая получится ваша судьба. — И, обратившись к взводу, я им доказываю, что представительная женщина просится ехать к мужу на место назначения и дите действительно при ней находится и какое будет ваше согласие — пускать ее или нет?

— Пускай ее, — кричат ребята, — опосле нас она и мужа не захочет...

— Нет, — говорю я ребятам довольно вежливо, — кланяюсь вам, взвод, но только удивляет меня слышать от вас такую жеребятину. Вспомните, взвод, вашу жизнь и как вы сами были детями при ваших матерях, и получается вроде того, что не годится так говорить...

И казаки, проговоривши между собой, какой он, стало быть, Балмашев, убедительный, начали пускать женщину в вагон, и она с благодарностью лезет. И каждый, раскипятившись моей правдой, подсаживает ее, говоря наперебой:

— Садитесь, женщина, в куток, ласкайте ваше дите, как водится с матерями, никто вас в кутке не тронет, и приедете вы, нетронутая, к вашему мужу, как это вам желательно, и надеемся на вашу совесть, что вы вырастите нам смену, потому что старое старится, а молодняка, видать, мало. Горя мы видели, женщина, и на действительной и на сверхсрочной, голодом нас давнуло, холодом обожгло. А вы сидите здесь, женщина, без сомнения...

И, пробивши третий звонок, поезд двинулся. И славная ночка раскинулась шатром. И в том шатре были звезды-каганцы. И бойцы вспоминали кубанскую ночь и зеленую кубанскую звезду. И думка пролетела, как птица. А колеса тарахтят, тарахтят..

По прошествии времени, когда ночь сменилась со своего поста и красные барабанщики заиграли зорю на своих красных барабанах, тогда подступили ко мне казаки, видя, что я сижу без сна и скучаю до последнего.

— Балмашев, — говорят мне казаки, — отчего ты ужасно скучный и сидишь без сна?

— Низко кланяюсь вам, бойцы, и прошу маленького прощения, но только дозвольте мне переговорить с этой гражданкой пару слов...

И, задрожав всем корпусом, я поднимаюсь со своей лежанки, от которой сон бежал, как волк от своры злодейских псов, и подхожу до нее, и беру у нее с рук дите, и рву с него пеленки, и вижу по-за пеленками добрый пудовик соли.

— Вот антиресное дите, товарищи, которое титек не просит, на подол не мочится и людей со сна не беспокоит...

— Простите, любезные казачки, — встревает женщина в наш разговор очень хладнокровно, — не я обманула, лихо мое обмануло...

— Балмашев простит твоему лиху, — отвечаю я женщине, — Балмашеву оно немногого стоит, Балмашев за что купил, за то и продает. Но оборотись к казакам, женщина, которые тебя возвысили как трудящуюся мать в республике. Оборотись на этих двух девиц, которые плачут в настоящее время, как пострадавшие этой ночью. Оборотись на жен наших на пшеничной Кубани, которые исходят женской силой без мужей, и те, то же самое одинокие, по злой неволе насильничают проходящих в их жизни девушек... А тебя не трогали, хотя тебя, неподобную, только и трогать. Оборотись на Расею, задавленную болью...

А она мне:

— Я соли своей решилась, я правды не боюсь. Вы за Расею не думаете, вы жидов спасаете...

— За жидов сейчас разговора нет, вредная гражданка. Жиды сюда не касаются. А вы, гнусная гражданка, есть более контрреволюционерка, чем тот белый генерал, который с вострой шашкой грозится нам на своем тысячном коне... Его видать, того генерала, со всех дорог, и трудящийся имеет свою думку-мечту его порезать, а вас, несчетная гражданка, с вашими антиресными детками, которые хлеба не просят и до ветра не бега-

ют, — вас не видать, как блоху, и вы точите, точите, точите...

И я действительно признаю, что выбросил эту гражданку на ходу под откос, но она, как очень грубая, посидела, махнула юбками и пошла своей подлой дорожкой. И, увидев эту невредимую женщину, и несказанную Расею вокруг нее, и крестьянские поля без колоса, и поруганных девиц, и товарищей, которые много ездют на фронт, но мало возвращаются, я захотел спрыгнуть с вагона и себе кончить или ее кончить. Но казаки имели ко мне сожаление и сказали:

— Ударь ее из винта.

И, сняв со стенки верного винта, я смыл этот позор с лица трудовой земли и республики.

И мы, бойцы второго взвода, клянемся перед вами, дорогой товарищ редактор, и перед вами, дорогие товарищи из редакции, беспощадно поступать со всеми изменниками, которые тащат нас в яму и хотят повернуть речку обратно и выстелить Расею трупами и мертвой травой.

За всех бойцов второго взвода — Никита Балмашев, солдат революции».

ВЕЧЕР

О устав РКП! Сквозь кислое тесто русских повестей ты проложил стремительные рельсы. Три холостые сердца со страстями рязанских Иисусов ты обратил в сотрудников «Красного кавалериста», ты обратил их для того, чтобы каждый день могли они сочинять залихватскую газету, полную мужества и грубого веселья.

Галин с бельмом, чахоточный Слинкин, Сычев с объеденными кишками — они бредут в бесплодной пыли тыла и продирают бунт и огонь своих листовок сквозь строй молодцеватых казаков на покое, резервных жуликов, числящихся польскими переводчиками, и девиц, присланных к нам в поезд политотдела на поправку из Москвы.

Только к ночи бывает готова газета — динамитный шнур, подкладываемый под армию. На небе гаснет косоглазый фонарь провинциального солнца, огни типографии, разлетаясь, пылают неудержимо, как страсть машины. И тогда, к полуночи, из вагона выходит Галин для того, чтобы содрогнуться от укусов неразделенной любви к поездной нашей прачке Ирине.

— В прошлый раз, — говорит Галин, узкий в плечах, бледный и слепой, — в прошлый раз мы рассмотрели, Ирина, расстрел Николая Кровавого, казненного екатеринбургским пролетариатом. Теперь перейдем к другим тиранам, умершим собачьей смертью. Петра Третьего задушил Орлов, любовник его жены. Павла растерзали придворные и собственный сын. Николай Палкин отравился, его сын пал первого марта, его внук умер от пьянства... Об этом вам надо знать, Ирина...

И, подняв на прачку голый глаз, полный обожания, Галин неутомимо ворошит склепы погибших императоров. Сутулый — он облит луной, торчащей там, наверху, как дерзкая заноза, типографские станки стучат от него где-то близко, и чистым светом сияет радиостанция. Притираясь к плечу повара Василия, Ирина слушает глухое и нелепое бормотание любви, над ней в черных водорослях неба тащатся звезды, прачка дремлет, крестит запухший рот и смотрит на Галина во все глаза...

Рядом с Ириной зевает мордатый Василий, пренебрегающий человечеством, как и все повара. Повара — они имеют много дела с мясом мертвых животных и с жадностью живых, поэтому в политике повара ищут вещей, их не касающихся. Так и Василий. Подтягивая штаны к соскам, он спрашивает Галина о цивильном листе разных королей, о приданом для царской дочери и потом говорит, зевая.

— Ночное время, Ариша, — говорит он. — И завтра у людей день. Айда блох давить...

И они закрыли дверь кухни, оставив Галина наедине с луной, торчавшей там, вверху, как дерзкая заноза... Против луны, на откосе, у заснувшего пруда, сидел я в очках, с чирьями на шее и забинтованными ногами. Смутными поэтическими мозгами переваривал я борьбу классов, когда ко мне подошел Галин в блистающих бельмах.

— Галин, — сказал я, пораженный жалостью и одиночеством, — я болен, мне, видно, конец пришел, и я устал жить в нашей Конармии...

— Вы слюнтяй, — ответил Галин, и часы на тощей его кисти показали час ночи. — Вы слюнтяй, и нам суждено терпеть вас, слюнтяев... Мы чистим для вас ядро от скорлупы. Пройдет немного времени, вы увидите очищенное это ядро, выймете тогда палец из носу и воспоете новую жизнь необыкновенной прозой, а пока сидите тихо, слюнтяй, и не скулите нам под руку...

Он придвинулся ко мне ближе, поправил бинты, распустившиеся на чесоточных моих язвах, и опустил голову на цыплячью грудь. Ночь утешала нас в наших печалях, легкий ветер обвевал нас, как юбка матери, и травы внизу блестели свежестью и влагой.

Машины, гремевшие в поездной типографии, заскрипели и умолкли, рассвет провел черту у края земли, дверь в кухне свистнула и приоткрылась. Четыре ноги с тол-

стыми пятками высунулись в прохладу, и мы увидели любящие икры Ирины и большой палец Василия с кривым и черным ногтем.

— Василек, — прошептала баба тесным, замирающим голосом, — уйдите с моей лежанки, баламут...

Но Василий только дернул пяткой и придвинулся ближе.

— Конармия, — сказал мне тогда Галин. — Конармия есть социальный фокус, производимый ЦК нашей партии. Кривая революция бросила в первый ряд казачью вольницу, пропитанную многими предрассудками, но ЦК, маневрируя, продерет их железною щеткой...

И Галин заговорил о политическом воспитании Первой Конной. Он говорил долго, глухо, с полной ясностью. Веко его билось над бельмом.

АФОНЬКА БИДА

Мы дрались под Лешнювом. Стена неприятельской кавалерии появлялась всюду. Пружина окрепшей польской стратегии вытягивалась со зловещим свистом. Нас теснили. Впервые за всю кампанию мы испытали на своей спине дьявольскую остроту фланговых ударов и прорывов тыла — укусы того самого оружия, которое так счастливо служило нам.

Фронт под Лешнювом держала пехота. Вдоль криво накопанных ямок склонялось белесое, босое волынское мужичье. Пехоту эту взяли вчера от сохи для того, чтобы образовать при Конармии пехотный резерв. Крестьяне пошли с охотою. Они дрались с величайшей старательностью. Их сопящая мужицкая свирепость изумила даже буденновцев. Ненависть их к польскому помещику была построена из невидного, но добротного материала.

Во второй период войны, когда гиканье перестало действовать на воображение неприятеля и конные атаки на окопавшегося противника сделались невозможными, — эта самодельная пехота принесла бы Конармии величайшую пользу. Но нищета наша превозмогла. Мужикам дали по одному ружью на троих и патроны, которые не подходили к винтовкам. Затею пришлось оставить, и подлинное это народное ополчение распустили по домам.

Теперь обратимся к лешнювским боям. Пешка окопалась в трех верстах от местечка. Впереди их фронта расхаживал сутулый юноша в очках. Сбоку у него волочилась сабля. Он передвигался вприпрыжку, с недовольным видом, как будто ему жали сапоги. Этот мужицкий

атаман, выбранный ими и любимый, был еврей, подслеповатый еврейский юноша, с чахлым и сосредоточенным лицом талмудиста. В бою он выказывал осмотрительное мужество и хладнокровие, которое походило на рассеянность мечтателя.

Шел третий час июльского просторного дня. В воздухе сияла радужная паутина зноя. За холмами сверкнула праздничная полоса мундиров и гривы лошадей, заплетенные лентами. Юноша дал знак приготовиться. Мужики, шлепая лаптями, побежали по местам и взяли на изготовку. Но тревога оказалась ложной. На лешнювское шоссе выходили цветистые эскадроны Маслака[1]. Их отощавшие, но бодрые кони шли крупным шагом. На золоченых древках, отягощенных бархатными кистями, в огненных столбах пыли колебались пышные знамена. Всадники ехали с величественной и дерзкой холодностью. Лохматая пешка вылезла из своих ям и разинув рты следила за упругим изяществом этого небыстрого потока.

Впереди полка, на степной раскоряченной лошаденке ехал комбриг Маслак, налитый пьяной кровью и гнилью жирных своих соков. Живот его, как большой кот, лежал на луке, окованной серебром. Завидев пешку, Маслак весело побагровел и поманил к себе взводного Афоньку Биду. Взводный носил у нас прозвище «Махно» за сходство свое с батьком. Они пошептались с минуту — командир и Афонька. Потом взводный обернулся к первому эскадрону, наклонился и скомандовал негромко: «Повод!» Казаки повзводно перешли на рысь. Они горячили лошадей и мчались на окопы, из которых глазела обрадованная зрелищем пешка.

— К бою готовьсь! — пропел заунывный и как бы отдаленный Афонькин голос.

Маслак, хрипя, кашляя и наслаждаясь, отъехал в сторону, казаки бросились в атаку. Бедная пешка побежала, но поздно. Казацкие плети прошлись уже по их драным свиткам. Всадники кружились по полю и с необыкновенным искусством вертели в руках нагайки.

— Зачем балуетесь? — крикнул я Афоньке.

— Для смеху, — ответил он мне, ерзая в седле и доставая из кустов схоронившегося парня.

---

[1] Масляков — командир первой бригады четвертой дивизии, неисправимый партизан, изменивший вскоре Советской власти.

— Для смеху! — прокричал он, ковыряясь в обеспамятевшем парне.

Потеха кончилась, когда Маслак, размякший и величавый, махнул своей пухлой рукой.

— Пешка, не зевай! — прокричал Афонька и надменно выпрямил тщедушное тело. — Пошла блох ловить, пешка...

Казаки, пересмеиваясь, съезжались в ряды. Пешки след простыл. Окопы были пусты. И только сутулый еврей стоял на прежнем месте и сквозь очки всматривался в казаков внимательно и высокомерно.

Со стороны Лешнюва не утихала перестрелка. Поляки охватывали нас. В бинокль были видны отдельные фигуры конных разведчиков. Они выскакивали из местечка и проваливались, как ваньки-встаньки. Маслак построил эскадрон и рассыпал его по обе стороны шоссе. Над Лешнювом встало блещущее небо, невыразимо пустое, как всегда в часы опасности. Еврей, закинув голову, горестно и сильно свистел в металлическую дудку. И пешка, высеченная пешка, возвращалась на свои места.

Пули густо летели в нашу сторону. Штаб бригады попал в полосу пулеметного обстрела. Мы бросились в лес и стали продираться сквозь кустарник, что по правую сторону шоссе. Расстрелянные ветви кряхтели над нами. Когда мы выбрались из кустов — казаков уже не было на прежнем месте. По приказанию начдива они отходили к Бродам. Только мужики огрызались из своих окопов редкими ружейными выстрелами да отставший Афонька догонял свой взвод.

Он ехал по самой обочине дороги, оглядывая и обнюхивая воздух. Стрельба на мгновение ослабла. Казак вздумал воспользоваться передышкой и двинулся карьером. В это мгновенье пуля пробила шею его лошади. Афонька проехал еще шагов сто, и здесь, в наших рядах, конь круто согнул передние ноги и повалился на землю.

Афонька не спеша вынул из стремени подмятую ногу. Он сел на корточки и поковырял в ране медным пальцем. Потом Бида выпрямился и обвел блистающий горизонт томительным взглядом.

— Прощай, Степан, — сказал он деревянным голосом, отступив от издыхающего животного, и поклонился ему в пояс, — как ворочуся без тебя в тихую станицу?.. Куда подеваю с-под тебя расшитое седелко? Прощай, Степан, — повторил он сильнее, задохся, пискнул, как пойманная

мышь, и завыл. Клокочущий вой достиг нашего слуха, и мы увидели Афоньку, бьющего поклоны, как кликуша в церкви. — Ну, не покорюсь же судьбе-шкуре, — закричал он, отнимая руки от помертвевшего лица, — ну, беспощадно же буду рубать несказанную шляхту! До сердечного вздоха дойду, до вздоха ейного и богоматериной крови... При станичниках, дорогих братьях обещаюся тебе, Степан...

Афонька лег лицом в рану и затих. Устремив на хозяина сияющий глубокий фиолетовый глаз, конь слушал рвущееся Афонькино хрипение. Он в нежном забытьи поводил по земле упавшей мордой, и струи крови, как две рубиновые шлеи, стекали по его груди, выложенной белыми мускулами.

Афонька лежал, не шевелясь. Мелко перебирая толстыми ногами, к лошади подошел Маслак, вставил револьвер ей в ухо и выстрелил. Афонька вскочил и повернул к Маслаку рябое лицо.

— Сбирай сбрую, Афанасий, — сказал Маслак ласково, — иди до части...

И мы с пригорка увидели, как Афонька, согбенный под тяжестью седла, с лицом сырым и красным, как рассеченное мясо, брел к своему эскадрону, беспредельно одинокий в пыльной, пылающей пустыне полей.

Поздним вечером я встретил его в обозе. Он спал на возу, хранившем его добро — сабли, френчи и золотые проколотые монеты. Запекшаяся голова взводного с перекошенным мертвым ртом валялась, как распятая, на сгибе седла. Рядом была положена сбруя убитой лошади, затейливая и вычурная одежда казацкого скакуна — нагрудники с черными кистями, гибкие ремни нахвостников, унизанные цветными камнями, и уздечка с серебряным тиснением.

Тьма надвигалась на нас все гуще. Обоз тягуче кружился по Бродскому шляху; простенькие звезды катились по млечным путям неба, и дальние деревни горели в прохладной глубине ночи. Помощник эскадронного Орлов и длинноусый Биценко сидели тут же, на Афонькином возу, и обсуждали Афонькино горе.

— С дому коня ведет, — сказал длинноусый Биценко, — такого коня — где его найдешь?

— Конь — он друг, — ответил Орлов.

— Конь — он отец, — вздохнул Биценко, — бесчисленно раз жизню спасает. Пропасть Биде без коня...

А наутро Афонька исчез. Начались и кончились бои под Бродами. Поражение сменилось временной победой, мы пережили смену начдива, а Афоньки все не было. И только грозный ропот на деревнях, злой и хищный след Афонькиного разбоя указывал нам трудный его путь.

— Добывает коня, — говорили о взводном в эскадроне, и в необозримые вечера наших скитаний я немало наслушался историй о глухой этой, свирепой добыче.

Бойцы из других частей натыкались на Афоньку в десятках верст от нашего расположения. Он сидел в засаде на отставших польских кавалеристов или рыскал по лесам, отыскивая схороненные крестьянские табуны. Он поджигал деревни и расстреливал польских старост за укрывательство. До нашего слуха доносились отголоски этого яростного единоборства, отголоски воровского нападения одинокого волка на громаду.

Прошла еще неделя. Горькая злоба дня выжгла из нашего обихода рассказы о мрачном Афонькином удальстве, и «Махно» стали забывать. Потом пронесся слух, что где-то в лесах его закололи галицийские крестьяне. И в день вступления нашего в Берестечко Емельян Будяк из первого эскадрона пошел уже к начдиву выпрашивать Афонькино седло с желтым потником. Емельян хотел выехать на парад с новым седлом, но не пришлось ему.

Мы вступили в Берестечко 6 августа. Впереди нашей дивизии двигался азиатский бешмет и красный казакин нового начдива. Левка, бешеный холуй, вел за начдивом заводскую кобылицу. Боевой марш, полный протяжной угрозы, летел вдоль вычурных и нищих улиц. Ветхие тупики, расписной лес дряхлых и судорожных перекладин пролегал по местечку. Сердцевина его, выеденная временами, дышала на нас грустным тленом. Контрабандисты и ханжи укрылись в своих просторных сумрачных избах. Один только пан Людомирский, звонарь в зеленом сюртуке, встретил нас у костела.

Мы перешли реку и углубились в мещанскую слободу. Мы приближались к дому ксендза, когда из-за поворота на рослом жеребце выехал Афонька.

— Почтение, — произнес он лающим голосом и, расталкивая бойцов, занял в рядах свое место.

Маслак уставился в бесцветную даль и прохрипел, не оборачиваясь:

— Откуда коня взял?

— Собственный, — ответил Афонька, свернул папиросу и коротким движением языка заслюнил ее.

Казаки подъезжали к нему один за другим и здоровались. Вместо левого глаза на его обуглившемся лице отвратительно зияла чудовищная розовая опухоль.

А на другое утро Бида гулял. Он разбил в костеле раку святого Валента и пытался играть на органе. На нем была выкроенная из голубого ковра куртка с вышитой на спине лилией, и потный чуб его был расчесан поверх вытекшего глаза.

После обеда он заседлал коня и стрелял из винтовки в выбитые окна замка графов Рациборских. Казаки полукругом стояли вокруг него... Они задирали жеребцу хвост, щупали ноги и считали зубы.

— Фигуральный конь, — сказал Орлов, помощник эскадронного.

— Лошадь справная, — подтвердил длинноусый Биценко.

У СВЯТОГО ВАЛЕНТА

Дивизия наша заняла Берестечко вчера вечером. Штаб остановился в доме ксендза Тузинкевича. Переодевшись бабой, Тузинкевич бежал из Берестечка перед вступлением наших войск. О нем я знаю, что он сорок пять лет возился с богом в Берестечке и был хорошим ксендзом. Когда жители хотят, чтобы мы это поняли, они говорят: его любили евреи. При Тузинкевиче обновили древний костел. Ремонт кончили в день трехсотлетия храма. Из Житомира приехал тогда епископ. Прелаты в шелковых рясах служили перед костелом молебен. Пузатые и благостные — они стояли, как колокола в росистой траве. Из окрестных сел текли покорные реки. Мужичье преклоняло колени, целовало руки, и на небесах в тот же день пламенели невиданные облака. Небесные флаги веяли в честь старого костела. Сам епископ поцеловал Тузинкевича в лоб и назвал его отцом Берестечка, pater Berestecka.

Эту историю я узнал утром в штабе, где разбирал донесение обходной колонны нашей, ведшей разведку на Львов в районе Радзихова. Я читал бумаги, храп вестовых за моей спиной говорил о нескончаемой нашей бездомности. Писаря, отсыревшие от бессонницы, писали приказы по дивизии, ели огурцы и чихали. Только к полудню я освободился, подошел к окну и увидел храм Берестечка — могущественный и белый. Он светился в нежарком солнце, как фаянсовая башня. Молнии полудня блистали в его глянцевитых боках. Выпуклая их линия начиналась у древней зелени куполов и легко сбегала

книзу. Розовые жилы тлели в белом камне фронтона, а на вершине были колонны, тонкие, как свечи.

Потом пение органа поразило мой слух, и тотчас же в дверях штаба появилась старуха с распущенными желтыми волосами. Она двигалась, как собака с перебитой лапой, кружась и припадая к земле. Зрачки ее были налиты белой влагой слепоты и брызгали слезами. Звуки органа, то тягостные, то поспешные, подплывали к нам. Полет их был труден, след звенел жалобно и долго. Старуха вытерла слезы желтыми своими волосами, села на землю и стала целовать сапоги мои у колена. Орган умолк и потом захохотал на басовых нотах. Я схватил старуху за руку и оглянулся. Писаря стучали на машинках, вестовые храпели все заливистей, шпоры их резали войлок под бархатной обивкой диванов. Старуха целовала мои сапоги с нежностью, обняв их, как младенца. Я потащил ее к выходу и запер за собой дверь. Костел встал перед нами ослепительный, как декорация. Боковые ворота его были раскрыты, и на могилах польских офицеров валялись конские черепа.

Мы вбежали во двор, прошли сумрачный коридор и попали в квадратную комнату, пристроенную к алтарю. Там хозяйничала Сашка, сестра 31-го полка. Она копалась в шелках, брошенных кем-то на пол. Мертвенный аромат парчи, рассыпавшихся цветов, душистого тления лился в ее трепещущие ноздри, щекоча и отравляя. Потом в комнату вошли казаки. Они захохотали, схватили Сашку за руку и кинули с размаху на гору материй и книг. Тело Сашки, цветущее и вонючее, как мясо только что зарезанной коровы, заголилось, поднявшиеся юбки открыли ее ноги эскадронной дамы, чугунные, стройные ноги, и Курдюков, придурковатый малый, усевшись на Сашке верхом и трясясь, как в седле, притворился объятым страстью. Она сбросила его и кинулась к дверям. И только тогда, пройдя алтарь, мы проникли в костел.

Он был полон света, этот костел, полон танцующих лучей, воздушных столбов, какого-то прохладного веселья. Как забыть мне картину, висевшую у правого придела и написанную Аполеком? На этой картине двенадцать розовых патеров качали в люльке, перевитой лентами, пухлого младенца Иисуса. Пальцы ног его оттопырены, тело отлакировано утренним жарким потом. Дитя барахтается на жирной спинке, собранной в складки, двенадцать

апостолов в кардинальских тиарах склонились над колыбелью. Их лица выбриты до синевы, пламенные плащи оттопыриваются на животах. Глаза апостолов сверкают мудростью, решимостью, весельем, в углах их ртов бродит тонкая усмешка, па двойные подбородки посажены огненные бородавки, малиновые бородавки, как редиска в мае.

В этом храме Берестечка была своя, была обольстительная точка зрения на смертные страдания сынов человеческих. В этом храме святые шли на казнь с картинностью итальянских певцов и черные волосы палачей лоснились, как борода Олоферна. Тут же над царскими вратами я увидел кощунственное изображение Иоанна, принадлежащего еретической и упоительной кисти Аполека. На изображении этом Креститель был красив той двусмысленной, недоговоренной красотой, ради которой наложницы королей теряют свою наполовину потерянную честь и расцветающую жизнь.

Вначале я не заметил следов разрушения в храме, или они показались мне невелики. Была сломана только рака святого Валента. Куски истлевшей ваты валялись под ней и смехотворные кости святого, похожие больше всего на кости курицы. Да Афонька Бида играл еще на органе. Он был пьян, Афонька, дик и изрублен. Только вчера вернулся он к нам с отбитым у мужиков конем. Афонька упрямо пытался подобрать на органе марш, и кто-то уговаривал его сонным голосом: «Брось, Афоня, идем снедать». Но казак не бросал: их было множество — Афонькиных песен. Каждый звук был песня, и все звуки были оторваны друг от друга. Песня — ее густой напев — длилась мгновение и переходила в другую... Я слушал, озирался, следы разрушения казались мне невелики. Но не так думал пан Людомирский, звонарь церкви святого Валента и муж слепой старухи.

Людомирский выполз неизвестно откуда. Он вошел в костел ровным шагом с опущенной головой. Старик не решился накинуть покрывала на выброшенные мощи, потому что человеку простого звания не дозволено касаться святыни. Звонарь упал на голубые плиты пола, поднял голову, и синий нос его стал над ним, как флаг над мертвецом. Синий нос трепетал над ним, и в это мгновение у алтаря заколебалась бархатная завеса и, трепеща, отползла в сторону. В глубине открывшейся ниши, на фоне неба, изборожденного тучами, бежала бородатая

фигурка в оранжевом куптуше — босая, с разодранным и кровоточащим ртом. Хриплый вой разорвал тогда наш слух. Человека в оранжевом кунтуше преследовала ненависть и настигала погоня. Он выгнул руку, чтобы отвести занесенный удар, из руки пурпурным током вылилась кровь. Казачонок, стоявший со мной рядом, закричал и, опустив голову, бросился бежать, хотя бежать было не от чего, потому что фигура в нише была всего только Иисус Христос — самое необыкновенное изображение бога из всех виденных мною в жизни.

Спаситель пана Людомирского был курчавый еврей с клочковатой бородкой и низким, сморщенным лбом. Впалые щеки его были накрашены кармином, над закрывшимися от боли глазами выгнулись тонкие рыжие брови.

Рот его был разодран, как губа лошади, польский кунтуш его был охвачен драгоценным поясом, и под кафтаном корчились фарфоровые ножки, накрашенные, босые, изрезанные серебристыми гвоздями.

Пан Людомирский в зеленом сюртуке стоял под статуей. Он простер над нами иссохшую руку и проклял нас. Казаки выпучили глаза и развесили соломенные чубы. Громовым голосом звонарь церкви святого Валента предал нас анафеме на чистейшей латыни. Потом он отвернулся, упал на колени и обнял ноги спасителя.

Придя к себе в штаб, я написал рапорт начальнику дивизии об оскорблении религиозного чувства местного населения. Костел было приказано закрыть, а виновных, подвергнув дисциплинарному взысканию, предать суду военного трибунала.

ЭСКАДРОННЫЙ ТРУНОВ

В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца для того, чтобы вид его был менее ужасен, мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте — в общественном саду, посреди города, у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа, по соборным часам, дряхлая наша пушчонка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма, она сделала полный салют, и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп, и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на ученье.

— Бойцы! — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачов, командир полка, и стал у края ямы. — Бойцы! — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. — Хороним Пашу Трунова, всемирного героя, отдаем Паше последнюю честь...

И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачов прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о гордой этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачов громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах.

Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух, трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из седел и джигитуя, и привезли красных цветов целые пригоршни. Пугачов рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический Сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии.

Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бранились на этой площади и таскали друг друга. Одни из них — ортодоксы — превозносили учение Адасии, раввина из Белза; за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка, ученики гуссятинского раввина Иуды. Евреи спорили о Каббале и поминали в своих спорах имя Ильи, виленского гаона, гонителя хасидов...

Забыв войну и залпы, хасиды поносили самое имя Ильи, виленского первосвященника, и я, томясь печалью по Трунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон-Кихот.

Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную коровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи; она была прикрыта широкополой шляпой из деревенской соломы и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу; он вел ее с важностью и виселицей длинных своих костей пересекал горячий блеск небес.

Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания.

Там, у фронтона, у белой покоробленной колонны сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом

по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему с дюжину печеных картофелин и, ни на кого не глядя, повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший наготове некованную лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку.

— Лютов, — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, — ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит, Лютов, — зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро?

И с глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это, он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побранились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель, мы побранились с ним, но он умер, Пашка, ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора.

Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было десять человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков, это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину.

— Офицерá, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер.

Трунов был уже ранен в голову в это утро, голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скирды.

— Офицера, сознавайся! — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера.

Тогда из толпы выступил худой и старый человек, с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами.

— ...Край той войне, — сказал старик с непонятным восторгом, — вси офицер утик, край той войне...

И поляк протянул эскадронному синие руки.

— Пять пальцев, — сказал он, рыдая и вертя вялой громадной рукой, — цими пятью пальцами я выховал мою семейству...

Старик задохся, закачался, истек восторженными слезами и упал перед Труновым на колени, но Трунов отвел его саблей.

— Офицера ваши гады, — сказал эскадронный, — офицера ваши побросали здесь одежду... На кого придется — тому крышка, я пробу сделаю...

И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого.

— Впору, — пробормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая, — впору... — И всунул пленному саблю в глотку.

Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался, блестя серьгой и круглой деревенской шеей, Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, встряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч. Оно стремительно окружало Андрюшкину лошадь, веселый ее бег, беспечные качанья ее куцего хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, в лесу стоял наш обоз, кучера из обоза бесновались, свистели и делали Восьмилетову знаки, как немому.

Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед:

— Андрей, — сказал эскадронный, глядя в землю, — Андрей, — повторил он, не поднимая глаз от земли, — республика наша Советская живая еще, рано дележку ей делать, скидай барахло, Андрей.

Но Восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой удивительной своей рысью, лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас.

— Измена! — пробормотал тогда Трунов и удивился. — Измена! — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся второпях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по-бабьи, лицо его стало красно и сердито, он задрыгал ногами.

— Слышь, земляк, — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса, — как бы я не стукнул тебя, земляк, к такой-то

свет матери... Тебе десяток шляхты прибрать — ты вона каку панику делаешь, мы по сотне прибирали — тебя не звали... Рабочий ты если — так сполняй свое дело...

И, выбросив из седла штаны и два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки, он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре.

Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, род оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в триковой фуфайке и в егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго:

— Откуда сподники достал?

— Матка вязала, — ответил пленный и покачнулся.

— Фабричная у тебя матка, — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти, — фабричная у тебя матка, наш брат таких не нашивал...

Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого, для того чтобы отвести к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды, грязная тряпка его размоталась и повисла, он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне.

— Вымарай одного, — сказал он, указывая на список.

— Не стану вымарывать, — ответил я. — Видно, не для тебя приказы пишут, Павел...

— Вымарай одного! — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем.

— Не стану вымарывать! — закричал я изо всех сил. — Было десять, стало восемь, в штабе не посмотрят на тебя, Пашка...

— В штабе через несчастную нашу жизнь посмотрят, — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне, весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком: — Гуди, гуди, — сказал он, — эвон еще и другой гудит...

И эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунт-Ле-Ро, просторные бронированные машины.

— По коням! — закричали взводные, увидев их, и на рысях отвели эскадрон к лесу, но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка Восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились.

— Нарезай винты, ребята, — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица, — вот донесение Пугачову от меня...

И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги:

«Имея погибнуть сего числа, — написал он, — *нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля и в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному...»*

Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги.

— Пользовайся, — сказал он, отдавая пулеметчикам донесение и сапоги, — пользовайся, сапоги новые...

— Счастливо вам, командир, — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить.

— И вам счастливо, — сказал Трунов, — как-нибудь, ребята... — и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка Восьмилетов, барахольщик.

— Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. — Ты со мной, што ль, побудешь, Андрей?..

— Господа Иисуса, — испуганно ответил Андрюшка, всхлипнул, побелел и засмеялся, — господа Иисуса хорут-ву мать!..

И стал наводить на аэроплан второй пулемет.

Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев.

В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом Фаунт-Ле-Ро. Майор и три его бомбометчика выказали уменье в этом бою. Они снизились на триста метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда; аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки Восьмилетова забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль и похоронили его там на торжественном месте — в общественном саду, в цветнике, посредине города.

ИВАНЫ

Дьякон Аггев бежал с фронта дважды. Его отдали за это в Московский клейменый полк. Главком Каменев, Сергей Сергеевич, смотрел этот полк в Можайске перед отправкой на позиции.

— Не надо их мне, — сказал главком, — обратно их в Москву, отхожие чистить...

В Москве кое-как сбили из клейменых маршевую роту. В числе других попал дьякон. Он прибыл на польский фронт и сказался там глухим. Лекпом Барсуцкий из перевязочного отряда, провозившись с ним неделю, не сломил его упорства.

— Шут с ним, с глухарем, — сказал Барсуцкий санитару Сойченке, — подыщи в обозе телегу, отправим дьякона в Ровно на испытание...

Сойченко ушел в обоз и добыл три телеги: на первой из них сидел кучером Акинфиев.

— Иван, — сказал ему Сойченко, — отвезешь глухаря в Ровно.

— Отвезти можно, — ответил Акинфиев.

— И расписку мне доставишь в получении...

— Ясно, — сказал Акинфиев, — а какая в ней причина, в глухоте его?..

— Своя рогожа чужой рожи дороже, — сказал Сойченко, санитар. — Тут вся причина. Фармазонщик он, а не глухарь...

— Отвезти можно, — повторил Акинфиев и поехал следом за другими подводами.

Всего собралось у перевязочного пункта три телеги. На первую посадили сестру, откомандированную в тыл, вторую отвели для казака, больного воспалением почек, на третью сел Иван Аггев, дьякон.

Исполнив все дела, Сойченко позвал лекпома.

— Поехал наш фармазонщик, — сказал он, — погрузил на ревтрибунальских под расписку. Сейчас трогают...

Барсуцкий выглянул в окошко, увидел телеги и кинулся из дому, весь красный и без шапки.

— Ох, да ты его зарежешь! — закричал он Акинфиеву. — Пересадить надо дьякона.

— Куда его пересадишь, — ответили казаки, стоявшие поблизости, и засмеялись. — Ваня наш везде достанет...

Акинфиев с кнутом в руках стоял тут же, возле своих лошадей. Он снял шапку и сказал вежливо:

— Здравствуйте, товарищ лекпом.

— Здравствуй, друг, — ответил Барсуцкий, — ты ведь зверь, пересадить надо дьякона...

— Поинтересуюсь узнать, — визгливо сказал тогда казак, и верхняя губа его вздрогнула, поползла и затрепетала над ослепительными зубами, — поинтересуюсь узнать, подходяще ли оно вам или неподходяще, что когда враг тиранит нас невыразимо, когда враг бьет нас под самый вздох, когда он виснет грузом на ногах и вяжет змеями наши руки, подходяще ли оно нам законопачивать уши в смертельный этот час?

— Стоит Ваня за комиссариков, — прокричал Коротков, кучер с первой телеги, — ох, стоит...

— Чего там «стоит»! — пробормотал Барсуцкий и отвернулся. — Все мы стоим. Только дела надо делать форменно...

— А ведь он слышит, глухарь-то наш, — перебил вдруг Акинфиев, повертел кнут в толстых пальцах, засмеялся и подмигнул дьякону. Тот сидел на возу, опустив громадные плечи, и двигал головой.

— Ну, трогай с богом! — закричал лекарь с отчаянием. — Ты мне за все ответчик, Иван...

— Ответить я согласен, — задумчиво произнес Акинфиев и наклонил голову. — Сидай удобнéй, — сказал он дьякону, не оборачиваясь, — еще удобнéй седай, — повторил казак и собрал в руке вожжи.

Телеги выстроились в ряд и одна за другой помчались по шоссе. Впереди ехал Коротков, Акинфиев был третьим,

он свистел песню и помахивал вожжей. Так отъехали они верст пятнадцать и к вечеру были опрокинуты внезапным разливом неприятеля.

В этот день, двадцать второго июля, поляки быстрым маневром исковеркали тыл нашей армии, ворвались с налета в местечко Козин и пленили многих бойцов из состава одиннадцатой дивизии. Эскадроны шестой дивизии были брошены в район Козина для противодействия противнику. Молниеносное маневрирование частей искромсало движение обозов, ревтрибунальские телеги двое суток блуждали по кипящим выступам боя, и только на третью ночь они выбились на дорогу, по которой уходили тыловые штабы. На этой дороге в полночь я и встретил их.

Окоченевший от отчаяния, я встретил их после боя под Хотином. В бою под Хотином убили моего коня. Потеряв его, я пересел на санитарную линейку и до вечера подбирал раненых. Потом здоровых сбросили с линейки, и я остался один у развалившейся халупы. Ночь летела ко мне на резвых лошадях. Вопль обозов оглашал вселенную. На земле, опоясанной визгом, потухали дороги. Звезды выползли из прохладного брюха ночи, и брошенные села воспламенялись над горизонтом. Взвалив на себя седло, я пошел по развороченной меже и у поворота остановился по своей нужде. Облегчившись, я застегнулся и почувствовал брызги на моей руке. Я зажег фонарик, обернулся и увидел на земле труп поляка, залитый моей мочой. Записная книжка и обрывки воззваний Пилсудского валялись рядом с трупом. В тетрадке поляка были записаны карманные расходы, порядок спектаклей в краковском драматическом театре и день рождения женщины по имени Мария-Луиза. Воззванием Пилсудского, маршала и главнокомандующего, я стер вонючую жидкость с черепа неведомого моего брата и ушел, сгибаясь под тяжестью седла.

В это время где-то близко простонали колеса.

— Стой! — закричал я. — Кто идет?

Ночь летела ко мне на резвых лошадях, пожары извивались на горизонте.

— Ревтрибунальские, — ответил голос, задавленный тьмой.

Я побежал вперед и наткнулся на телегу.

— Коня у меня убили, — сказал я громко, — Лавриком коня звали...

Никто не ответил мне. Я взобрался на телегу, подложил седло под голову, заснул и проспал до рассвета, согреваемый прелым сеном и телом Ивана Акинфиева, случайного моего соседа. Утром казак проснулся позже меня.

— Развиднялось, слава богу, — сказал он, вытащил из-под сундучка револьвер и выстрелил над ухом дьякона. Тот сидел прямо перед ним и правил лошадьми. Над громадой лысеющего его черепа летал легкий серый волос. Акинфиев выстрелил еще раз над другим ухом и спрятал револьвер в кобуру.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он дьякону, кряхтя и обуваясь. — Снедать будем, что ли?

— Парень, — закричал я, — чего ты делаешь?

— Чего делаю, все мало, — ответил Акинфиев, доставая пищу, — он симулирует надо мной третьи сутки...

Тогда с первой телеги отозвался Коротков, знакомый мне по 31-му полку, рассказал всю историю дьякона сначала. Акинфиев слушал его внимательно, отогнув ухо, потом вытащил из-под седла жареную воловью ногу. Она была прикрыта рядном и обвалялась в соломе.

Дьякон перелез к нам с козел, подрезал ножичком зеленое мясо и раздал всем по куску. Кончив завтрак, Акинфиев завязал воловью ногу в мешок и сунул его в сено.

— Ваня, — сказал он Аггеву, — айда беса выгонять. Стоянка все равно, коней напувают...

Он вынул из кармана пузырек с лекарством, шприц Тарновского и передал их дьякону. Они слезли с телеги и отошли в поле шагов на двадцать.

— Сестра, — закричал Коротков на первой телеге, — переставь очи на дальнюю дистанцию, ослепнешь от Акинфиевых достатков.

— Положила я на вас с прибором, — пробормотала женщина и отвернулась.

Акинфиев завернул тогда рубаху. Дьякон стал перед ним на колени и сделал спринцевание. Потом он вытер спринцовку тряпкой и посмотрел на свет. Акинфиев подтянул штаны; улучив минуту, он зашел дьякону за спину и снова выстрелил у него над самым ухом.

— Наше вам, Ваня, — сказал он, застегиваясь.

Дьякон отложил пузырек на траву и встал с колен. Легкий волос его взлетел кверху.

— Меня высший суд судить будет, — сказал он глухо, — ты надо мною, Иван, не поставлен...

— Таперя кажный кажного судит, — перебил кучер со второй телеги, похожий на бойкого горбуна. — И на смерть присуждает, очень просто...

— Или того лучше, — произнес Аггев и выпрямился, — убей меня, Иван...

— Не балуй, дьякон, — подошел к нему Коротков, знакомый мне по прежним временам. — Ты понимай, с каким человеком едешь. Другой пришил бы тебя, как утку, и не крякнул, а он правду из тебя удит и учит тебя, расстригу...

— Или того лучше, — упрямо повторил дьякон и выступил вперед, — убей меня, Иван.

— Ты сам себя убьешь, стерва, — ответил Акинфиев, бледнея и шепелявя, — ты сам яму себе выроешь, сам себя в нее закопаешь...

Он взмахнул руками, разорвал на себе ворот и повалился на землю в припадке.

— Эх, кровиночка ты моя! — закричал он дико и стал засыпать себе песком лицо. — Эх, кровиночка ты моя горькая, власть ты моя совецкая...

— Вань, — подошел к нему Коротков и с нежностью положил ему руку на плечо, — не бейся, милый друг, не скучай. Ехать надо, Вань...

Коротков набрал в рот воды и прыснул ею на Акинфиева, потом он перенес его на подводу. Дьякон снова сел на козлы, и мы поехали.

До местечка Вербы оставалось нам не более двух верст. В местечке сгрудились в то утро неисчислимые обозы. Тут была одиннадцатая дивизия, и четырнадцатая, и четвертая. Евреи в жилетах, с поднятыми плечами, стояли у своих порогов, как ободранные птицы. Казаки ходили по дворам, собирали полотенца и ели неспелые сливы. Акинфиев, как только приехали, забрался в сено и заснул, а я взял одеяло с его телеги и пошел искать места в тени. Но поле по обе стороны дороги было усеяно испражнениями. Бородатый мужик в медных очках и в тирольской шляпке, читавший в сторонке газету, перехватил мой взгляд и сказал:

— Человеки зовемся, а гадим хуже шакалов. Земли стыдно...

И, отвернувшись, он снова стал читать газету через большие очки.

Я взял тогда к леску влево и увидел дьякона, подходившего ко мне все ближе.

— Куды котишься, земляк? — кричал ему Коротков с первой телеги.

— Оправиться, — пробормотал дьякон, схватил мою руку и поцеловал ее. — Вы славный господин, — прошептал он, гримасничая, дрожа и хватая воздух. — Прошу вас свободною минутой отписать в город Касимов, пущай моя супруга плачет обо мне...

— Вы глухи, отец дьякон, — закричал я в упор, — или нет?

— Виноват, — сказал он, — виноват, — и наставил ухо.

— Вы глухи, Аггев, или нет?

— Так точно, глух, — сказал он поспешно. — Третьего дня я имел слух в совершенстве, но товарищ Акинфиев стрельбою покалечил мой слух. Они в Ровно обязаны были меня предоставить, товарищ Акинфиев, но полагаю, что они вряд ли меня доставят...

И, упав на колени, дьякон пополз между телегами головой вперед, весь опутанный поповским всклокоченным волосом. Потом он поднялся с колен, вывернулся между вожжами и подошел к Короткову. Тот отсыпал ему табаку, они скрутили папиросы и закурили друг у друга.

— Так-то вернее, — сказал Коротков и опростал возле себя место.

Дьякон сел с ним рядом, и они замолчали.

Потом проснулся Акинфиев. Он вывалил воловью ногу из мешка, подрезал ножиком зеленое мясо и раздал всем по куску. Увидев загнившую эту ногу, я почувствовал слабость и отчаяние и отдал обратно свое мясо.

— Прощайте, ребята, — сказал я, — счастливо вам...

— Прощай, — ответил Коротков.

Я взял седло с телеги и ушел и, уходя, слышал нескончаемое бормотание Ивана Акинфиева.

— Вань, — говорил он дьякону, — большую ты, Вань, промашку дал. Тебе бы имени моего ужаснуться, а ты в мою телегу сел. Ну, если мог ты еще прыгать, покеле меня не встренул, так теперь надругаюсь я над тобой, Вань, как пить дам надругаюсь...

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ ОДНОЙ ЛОШАДИ

Четыре месяца тому назад Савицкий, бывший наш начдив, забрал у Хлебникова, командира первого эскадрона, белого жеребца. Хлебников ушел тогда из армии, а сегодня Савицкий получил от него письмо.

Хлебников — Савицкому

«И никакой злобы на Буденную армию больше иметь не могу, страдания мои посередь той армии понимаю и содержу их в сердце чище святыни. А вам, товарищ Савицкий, как всемирному герою, трудящаяся масса Витебщины, где нахожусь председателем уревкома, шлет пролетарский клич — «Даешь мировую революцию!» — и желает, чтобы тот белый жеребец ходил под вами долгие годы по мягким тропкам для пользы всеми любимой свободы и братских республик, в которых особенный глаз должны мы иметь за властью на местах и за волостными единицами в административном отношении...»

Савицкий — Хлебникову

«Неизменный товарищ Хлебников! Которое письмо ты написал для меня, то оно очень похвально для общего дела, тем более сказать, после твоей дурости, когда ты застелил глаза собственной шкурой и выступил из Коммунистической нашей партии большевиков. Коммунистическая

наша партия есть, товарищ Хлебников, железная шеренга бойцов, отдающих кровь в первом ряду, и когда из железа вытекает кровь, то это вам, товарищ, не шутки, а победа или смерть. То же самое относительно общего дела, которого не дожидаю увидеть расцвет, так как бои тяжелые и командный состав сменяю в две недели раз. Тридцатые сутки бьюсь арьергардом, заграждая непобедимую Первую Конную и находясь под действительным ружейным, артиллерийским и аэропланным огнем неприятеля. Убит Тардый, убит Лухманников, убит Лыкошенко, убит Гулевой, убит Трунов, и белого жеребца нет подо мной, так что согласно перемене военного счастья не дожидай увидеть любимого начдива Савицкого, товарищ Хлебников, а увидимся, прямо сказать, в царствии небесном, но, как по слухам, у старика на небесах не царствие, а бордель по всей форме, а трипперов и на земле хватает, то, может, и не увидимся. С тем прощай, товарищ Хлебников».

ВДОВА

На санитарной линейке умирает Шевелев, полковой командир. Женщина сидит у его ног. Ночь, пронзенная отблесками канонады, выгнулась над умирающим. Левка, кучер начдива, подогревает в котелке пищу. Левкин чуб висит над костром, стреноженные кони хрустят в кустах. Левка размешивает веткой в котелке и говорит Шевелеву, вытянувшемуся на санитарной линейке:

— Работал я, товарищок, в Тюмреке в городе, работал парфорсную езду, а также атлет легкого веса. Городок, конечно, для женщин утомительный, завидели меня дамочки, стены рушат... Лев Гаврилыч, не откажите принять закуску по карте, не пожалеете безвозвратно потерянного времени... Подались мы с одной в трактир. Требуем телятины две порции, требуем полштофа, сидим с ней совершенно тихо, выпиваем... Гляжу — суется ко мне некоторый господин, одет ничего, чисто, но в личности его я замечаю большое воображение, и сам он под мухой...

«Извиняюсь, — говорит, — какая у вас, между прочим, национальность?»

«По какой причине, — спрашиваю, — вы меня, господин, за национальность трогаете, когда я тем более нахожусь в дамском обществе?»

...А он:

«Какой вы, — говорит, — есть атлет... Во французской борьбе из таких бессрочную подкладку делают. Докажите мне свою нацию...»

...Ну, однако, еще не рубаю.

«Зачем вы, — не знаю вашего имени-отчества, — такое недоразумение вызываете, что здесь обязательно должен кто-нибудь в настоящее время погибнуть, иначе говоря,

лечь до последнего издыхания?» До последнего лечь...— повторяет Левка с восторгом и протягивает руки к небу, окружая себя ночью, как нимбом. Неутомимый ветер, чистый ветер ночи поет, наливается звоном и колышет души. Звезды пылают во тьме, как обручальные кольца, они падают на Левку, путаются в волосах и гаснут в лохматой его голове.

— Лев, — шепчет ему вдруг Шевелев синими губами, — иди сюда. Золото, какое есть, — Сашке, — говорит раненый, — кольца, сбрую — все ей. Жили, как умели... вознагражу. Одежду, сподники, орден за беззаветное геройство — матери на Терек. Отошли с письмом и напиши в письме: «Кланялся командир, и не плачь. Хата — тебе, старуха, живи. Кто тронет, скачи к Буденному: я — Шевелева матка...» Коня Абрамку жертвую полку, коня жертвую на помин моей души...

— Понял про коня, — бормочет Левка и взмахивает руками. — Саш, — кричит он женщине, — слыхала, чего говорит?.. При ём сознавайся — отдашь старухе ейное аль не отдашь?..

— Мать вашу в пять, — отвечает Сашка и отходит в кусты, прямая, как слепец.

— Отдашь сиротскую долю? — догоняет ее Левка и хватает за горло. — При ём говори...

— Отдам. Пусти!

И тогда, вынудив признание, Левка снял котелок с огня и стал лить варево умирающему в окостеневший рот. Щи стекали с Шевелева, ложка гремела в его сверкающих мертвых зубах, и пули все тоскливее, все сильнее пели в густых просторах ночи.

— Винтовками бьет, гад, — сказал Левка.

— Вот холуйское занятьё, — ответил Шевелев. — Пулеметами вскрывает нас на правом фланге...

И, закрыв глаза, торжественно, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими восковыми своими ушами. Рядом с ним Левка жевал мясо, хрустя и задыхаясь. Кончив мясо, Левка облизал губы и потащил Сашку в ложбинку.

— Саш, — сказал он, дрожа, отрыгиваясь и вертя руками, — Саш, как перед богом, все одно в грехах как в репьях... Раз жить, раз подыхать. Поддайся, Саш, отслужу хучь бы кровью... Век его прошел, Саш, а дней у бога не убыло...

Они сели на высокую траву. Медлительная луна выползла из-за туч и остановилась на обнаженном Сашкином колене.

— Греетесь, — пробормотал Шевелев, — а он, гляди, Четырнадцатую дивизию погнал...

Левка хрустел и задыхался в кустах. Мглистая луна шлялась по небу, как побирушка. Далекая пальба плыла в воздухе. Ковыль шелестел на потревоженной земле, и в траву падали августовские звезды.

Потом Сашка вернулась на прежнее место. Она стала менять раненому бинты и подняла фонарик над загнивающей раной.

— К завтрему уйдешь, — сказала Сашка, обтирая Шевелева, вспотевшего прохладным потом. — К завтрему уйдешь, она в кишках у тебя, смерть...

И в это мгновение многоголосый плотный удар повалился на землю. Четыре свежие бригады, введенные в бой объединенным командованием неприятеля, выпустили по Буску первый снаряд и, разрывая наши коммуникации, зажгли водораздел Буга. Послушные пожары встали на горизонте, тяжелые птицы канонады вылетели из огня. Буск горел, и Левка полетел по лесу в качающемся экипаже начдива шесть. Он натянул малиновые вожжи и бился о пни лакированными колесами. Шевелевская линейка неслась за ним, внимательная Сашка правила лошадьми, прыгавшими из упряжки.

Так приехали они к опушке, где стоял перевязочный пункт. Левка выпряг лошадей и пошел к заведующему просить попону. Он пошел по лесу, заставленному телегами. Тела санитарок торчали под телегами, несмелая заря билась над солдатскими овчинами. Сапоги спящих были брошены врозь, зрачки заведены к небу, черные ямы ртов перекошены.

Попона нашлась у заведующего; Левка вернулся к Шевелеву, поцеловал его в лоб и покрыл с головой. Тогда к линейке приблизилась Сашка. Она вывязала себе платок под подбородком и отряхнула платье от соломы.

— Павлик, — сказала она. — Иисус Христос мой, — легла на мертвеца боком, прикрыв его своим непомерным телом.

— Убивается, — сказал тогда Левка, — ничего не скажешь, хорошо жили. Теперь ей снова под всем эскадроном хлопотать. Несладко...

И он проехал дальше в Буск, где расположился штаб шестой кавдивизии.

Там, в десяти верстах от города, шел бой с савинковскими казаками. Предатели сражались под командой есаула Яковлева, передавшегося полякам. Они сражались мужественно. Начдив вторые сутки был с войсками, и Левка, не найдя его в штабе, вернулся к себе в хату, почистил лошадей, облил водой колеса экипажа и лег спать в клуне. Сарай был набит свежим сеном, зажигательным, как духи. Левка выспался и сел обедать. Хозяйка сварила ему картошки, залила ее простоквашей. Левка сидел уже у стола, когда на улице раздался траурный вопль труб и топот многих копыт. Эскадрон с трубачами и штандартами проходил по извилистой галицийской улице. Тело Шевелева, положенное на лафет, было перекрыто знаменами. Сашка ехала за гробом на шевелевском жеребце, казацкая песня сочилась из задних рядов.

Эскадрон прошел по главной улице и повернул к реке. Тогда Левка, босой, без шапки, пустился бегом за уходящим отрядом и схватил за поводья лошадь командира эскадрона.

Ни начдив, остановившийся у перекрестка и отдававший честь мертвому командиру, ни штаб его не слышали, что сказал Левка эскадронному.

— Сподники... — донес к нам ветер обрывки слов, — мать на Тереке... — услышали мы Левкины бессвязные крики.

Эскадронный, не дослушав до конца, высвободил свои поводья и показал рукой на Сашку. Женщина помотала головой и проехала дальше. Тогда Левка вскочил к ней на седло, схватил за волосы, отогнул голову и разбил ей кулаком лицо. Сашка вытерла подолом кровь и поехала дальше. Левка слез с седла, откинул чуб и завязал на бедрах красный шарф. И завывающие трубачи повели эскадрон дальше, к сияющей линии Буга.

Левка скоро вернулся к нам и закричал, блестя глазами:

— Распатронил ее вчистую... Отошлю, говорит, матери, когда нужно. Евоную память, говорит, сама помню. А помнишь, так не забывай, гадючья кость... А забудешь — мы еще разок напомним. Второй раз забудешь — второй раз напомним.

ЗАМОСТЬЕ

Начдив и штаб его лежали на скошенном поле в трех верстах от Замостья. Войскам предстояла ночная атака города. Приказ по армии требовал, чтобы мы ночевали в Замостье, и начдив ждал донесений о победе.

Шел дождь. Над залитой землей летели ветер и тьма. Звезды были потушены раздувшимися чернилами туч. Изможенные лошади вздыхали и переминались во мраке. Им нечего было дать. Я привязал повод коня к моей ноге, завернулся в плащ и лег в яму, полную воды. Размокшая земля открыла мне успокоительные объятия могилы. Лошадь натянула повод и потащила меня за ногу. Она нашла пучок травы и стала щипать его. Тогда я заснул и увидел во сне клуню, засыпанную сеном. Над клуней гудело пыльное золото молотьбы. Снопы пшеницы летали по небу, июльский день переходил в вечер, чащи заката запрокидывались над селом.

Я был простерт на безмолвном ложе, и ласка сена под затылком сводила меня с ума. Потом двери сарая разошлись со свистом. Женщина, одетая для бала, приблизилась ко мне. Она вынула грудь из черных кружев корсажа и понесла ее мне с осторожностью, как кормилица пищу. Она приложила свою грудь к моей. Томительная теплота потрясла основы моей души, и капли пота, живого, движущегося пота, закипели между нашими сосками.

«Марго, — хотел я крикнуть, — земля тащит меня на веревке своих бедствий, как упирающегося пса, но все же я увидел вас, Марго...»

Я хотел это крикнуть, но челюсти мои, сведенные внезапным холодом, не разжимались.

Тогда женщина отстранилась от меня и упала на колени.

— Иисусе, — сказала она, — прими душу усопшего раба твоего...

Она укрепила два истертых пятака на моих веках и забила благовонным сеном отверстие рта. Вопль тщетно метался по кругу закованных моих челюстей, потухающие зрачки медленно повернулись под медяками, я не мог разомкнуть моих рук и... проснулся.

Мужик с свалявшейся бородой лежал передо мной. Он держал в руках ружье. Спина лошади черной перекладиной резала небо. Повод тугой петлей сжимал мою ногу, торчавшую кверху.

— Заснул, земляк, — сказал мужик и улыбнулся ночными, бессонными глазами, — лошадь тебя с полверсты протащила...

Я распутал ремень и встал. По лицу, разодранному бурьяном, лилась кровь.

Тут же, в двух шагах от нас, лежала передовая цепь. Мне видны были трубы Замостья, вороватые огни в теснинах его гетто и каланча с разбитым фонарем. Сырой рассвет стекал на нас, как волны хлороформа. Зеленые ракеты взвивались над польским лагерем. Они трепетали в воздухе, осыпались, как розы под луной, и угасали.

И в тишине я услышал отдаленное дуновение стона. Дым потаенного убийства бродил вокруг нас..

— Бьют кого-то, — сказал я. — Кого это бьют?..

— Поляк тревожится, — ответил мне мужик, — поляк жидов режет...

Мужик переложил ружье из правой руки в левую. Борода его свернулась совсем набок, он посмотрел на меня с любовью и сказал:

— Длинные эти ночи в цепу, конца этим ночам нет. И вот приходит человеку охота поговорить с другим человеком, а где его возьмешь, другого человека-то?..

Мужик заставил меня прикурить от его огонька.

— Жид всякому виноват, — сказал он, — и нашему и вашему. Их после войны самое малое количество останется. Сколько в свете жидов считается?

— Десяток миллионов, — ответил я и стал взнуздывать коня.

— Их двести тысяч останется! — вскричал мужик и тронул меня за руку, боясь, что я уйду. Но я взобрался на седло и поскакал к тому месту, где был штаб.

Начдив готовился уже уезжать. Ординарцы стояли перед ним навытяжку и спали стоя. Спешенные эскадроны ползли по мокрым буграм.

— Прижалась наша гайка, — прошептал начдив и уехал.

Мы последовали за ним по дороге в Ситанец.

Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках.

Мы приехали в Ситанец утром. Я был с Волковым, квартирьером штаба. Он нашел для нас свободную хату у края деревни.

— Вина, — сказал я хозяйке, — вина, мяса и хлеба!

Старуха сидела на полу и кормила из рук спрятанную под кровать телку.

— Ниц нема, — ответила она равнодушно. — И того времени не упомню, когда было...

Я сел за стол, снял с себя револьвер и заснул. Через четверть часа я открыл глаза и увидел Волкова, согнувшегося над подоконником. Он писал письмо к невесте.

«Многоуважаемая Валя, — писал он, — помните ли вы меня?»

Я прочитал первую строчку, потом вынул спички из кармана и поджег кучу соломы на полу. Освобожденное пламя заблестело и кинулось ко мне. Старуха легла на огонь грудью и затушила его.

— Что ты делаешь, пан? — сказала старуха и отступила в ужасе.

Волков обернулся, устремил на хозяйку пустые глаза и снова принялся за письмо.

— Я спалю тебя, старая, — пробормотал я, засыпая, — тебя спалю и твою краденую телку.

— Чекай! — закричала хозяйка высоким голосом. Она побежала в сени и вернулась с кувшином молока и хлебом.

Мы не успели съесть и половины, как во дворе застучали выстрелы. Их было множество. Они стучали долго и надоели нам. Мы кончили молоко, и Волков ушел во двор для того, чтобы узнать, в чем дело.

— Я заседлал твоего коня, — сказал он мне в окошко, — моего прострочили, лучше не надо. Поляки ставят пулеметы в ста шагах.

И вот на двоих у нас осталась одна лошадь. Она едва вынесла нас из Ситанца. Я сел в седло, Волков пристроился сзади.

Обозы бежали, ревели и тонули в грязи. Утро сочилось из нас, как хлороформ сочится на госпитальный стол.

— Ты женат, Лютов? — сказал вдруг Волков, сидевший сзади.

— Меня бросила жена, — ответил я, задремал на несколько мгновений, и мне приснилось, что я сплю на кровати.

Молчание.

Лошадь наша шатается.

— Кобыла пристанет через две версты, — говорит Волков, сидящий сзади.

Молчание.

— Мы проиграли кампанию, — бормочет Волков и всхрапывает.

— Да, — говорю я.

ИЗМЕНА

«Товарищ следователь Бурденко. На вопрос ваш отвечаю, что партийность имею номер двадцать четыре два нуля, выданную Никите Балмашеву Краснодарским комитетом партии. Жизнеописание мое до 1914 года объясняю как домашнее, где занимался при родителях хлебопашеством и перешел от хлебопашества в ряды империалистов защищать гражданина Пуанкаре и палача германской революции Эберта-Носке, которые, надо думать, спали и во сне видели, как бы дать подмогу урожденной моей станице Иван Святой Кубанской области. И так вилась веревочка до тех пор, пока товарищ Ленин не отворотил озверелый мой штык и не указал ему предназначенную кишку и новый сальник поудобнее. С того времени я ношу номер двадцать четыре два нуля на конце зрячего моего штыка, и довольно оно стыдно и слишком мне смешно слыхать теперь от вас, товарищ следователь Бурденко, неподобную эту липу про неизвестный N...ский госпиталь. В госпиталь этот я не стрелял и не нападал, чего и не могло быть. Будучи ранены, мы все трое, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, имели жар в костях и не нападали, а только плакали, стоя в больничных халатах на площади посреди вольного населения по национальности евреев. А коснувшись повреждения трех стекол, которые мы повредили из офицерского нагана, то скажу от всей души, что стекла не соответствовали своему назначению, как будучи в кладовке, которой они без надобности. И доктор Явейн, видя горькую эту нашу стрельбу, только надсмехался

разными улыбками, стоя в окошке своего госпиталя, что также могут подтвердить вышеизложенные вольные евреи местечка Козин. На доктора Явейна даю еще, товарищ следователь, тот материал, что он надсмехался, когда мы, трое раненых, а именно: боец Головицын, боец Кустов и я, первоначально поступали на излечение, и с первых слов он заявил нам слишком грубо: вы, бойцы, искупайтесь каждый в ванной, ваше оружие и вашу одежду скидайте этой же минутой, я опасаюсь от них заразы, они пойдут у меня обязательно в цейхгауз... И тогда, видя перед собой зверя, а не человека, боец Кустов выступил вперед своею перебитой ногой и выразился, что какая в ней может быть зараза, в кубанской вострой шашке, кроме как для врагов нашей революции, и также поинтересовался узнать об цейхгаузе, действительно ли там при вещах находится партийный боец или же, напротив, один из беспартийной массы. И тут доктор Явейн, видно, заметил, что мы можем хорошо понимать измену. Он оборотился спиной и без другого слова отослал нас в палату и опять с разными улыбками, куда мы и пошли, ковыляя разбитыми ногами, махая калеченными руками и держась друг за друга, так как мы трое есть земляки из станицы Иван Святой, а именно: товарищ Головицын, товарищ Кустов и я, мы есть земляки с одной судьбой, и у кого разорвана нога, тот держит товарища за руку, а у кого недостает руки, тот опирается на товарищево плечо. Согласно отданного приказания пошли мы в палату, где ожидали увидеть культработу и преданность делу, но интересно узнать, что же мы увидели, взойдя в палату? Мы увидели красноармейцев, исключительно пехоту, сидящих на устланных постелях, играющих в шашки и при них сестер высокого росту, гладких, стоящих у окошек и разводящих симпатию. Увидев это, мы остановились как громом пораженные.

— Отвоевались, ребята? — восклицаю я раненым.

— Отвоевались, — отвечают раненые и двигают шашками, поделанными из хлеба.

— Рано, — говорю я раненым, — рано ты отвоевалась, пехота, когда враг на мягких лапах ходит в пятнадцати верстах от местечка и когда в газете «Красный кавалерист» можно читать про наше международное положение, что это одна ужасть и на горизонте полно туч. — Но слова мои отскочили от геройской пехоты, как

овечий помет от полкового барабана, и заместо всего разговор получился у нас, что милосердные сестры подвели нас к лежанкам и снова начали тереть волынку про сдачу оружия, как будто мы уже были побеждены. Они растревожили этим Кустова нельзя сказать как, и тот стал обрывать свою рану, помещавшуюся у него на левом плече, над кровавым сердцем бойца и пролетария. Видя эту натугу, сиделки поутихли, но только поутихли они на самое малое время, а потом опять завели свое издевательство беспартийной массы и стали подсылать охотников повытаскивать из-под нас, сонных, одежду или заставляли для культработы играть театральную ролю в женском платье, что не подобает.

Немилосердные сиделки... Не однажды примерялись они к нам ради одежи сонным порошком, так что отдыхать мы стали в очередь, имея один глаз раскрывши, и в отхожее даже по малой нужде ходили в полной форме, с наганами. И отстрадавши так неделю с одним днем, мы стали заговариваться, получили видения и, наконец, проснувшись в обвиняемое утро, 4 августа, заметили в себе ту перемену, что лежим в халатах под номерами, как каторжники, без оружия и без одежи, вытканной матерями нашими, слабосильными старушками с Кубани... И солнышко, видим, великолепно светит, а окопная пехота, среди которой страдало три красных конника, фулиганит над нами и с ней немилосердные сиделки, которые всыпавши нам накануне сонного порошку, трясут теперь молодыми грудьями и несут нам на блюдах какаву, а молока в этом какаве хоть залейся! От развеселой этой карусели пехота стучит костылями громко до ужасти и щиплет нам бока, как купленным девкам, дескать, отвоевалась и она, Первая Конная Буденная армия. Но нет, раскудрявые товарищи, которые наели очень чудные пуза, что ночью играют, как на пулеметах: не отвоевалась она, а только отпросившись вроде как по надобности, сошли мы трое во двор и со двора пустились мы в жару, в синих язвах к гражданину Бойдерману, к предуревкома, без которого, товарищ следователь Бурденко, этого недоразумения со стрельбой, возможная вещь, и не существовало бы, то есть без того предуревкома, от которого совершенно мы потерялись. И хотя мы не можем дать твердого материала на гражданина Бойдермана, но только, зайдя к предуревкома, мы обратили

внимание на гражданина пожилых лет, в тулупе, по национальности еврея, который сидит за столом, стол его набит бумагами, что это некрасота смотреть... Гражданин Бойдерман кидает глазами то туда, то сюда, и видно, что он ничего не может понимать в этих бумагах, ему горе с этими бумагами, тем более сказать, что неизвестные, но заслуженные бойцы грозно подступают к гражданину Бойдерману за продовольствием, вперебивку с ними местные работники указывают на контру в окрестных селах, и тут же являются рядовые работники центра, которые желают венчаться в уревкоме в самой скорости и без волокиты... Так же и мы возвышенным голосом изложили случай с изменой в госпитале, но гражданин Бойдерман только пучил на нас глаза и опять кидал их то туда, то сюда, и ласкал нам плечи, что уже не есть власть и недостойно власти, резолюции никак не давал, а только заявлял: товарищи бойцы, если вы жалеете Советскую власть, то оставьте это помещение, на что мы не могли согласиться, то есть оставить помещение, а потребовали поголовное удостоверение личности, не получив какового, потеряли сознание. И, находясь без сознания, мы вышли на площадь, перед госпиталем, где обезоружили милицию в составе одного человека кавалерии и нарушили со слезами три незавидных стекла в вышеописанной кладовке. Доктор Явейн при этом недопустимом факте делал фигуры и смешки, и это в такой момент, когда товарищ Кустов должен был через четыре дня скончаться от своей болезни!

В короткой красной своей жизни товарищ Кустов без края тревожился об измене, которая вот она мигает нам из окошка, вот она насмешничает над грубым пролетариатом, но пролетариат, товарищи, сам знает, что он грубый, нам больно от этого, душа горит и рвет огнем тюрьму тела...

Измена, говорю я вам, товарищ следователь Бурденко, смеется нам из окошка, измена ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом дому...»

ЧЕСНИКИ

Шестая дивизия скопилась в лесу, что у деревни Чесники, и ждала сигнала к атаке. Но Павличенко, начдив шесть, поджидал вторую бригаду и не давал сигнала. Тогда к начдиву подъехал Ворошилов. Он толкнул его мордой лошади в грудь и сказал:

— Волыним, начдив шесть, волыним.

— Вторая бригада, — ответил Павличенко глухо, — согласно вашего приказания идет на рысях к месту происшествия.

— Волыним, начдив шесть, волыним, — сказал Ворошилов и рванул на себе ремни.

Павличенко отступил от него на шаг.

— Во имя совести, — закричал он и стал ломать сырые пальцы, — во имя совести, не торопить меня, товарищ Ворошилов...

— Не торопить, — прошептал Клим Ворошилов, член Реввоенсовета, и закрыл глаза. Он сидел на лошади, глаза его были прикрыты, он молчал и шевелил губами. Казак в лаптях и в котелке смотрел на него с недоумением. Скачущие эскадроны шумели в лесу, как шумит ветер, и ломали ветви. Ворошилов расчесывал маузером гриву своей лошади.

— Командарм, — закричал он, оборачиваясь к Буденному, — скажите войскам напутственное слово. Вот он стоит на холмике, поляк, стоит, как картинка, и смеется над тобой!..

Поляки, в самом деле, были видны в бинокль. Штаб армии вскочил на коней, и казаки стали стекаться к нему со всех сторон.

Иван Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, проехал мимо и толкнул меня стременем.

— Ты в строю, Иван? — сказал я ему. — Ведь у тебя ребер нету...

— Положил я на эти ребра... — ответил Акинфиев, сидевший на лошади бочком. — Дай послухать, что человек рассказывает.

Он проехал вперед и притиснулся к Буденному в упор. Тот вздрогнул и тихо сказал:

— Ребята, — сказал Буденный, — у нас плохая положения, веселей надо, ребята...

— Даешь Варшаву! — закричал казак в лаптях и в котелке, выкатил глаза и рассек саблей воздух.

— Даешь Варшаву! — закричал Ворошилов, поднял коня на дыбы и влетел в середину эскадронов.

— Бойцы и командиры! — сказал он со страстью. — В Москве, в древней столице, борется небывалая власть. Рабоче-крестьянское правительство, первое в мире, приказывает вам, бойцы и командиры, атаковать неприятеля и привезти победу.

— Сабли к бою... — отдаленно запел Павличенко за спиной командарма, и вывороченные малиновые его губы с пеной заблестели в рядах. Красный казакин начдива был оборван, мясистое омерзительное его лицо искажено. Клинком неоценимой сабли он отдал честь Ворошилову.

— Согласно долгу революционной присяги, — сказал начдив шесть, хрипя и озираясь, — докладаю Реввоенсовету Первой Конной: вторая непобедимая кавбригада на рысях подходит к месту происшествия.

— Делай, — ответил Ворошилов и махнул рукой. Он тронул повод, Буденный поехал с ним рядом. Они ехали на длинных рыжих кобылах, рядом, в одинаковых кителях и в сияющих штанах, расшитых серебром. Бойцы, подвывая, двигались за ними, и бледная сталь мерцала в сукровице осеннего солнца. Но я не услышал единодушия в казацком вое, и, дожидаясь атаки, я ушел в лес, в глубь его, к стоянке питпункта.

Там лежал в бреду раненый красноармеец, и Степка Дуплищев, вздорный казачонок, чистил скребницей Урагана, кровного жеребца, принадлежавшего начдиву и происходившего от Люлюши, ростовской рекордистки. Раненый скороговоркой вспоминал о Шуе, о нетели и каких-то оческах льна, а Дуплищев, заглушая его жалкое бормо-

танье, пел песню о денщике и толстой генеральше, пел все громче, взмахивал скребницей и гладил коня. Но его прервала Сашка, опухшая Сашка, дама всех эскадронов. Она подъехала к мальчику и прыгнула на землю.

— Сделаемся, што ль? — сказала Сашка.

— Отваливай, — ответил Дуплищев, повернулся к ней спиной и стал заплетать ленточки в гриву Урагану.

— Своему слову ты хозяин, Степка, — сказала тогда Сашка, — или ты вакса?

— Отваливай, — ответил Степка, — своему слову я хозяин.

Он вплел все ленточки в гриву и вдруг закричал мне с отчаянием:

— Вот, Кирилл Васильич, обратите маленькое внимание, какое надруганиe она надо мной делает. Это цельный месяц я от нее вытерпляю несказанно што. Куды ни повернусь — она тут, куды ни кинусь — она загородка путя моего: спусти ей жеребца да спусти ей жеребца. Ну, когда начдив каждодневно мне наказывает: «К тебе, говорит, Степка, при таком жеребце много проситься будут, но не моги ты пускать его по четвертому году...»

— Вас небось по пятнадцатому году пускаешь, — пробормотала Сашка и отвернулась. — По пятнадцатому небось, и ничего, молчишь, только пузыри пускаешь...

Она отошла к своей кобыле, укрепила подпруги и изготовилась ехать.

Шпоры на ее туфлях гремели, ажурные чулки были забрызганы грязью и убраны сеном, чудовищная грудь ее закидывалась за спину.

— Целковый-то я привезла, — сказала Сашка в сторону и поставила туфлю со шпорой в стремя. — Привезла, да вот отвозить надо.

Женщина вынула два новеньких полтинника, поиграла ими на ладони и спрятала опять за пазуху.

— Сделаемся, што ль? — сказал тогда Дуплищев, не спуская глаз с серебра, и повел жеребца.

Сашка выбрала покатое место на полянке и поставила кобылу.

— Ты один, видно, на земле с жеребцом ходишь, — сказала она Степке и стала направлять Урагана, — да только кобыленка у меня позиционная, два года не покрыта, — дай, думаю, хороших кровей добуду...

Сашка справилась с жеребцом и потом отвела в сторонку свою лошадь.

— Вот мы и с начинкой, девочка, — прошептала она, поцеловав свою кобылу в лошадиные пегие мокрые губы с нависшими палочками слюны, потерлась о лошадиную морду и стала вслушиваться в шум, топавший по лесу.

— Вторая бригада бежит, — сказала Сашка строго и обернулась ко мне. — Ехать надо, Лютыч...

— Бежит не бежит, — закричал Дуплищев, и у него перехватило в горле, — ставь, дьякон, деньги на кон...

— С деньгами я вся тут, — пробормотала Сашка и вскочила на кобылу.

Я бросился за ней, и мы двинулись галопом. Вопль Дуплищева раздался за нами и легкий стук выстрела.

— Обратите маленькое внимание! — кричал казачонок и изо всех сил бежал по лесу.

Ветер прыгал между ветвями, как обезумевший заяц, вторая бригада летела сквозь галицийские дубы, безмятежная пыль канонады восходила над землей, как над мирной хатой. И по знаку начдива мы пошли в атаку, незабываемую атаку при Чесниках.

ПОСЛЕ БОЯ

История распри моей с Акинфиевым такова.

Тридцать первого числа случилась атака при Чесниках. Эскадроны скопились в лесу возле деревни и в шестом часу вечера кинулись на неприятеля. Он ждал нас на возвышенности, до которой было три версты ходу. Мы проскакали три версты на лошадях, беспредельно утомленных, и, вскочив на холм, увидели мертвенную стену из черных мундиров и бледных лиц. Это были казаки, изменившие нам в начале польских боев и сведенные в бригаду есаулом Яковлевым. Построив всадников в каре, есаул ждал нас с шашкой наголо. Во рту его блестел золотой зуб, черная борода лежала на груди, как икона на мертвеце. Пулеметы противника палили с двадцати шагов, раненые упали в наших рядах. Мы растоптали их и ударились об неприятеля, но каре его не дрогнуло, тогда мы бежали.

Так была одержана савинковцами недолговременная победа над шестой дивизией. Она была одержана потому, что атакуемый не отвратил лица перед лавой налетающих эскадронов. Есаул стоял на этот раз, и мы бежали, не обагрив сабель жалкой кровью изменников.

Пять тысяч человек, вся дивизия наша неслась по склонам, никем не преследуемая. Неприятель остался на холме. Он не поверил неправдоподобной своей победе и не решался на погоню. Поэтому мы остались живы и скатились без ущерба в долину, где встретил нас Виноградов, начподив шесть. Виноградов метался на взбесившемся скакуне и возвращал в бой бегущих казаков.

— Лютов, — крикнул он, завидев меня, — завороти мне бойцов, душа из тебя вон!..

Виноградов колотил рукояткой маузера качавшегося жеребца, взвизгивал и сзывал людей. Я освободился от него и подъехал к киргизу Гулимову, скакавшему неподалеку.

— Наверх, Гулимов, — сказал я, — завороти коня...

— Кобылячий хвост завороти, — ответил Гулимов и оглянулся. Он оглянулся воровато, выстрелил и опалил мне волосы над ухом.

— Твоя завороти, — прошептал Гулимов, взял меня за плечи и стал вытаскивать саблю другой рукой. Сабля туго сидела в ножнах, киргиз дрожал и озирался. Он обнимал мое плечо и наклонял голову все ближе.

— Твоя вперед, — повторял он чуть слышно, — моя за тобой следом... — легонько стукнул меня в грудь клинком подавшейся сабли.

Мне сделалось тошно от близости смерти и от тесноты ее, я отвел ладонью лицо киргиза, горячее, как камень под солнцем, и расцарапал его так глубоко, как только мог. Теплая кровь зашевелилась под моими ногтями, защекотала их, я отъехал от Гулимова, задыхаясь, как после долгого пути. Истерзанный друг мой, лошадь, шла шагом. Я ехал, не видя пути, я ехал, не оборачиваясь, пока не встретил Воробьева, командира первого эскадрона. Воробьев искал своих квартирьеров и не находил их. Мы добрались с ним до деревни Чесники и сели там на лавочку вместе с Акинфиевым, бывшим повозочным Ревтрибунала. Мимо нас прошла Сашка, сестра 31-го кавполка, и два командира подсели на лавочку. Командиры эти задремывали и молчали, один из них, контуженный, неудержимо качал головой и подмигивал выкатившимся глазом. Сашка пошла сказать об нем в госпиталь и потом вернулась к нам, таща лошадь на поводу. Кобыла ее упиралась и скользила ногами по мокрой глине.

— Куда паруса надула? — сказал сестре Воробьев. — Посиди с нами, Саш...

— Не сяду я с вами, — ответила Сашка и ударила кобылу в живот, — не сяду...

— Что так? — закричал Воробьев, смеясь. — Али ты, Саш, передумала с мужчинами чай пить?..

— С тобой передумала, — обернулась баба к командиру и бросила повод далеко от себя. — Передумала я,

Воробьев, с тобой чай пить, потому видала я вас сегодня, герои, и твою некрасоту видала, командир...

— А когда видала, — пробормотал Воробьев, — так и стрелять было впору...

— Стрелять?! — с отчаянием сказала Сашка и сорвала с рукава госпитальную повязку. — Этим, что ли, стрелять мне?

И тут придвинулся к нам Акинфиев, бывший повозочный Ревтрибунала, с которым не сведены были у меня давние счеты.

— Стрелять тебе нечем, Сашок, — сказал он успокоительно, — тебя ефтим никто не виноватит, но только виноватить я желаю тех, кто в драке путается, а патронов в наган не залаживает... Ты в атаку шел, — закричал мне вдруг Акинфиев, и судорога облетела его лицо, — ты шел и патронов не залаживал... где тому причина?..

— Отвяжись, Иван, — сказал я Акинфиеву, но он не отставал и подступал все ближе, весь кособокий, припадочный и без ребер.

— Поляк тебя да, а ты его нет... — бормотал казак, вертясь и ворочая разбитым бедром. — Где тому причина?..

— Поляк меня да, — ответил я дерзко, — а я поляка нет...

— Значит, ты молокан? — прошептал Акинфиев, отступая.

— Значит, молокан, — сказал я громче прежнего. — Чего тебе надо?

— Мне того надо, что ты при сознании, — закричал Иван с диким торжеством, — ты при сознании, а у меня про молокан есть закон писан: их в расход пускать можно, они бога почитают...

Собирая толпу, казак кричал про молокан не переставая. Я стал уходить от него, но он догнал меня и, догнав, ударил по спине кулаком.

— Ты патронов не залаживал, — с замиранием прошептал Акинфиев над самым моим ухом и завозился, пытаясь большими пальцами разодрать мне рот, — ты бога почитаешь, изменник...

Он дергал и рвал мой рот, я отталкивал припадочного и бил его по лицу. Акинфиев боком повалился на землю и, падая, расшибся в кровь.

Тогда к нему подошла Сашка с болтающимися грудями. Женщина облила Ивана водой и вынула у него изо рта длинный зуб, качавшийся в черном рту, как береза на голом большаке.

— У петухов одна забота, — сказала Сашка, — друг дружке в морду стучаться, а мне от делов от этих от сегодняшних глаза прикрыть хочется...

Она сказала это с горестью и увела к себе разбитого Акинфиева, а я поплелся в деревню Чесники, поскользнувшуюся на неутомимом галицийском дожде.

Деревня плыла и распухала, багровая глина текла из ее скучных ран. Первая звезда блеснула надо мной и упала в тучи. Дождь стегнул ветлы и обессилел. Вечер взлетел к небу, как стая птиц, и тьма надела на меня мокрый свой венец. Я изнемог и, согбенный под могильной короной, пошел вперед, вымаливая у судьбы простейшее из умений — уменье убить человека.

ПЕСНЯ

На постое в сельце Будятичах мне пала на долю злая хозяйка. Она была вдова, она была бедна; я отбил много замков у ее чуланов, но не нашел в них живности.

Мне оставалось исхитриться, и вот однажды, вернувшись рано домой, до сумерек, я увидел, как хозяйка приставляла заслонку к неостывшей печи. В хате пахло щами, и, может быть, в этих щах было мясо. Я услышал мясо в ее щах и положил револьвер на стол, но старуха отпиралась, у нее показались судороги в лице и в черных пальцах, она темнела и смотрела на меня с испугом и удивительной ненавистью. Но ничто не спасло бы ее, я донял бы ее револьвером, кабы мне не помешали в этом Сашка Коняев, или, иначе, Сашка Христос.

Он вошел в избу с гармоникой под мышкой, прекрасные его ноги болтались в растоптанных сапогах.

— Поиграем песни, — сказал он и поднял на меня глаза, заваленные синими сонными льдами. — Поиграем песни, — сказал Сашка, присаживаясь на лавочку, и проиграл вступление.

Задумчивое это вступление шло как бы издалека, казак оборвал его и заскучал синими глазами. Он отвернулся и, зная, чем угодить мне, начал кубанскую песню.

«Звезда полей, — запел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

Я любил эту песню. Сашка знал об этом, потому что мы оба — он и я — услышали ее в первый раз в девятнадцатом году в гирлах Дона и станицы Кагальницкой.

Один охотник, промышлявший в заповедных водах, научил нас этой песне. Там, в заповедных водах, мечет икру рыба и водятся несметные стаи птиц. Рыба плодится в гирлах в непередаваемом изобилии, ее можно брать ковшами или просто руками, и если поставить в воду весло, то оно будет стоять стоймя, — рыба держит весло и несет его с собой. Мы видели это сами, мы не забудем никогда заповедных вод у Кагальницкой. Все власти запрещали там охоту, — это правильное запрещение, но в девятнадцатом году в гирлах была жестокая война, и охотник Яков, промышлявший у нас на виду неправильный свой промысел, подарил для отвода глаз гармонику эскадронному нашему певцу Сашке Христу. Он научил Сашку своим песням; из них многие были душевного, старинного распева. За это мы всё простили лукавому охотнику, потому что песни его были нужны нам: никто не видел тогда конца войне, и один Сашка устилал звоном и слезой утомительные наши пути. Кровавый след шел по этому пути. Песня летела над нашим следом. Так было на Кубани и в зеленых походах, так было на Уральске и в Кавказских предгорьях, и вот до сегодняшнего дня. Песни нужны нам, никто не видит конца войне, и Сашка Христос, эскадронный певец, не дозрел еще, чтобы умереть. .

Вот и в этот вечер, когда я обманулся в хозяйских щах, Сашка смирил меня полузадушенным и качающимся своим голосом.

«Звезда полей, — пел он, — звезда полей над отчим домом, и матери моей печальная рука...»

И я слушал его, растянувшись в углу на прелой подстилке. Мечта ломала мне кости, мечта трясла подо мной истлевшее сено, сквозь горячий ее ливень я едва различал старуху, подпершую рукой увядшую щеку. Уронив искусанную голову, она стояла у стены не шевелясь и не тронулась с места после того, как Сашка кончил играть. Сашка кончил и отложил гармонику в сторону, он зевнул и засмеялся, как после долгого сна, и потом, видя запустение вдовьей нашей хижины, смахнул сор с лавки и притащил ведро воды в хату.

— Вишь, сердце мое, — сказала ему хозяйка, поскреблась спиной у двери и показала на меня, — вот начальник твой пришел давеча, накричал на меня натопал, отнял замки у моего хозяйства и оружию мне выложил...

Это грех от бога — мне оружию выкладывать: ведь я женщина...

Она снова поскреблась о дверь и стала набрасывать кожухи на сына. Сын ее храпел под иконой на большой кровати, засыпанной тряпьем. Он был немой мальчик с оплывшей, раздувшейся белой головой и с гигантскими ступнями, как у взрослого мужика. Мать вытерла ему нечистый нос и вернулась к столу.

— Хозяюшка, — сказал ей тогда Сашка и тронул ее плечо, — ежели желаете, я вам внимание окажу...

Но бабка как будто не слыхала его слов.

— Никаких щей я не видала, — сказала она, подпирая щеку, — ушли они, мои щи; мне люди одну оружию показывают, а и попадется хороший человек и посластиться бы с ним впору, да вот такая я тошная стала, что и греху не обрадуюсь...

Она тянула унылые свои жалобы и, бормоча, отодвинула к стене немого мальчика. Сашка лег с ней на тряпичную постель, а я попытался заснуть и стал придумывать себе сны, чтобы мне заснуть с хорошими мыслями.

СЫН РАББИ

...Помнишь ли ты, Житомир, Василий? Помнишь ли ты Тетерев, Василий, и ту ночь, когда суббота, юная суббота кралась вдоль заката, придавливая звезды красным каблучком?

Тонкий рог луны купал свои стрелы в черной воде Тетерева. Смешной Гедали, основатель IV Интернационала, вел нас к рабби Моталэ Брацлавскому на вечернюю молитву. Смешной Гедали раскачивал петушиные перышки своего цилиндра в красном дыму вечера. Хищные зрачки свечей мигали в комнате рабби. Склонившись над молитвенниками, глухо стонали плечистые евреи, и старый шут чернобыльских цадиков звякал медяшками в изодранном кармане...

...Помнишь ли ты эту ночь, Василий?.. За окном ржали кони и вскрикивали казаки. Пустыня войны зевала за окном, и рабби Моталэ Брацлавский, вцепившись в талес истлевшими пальцами, молился у восточной стены. Потом раздвинулась завеса шкапа, и в похоронном блеске свечей мы увидели свитки Торы, завороченные в рубашки из пурпурного бархата и голубого шелка, и повисшее над Торой безжизненное, покорное, прекрасное лицо Ильи, сына рабби, последнего принца в династии...

И вот третьего дня, Василий, полки Двенадцатой армии открыли фронт у Ковеля. В городе загремела пренебрежительная канонада победителей. Войска наши дрогнули и перемешались. Поезд политотдела стал упол-

вать по мертвой спине полей. Тифозное мужичье катило перед собой привычный горб солдатской смерти. Оно прыгало на подножки нашего поезда и отваливалось, сбитое ударами прикладов. Оно сопело, скреблось, летело вперед и молчало. А на двенадцатой версте, когда у меня не стало картошки, я швырнул в них грудой листовок. Но только один из них протянул за листовкой грязную мертвую руку. И я узнал Илью, сына житомирского рабби. Я узнал его тотчас, Василий. И так томительно было видеть принца, потерявшего штаны, переломанного надвое солдатской котомкой, что мы, переступив правила, втащили его к себе в вагон. Голые колени, неумелые, как у старухи, стукались о ржавое железо ступенек; две толстогрудые машинистки в матросках волочили по полу длинное застенчивое тело умирающего. Мы положили его в углу редакции, на полу. Казаки в красных шароварах поправили на нем упавшую одежду. Девицы, уперши в пол кривые ноги незатейливых самок, сухо наблюдали его половые части, эту чахлую, курчавую мужественность исчахшего семита. А я, видевший его в одну из скитальческих моих ночей, я стал складывать в сундучок рассыпавшиеся вещи красноармейца Брацлавского.

Здесь все было свалено вместе — мандаты агитатора и памятки еврейского поэта. Портреты Ленина и Маймонида лежали рядом. Узловатое железо ленинского черепа и тусклый шелк портретов Маймонида. Прядь женских волос была заложена в книжку постановлений Шестого съезда партии, и на полях коммунистических листовок теснились кривые строки древнееврейских стихов. Печальным и скупым дождем падали они на меня — страницы «Песни песней» и револьверные патроны. Печальный дождь заката обмыл пыль с моих волос, и я сказал юноше, умиравшему в углу на драном тюфяке:

— Четыре месяца тому назад, в пятницу вечером, старьевщик Гедали провел меня к вашему отцу, рабби Мотале, но вы не были тогда в партии, Брацлавский.

— Я был тогда в партии, — ответил мальчик, царапая грудь и корчась в жару, — но я не мог оставить мою мать...

— А теперь, Илья?

— Мать в революции — эпизод, — прошептал он,

затихая. — Пришла моя буква, буква Б, и организация услала меня на фронт...

— И вы попали в Ковель, Илья?

— Я попал в Ковель! — закричал он с отчаянием. — Кулачье открыло фронт. Я принял сводный полк, но поздно. У меня не хватило артиллерии...

Он умер, не доезжая Ровно. Он умер, последний принц, среди стихов, филактерий и портянок. Мы похоронили его на забытой станции. И я, едва вмещающий в древнем теле бури моего воображения, — я принял последний вздох моего брата.

АРГАМАК

Я решил перейти в строй. Начдив поморщился, услышав об этом.

— Куда ты прешься?.. Развесишь губы — тебя враз уконтрапупят...

Я настоял на своем. Этого мало. Выбор мой пал на самую боевую дивизию — шестую. Меня определили в 4-й эскадрон 23-го кавполка. Эскадроном командовал слесарь Брянского завода Баулин, по годам мальчик. Для острастки он запустил себе бороду. Пепельные клоки закручивались у него на подбородке. В двадцать два свои года Баулин не знал никакой суеты. Это качество, свойственное тысячам Баулиных, вошло важным слагаемым в победу революции. Баулин был тверд, немногословен, упрям. Путь его жизни был решен. Сомнений в правильности этого пути он не знал. Лишения были ему легки. Он умел спать сидя. Спал он, сжимая одну руку другой, и просыпался так, что незаметен был переход от забытья к бодрствованию.

Ждать себе пощады под командой Баулина нельзя было. Служба моя началась редким предзнаменованием удачи — мне дали лошадь. Лошадей не было ни в конском запасе, ни у крестьян. Помог случай. Казак Тихомолов убил без спросу двух пленных офицеров. Ему поручили сопровождать их до штаба бригады, офицеры могли сообщить важные сведения. Тихомолов не довел их до места. Казака решили судить в Ревтрибунале, потом раздумали. Эскадронный Баулин наложил кару страшнее трибунала — он забрал у Тихомолова жеребца по прозвищу Аргамак, а самого заслал в обоз.

Мука, которую я вынес с Аргамаком, едва ли не превосходила меру человеческих сил. Тихомолов вел лошадь с Терека, из дому. Она была обучена на казацкую рысь, на особый казацкий карьер — сухой, бешеный, внезапный. Шаг Аргамака был длинен, растянут, упрям. Этим дьявольским шагом он выносил меня из рядов, я отбивался от эскадрона и, лишенный чувства ориентировки, блуждал потом по суткам в поисках своей части, попадал в расположение неприятеля, ночевал в оврагах, прибивался к чужим полкам и бывал гоним ими. Кавалерийское мое умение ограничивалось тем, что в германскую войну я служил в артдивизионе при пятнадцатой пехотной дивизии. Больше всего приходилось восседать на зарядном ящике, изредка мы ездили в орудийной запряжке. Мне негде было привыкнуть к жестокой, в раскачку, рыси Аргамака. Тихомолов оставил в наследство коню всех дьяволов своего падения. Я трясся, как мешок, на длинной сухой спине жеребца. Я сбил ему спину. По ней пошли язвы. Металлические мухи разъедали эти язвы. Обручи запекшейся черной крови опоясали брюхо лошади. От неумелой ковки Аргамак начал засекаться, задние ноги его распухли в путовом суставе и стали слоновыми. Аргамак отощал. Глаза его налились особым огнем мучимой лошади, огнем истерии и упорства. Он не давался седлать.

— Аннулировал ты коня, четырехглазый, — сказал взводный.

При мне казаки молчали, за моей спиной они готовились, как готовятся хищники, в сонливой и вероломной неподвижности. Даже писем не просили меня писать...

Конная армия овладела Новоград-Волынском. В сутки нам приходилось делать по шестьдесят, по восемьдесят километров. Мы приближались к Ровно. Дневки были ничтожны. Из ночи в ночь мне снился тот же сон. Я рысью мчусь на Аргамаке. У дороги горят костры. Казаки варят себе пищу. Я еду мимо них, они не поднимают на меня глаз. Одни здороваются, другие не смотрят, им не до меня. Что это значит? Равнодушие их обозначает, что ничего особенного нет в моей посадке, я езжу, как все, нечего на меня смотреть. Я скачу своей дорогой и счастлив. Жажда покоя и счастья не утолялась наяву, от этого снились мне сны.

Тихомолова не было видно. Он сторожил меня где-то на краях похода, в неповоротливых хвостах телег, забитых тряпьем.

Взводный как-то сказал мне:

— Пашка все домогается, каков ты есть...

— А зачем я ему нужен?

— Видно, нужен...

— Он небось думает, что я его обидел?

— А неужели ж нет, не обидел...

Пашкина ненависть шла ко мне через леса и реки. Я чувствовал ее кожей и ежился. Глаза, налитые кровью, привязаны были к моему пути.

— Зачем ты меня врагом наделил? — спросил я Баулина.

Эскадронный проехал мимо и зевнул.

Это не моя печаль, — ответил он, не оборачиваясь, — это твоя печаль...

Спина Аргамака подсыхала, потом открывалась снова, Я подкладывал под седло по три потника, но езды правильной не было, рубцы не затягивались. От сознания, что я сижу на открытой ране, меня всего зудило.

Один казак из нашего взвода, Бизюков по фамилии, был земляк Тихомолову, он знал Пашкиного отца там, на Тереке.

— Евоный отец, Пашкин, — сказал мне однажды Бизюков, — коней по охоте разводит... Боевитый ездок, дебелый... В табун приедет — ему сейчас коня выбирать... Приводят. Он станет против коня, ноги расставит, смотрит... Чего тебе надо?.. А ему вот чего надо: махнет кулачищем, даст раз промежду глаз — коня нету. Ты зачем, Калистрат, животную решил?.. По моей, говорит, страшенной охоте мне на этом коне не ездить... Меня этот конь не заохотил... У меня, говорит, охота смертельная... Боевитый ездок, это нечего сказать.

И вот Аргамак, оставленный в живых Пашкиным отцом, выбранный им, достался мне. Как быть дальше? Я прикидывал в уме множество планов. Война избавила меня от забот.

Конная армия атаковала Ровно. Город был взят. Мы пробыли в нем двое суток. На следующую ночь поляки оттеснили нас. Они дали бой для того, чтобы провести отступающие свои части. Маневр удался. Прикрытием для поляков послужили ураган, секущий дождь, летняя

тяжелая гроза, опрокинувшаяся на мир в потоках черной воды. Мы очистили город на сутки. В ночном этом бою пал серб Дундич, храбрейший из людей. В этом бою дрался и Пашка Тихомолов. Поляки налетели на его обоз. Место было равнинное, без прикрытия. Пашка построил свои телеги боевым порядком, ему одному ведомым. Так, верно, строили римляне свои колесницы. У Пашки оказался пулемет. Надо думать, он украл его и спрятал на случай. Этим пулеметом Тихомолов отбился от нападения, спас имущество и вывел весь обоз, за исключением двух подвод, у которых застрелены были лошади.

— Ты что бойцов маринуешь, — сказали Баулину в штабе бригады через несколько дней после этого боя.

— Верно, надо, если мариную...

— Смотри, нарвешься...

Амнистии Пашке объявлено не было, но мы знали, что он придет. Он пришел в калошах на босу ногу. Пальцы его были обрублены, с них свисали ленты черной марли. Ленты волочились за ним, как мантия. Пашка пришел в село Будятичи на площадь перед костелом, где у коновязи поставлены были наши кони. Баулин сидел на ступеньках костела и парил себе в лохани ноги. Пальцы ног у него подгнили. Они были розоватые, как бывает розовым железо в начале закалки. Клочья юношеских соломенных волос налипли Баулину на лоб. Солнце горело на кирпичах и черепице костела. Бизюков, стоявший рядом с эскадронным, сунул ему в рот папиросу и зажег. Тихомолов, волоча рваную свою мантию, прошел к коновязи. Калоши его шлепали. Аргамак вытянул длинную шею и заржал навстречу хозяину, заржал негромко и визгливо, как конь в пустыне. На его спине сукровица загибалась кружевом между полосами рваного мяса. Пашка стал рядом с конем. Грязные ленты лежали на земле неподвижно.

— Знатьця так, — произнес казак едва слышно.

Я выступил вперед.

— Помиримся, Пашка. Я рад, что конь идет к тебе. Мне с ним не сладить... Помиримся, что ли?..

— Еще пасхи нет, чтобы мириться, — взводный закручивал папиросу за моей спиной. Шаровары его были распущены, рубаха расстегнута на медной груди, он отдыхал на ступеньках костела.

— Похристосуйся с ним, Пашка, — пробормотал Бизюков, тихомоловский земляк, знавший Калистрата, Пашкиного отца, — ему желательно с тобой христосоваться...

Я был один среди этих людей, дружбы которых мне не удалось добиться.

Пашка как вкопанный стоял перед лошадью. Аргамак, сильно и свободно дыша, протягивал ему морду.

— Знатьця так, — повторил казак, резко ко мне повернулся и сказал в упор: — Я не стану с тобой мириться.

Шаркая калошами, он стал уходить по известковой, выжженной зноем дороге, заметая бинтами пыль деревенской площади. Аргамак пошел за ним, как собака. Повод покачивался под его мордой, длинная шея лежала низко. Баулин все тер в лохани железную красноватую гниль своих ног.

— Ты меня врагом наделил, — сказал я ему, — а чем я тут виноват?

Эскадронный поднял голову.

— Я тебя вижу, — сказал он, — я тебя всего вижу... Ты без врагов жить норовишь... Ты к этому все ладишь — без врагов...

— Похристосуйся с ним, — пробормотал Бизюков, отворачиваясь.

На лбу у Баулина отпечаталось огненное пятно. Он задергал щекой.

— Ты знаешь, что это получается? — сказал он, не управляясь со своим дыханием. — Это скука получается... Пошел от нас к трепаной матери...

Мне пришлось уйти. Я перевелся в 6-й эскадрон. Там дела пошли лучше. Как бы то ни было, Аргамак научил меня тихомоловской посадке. Прошли месяцы. Сон мой исполнился. Казаки перестали провожать глазами меня и мою лошадь.

ОДЕС=
СКИЕ
РАС=
СКАЗЫ

КОРОЛЬ

Венчание кончилось, раввин опустился в кресло, потом он вышел из комнаты и увидел столы, поставленные во всю длину двора. Их было так много, что они высовывали свой хвост за ворота на Госпитальную улицу. Перекрытые бархатом столы вились по двору, как змеи, которым на брюхо наложили заплаты всех цветов, и они пели густыми голосами — заплаты из оранжевого и красного бархата.

Квартиры были превращены в кухни. Сквозь закопченные двери било тучное пламя, пьяное и пухлое пламя. В его дымных лучах пеклись старушечьи лица, бабьи тряские подбородки, замусоленные груди. Пот, розовый, как кровь, розовый, как пена бешеной собаки, обтекал эти груды разросшегося, сладко воняющего человечьего мяса. Три кухарки, не считая судомоек, готовили свадебный ужин, и над ними царила восьмидесятилетняя Рейзл, традиционная, как свиток Торы, крохотная и горбатая.

Перед ужином во двор затесался молодой человек, неизвестный гостям. Он спросил Беню Крика. Он отвел Беню Крика в сторону.

— Слушайте, Король, — сказал молодой человек, — я имею вам сказать пару слов. Меня послала тетя Хана с Костецкой...

— Ну, хорошо, — ответил Беня Крик, по прозвищу Король, — что это за пара слов?

— В участок вчера приехал новый пристав, велела вам сказать тетя Хана...

— Я знал об этом позавчера, — ответил Беня Крик. — Дальше.

— Пристав собрал участок и сказал участку речь...

— Новая метла чисто метет, — ответил Беня Крик. — Он хочет облаву. Дальше...

— А когда будет облава, вы знаете, Король?

— Она будет завтра.

— Король, она будет сегодня.

— Кто сказал тебе это, мальчик?

— Это сказала тетя Хана. Вы знаете тетю Хану?

— Я знаю тетю Хану. Дальше.

— ...Пристав собрал участок и сказал им речь. «Мы должны задушить Беню Крика, — сказал он, — потому что там, где есть государь император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву...»

— Дальше.

— ...Тогда шпики начали бояться. Они сказали: если мы сделаем сегодня облаву, когда у него праздник, так Беня рассерчает, и уйдет много крови. Так пристав сказал: самолюбие мне дороже...

— Ну, иди, — ответил Король.

— Что сказать тете Хане за облаву?

— Скажи: Беня знает за облаву.

И он ушел, этот молодой человек. За ним последовали человека три из Бениных друзей. Они сказали, что вернутся через полчаса. И они вернулись через полчаса. Вот и все.

За стол садились не по старшинству. Глупая старость жалка не менее, чем трусливая юность. И не по богатству. Подкладка тяжелого кошелька сшита из слез.

За столом на первом месте сидели жених с невестой. Это их день. На втором месте сидел Сендер Эйхбаум, тесть Короля. Это его право. Историю Сендера Эйхбаума следует знать, потому что это не простая история.

Как сделался Беня Крик, налетчик и король налетчиков, зятем Эйхбаума? Как сделался он зятем человека, у которого было шестьдесят дойных коров без одной? Тут все дело в налете. Всего год тому назад Беня написал Эйхбауму письмо.

«*Мосье Эйхбаум*, — написал он, — *положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софийевскую, 17, — двадцать тысяч рублей. Если вы этого не сделаете, так вас ждет такое, что это не слыхано, и вся Одесса будет о вас говорить. С почтением Беня Король*».

Три письма, одно яснее другого, остались без ответа. Тогда Беня принял меры. Они пришли ночью — девять человек с длинными палками в руках. Палки были обмотаны просмоленной паклей. Девять пылающих звезд зажглись на скотном дворе Эйхбаума. Беня отбил замки у сарая и стал выводить коров по одной. Их ждал парень с ножом. Он опрокидывал корову с одного удара и погружал нож в коровье сердце. На земле, залитой кровью, расцвели факелы, как огненные розы, и загремели выстрелы. Выстрелами Беня отгонял работниц, сбежавшихся к коровнику. И вслед за ним и другие налетчики стали стрелять в воздух, потому что если не стрелять в воздух, то можно убить человека. И вот, когда шестая корова с предсмертным мычанием упала к ногам Короля, — тогда во двор в одних кальсонах выбежал Эйхбаум и спросил:

— Что с этого будет, Беня?

— Если у меня не будет денег — у вас не будет коров, мосье Эйхбаум. Это дважды два.

— Зайди в помещение, Беня.

И в помещении они договорились. Зарезанные коровы были поделены ими пополам, Эйхбауму была гарантирована неприкосновенность и выдано в том удостоверение с печатью. Но чудо пришло позже.

Во время налета, в ту грозную ночь, когда мычали подкалываемые коровы и телки скользили в материнской крови, когда факелы плясали, как черные девы, и бабы-молочницы шарахались и визжали под дулами дружелюбных браунингов, — в ту грозную ночь во двор выбежала в вырезной рубашке дочь старика Эйхбаума — Циля. И победа Короля стала его поражением.

Через два дня Беня без предупреждения вернул Эйхбауму все забранные у него деньги и после этого явился вечером с визитом. Он был одет в оранжевый костюм, под его манжеткой сиял бриллиантовый браслет; он вошел в комнату, поздоровался и попросил у Эйхбаума руки его дочери Цили. Старика хватил легкий удар, но он поднялся. В старике было еще жизни лет на двадцать.

— Слушайте, Эйхбаум, — сказал ему Король, — когда вы умрете, я похороню вас на первом еврейском кладбище, у самых ворот. Я поставлю вам, Эйхбаум, памятник из розового мрамора. Я сделаю вас старостой Бродской синагоги. Я брошу специальность, Эйхбаум, и поступлю в ваше дело компаньоном. У нас будет двести коров,

Эйхбаум. Я убью всех молочников, кроме вас. Вор не будет ходить по той улице, на которой вы живете. Я выстрою вам дачу на шестнадцатой станции... И вспомните, Эйхбаум, вы ведь тоже не были в молодости раввином. Кто подделал завещание, не будем об этом говорить громко?.. И зять у вас будет Король, не сопляк, а Король, Эйхбаум...

И он добился своего, Беня Крик, потому что он был страстен, а страсть владычествует над мирами. Новобрачные прожили три месяца в тучной Бессарабии, среди винограда, обильной пищи и любовного пота. Потом Беня вернулся в Одессу для того, чтобы выдать замуж сорокалетнюю сестру свою Двойру, страдающую базедовой болезнью. И вот теперь, рассказав историю Сендера Эйхбаума, мы можем вернуться на свадьбу Двойры Крик, сестры Короля.

На этой свадьбе к ужину подали индюков, жареных куриц, гусей, фаршированную рыбу и уху, в которой перламутром отсвечивали лимонные озера. Над мертвыми гусиными головками покачивались цветы, как пышные плюмажи. Но разве жареных куриц выносит на берег пенистый прибой одесского моря?

Все благороднейшее из нашей контрабанды, все, чем славна земля из края в край, делало в ту звездную, в ту синюю ночь свое разрушительное, свое обольстительное дело. Нездешнее вино разогревало желудки, сладко переламывало ноги, дурманило мозги и вызывало отрыжку, звучную, как призыв боевой трубы. Черный кок с «Плутарха», прибывшего третьего дня из Порт-Саида, вынес за таможенную черту пузатые бутылки ямайского рома, маслянистую мадеру, сигары с плантаций Пирпонта Моргана и апельсины из окрестностей Иерусалима. Вот что выносит на берег пенистый прибой одесского моря, вот что достается иногда одесским нищим на еврейских свадьбах. Им достался ямайский ром на свадьбе Двойры Крик, и поэтому, насосавшись, как трефные свиньи, еврейские нищие оглушительно стали стучать костылями. Эйхбаум, распустив жилет, сощуренным глазом оглядывал бушующее собрание и любовно икал. Оркестр играл туш. Это было как дивизионный смотр. Туш — ничего кроме туша. Налетчики, сидевшие сомкнутыми рядами, вначале смущались присутствием посторонних, но потом они разошлись. Лева Кацап разбил на голове своей возлюбленной

бутылку водки, Моня Артиллерист выстрелил в воздух. Но пределов своих восторг достиг тогда, когда, по обычаю старины, гости начали одарять новобрачных. Синагогальные шамесы, вскочив на столы, выпевали под звуки бурлящего туша количество подаренных рублей и серебряных ложек. И тут друзья Короля показали, чего стоит голубая кровь и неугасшее еще молдаванское рыцарство. Небрежным движением руки кидали они на серебряные подносы золотые монеты, перстни, коралловые нити.

Аристократы Молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах лопалась кожа цвета небесной лазури. Выпрямившись во весь рост и выпячивая животы, бандиты хлопали в такт музыки, кричали «горько» и бросали невесте цветы, а она, сорокалетняя Двойра, сестра Бени Крика, сестра Короля, изуродованная болезнью, с разросшимся зобом и вылезающими из орбит глазами, сидела на горе подушек рядом с щуплым мальчиком, купленным на деньги Эйхбаума и онемевшим от тоски.

Обряд дарения подходил к концу, шамесы осипли и контрабас не ладил со скрипкой. Над двориком протянулся внезапно легкий запах гари.

— Беня, — сказал папаша Крик, старый биндюжник, слывший между биндюжниками грубияном, — Беня, ты знаешь, что мине сдается? Мине сдается, что у нас горит сажа...

— Папаша, — ответил Король пьяному отцу, — пожалуйста, выпивайте и закусывайте, пусть вас не волнует этих глупостей...

И папаша Крик последовал совету сына. Он закусил и выпил. Но облачко дыма становилось все ядовитее. Где-то розовели уже края неба. И уже стрельнул в вышину узкий, как шпага, язык пламени. Гости, привстав, стали обнюхивать воздух, и бабы их взвизгнули. Налетчики переглянулись тогда друг с другом. И только Беня, ничего не замечавший, был безутешен.

— Мине нарушают праздник, — кричал он, полный отчаяния, — дорогие, прошу вас, закусывайте и выпивайте...

Но в это время во дворе появился тот самый молодой человек, который приходил в начале вечера.

— Король, — сказал он, — я имею вам сказать пару слов...

— Ну, говори, — ответил Король, — ты всегда имеешь в запасе пару слов...

— Король, — произнес неизвестный молодой человек и захихикал, — это прямо смешно, участок горит, как свечка...

Лавочники онемели. Налетчики усмехнулись. Шестидесятилетняя Манька, родоначальница слободских бандитов, вложив два пальца в рот, свистнула так пронзительно, что ее соседи покачнулись.

— Маня, вы не на работе, — заметил ей Беня, — хладнокровней, Маня...

Молодого человека, принесшего эту поразительную новость, все еще разбирал смех.

— Они вышли с участка человек сорок, — рассказывал он, двигая челюстями, — и пошли на облаву; так они отошли шагов пятнадцать, как уже загорелось... Побежите смотреть, если хотите...

Но Беня запретил гостям идти смотреть на пожар. Отправился он с двумя товарищами. Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав — та самая метла, что чисто метет, — стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал ему честь по-военному.

— Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, — сказал он сочувственно. — Что вы скажете на это несчастье? Это же кошмар...

Он уставился на горящее здание, покачал головой и почмокал губами:

— Ай-ай-ай...

. . . .

А когда Беня вернулся домой — во дворе потухали уже фонарики и на небе занималась заря. Гости разошлись, и музыканты дремали, опустив головы на ручки своих контрабасов. Одна только Двойра не собиралась спать. Обеими руками она подталкивала оробевшего мужа к дверям их брачной комнаты и смотрела на него плотоядно, как кошка, которая, держа мышь во рту, легонько пробует ее зубами.

КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ

Начал я.

— Реб Арье-Лейб, — сказал я старику, — поговорим о Бене Крике. Поговорим о молниеносном его начале и ужасном конце. Три тени загромождают пути моего воображения. Вот Фроим Грач. Сталь его поступков — разве не выдержит она сравнения с силой Короля? Вот Колька Паковский. Бешенство этого человека содержало в себе все, что нужно для того, чтобы властвовать. И неужели Хаим Дронг не сумел различить блеск новой звезды? Но почему же один Беня Крик взошел на вершину веревочной лестницы, а все остальные повисли внизу, на шатких ступенях?

Реб Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Перед нами расстилалось зеленое спокойствие могил. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением. Человеку, обладающему знанием, приличествует важность. Поэтому Арье-Лейб молчал, сидя на кладбищенской стене. Наконец он сказал:

— Почему он? Почему не они, хотите вы знать? Так вот — забудьте на время, что на носу у вас очки, а в душе осень. Перестаньте скандалить за вашим письменным столом и заикаться на людях. Представьте себе на мгновенье, что вы скандалите на площадях и заикаетесь на бумаге. Вы тигр, вы лев, вы кошка. Вы можете переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется вами довольна. Вам двадцать пять лет. Если бы к небу и к земле были приделаны кольца, вы схватили бы эти кольца и притянули бы небо к земле. А папаша у вас биндюжник

Мендель Крик. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше. Вы хотите жить, а он заставляет вас умирать двадцать раз на день. Что сделали бы вы на месте Бени Крика? Вы ничего бы не сделали. А он сделал. Поэтому он Король, а вы держите фигу в кармане.

Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму:

— Возьми меня. Я хочу прибиться к твоему берегу. Тот берег, к которому я прибьюсь, будет в выигрыше.

Грач спросил его:

— Кто ты, откуда ты идешь и чем ты дышишь?

— Попробуй меня, Фроим, — ответил Беня, — и перестанем размазывать белую кашу по чистому столу.

— Перестанем размазывать кашу, — ответил Грач, — я тебя попробую.

И налетчики собрали совет, чтобы подумать о Бене Крике. Я не был на этом совете. Но говорят, что они собрали совет. Старшим был тогда покойный Левка Бык.

— Что у него делается под шапкой, у этого Бенчика? — спросил покойный Бык.

И одноглазый Грач сказал свое мнение:

— Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь.

— Если так, — воскликнул покойный Левка, — тогда попробуем его на Тартаковском.

— Попробуем его на Тартаковском, — решил совет, и все, в ком еще квартировала совесть, покраснели, услышав это решение. Почему они покраснели? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

Тартаковского называли у нас «полтора жида» или «девять налетов». «Полтора жида» называли его потому, что ни один еврей не мог вместить в себе столько дерзости и денег, сколько было у Тартаковского. Ростом он был выше самого высокого городового в Одессе, а весу имел больше, чем самая толстая еврейка. А «девятью налетами» прозвали Тартаковского потому, что фирма Левка Бык и компания произвели на его контору не восемь и не десять налетов, а именно девять. На долю Бени, который еще не был тогда Королем, выпала честь совершить на «полтора жида» десятый налет. Когда Фроим передал ему об

этом, он сказал «да» и вышел, хлопнув дверью. Почему он хлопнул дверью? Вы узнаете об этом, если пойдете туда, куда я вас поведу.

У Тартаковского душа убийцы, но он наш. Он вышел из нас. Он наша кровь. Он наша плоть, как будто одна мама нас родила. Пол-Одессы служит в его лавках. И он пострадал через своих же молдаванских. Два раза они выкрадывали его для выкупа, и однажды во время погрома его хоронили с певчими. Слободские громилы били тогда евреев на Большой Арнаутской. Тартаковский убежал от них и встретил похоронную процессию с певчими на Софийской. Он спросил:

— Кого это хоронят с певчими?

Прохожие ответили, что это хоронят Тартаковского. Процессия дошла до Слободского кладбища. Тогда наши вынули из гроба пулемет и начали сыпать по слободским громилам. Но «полтора жида» этого не предвидел. «Полтора жида» испугался до смерти. И какой хозяин не испугался бы на его месте?

Десятый налет на человека, уже похороненного однажды, это был грубый поступок. Беня, который еще не был тогда Королем, понимал это лучше всякого другого. Но он сказал Грачу «да» и в тот же день написал Тартаковскому письмо, похожее на все письма в этом роде:

«Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик».

Тартаковский не поленился и ответил без промедления.

«Беня! Если бы ты был идиот, то я бы написал тебе как идиоту. Но я тебя за такого не знаю, и упаси боже тебя за такого знать. Ты, видно, представляешься мальчиком. Неужели ты не знаешь, что в этом году в Аргентине такой урожай, что хоть завались, и мы сидим с нашей пшеницей без почина?.. И скажу тебе, положа руку на сердце, что мне надоело на старости лет кушать такой горький кусок хлеба и переживать эти неприятности,

после того как я отработал всю жизнь, как последний ломовик. И что же я имею после этих бессрочных каторжных работ? Язвы, болячки, хлопоты и бессонницу. Брось этих глупостей, Беня. Твой друг, гораздо больше, чем ты это предполагаешь, — Рувим Тартаковский».

«Полтора жида» сделал свое. Он написал письмо. Но почта не доставила письмо по адресу. Не получив ответа, Беня рассерчал. На следующий день он явился с четырьмя друзьями в контору Тартаковского. Четыре юноши в масках и с револьверами ввалились в комнату.

— Руки вверх! — сказали они и стали махать пистолетами.

— Работай спокойнее, Соломон, — заметил Беня одному из тех, кто кричал громче других, — не имей эту привычку быть нервным на работе, — и, оборотившись к приказчику, белому, как смерть, и желтому, как глина, он спросил его:

— «Полтора жида» в заводе?

— Их нет в заводе, — ответил приказчик, фамилия которого была Мугинштейн, а по имени он звался Иосиф и был холостым сыном тети Песи, куриной торговки с Серединской площади.

— Кто будет здесь наконец за хозяина? — стали допрашивать несчастного Мугинштейна.

— Я здесь буду за хозяина, — сказал приказчик, зеленый, как зеленая трава.

— Тогда отчини нам, с божьей помощью, кассу! — приказал ему Беня, и началась опера в трех действиях.

Нервный Соломон складывал в чемодан деньги, бумаги, часы и монограммы; покойник Иосиф стоял перед ним с поднятыми руками, и в это время Беня рассказывал истории из жизни еврейского народа.

— Коль раз он разыгрывает из себя Ротшильда, — говорил Беня о Тартаковском, — так пусть он горит огнем. Объясни мне, Мугинштейн, как другу: вот получает он от меня деловое письмо; отчего бы ему не сесть за пять копеек на трамвай и не подъехать ко мне на квартиру и не выпить с моей семьей стопку водки и закусить чем бог послал? Что мешало ему выговорить передо мной душу? «Беня, — пусть бы он сказал, — так и так, вот тебе мой баланс, повремени мне пару дней, дай вздохнуть, дай мне развести руками». Что бы я ему ответил. Свинья со

свиньей не встречается, а человек с человеком встречается. Мугинштейн, ты меня понял?

— Я вас понял, — сказал Мугинштейн и солгал, потому что совсем ему не было понятно, зачем «полтора жида», почтенный богач и первый человек, должен был ехать на трамвае закусывать с семьей биндюжника Менделя Крика.

А тем временем несчастье шлялось под окнами, как нищий на заре. Несчастье с шумом ворвалось в контору. И хотя на этот раз оно приняло образ еврея Савки Буциса, но оно было пьяно, как водовоз.

— Го-гу-го, — закричал еврей Савка, — прости меня, Бенчик, я опоздал, — и он затопал ногами и стал махать руками. Потом он выстрелил, и пуля попала Мугинштейну в живот.

Нужны ли тут слова? Был человек и нет человека. Жил себе невинный холостяк, как птица на ветке, — и вот он погиб через глупость. Пришел еврей, похожий на матроса, и выстрелил не в какую-нибудь бутылку с сюрпризом, а в живого человека. Нужны ли тут слова?

— Тикать с конторы! — крикнул Беня и побежал последним. Но, уходя, он успел сказать Буцису:

— Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...

Теперь скажите мне вы, молодой господин, режущий купоны на чужих акциях, как поступили бы вы на месте Бени Крика? Вы не знаете, как поступить. А он знал. Поэтому он Король, а мы с вами сидим на стене второго еврейского кладбища и отгораживаемся от солнца ладонями.

Несчастный сын тети Песи умер не сразу. Через час после того, как его доставили в больницу, туда явился Беня. Он велел вызвать к себе старшего врача и сиделку и сказал им, не вынимая рук из кремовых штанов.

— Я имею интерес, — сказал он, — чтобы больной Иосиф Мугинштейн выздоровел. Представляюсь на всякий случай — Бенцион Крик. Камфору, воздушные подушки, отдельную комнату — давать с открытой душой. Если нет, то на всякого доктора, будь он даже доктором философии, приходится не более трех аршин земли.

И все же Мугинштейн умер в ту же ночь. И тогда только «полтора жида» поднял крик на всю Одессу.

— Где начинается полиция, — вопил он, — и где кончается Беня?

— Полиция кончается там, где начинается Беня, — отвечали резонные люди, но Тартаковский не успокаивался, и он дождался того, что красный автомобиль с музыкальным ящиком проиграл на Серединской площади свой первый марш из оперы «Смейся, паяц». Среди бела дня машина подлетела к домику, в котором жила тетя Песя.

Автомобиль гремел колесами, плевался дымом, сиял медью, вонял бензином и играл арии на своем сигнальном рожке. Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песя. «Полтора жида» сидел на стуле и махал руками.

— Хулиганская морда, — прокричал он, увидя гостя, — бандит, чтобы земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял — убивать живых людей...

— Мосье Тартаковский, — ответил ему Беня Крик тихим голосом, — вот идут вторые сутки, как я плачу за дорогим покойником, как за родным братом. Но я знаю, что вы плевать хотели на мои молодые слезы. Стыд, мосье Тартаковский, — в какой несгораемый шкаф упрятали вы стыд? Вы имели сердце послать матери нашего покойного Иосифа сто жалких карбованцев. Мозг вместе с волосами поднялся у меня дыбом, когда я услышал эту новость.

Тут Беня сделал паузу. На нем был шоколадный пиджак, кремовые штаны и малиновые штиблеты.

— Десять тысяч единовременно, — заревел он, — десять тысяч единовременно и пенсию до ее смерти, пусть она живет сто двадцать лет. А если нет, тогда выйдем из этого помещения, мосье Тартаковский, и сядем в мой автомобиль...

Потом они бранились друг с другом. «Полтора жида» бранился с Беней. Я не был при этой ссоре. Но те, кто были, те помнят. Они сошлись на пяти тысячах наличными и пятидесяти рублях ежемесячно.

— Тетя Песя, — сказал тогда Беня всклокоченной старушке, валявшейся на полу, — если вам нужна моя жизнь, вы можете получить ее, но ошибаются все, даже бог. Вышла громадная ошибка, тетя Песя. Но разве со стороны бога не было ошибкой поселить евреев в России, чтобы они мучились, как в аду? И чем было бы плохо, если бы евреи жили в Швейцарии, где их окружали бы первоклассные озера, гористый воздух и сплошные французы? Оши-

баются все, даже бог. Слушайте меня ушами, тетя Песя. Вы имеете пять тысяч на руки и пятьдесят рублей в месяц до вашей смерти, — живите сто двадцать лет. Похороны Иосифа будут по первому разряду: шесть лошадей, как шесть львов, две колесницы с венками, хор из Бродской синагоги, сам Миньковский придет отпевать покойного вашего сына...

И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни. Таких похорон Одесса еще не видала, а мир не увидит. Городовые в этот день одели нитяные перчатки. В синагогах, увитых зеленью и открытых настежь, горело электричество. На белых лошадях, запряженных в колесницу, качались черные плюмажи. Шестьдесят певчих шли впереди процессии. Певчие были мальчиками, но они пели женскими голосами. Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки. За старостами шли члены общества приказчиков-евреев, а за приказчиками-евреями — присяжные поверенные, доктора медицины и акушерки-фельдшерицы. С одного бока тети Песи находились куриные торговки со Старого базара, а с другого бока находились почетные молочницы с Бугаевки, завороченные в оранжевые шали. Они топали ногами, как жандармы на параде в табельный день. От их широких бедер шел запах моря и молока. И позади всех плелись служащие Рувима Тартаковского. Их было сто человек, или двести, или две тысячи. На них были черные сюртуки с шелковыми лацканами и новые сапоги, которые скрипели, как поросята в мешке.

И вот я буду говорить, как говорил господь на горе Синайской из горящего куста. Кладите себе в уши мои слова. Все, что я видел, я видел своими глазами, сидя здесь, на стене второго кладбища, рядом с шепелявым Мойсейкой и Шимшоном из погребальной конторы. Видел это я, Арье-Лейб, гордый еврей, живущий при покойниках.

Колесница подъехала к кладбищенской синагоге. Гроб поставили на ступени. Тетя Песя дрожала, как птичка. Кантор вылез из фаэтона и начал панихиду. Шестьдесят певчих вторили ему. И в эту минуту красный автомобиль вылетел из-за поворота. Он проиграл «Смейся, паяц» и остановился. Люди молчали как убитые. Молчали

деревья, певчие, нищие. Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горящими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев.

Впереди шел Беня Крик, которого тогда никто еще не называл Королем. Первым приблизился он к могиле, взошел на холмик и простер руку.

— Что хотите вы делать, молодой человек? — подбежал к нему Кофман из погребального братства.

— Я хочу сказать речь, — ответил Беня Крик.

И он сказал речь. Ее слышали все, кто хотел слушать. Ее слышал я, Арье-Лейб, и шепелявый Мойсейка, который сидел на стене со мною рядом.

— Господа и дамы, — сказал Беня Крик, — господа и дамы, — сказал он, и солнце встало над его головой, как часовой с ружьем. — Вы пришли отдать последний долг честному труженику, который погиб за медный грош. От своего имени и от имени всех, кто здесь не присутствует, благодарю вас. Господа и дамы! Что видел наш дорогой Иосиф в своей жизни? Он видел пару пустяков. Чем занимался он? Он пересчитывал чужие деньги. За что погиб он? Он погиб за весь трудящийся класс. Есть люди, уже обреченные смерти, и есть люди, еще не начавшие жить. И вот пуля, летевшая в обреченную грудь, пробивает Иосифа, не видевшего в своей жизни ничего, кроме пары пустяков. Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но все же пьющие ее. И вот первые получают удовольствие от горя и от радости, а вторые страдают за всех тех, кто пьет водку, не умея пить ее. Поэтому, господа и дамы, после того как мы помолимся за нашего бедного Иосифа, я прошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса...

И, сказав эту речь, Беня Крик сошел с холмика. Молчали люди, деревья и кладбищенские нищие. Два могильщика пронесли некрашеный гроб к соседней могиле. Кантор, заикаясь, окончил молитву. Беня бросил первую лопату и перешел к Савке. За ним пошли, как овцы, все присяжные поверенные и дамы с брошками. Он заставил кантора пропеть над Савкой полную панихиду, и шестьдесят певчих вторили кантору. Савке не снилась такая панихида — поверьте слову Арье-Лейба, старого старика.

Говорят, что в тот день «полтора жида» решил закрыть дело. Я при этом не был. Но то, что ни кантор, ни хор, ни погребальное братство не просили денег за похороны, — это видел я глазами Арье-Лейба. Арье-Лейб — так зовут меня. И больше я ничего не мог видеть, потому что люди, тихонько отойдя от Савкиной могилы, бросились бежать, как с пожара. Они летели в фаэтонах, в телегах и пешком. И только те четыре, что приехали на красном автомобиле, на нем же и уехали. Музыкальный ящик проиграл свой марш, машина вздрогнула и умчалась.

— Король, — глядя ей вслед, сказал шепелявый Мойсейка, тот самый, что забирает у меня лучшие места на стенке.

Теперь вы знаете все. Вы знаете, кто первый произнес слово «король». Это был Мойсейка. Вы знаете, почему он не назвал так ни одноглазого Грача, ни бешеного Кольку. Вы знаете все. Но что пользы, если на носу у вас по-прежнему очки, а в душе осень?..

ОТЕЦ

Фроим Грач был женат когда-то. Это было давно, с того времени прошло двадцать лет. Жена родила тогда Фроиму дочку и умерла от родов. Девочку назвали Басей. Ее бабушка по матери жила в Тульчине. Старуха не любила своего зятя. Она говорила о нем: Фроим по занятию ломовой извозчик, и у него есть вороные лошади, но душа Фроима чернее, чем вороная масть его лошадей...

Старуха не любила зятя и взяла новорожденную к себе. Она прожила с девочкой двадцать лет и потом умерла. Тогда Баська вернулась к своему отцу. Это все случилось так.

В среду, пятого числа, Фроим Грач возил в порт на пароход «Каледония» пшеницу из складов общества Дрейфус. К вечеру он кончил работу и поехал домой. На повороте с Прохоровской улицы ему встретился кузнец Иван Пятирубель.

— Почтение, Грач, — сказал Иван Пятирубель, — какая-то женщина колотится до твоего помещения...

Грач проехал дальше и увидел на своем дворе женщину исполинского роста. У нее были громадные бока и щеки кирпичного цвета.

— Папаша, — сказала женщина оглушительным басом, — меня уже черти хватают со скуки. Я жду вас целый день... Знайте, что бабушка умерла в Тульчине.

Грач стоял на биндюге и смотрел на дочь во все глаза.

— Не крутись перед конями, — закричал он в отчаянии, — бери уздечку у коренника, ты мне коней побить хочешь...

Грач стоял на возу и размахивал кнутом. Баська взяла коренника за уздечку и подвела лошадей к конюшне. Она распрягла их и пошла хлопотать на кухню. Девушка повесила на веревку отцовские портянки, она вытерла песком закопченный чайник и стала разогревать зразу в чугунном котелке.

— У вас невыносимый грязь, папаша, — сказала она и выбросила за окно прокисшие овчины, валявшиеся на полу, — но я выведу этот грязь! — прокричала Баська и подала отцу ужинать.

Старик выпил водки из эмалированного чайника и съел зразу, пахнущую как счастливое детство. Потом он взял кнут и вышел за ворота. Туда пришла и Баська вслед за ним. Она одела мужские штиблеты и оранжевое платье, она одела шляпу, обвешанную птицами, и уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за Пересыпью, и небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Иоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, и в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчавшие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шафера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии — они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям Молдаванки.

Соломончик Каплун, сын бакалейщика, и Моня Артиллерист, сын контрабандиста, были в числе тех, кто пытался отвести глаза от блеска чужой удачи. Оба они прошли мимо нее, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, они пошептались между собой и стали двигать руками, показывая, как бы они обнимали Баську, если б она этого захотела. И вот Баська тотчас же этого захотела, потому что она была простая девушка из Тульчина, из своекорыстного подслеповатого городишки. В ней было весу пять пудов и еще несколько фунтов, всю жизнь прожила она с ехидной порослью подольских маклеров,

странствующих книгонош, лесных подрядчиков и никогда не видела таких людей, как Соломончик Каплун. Поэтому, увидев его, она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу.

— Папаша, — сказала она громовым голосом, — посмотрите на этого господинчика: у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки...

— Эге, пани Грач, — прошептал тогда старый еврей, сидевший рядом, старый еврей, по фамилии Голубчик, — я вижу, дите ваше просится на травку...

— Вот морока на мою голову, — ответил Фроим Голубчику, поиграл кнутом и пошел к себе спать и заснул спокойно, потому что не поверил старику. Он не поверил старику и оказался кругом не прав. Прав был Голубчик. Голубчик занимался сватовством на нашей улице, по ночам он читал молитвы над зажиточными покойниками и знал о жизни все, что можно о ней знать. Фроим Грач был неправ. Прав был Голубчик.

И действительно, с этого дня Баська все свои вечера проводила за воротами. Она сидела на лавочке и шила себе приданое. Беременные женщины сидели с ней рядом; груды холста ползли по ее раскоряченным могущественным коленям; беременные бабы наливались всякой всячиной, как коровье вымя наливается на пастбище розовым молоком весны, и в это время мужья их, один за другим, приходили с работы. Мужья бранчливых жен отжимали под водопроводным краном всклокоченные свои бороды и уступали потом место горбатым старухам. Старухи купали в корытах жирных младенцев, они шлепали внуков по сияющим ягодицам и заворачивали их в поношенные свои юбки. И вот Баська из Тульчина увидела жизнь Молдаванки, щедрой нашей матери, — жизнь, набитую сосущими младенцами, сохнущим тряпьем и брачными ночами, полными пригородного шику и солдатской неутомимости. Девушка захотела и себе такой же жизни, но она узнала тут, что дочь одноглазого Грача не может рассчитывать на достойную партию. Тогда она перестала называть отца отцом.

— Рыжий вор, — кричала она ему по вечерам, — рыжий вор, идите вечерять...

И это продолжалось до тех пор, пока Баська не сшила себе шесть ночных рубашек и шесть пар панталон с кружевными оборками. Кончив подшивку кружев, она

заплакала тонким голосом, непохожим на ее голос, и сказала сквозь слезы непоколебимому Грачу:

— Каждая девушка, — сказала она ему, — имеет свой интерес в жизни, и только одна я живу как ночной сторож при чужом складе. Или сделайте со мной что-нибудь, папаша, или я делаю конец моей жизни...

Грач выслушал до конца свою дочь, он одел парусовую бурку и на следующий день отправился в гости к бакалейщику Каплуну на Привозную площадь.

Над лавкой Каплуна блестела золотая вывеска. Это была первая лавка на Привозной площади. В ней пахло многими морями и прекрасными жизнями, неизвестными нам. Мальчик поливал из лейки прохладную глубину магазина и пел песню, которую прилично петь только взрослым. Соломончик, хозяйский сын, стоял за стойкой; на стойке этой были поставлены маслины, пришедшие из Греции, марсельское масло, кофе в зернах, лиссабонская малага, сардины фирмы «Филипп и Кано» и кайенский перец. Сам Каплун сидел в жилетке на солнцепеке, в стеклянной пристроечке, и ел арбуз — красный арбуз с черными косточками, с косыми косточками, как глаза лукавых китаянок. Живот Каплуна лежал на столе под солнцем, и солнце ничего не могло с ним поделать. Но потом бакалейщик увидел Грача в парусиновой бурке и побледнел.

— Добрый день, мосье Грач, — сказал он и отодвинулся. — Голубчик предупредил меня, что вы будете, и я приготовил для вас фунтик чаю, что это — редкость...

И он заговорил о новом сорте чая, привезенном в Одессу на голландских пароходах. Грач слушал его терпеливо, но потом прервал, потому что он был простой человек, без хитростей.

— Я простой человек, без хитростей, — сказал Фроим, — я нахожусь при моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, — кому этого мало, пусть тот горит огнем...

— Зачем нам гореть? — ответил Каплун скороговоркой и погладил руку ломового извозчика. — Не надо такие слова, мосье Грач, ведь вы же у нас человек, который может помочь другому человеку, и, между прочим, вы можете обидеть другого человека, а то, что вы не краковский раввин, так я тоже не стоял под венцом с племянницей

Мозеса Монтефиоре, но... но мадам Каплун... есть у нас мадам Каплун, грандиозная дама, у которой сам бог не узнает, чего она хочет...

— А я знаю, — прервал лавочника Грач, — я знаю, что Соломончик хочет Баську, но мадам Каплун не хочет меня...

— Да, я не хочу вас, — прокричала тогда мадам Каплун, подслушивавшая у дверей, и она взошла в стеклянную пристроечку, вся пылая, с волнующейся грудью, — я не хочу вас, Грач, как человек не хочет смерти; я не хочу вас, как невеста не хочет прыщей на голове. Не забывайте, что покойный дедушка наш был бакалейщик, покойный папаша был бакалейщик и мы должны держаться нашей бранжи...

— Держитесь вашей бранжи, — ответил Грач пылающей мадам Каплун и ушел к себе домой.

Там ждала его Баська, разодетая в оранжевое платье, но старик, не посмотрев на нее, разостлал кожух под телегами, лег спать и спал до тех пор, пока могучая Баськина рука не выбросила его из-под телеги.

— Рыжий вор, — сказала девушка шепотом, непохожим на ее шепот, — отчего должна я переносить биндюжницкие ваши манеры, и отчего вы молчите, как пень, рыжий вор?..

— Баська, — произнес Грач, — Соломончик тебя хочет, но мадам Каплун не хочет меня... Там ищут бакалейщика.

И, поправив кожух, старик снова полез под телеги, а Баська исчезла со двора...

Все это случилось в субботу, в нерабочий день. Пурпурный глаз заката, обшаривая землю, наткнулся вечером на Грача, храпевшего под своим биндюгом. Стремительный луч уперся в спящего с пламенной укоризной и вывел его на Дальницкую улицу, пылившую и блестевшую, как зеленая рожь на ветру. Татары шли вверх по Дальницкой, татары и турки со своими муллами. Они возвращались с богомолья из Мекки к себе домой в Оренбургские степи и в Закавказье. Пароход привез их в Одессу, и они шли из порта на постоялый двор Любки Шнейвейс, прозванной Любкой Казак. Полосатые несгибаемые халаты стояли на татарах и затопляли мостовую бронзовым потом пустыни. Белые полотенца были замотаны вокруг их фесок, и это обозначало человека, поклонившегося праху пророка. Богомольцы дошли до угла, они повер-

нули к Любкиному двору, но не смогли там пройти, потому что у ворот собралось множество людей. Любка Шнейвейс, с кошелем на боку, била пьяного мужика и толкала его на мостовую. Она била сжатым кулаком по лицу, как в бубен, и другой рукой поддерживала мужика, чтобы он не отваливался. Струйки крови ползли у мужика между зубами и возле уха, он был задумчив и смотрел на Любку, как на чужого человека, потом он упал на камни и заснул. Тогда Любка толкнула его ногой и вернулась к себе в лавку. Ее сторож Евзель закрыл за ней ворота и помахал рукой Фроиму Грачу, проходившему мимо...

— Почтение, Грач, — сказал он, — если хотите что-нибудь наблюдать из жизни, то зайдите к нам на двор, есть с чего посмеяться...

И сторож повел Грача к стене, где сидели богомольцы, прибывшие накануне. Старый турок в зеленой чалме, старый турок, зеленый и легкий, как лист, лежал на траве. Он был покрыт жемчужным потом, он трудно дышал и ворочал глазами.

— Вот, — сказал Евзель и поправил медаль на истертом своем пиджаке, — вот вам жизненная драма из оперы «Турецкая хвороба». Он кончается, старичок, но к нему нельзя позвать доктора, потому что тот, кто кончается по дороге от бога Мухамеда к себе домой, тот считается у них первый счастливец и богач... Халваш, — закричал Евзель умирающему и захохотал, — вот идет доктор лечить тебя...

Турок посмотрел на сторожа с детским страхом и ненавистью и отвернулся. Тогда Евзель, довольный собою, повел Грача на противоположную сторону двора к винному погребу. В погребе горели уже лампы и играла музыка. Старые евреи с грузными бородами играли румынские и еврейские песни. Мендель Крик пил за столом вино из зеленого стакана и рассказывал о том, как его искалечили собственные сыновья — старший Беня и младший Левка. Он орал свою историю хриплым и страшным голосом, показывал размолотые свои зубы и давал щупать раны на животе. Волынские цадики с фарфоровыми лицами стояли за его стулом и слушали с оцепенением похвальбу Менделя Крика. Они удивлялись всему, что слышали, и Грач презирал их за это.

— Старый хвастун, — пробормотал он о Менделе и заказал себе вина.

Потом Фроим подозвал к себе хозяйку Любку Казак. Она сквернословила у дверей и пила водку стоя.

— Говори, — крикнула она Фроиму и в бешенстве скосила глаза.

— Мадам Любка, — ответил ей Фроим и усадил рядом с собой, — вы умная женщина, и я пришел до вас, как до родной мамы. Я надеюсь на вас, мадам Любка, — сначала на бога, потом на вас.

— Говори, — закричала Любка, побежала по всему погребу и потом вернулась на свое место.

И Грач сказал:

— В колониях, — сказал он, — немцы имеют богатый урожай на пшеницу, а в Константинополе бакалея идет за половину даром. Пуд маслин покупают в Константинополе за три рубля, а продают их здесь по тридцать копеек за фунт... Бакалейщикам стало хорошо, мадам Любка, бакалейщики гуляют очень жирные, и если подойти к ним с деликатными руками, так человек мог бы стать счастливым... Но я остался один в моей работе, покойник Лева Бык умер, мне нет помощи ниоткуда, и вот я один, как бывает один бог на небе.

— Беня Крик, — сказала тогда Любка, — ты пробовал его на Тартаковском, чем плох тебе Беня Крик?

— Беня Крик? — повторил Грач, полный удивления. — И он холостой, мне сдается?

— Он холостой, — сказала Любка, — окрути его с Баськой, дай ему денег, — выведи его в люди...

— Беня Крик, — повторил старик, как эхо, как дальнее эхо, — я не подумал о нем...

Он встал, бормоча и заикаясь, Любка побежала вперед, и Фроим поплелся за ней следом. Они прошли во двор и поднялись во второй этаж. Там, во втором этаже, жили женщины, которых Любка держала для приезжающих.

— Наш жених у Катюши, — сказала Любка Грачу, — подожди меня в коридоре, — и она прошла в крайнюю комнату, где Беня Крик лежал с женщиной, по имени Катюша.

— Довольно слюни пускать, — сказала хозяйка молодому человеку, — сначала надо пристроиться к какому-нибудь делу, Бенчик, и потом можно слюни пускать... Фроим Грач ищет тебя. Он ищет человека для работы и не может найти его...

И она рассказала все, что знала о Баське и о делах одноглазого Грача.

— Я подумаю, — ответил ей Беня, закрывая простыней Катюшины голые ноги, — я подумаю, пусть старик обождет меня.

— Обожди его, — сказала Любка Фроиму, оставшемуся в коридоре, — обожди его, он подумает...

Хозяйка придвинула стул Фроиму, и он погрузился в безмерное ожидание. Он ждал терпеливо, как мужик в канцелярии. За стеной стонала Катюша и заливалась смехом. Старик продремал два часа и, может быть, больше. Вечер давно уже стал ночью, небо почернело, и млечные его пути исполнились золота, блеска и прохлады. Любкин погреб был закрыт уже, пьяницы валялись во дворе, как сломанная мебель, и старый мулла в зеленой чалме умер к полуночи. Потом музыка пришла с моря, валторны и трубы с английских кораблей, музыка пришла с моря и стихла, но Катюша, обстоятельная Катюша все еще накаляла для Бени Крика свой расписной, свой русский и румяный рай. Она стонала за стеной и заливалась смехом; старый Фроим сидел, не двигаясь, у ее дверей, он ждал до часу ночи и потом постучал.

— Человек, — сказал он, — неужели ты смеешься надо мной?

Тогда Беня открыл наконец двери Катюшиной комнаты.

— Мосье Грач, — сказал он, конфузясь, сияя и закрываясь простыней, — когда мы молодые, так мы думаем на женщин, что это товар, но это же всего только солома, которая горит ни от чего...

И, одевшись, он поправил Катюшину постель, взбил ее подушки и вышел со стариком на улицу. Гуляя, дошли они до русского кладбища, и там, у кладбища, сошлись интересы Бени Крика и кривого Грача, старого налетчика. Они сошлись на том, что Баська приносит своему будущему мужу три тысячи рублей приданого, две кровных лошади и жемчужное ожерелье. Они сошлись еще на том, что Каплун обязан уплатить две тысячи рублей Бене, Баськиному жениху. Он был повинен в семейной гордости — Каплун с Привозной площади, он разбогател на константинопольских маслинах, он не пощадил первой Баськиной любви, и поэтому Беня Крик решил взять

на себя задачу получения с Каплуна двух тысяч рублей.

— Я возьму это на себя, папаша, — сказал он будущему своему тестю, — бог поможет нам, и мы накажем всех бакалейщиков...

Это было сказано на рассвете, когда ночь прошла уже, — и вот тут начинается новая история, история падения дома Каплунов, повесть о медленной его гибели, о поджогах и ночной стрельбе. И все это — судьба высокомерного Каплуна и судьба девушки Баськи — решилось в ту ночь, когда ее отец и внезапный ее жених гуляли вдоль русского кладбища. Парни тащили тогда девушек за ограды, и поцелуи раздавались на могильных плитах.

ЛЮБКА КАЗАК

На Молдаванке, на углу Дальницкой и Балковской улиц, стоит дом Любки Шнейвейс. В ее доме помещается винный погреб, постоялый двор, овсяная лавка и голубятня на сто пар крюковских и николаевских голубей. Лавки эти и участок номер сорок шесть на одесских каменоломнях принадлежат Любке Шнейвейс, прозванной Любкой Казак, и только голубятня составляет собственность сторожа Евзеля, отставного солдата с медалью. По воскресеньям Евзель выходит на Охотницкую и продает голубей чиновникам из города и соседским мальчишкам. Кроме сторожа, на Любкином дворе живет еще Песя-Миндл, кухарка и сводница, и управляющий Цудечкис, маленький еврей, похожий ростом и бороденкой на молдаванского раввина нашего — Бен Захарью. О Цудечкисе я знаю много историй. Первая из них — история о том, как Цудечкис поступил управляющим на постоялый двор Любки, прозванной Казак.

Лет десять тому назад Цудечкис смаклеровал одному помещику молотилку с конным приводом и вечером повел помещика к Любке для того, чтобы отпраздновать покупку. Покупщик его носил возле усов подусники и ходил в лаковых сапогах. Песя-Миндл дала ему на ужин фаршированную еврейскую рыбу и потом очень хорошую барышню, по имени Настя. Помещик переночевал, и на утро Евзель разбудил Цудечкиса, свернувшегося калачиком у порога Любкиной комнаты.

— Вот, — сказал Евзель, — вы хвалились вчера вечером, что помещик купил через вас молотилку, так будьте известны, что переночевав, он убежал на рассвете, как самый последний. Теперь вынимайте два рубля за закуску и четыре рубля за барышню. Видно, вы тертый старик.

Но Цудечкис не отдал денег. Евзель втолкнул его тогда в Любкину комнату и запер на ключ.

— Вот, — сказал сторож, — ты будешь здесь, а потом приедет Любка с каменоломни и с божьей помощью выймет из тебя душу. Аминь.

— Каторжанин, — ответил солдату Цудечкис и стал осматриваться в новой комнате, — ты ничего не знаешь, каторжанин, кроме своих голубей, а я верю еще в бога, который выведет меня отсюда, как вывел всех евреев — сначала из Египта и потом из пустыни...

Маленький маклер много еще хотел высказать Евзелю, но солдат взял с собой ключ и ушел, громыхая сапогами. Тогда Цудечкис обернулся и увидел у окна сводницу Песю-Миндл, которая читала книгу «Чудеса и сердце Баал-Шема». Она читала хасидскую книгу с золотым обрезом и качала ногой дубовую люльку. В люльке этой лежал Любкин сын, Давидка, и плакал.

— Я вижу хорошие порядки на этом Сахалине, — сказал Цудечкис Песе-Миндл, — вот лежит ребенок и разрывается на части, что это жалко смотреть, и вы, толстая женщина, сидите, как камень в лесу, и не можете дать ему соску...

— Дайте вы ему соску, — ответила Песя-Миндл, не отрываясь от книжки, — если только он возьмет у вас, старого обманщика, эту соску, потому что он уже большой, как кацап, и хочет только мамашенькиного молока, и мамашенька его скачет по своим каменоломням, пьет чай с евреями в трактире «Медведь», покупает в гавани контрабанду и думает о своем сыне, как о прошлогоднем снеге...

— Да, — сказал тогда самому себе маленький маклер, — ты у фараона в руках, Цудечкис, — и он отошел к восточной стене, пробормотал всю утреннюю молитву с прибавлениями и взял потом на руки плачущего младенца. Давидка посмотрел на него с недоумением и помахал малиновыми ножками в младенческом поту, а ста-

рик стал ходить по комнате и, раскачиваясь, как цадик на молитве, запел нескончаемую песню.

— А-а-а, — запел он, — вот всем детям дули, а Давидочке нашему калачи, чтобы он спал и днем и в ночи... А-а-а, вот всем детям кулаки...

Цудечкис показал Любкиному сыну кулачок с серыми волосами и стал повторять про дули и калачи до тех пор, пока мальчик не заснул и пока солнце не дошло до середины блистающего неба. Оно дошло до середины и задрожало, как муха, обессиленная зноем. Дикие мужики из Нерубайска и Татарки, остановившиеся на Любкином постоялом дворе, полезли под телеги и заснули там диким заливистым сном, пьяный мастеровой вышел к воротам и, разбросав рубанок и пилу, свалился на землю, свалился и захрапел посредине мира, весь в золотых мухах и голубых молниях июля. Неподалеку от него, в холодке, уселись морщинистые немцы-колонисты, привезшие Любке вино с бессарабской границы. Они закурили трубки, и дым от их изогнутых чубуков стал путаться в серебряной щетине небритых и старческих щек. Солнце свисало с неба, как розовый язык жаждущей собаки, исполинское море накатывалось вдали на Пересыпь, и мачты дальних кораблей колебались на изумрудной воде Одесского залива. День сидел в разукрашенной ладье, день подплывал к вечеру, и навстречу вечеру, только в пятом часу, вернулась из города Любка. Она приехала на чалой лошаденке с большим животом и с отросшей гривой. Парень с толстыми ногами и в ситцевой рубахе открыл ей ворота, Евзель поддержал узду ее лошади, и тогда Цудечкис крикнул Любке из своего заточения:

— Почтение вам, мадам Шнейвейс, и добрый день. Вот вы уехали на три года по делам и набросили мне на руки голодного ребенка...

— Цыть, мурло, — ответила Любка старику и слезла с седла, — кто это разевает там рот в моем окне?

— Это Цудечкис, тертый старик, — ответил хозяйке солдат с медалью и стал рассказывать ей всю историю с помещиком, но он не досказал до конца, потому что маклер, перебивая его, завизжал изо всех сил.

— Какая нахальства, — завизжал он и швырнул вниз ермолку, — какая нахальства набросить на руки чужого ребенка и самой пропасть на три года... Идите дайте ему цицю...

— Вот я иду к тебе, аферист, — пробормотала Любка и побежала к лестнице. Она вошла в комнату и вынула грудь из запыленной кофты.

Мальчик потянулся к ней, искусал чудовищный ее сосок, но не добыл молока. У матери надулась жила на лбу, и Цудечкис сказал ей, тряся ермолкой:

— Вы все хотите захватить себе, жадная Любка; весь мир тащите вы к себе, как дети тащат скатерть с хлебными крошками; первую пшеницу хотите вы и первый виноград; белые хлебы хотите вы печь на солнечном припеке, а маленькое дите ваше, такое дите, как звездочка, должно захлянуть без молока...

— Какое там молоко, — закричала женщина и надавила грудь, — когда сегодня прибыл в гавань «Плутарх» и я сделала пятнадцать верст по жаре?.. А вы, вы запели длинную песню, старый еврей, — отдайте лучше шесть рублей...

Но Цудечкис опять не отдал денег. Он распустил рукав, обнажил руку и сунул Любке в рот худой и грязный локоть.

— Давись, арестантка, — сказал он и плюнул в угол.

Любка подержала во рту чужой локоть, потом вынула его, заперла дверь на ключ и пошла во двор. Там уже дожидался ее мистер Троттибэрн, похожий на колонну из рыжего мяса. Мистер Троттибэрн был старшим механиком на «Плутархе». Он привез с собой к Любке двух матросов. Один из матросов был англичанином, другой был малайцем. Все втроем они втащили во двор контрабанду, привезенную из Порт-Санда. Их ящик был тяжел, они уронили его на землю, и из ящика выпали сигары, запутавшиеся в японском шелку. Множество баб сбежалось к ящику, и две пришлые цыганки, колеблясь и гремя, стали заходить сбоку.

— Прочь, галота! — крикнула им Любка и увела моряков в тень под акацию.

Они сели там за стол. Евзель подал им вина, и мистер Троттибэрн развернул свои товары. Он выпул из тюка сигары и тонкие шелка, кокаин и напильники, необандероленный табак из штата Виргиния и черное вино, купленное на острове Хиосе. Всякому товару была особая цена, каждую цифру запивали бессарабским вином, пахнущим солнцем и клопами. Сумерки побежали по двору, сумерки побежали, как вечерняя волна на широкой реке,

и пьяный малаец, полный удивления, тронул пальцем Любкину грудь. Он тронул ее одним пальцем, потом всеми пальцами по очереди.

Желтые и нежные его глаза повисли над столом, как бумажные фонари на китайской улице; он запел чуть слышно и упал на землю, когда Любка толкнула его кулаком.

— Смотрите, какой хорошо грамотный, — сказала о нем Любка мистеру Троттибэрну, — последнее молоко пропадет у меня от этого малайца, а вот тот еврей съел уже меня за это молоко...

И она указала на Цудечкиса, который, стоя в окне, стирал свои носки. Маленькая лампа коптила в комнате у Цудечкиса, лоханка его пенилась и шипела, он высунулся из окна, почувствовав, что говорят о нем, и закричал с отчаянием.

— Ратуйте, люди! — закричал он и помахал руками.

— Цыть, мурло! — захохотала Любка. — Цыть.

Она бросила в старика камнем, но не попала с первого раза. Женщина схватила тогда пустую бутылку из-под вина. Но мистер Троттибэрн, старший механик, взял у нее бутылку, нацелился и угодил в раскрытое окно.

— Мисс Любка, — сказал старший механик, вставая, и он собрал к себе пьяные ноги, — много достойных людей приходят ко мне, мисс Любка, за товаром, но я никому не даю его, ни мистеру Кунинзону, ни мистеру Батю, ни мистеру Купчику, никому, кроме вас, потому что разговор ваш мне приятен, мисс Любка...

И, утвердившись на вздрогнувших ногах, он взял за плечи своих матросов, одного англичанина, другого малайца, и пошел танцевать с ними по захолодевшему двору. Люди с «Плутарха» — они танцевали в глубокомысленном молчании. Оранжевая звезда, скатившись к самому краю горизонта, смотрела на них во все глаза. Потом они получили деньги, взялись за руки и вышли на улицу, качаясь, как качается висячая лампа на корабле. С улицы им видно было море, черная вода Одесского залива, игрушечные флаги на потонувших мачтах и пронизывающие огни, зажженные в просторных недрах. Любка проводила танцующих гостей до переезда; она осталась одна на пустой улице, засмеялась своим мыслям и вернулась домой. Заспанный парень в ситцевой рубахе запер за нею ворота,

Евзель принес хозяйке дневную выручку, и она отправилась спать к себе наверх. Там дремала уже Песя-Миндл, сводница, и Цудечкис качал босыми ножками дубовую люльку.

— Как вы замучили нас, бессовестная Любка, — сказал он и взял ребенка из люльки, — но вот учитесь у меня, паскудная мать...

Он приставил мелкий гребень к Любкиной груди и положил сына ей в кровать. Ребенок потянулся к матери, накололся на гребень и заплакал. Тогда старик подсунул ему соску, но Давидка отвернулся от соски.

— Что вы колдуете надо мной, старый плут? — пробормотала Любка, засыпая.

— Молчать, паскудная мать! — ответил ей Цудечкис. — Молчать и учитесь, чтоб вы пропали...

Дитя опять укололось о гребень, оно нерешительно взяло соску и стало сосать ее.

— Вот, — сказал Цудечкис и засмеялся, — я отлучил вашего ребенка, учитесь у меня, чтоб вы пропали...

Давидка лежал в люльке, сосал соску и пускал блаженные слюни. Любка проснулась, открыла глаза и закрыла их снова. Она увидела сына и луну, ломившуюся к ней в окно. Луна прыгала в черных тучах, как заблудившийся теленок.

— Ну, хорошо, — сказала тогда Любка, — открой Цудечкису дверь, Песя-Миндл, и пусть он придет завтра за фунтом американского табаку...

И на следующий день Цудечкис пришел за фунтом необандероленного табаку из штата Виргиния. Он получил его и еще четвертку чаю в придачу. А через неделю, когда я пришел к Евзелю покупать голубей, я увидел нового управляющего на Любкином дворе. Он был крохотный, как раввин, наш Бен Зхарья. Цудечкис был новым управляющим.

Он пробыл в своей должности пятнадцать лет, и за это время я узнал о нем множество историй. И, если сумею, я расскажу их все по порядку, потому что это очень интересные истории.

РАС-
СКАЗЫ

ИЛЬЯ ИСААКОВИЧ И МАРГАРИТА ПРОКОФЬЕВНА

Гершкович вышел от надзирателя с тяжелым сердцем. Ему было объявлено, что если не выедет он из Орла с первым поездом, то будет отправлен по этапу. А выехать — значило потерять дело.

С портфелем в руке, худощавый и неторопливый, шел он по темной улице. На углу его окликнула высокая женская фигура:

— Котик, зайдешь?

Гершкович поднял голову, посмотрел на нее через блеснувшие очки, подумал и сдержанно ответил:

— Зайду.

Женщина взяла его под руку. Они пошли за угол.

— Куда же мы? В гостиницу?

— Мне надо на всю ночь, — ответил Гершкович, — к тебе.

— Это будет стоить трешницу, папаша.

— Два, — сказал Гершкович.

— Расчета нет, папаша...

. . . .

Сторговались за два с полтиной. Пошли дальше.

Комната проститутки была небольшая, чистенькая, с порванными занавесками и розовым фонарем.

Когда пришли, женщина сняла пальто, расстегнула кофточку... и подмигнула.

— Э, — поморщился Гершкович, — какое глупство.

— Ты сердитый, папаша.

Она села к нему на колени.

— Нивроко, — сказал Гершкович, — пудов пять в вас будет?

— Четыре тридцать.

Она взасос поцеловала его в седеющую щеку.

. . . .

— Э, — снова поморщился Гершкович, — я устал, хочу уснуть.

Проститутка встала. Лицо у нее сделалось скверное.

— Ты еврей?

Он посмотрел на нее через очки и ответил:

— Нет.

— Папашка, — медленно промолвила проститутка, — это будет стоить десятку.

Он поднялся и пошел к двери.

— Пятерку, — сказала женщина.

Гершкович вернулся.

— Постели мне, — устало сказал еврей, снял пиджак и осмотрелся, куда его повесить. — Как тебя зовут?

— Маргарита.

— Перемени простыню, Маргарита.

Кровать была широкая, с мягкой периной.

Гершкович стал медленно раздеваться, снял белые носки, расправил вспотевшие пальцы на ногах, запер дверь на ключ, положил его под подушку и лег. Маргарита, позевывая, неторопливо сняла платье, скосив глаза, выдавила прыщик на плече и стала заплетать на ночь жиденькую косичку.

— Как тебя зовут, папашка?

— Эли, Элья Исаакович.

— Торгуешь?

— Наша торговля... — неопределенно ответил Гершкович.

Маргарита задула ночник и легла...

. . . .

— Нивроко, — сказал Гершкович. — Откормилась.

Скоро они заснули.

На следующее утро яркий свет солнца залил комнату. Гершкович проснулся, оделся, подошел к окну.

— У нас море, у вас поле, — сказал он. — Хорошо.

— Ты откуда? — спросила Маргарита.

— Из Одессы, — ответил Гершкович. — Первый город, хороший город. — И он хитро улыбнулся.

— Тебе, я вижу, везде хорошо, — сказала Маргарита.

— И правда, — ответил Гершкович. — Везде хорошо, где люди есть.

— Какой ты дурак, — промолвила Маргарита, приподнимаясь на кровати. — Люди злые.

— Нет, — сказал Гершкович, — люди добрые. Их научили думать, что они злые, они и поверили.

Маргарита подумала, потом улыбнулась.

— Ты занятный, — медленно проговорила она и внимательно оглядела его.

— Отвернись. Я оденусь.

Потом завтракали, пили чай с баранками. Гершкович научил Маргариту намазывать хлеб маслом и по-особенному накладывать поверх колбасу.

— Попробуйте, а мне, между прочим, надо отправляться.

Уходя, Гершкович сказал:

— Возьмите три рубля, Маргарита. Поверьте, негде копейку заработать.

Маргарита улыбнулась.

— Жи́ла ты, жи́ла. Давай три. Придешь вечером?

— Приду.

Вечером Гершкович принес ужин — селедку, бутылку пива, колбасы, яблок. Маргарита была в темном глухом платье. Закусывая, разговорились.

— Полсотней в месяц не обойдешься, — говорила Маргарита. — Занятия такая, что дешевкой оденешься — щей не похлебаешь. За комнату отдаю пятнадцать, возьми в расчет...

— У нас в Одессе, — подумавши, ответил Гершкович, с напряжением разрезывая селедку на равные части, — за десять рублей вы имеете на Молдаванке царскую комнату.

— Прими в расчет, народ у меня толчется, от пьяного не убережешься...

— Каждый человек имеет свои неприятности, — промолвил Гершкович и рассказал о своей семье, о пошатнувшихся делах, о сыне, которого забрали на военную службу.

Маргарита слушала, положив голову на стол, и лицо у нее было внимательное, тихое и задумчивое.

После ужина, сняв пиджак и тщательно протерев очки суконкой, он сел за столик и, придвинув к себе лампу, стал писать коммерческие письма. Маргарита мыла голову.

Писал Гершкович неторопливо, внимательно, поднимая брови, по временам задумываясь, и, обмакивая перо, ни разу не забыл отряхнуть его от лишних чернил.

Окончив писать, он посадил Маргариту на копировальную книгу.

— Вы, нивроко, дама с весом. Посидите, Маргарита Прокофьевна, проше пана.

Гершкович улыбнулся, очки блеснули, и глаза сделались у него блестящие, маленькие, смеющиеся.

На следующий день он уезжал. Прохаживаясь по перрону, за несколько минут до отхода поезда Гершкович заметил Маргариту, быстро шедшую к нему с маленьким свертком в руках. В свертке были пирожки, и жирные пятна от них проступили на бумаге.

Лицо у Маргариты было красное, жалкое, грудь волновалась от быстрой ходьбы.

— Привет в Одессу, — сказала она, — привет...

— Спасибо, — ответил Гершкович, взял пирожки, поднял брови, над чем-то подумал и сгорбился.

Раздался третий звонок. Они протянули друг другу руки.

— До свидания, Маргарита Прокофьевна.

— До свиданья, Элья Исаакович.

Гершкович вошел в вагон. Поезд двинулся.

ШАБОС-НАХАМУ [1]

(Из цикла «Гершеле»)

Было утро, был вечер — день пятый. Было утро, наступил вечер — день шестой. В шестой день — в пятницу вечером — нужно помолиться; помолившись — в праздничном капоре пройтись по местечку и к ужину поспеть домой. Дома еврей выпивает рюмку водки, — ни бог, ни Талмуд не запрещают ему выпить две, — съедает фаршированную рыбу и кугель с изюмом. После ужина ему становится весело. Он рассказывает жене истории, потом спит, закрыв один глаз и открыв рот. Он спит, а Гапка в кухне слышит музыку — как будто из местечка пришел слепой скрипач, стоит под окном и играет.

Так водится у каждого еврея. Но каждый еврей — это не Гершеле. Недаром слава о нем прошла по всему Острополю, по всему Бердичеву, по всему Вилюйску.

Из шести пятниц Гершеле праздновал одну. В остальные вечера — он с семьей сидели во тьме и в холоде. Дети плакали. Жена швыряла укоры. Каждый из них был тяжел, как булыжник. Гершеле отвечал стихами.

Однажды — рассказывают такой случай — Гершеле захотел быть предусмотрительным. В среду он отправился на ярмарку, чтобы к пятнице заработать денег. Где есть ярмарка — там есть пан. Где есть пан — там вертятся десять евреев. У десяти евреев не заработаешь трех грошей. Все слушали шуточки Гершеле, но никого не оказывалось дома, когда дело подходило к расчету.

---

[1] Шабос-нахаму — еврейский праздник.

С желудком пустым, как духовой инструмент, Гершеле поплелся домой.

— Что ты заработал? — спросила у него жена.

— Я заработал загробную жизнь, — ответил он. — И богатый и бедный обещали мне ее.

У жены Гершеле было только десять пальцев. Она поочередно загибала каждый из них. Голос ее гремел, как гром в горах.

— У каждой жены — муж как муж. Мой же только и умеет, что кормить жену словечками. Дай бог, чтобы к Новому году у него отнялся язык, и руки, и ноги.

— Аминь, — ответил Гершеле.

— В каждом окне горят свечи, как будто дубы зажгли в домах. У меня же свечи тонки, как спички, и дыму от них столько, что он рвется к небесам. У всех уже поспел белый хлеб, а мне муж принес дров мокрых, как только что вымытая коса...

Гершеле не обмолвился ни единым словом в ответ. Зачем подбрасывать поленьев в огонь, когда он и без того горит ярко? Это первое. И что можно ответить сварливой жене, когда она права? Это второе.

Пришло время, жена устала кричать. Гершеле отошел, лег на кровать и задумался.

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? — спросил он себя.

(Всем известно, что рабби Борухл страдал черной меланхолией и для него не было лекарства лучшего, чем слова Гершеле.)

— Не поехать ли мне к рабби Борухл? Служки цадика дают мне кости, а себе берут мясо. Это правда. Мясо лучше костей, почти лучше воздуха. Поедем к рабби Борухл.

Гершеле встал и пошел запрягать лошадь. Она взглянула на него строго и грустно.

«Хорошо, Гершеле, — сказали ее глаза, — ты вчера не дал мне овса, позавчера не дал мне овса, и сегодня я ничего не получила. Если ты и завтра не дашь мне овса, то я должна буду задуматься о своей жизни».

Гершеле не выдержал внимательного взгляда, опустил глаза и погладил мягкие лошадиные губы. Потом он вздохнул так шумно, что лошадь все поняла, и решил: «Я пойду пешком к рабби Борухл».

Когда Гершеле отправился в путь — солнце высоко стояло на небе. Горячая дорога убегала вперед. Белые

волы медленно тащили повозки с душистым сеном. Мужики, свесив ноги, сидели на высоких возах и помахивали длинными кнутами. Небо было синее, а кнуты черные.

Пройдя часть дороги — верст пять, — Гершеле приблизился к лесу. Солнце уже уходило со своего места. На небе разгорались нежные пожары. Босые девочки гнали с пастбища коров. У каждой из коров раскачивалось наполненное молоком розовое вымя.

В лесу Гершеле встретила прохлада, тихий сумрак. Зеленые листы склонялись друг к другу, гладили друг друга плоскими руками и, тихонько пошептавшись в вышине, возвращались к себе, шелестя и вздрагивая.

Гершеле не внимал их шепоту. В желудке его играл оркестр такой большой, как на балу у графа Потоцкого. Путь ему лежал далекий. С боков земли спешила легкая тьма, смыкалась над головою Гершеле и развевалась по земле. Недвижимые фонари зажглись на небе. Земля замолчала.

Настала ночь, когда Гершеле подошел к корчме. В маленьком окошке светился огонек. У окошка в теплой комнате сидела хозяйка Зельда и шила пеленки. Живот ее был столь велик, точно она собиралась родить тройку. Гершеле взглянул на ее маленькое красное личико с голубыми глазами и поздоровался.

— Можно у вас отдохнуть, хозяйка?

— Можно.

Гершеле сел. Ноздри его раздувались, как кузнечные мехи. Жаркий огонь сверкал в печи. В большом котле кипела вода, обдавая пеной белоснежные вареники. В золотистом супе покачивалась жирная курица. Из духовой несся запах пирога с изюмом.

Гершеле сидел на лавке, скорчившись, как роженица перед родами. В одну минуту в его голове рождалось больше планов, чем у царя Соломона насчитывалось жен.

В комнате было тихо, кипела вода, и качалась на золотистых волнах курица.

— Где ваш муж, хозяйка? — спросил Гершеле.

— Муж уехал к пану платить деньги за аренду. — Хозяйка замолчала. Детские ее глаза выпучились. Она сказала вдруг: — Я вот сижу здесь у окна и думаю. И я хочу вам задать вопрос, господин еврей. Вы, наверное,

много странствуете по свету, учились у ребе и знаете про нашу жизнь. Я ни у кого не училась. Скажите, господин еврей, скоро ли придет к нам шабос-нахаму?

«Эге, — подумал Гершеле. — Вопросец хорош. Всякая картошка растет на божьем огороде...»

— Я вас спрашиваю потому, что муж обещал мне — когда придет шабос-нахаму, мы поедем к мамаше в гости. И платье я тебе куплю, и парик новый, и к рабби Моталэми поедем просить, чтобы у нас родился сын, а не дочь, — все это тогда, когда придет шабос-нахаму. Я думаю — это человек с того света?

— Вы не ошиблись, хозяйка, — ответил Гершеле. — Сам бог положил эти слова на ваши губы... У вас будет и сын и дочь. Это я и есть шабос-нахаму, хозяйка.

Пеленки сползли с колен Зельды. Она поднялась, и маленькая ее головка стукнулась о перекладину, потому что Зельда была высока и жирна, красна и молода. Высокая грудь ее походила на два тугих мешочка, набитых зерном. Голубые глаза ее раскрылись, как у ребенка.

— Это я и есть шабос-нахаму, — подтвердил Гершеле. — Я иду уже второй месяц, хозяйка, иду помогать людям. Это длинный путь — с неба на землю. Сапоги мои изорвались. Я привез вам поклон от всех ваших.

— И от тети Песи, — закричала женщина, — и от папаши, и от тети Голды, вы знаете их?

— Кто их не знает? — ответил Гершеле. — Я говорил с ними так, как говорю теперь с вами.

— Как они живут там? — спросила хозяйка, складывая дрожащие пальцы на животе.

— Плохо живут, — уныло промолвил Гершеле. — Как может житься мертвому человеку? Балов там не задают...

Хозяйкины глаза наполнились слезами.

— Холодно там, — продолжал Гершеле, — холодно и голодно. Они же едят, как ангелы. Никто на том свете не имеет права кушать больше, чем ангелы. Что ангелу надо? Он хватит глоток воды, ему довольно. Рюмочку водки вы там за сто лет не увидите ни разу...

— Бедный папаша...—прошептала пораженная хозяйка.

— На пасху он возьмет себе одну латку. Блин ему хватает на сутки...

— Бедная тетя Песя, — задрожала хозяйка.

— Я сам голодный хожу, — склонив набок голову, промолвил Гершеле, и слеза покатилась по его носу и

пропала в бороде. — Мне ведь ни слова нельзя сказать, я считаюсь там из их компании...

Гершеле не докончил своих слов.

Топоча толстыми ногами, хозяйка стремительно несла к нему тарелки, миски, стаканы, бутылки. Гершеле начал есть, и тогда женщина поняла, что он действительно человек с того света.

Для начала Гершеле съел политую прозрачным салом рубленую печенку с мелко порубленным луком. Потом он выпил рюмку панской водки (в водке этой плавали апельсиновые корки). Потом он ел рыбу, смешав ароматную уху с мягким картофелем и вылив на край тарелки полбанки красного хрена, такого хрена, что от него заплакали бы пять панов с чубами и кунтушами.

После рыбы Гершеле отдал должное курице и хлебал горячий суп с плававшими в нем капельками жира. Вареники, купавшиеся в расплавленном масле, прыгали в рот Гершеле, как заяц прыгает от охотника. Не надо ничего говорить о том, что случилось с пирогом, что могло с ним случиться, если, бывало, по целому году Гершеле в глаза пирога не видел?..

После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет, — папаше, тете Голде и тете Песе. Отцу она положила новый талес, бутыль вишневой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тети Песи были приготовлены теплые серые чулки. К тете Голде поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила Гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой.

— Кланяйтесь, господин шабос-нахаму, кланяйтесь всем, — напутствовала она Гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. — Или — погодите немного, скоро муж придет.

— Нет, — ответил Гершеле. — Надо спешить. Неужели вы думаете, что вы у меня одна?

В темном лесу спали деревья, спали птицы, спали зеленые листы. Побледневшие звезды, сторожащие нас, задремали на небе.

Отойдя с версту, запыхавшийся Гершеле остановился, скинул узел со спины, сел на него и стал рассуждать сам с собою.

— Ты должен знать, Гершеле, — сказал он себе, — что на земле живет много дураков. Хозяйка корчмы была дура.

Муж ее, может быть, умный человек, с большими кулаками, толстыми щеками — и длинным кнутом. Если он приедет домой и нагонит тебя в лесу, то...

Гершеле не стал затруднять себя приисканием ответа. Он тотчас же закопал узел в землю и сделал знак, чтобы легко найти заветное место.

Потом он побежал в другую сторону леса, разделся догола, обнял ствол дерева и принялся ждать. Ожидание длилось недолго. На рассвете Гершеле услышал хлопанье кнута, причмокивание губ и топот копыт. Это ехал корчмарь, пустившийся в погоню за господином шабос-нахаму.

Поравнявшись с голым Гершеле, обнявшим дерево, корчмарь остановил лошадь, и лицо его сделалось таким же глупым, как у монаха, повстречавшегося с дьяволом.

— Что вы делаете здесь? — спросил он прерывистым голосом.

— Я человек с того света, — ответил Гершеле уныло. — Меня ограбили, забрали важные бумаги, которые я везу к рабби Борухл...

— Я знаю, кто вас ограбил, — завопил корчмарь. — И у меня счеты с ним. Какой дорогой он убежал?

— Я не могу сказать, какой дорогой, — горько прошептал Гершеле. — Если хотите, дайте мне вашу лошадь, я догоню его в мгновенье. А вы подождите меня здесь. Разденьтесь, станьте у дерева, поддерживайте его, не отходя ни на шаг до моего приезда. Дерево это — священное, много вещей в нашем мире держится на нем...

Гершеле недолго нужно было всматриваться в человека, чтобы узнать, чем человек дышит. С первого взгляда он понял, что муж недалеко ушел от жены.

И вправду, корчмарь разделся, встал у дерева. Гершеле сел на повозку и поскакал. Он откопал свои вещи, взвалил их на телегу и довез до опушки леса.

Там Гершеле снова взвалил узел на плечи и, бросив лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого рабби Борухл.

Было уже утро. Птицы пели, закрыв глаза. Лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина.

Он ждал ее, прижавшись к дереву, голый под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно. Он переминался с ноги на ногу.

ЛИНИЯ И ЦВЕТ

Александра Федоровича Керенского я увидел впервые двадцатого декабря тысяча девятьсот шестнадцатого года в обеденной зале санатории Оллила. Нас познакомил присяжный поверенный Зацареный из Туркестана. О Зацареном я знал, что он сделал себе обрезание на сороковом году жизни. Великий князь Петр Николаевич, опальный безумец, сосланный в Ташкент, дорожил дружбой Зацареного. Великий князь этот ходил по улицам Ташкента нагишом, женился на казачке, ставил свечи перед портретом Вольтера, как перед образом Иисуса Христа, и осушил беспредельные равнины Аму-Дарьи. Зацареный был его другом.

Итак — Оллила. В десяти километрах от нас сияли синие граниты Гельсингфорса. О Гельсингфорс, любовь моего сердца. О небо, текущее над эспланадой и улетающее, как птица.

Итак — Оллила. Северные цветы тлеют в вазах. Оленьи рога распростерлись на сумрачных плафонах. В обеденной зале пахнет сосной, прохладной грудью графини Тышкевич и шелковым бельем английских офицеров.

За столом рядом с Керенским сидит учтивый выкрест из департамента полиции. От него направо норвежец Никкельсен, владелец китобойного судна. Налево — графиня Тышкевич, прекрасная, как Мария-Антуанетта.

Керенский съел три сладких и ушел со мною в лес. Мимо нас пробежала на лыжах фрекен Кирсти.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это дочь Никкельсена, фрекен Кирсти, — сказал я, — как она хороша...

Потом мы увидели вейку старого Иоганеса.

— Кто это? — спросил Александр Федорович.

— Это старый Иоганес, — сказал я. — Он везет из Гельсингфорса коньяк и фрукты. Разве вы не знаете кучера Иоганеса?

— Я знаю здесь всех, — ответил Керенский, — но я никого не вижу.

— Вы близоруки, Александр Федорович?

— Да, я близорук.

— Нужны очки, Александр Федорович.

— Никогда.

Тогда я сказал с юношеской живостью:

— Подумайте, вы не только слепы, вы почти мертвы. Линия, божественная черта, властительница мира, ускользнула от вас навсегда. Мы ходим с вами по саду очарований, в неописуемом финском лесу. До последнего нашего часа мы не узнаем ничего лучшего. И вот вы не видите обледенелых и розовых краев водопада, там, у реки. Плакучая ива, склонившаяся над водопадом, — вы не видите ее японской резьбы. Красные стволы сосен осыпаны снегом. Зернистый блеск роится в снегах. Он начинается мертвенной линией, прильнувшей к дереву и на поверхности волнистой, как линия Леонардо, увенчан отражением пылающих облаков. А шелковый чулок фрекен Кирсти и линия ее уже зрелой ноги? Купите очки, Александр Федорович, заклинаю вас...

— Дитя, — ответил он, — не тратьте пороху. Полтинник за очки — это единственный полтинник, который я сберегу. Мне не нужна ваша линия, низменная, как действительность. Вы живете не лучше учителя тригонометрии, а я объят чудесами даже в Клязьме. Зачем мне веснушки на лице фрекен Кирсти, когда я, едва различая ее, угадываю в этой девушке все то, что я хочу угадать? Зачем мне облака на этом чухонском небе, когда я вижу мечущийся океан над моей головой? Зачем мне линии — когда у меня есть цвета? Весь мир для меня — гигантский театр, в котором я единственный зритель без бинокля. Оркестр играет вступление к третьему акту, сцена от меня далеко, как во сне, сердце мое раздувается от восторга, я вижу пурпурный бархат на Джульетте.

лиловые шелка на Ромео и ни одной фальшивой бороды... И вы хотите ослепить меня очками за полтинник...

Вечером я уехал в город. О Гельсингфорс, пристанище моей мечты...

А Александра Федоровича я увидел через полгода, в июне семнадцатого года, когда он был верховным главнокомандующим российскими армиями и хозяином наших судеб.

В тот день Троицкий мост был разведен. Путиловские рабочие шли на Арсенал. Трамвайные вагоны лежали на улицах плашмя, как издохшие лошади.

Митинг был назначен в Народном доме. Александр Федорович произнес речь о России — матери и жене. Толпа удушала его овчинами своих страстей. Что увидел в ощетинившихся овчинах он — единственный зритель без бинокля? Не знаю...

ИИСУСОВ ГРЕХ

Жила Арина при номерах на парадной лестнице, а Серега на черной — младшим дворником. Был промежду них стыд. Родила Арина Сереге на прощеное воскресенье двойню. Вода текет, звезда сияет, мужик ярится. Произошла Арина в другой раз в интересное положение, шестой месяц катится, они, бабьи месяцы, катючие. Сереге в солдаты идтить, вот и запятая. Арина возьми и скажи:

— Дожидаться тебя мне, Сергуня, нет расчета. Четыре года мы будем в разлуке, за четыре года мало-мало, а троих рожу. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Придешь ты со службы — утроба у мине утомленная, женщина я буду сношенная, рази я до тебя досягну?

— Диствительно, — качнул головой Серега.

— Женихи при мне сейчас находятся: Трофимыч, подрядчик — большие грубияне, да Исай Абрамыч, старичок, Николо-Святской церкви староста, слабосильный мужчина, — да мне сила ваша злодейская с души воротит, как на духу говорю, замордовали совсем... Рассыплюсь я от сего числа через три месяца, отнесу младенца в воспитательный и пойду за них замуж.

Серега это услыхал, снял с себя ремень, перетянул Арину, геройски по животу норовит.

— Ты, — говорит ему баба, — до брюха не очень клонись, твоя ведь начинка, не чужая...

Было тут бито-колочено, текли тут мужичьи слезы, текла тут бабья кровь, однако ни свету, ни выходу. Пришла тогда баба к Иисусу Христу и говорит:

— Так и так, господи Иисусе. Я — баба Арина с номерей «Мадрид и Лувр», что на Тверской. В номерах служить — подол заворотить. Кто прошел — тот господин, хучь еврей, хучь всякий. Ходит тут по земле раб твой, младший дворник Серега. Родила я ему в прошлом годе на прощеное воскресенье двойню...

И все она господу расписала.

— А ежели Сереге в солдаты вовсе не пойтить? — возомнил тут спаситель.

— Околоточный небось потащит...

— Околоточный, — поник головою господь, — я об ём не подумал... Слышишь, а ежели тебе в чистоте пожить?..

— Четыре-то года? — ответила баба. — Тебя послушать — всем людям разживотиться надо, у тебя это давняя повадка, а приплод где возьмешь? Ты меня толком облегчи...

Навернулся тут на господни щеки румянец, задела его баба за живое, однако смолчал. В ухо себя не поцелуешь, это и богу ведомо.

— Вот что, раба божия, славная грешница дева Арина, — возвестил тут господь во славе своей, — шаландается у меня на небесах ангелок, Альфредом звать, совсем от рук отбился, все плачет: что это вы, господи, меня на двадцатом году жизни в ангелы произвели, когда я вполне бодрый юноша. Дам я тебе, угодница, Альфреда-ангела на четыре года в мужья. Он тебе и молитва, он тебе и защита, он тебе и хахаль. А родить от него не токмо что ребенка, а и утенка немыслимо, потому забавы в нем много, а серьезности нет...

— Это мне и надо, — взмолилась дева Арина, — я от их серьезности почитай три раза в два года помираю...

— Будет тебе сладостный отдых, дитя божие Арина, будет тебе легкая молитва, как песня. Аминь.

На том и порешили. Привели сюда Альфреда. Щуплый парнишка, нежный, за голубыми плечиками два крыла колышутся, играют розовым огнем, как голуби в небесах плещутся. Облапила его Арина, рыдает от умиления, от бабьей душевности.

— Альфредушко, утешеньишко мое, суженый ты мой...

Наказал ей, однако, господь, что как в постелю ложиться — ангелу крылья сымать надо, они у него на задвижках, вроде как дверные петли, сымать и в чистую простыню на ночь заворачивать, потому — при каком-нибудь метании крыло сломать можно, оно ведь из младенческих вздохов состоит, не более того.

Благословил сей союз господь в последний раз; призвал к этому делу архиерейский хор, весьма громогласное пение оказали, закуски никакой, а ни-ни, не полагается, и побежала Арина с Альфредом, обнявшись, по шелковой лестничке вниз на землю. Достигли Петровки, — вон ведь куда баба метнула, — купила она Альфреду (он, между прочим, не то что без порток, а совсем натуральный был), купила она ему лаковые полсапожки, триковые брюки в клетку, егерскую фуфайку, жилетку из бархата электрик.

— Остальное, — говорит, — мы, дружочек, дома найдем...

В номерах Арина в тот день не служила, отпросилась. Пришел Серега скандалить, она к нему не вышла, а сказала из-за двери:

— Сергей Нифантьич, я себе сейчас ноги мыю и прошу вас без скандалу удалиться...

Ни слова не сказал, ушел. Это уже ангельская сила начала себя оказывать.

А ужин Арина сготовила купецкий, — эх, чертовское в ней было самолюбие. Полштофа водки, вино особо, сельдь дунайская с картошкой, самовар чаю. Альфред как эту земную благодать вкусил, так его и сморило. Арина в момент крылышки ему с петель сняла, упаковала, самого в постелю снесла.

Лежит у нее на пуховой перине, на драной многогрешной постели белоснежное диво, неземное сияние от него исходит, лунные столбы вперемежку с красными ходят по комнате, на лучистых ногах качаются. И плачет Арина и радуется, поет и молится. Выпало тебе, Арина, неслыханное на этой побитой земле, благословенна ты в женах!

Полштофа до дна выпили. Оно и сказалось. Как заснули — она на Альфреда брюхом раскаленным, шестимесячным, Серегиным, возьми и навались. Мало ей с ангелом спать, мало ей того, что никто рядом на стенку не

плюет, не храпит, не сопит, мало ей этого, ражей бабе, яростной, — так нет, еще бы пузо греть вспученное и горючее. И задавила она ангела божия, задавила спьяну да с угару, на радостях, задавила, как младенца недельного, под себя подмяла, и пришел ему смертный конец, и с крыльев, в простыню завороченных, бледные слезы закапали.

А пришел рассвет — деревья гнутся долу. В далеких лесах северных каждая елка попом сделалась, каждая елка преклонила колени.

Снова стоит баба перед престолом господним, широка в плечах, могуча, на красных руках ее юный труп лежит.

— Воззри, господи...

Тут Иисусово кроткое сердце не выдержало, проклял он в сердцах женщину:

— Как повелось на земле, так и с тобой поведется, Арина...

— Что ж, господи, — отвечает ему женщина неслышным голосом, — я ли свое тяжелое тело сделала, я ли водку курила, я ли бабью душу одинокую, глупую выдумала...

— Не желаю я с тобой вожжаться, — восклицает господь Иисус, — задавила ты мне ангела, ах ты, паскуда...

И кинуло Арину гнойным ветром на землю, на Тверскую улицу, в присужденные ей номера «Мадрид и Лувр». А там уж море по колено. Серега гуляет напоследях, как он есть новобранец. Подрядчик Трофимыч только что из Коломны приехал, увидел Арину, какая она здоровая да краснощекая.

— Ах ты, пузанок, — говорит, и тому подобное.

Исай Абрамыч, старичок, об этом пузанке прослышав, тоже гнусавит.

— Я, — говорит, — не могу с тобой закон иметь после происшедшего, однако тем же порядком полежать могу...

Ему бы в матери сырой земле лежать, а не то что как-нибудь иначе, однако и он в душу поплевал. Все точно с цепи сорвались — кухонные мальчишки, купцы и инородцы. Торговый человек — он играет.

И вот тут сказке конец.

Перед тем как родить, потому что время три месяца отчеканило, вышла Арина на черный двор за дворницкую, подняла свой ужасно громадный живот к шелковым небесам и промолвила бессмысленно:

— Вишь, господи, вот пузо. Барабанят по ем, ровно горох. И что это такое — не пойму. И опять этого, господи, не желаю...

Слезами омыл Иисус Арину в ответ, на колени стал спаситель.

— Прости меня, Аринушка, бога грешного, и что я это с тобой исделал...

— Нету тебе моего прощения, Иисус Христос, — отвечает ему Арина, — нету.

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку

в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти, и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его в отчаяние. Он хотел побить Эфрусси или подкупить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. Родные тайком от меня подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу, и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом.

Караваев этот был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, сидела бородавка у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихов Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, радовавшемуся за меня и за Пушкина.

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит.

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок...

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к небеленой стене, стал просыпаться от судороги моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку под пролетом казенной лестницы, сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение, сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную, нежную руку на мое плечо. — Дружок мой, — обернулся Пятницкий, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой, в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает объявление в газетах и что бог нас покарает и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не

было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом и скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию, в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветочный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был доверчивый к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необъяснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что семья наша станет когда-либо сильнее и богаче других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, боялась купить форменную блузу раньше времени и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался от обыкновенных людей еще и лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 года. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа

Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем и вечером плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельскохозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме вояжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древнееврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему было надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древнееврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так народ наш силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача, выпил еще вина и закричал: «Виват!» Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать пригубила вина, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда по утрам до ухода в гимназию она стала приготовлять для меня бутерброды, когда

мы ходили по лавкам и покупали елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых обертках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое детское чувство собственничества над новыми вещами передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, разные планочки на крыше и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков. Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на охотницкую, но на пути стали неожиданные препятствия.

История, о которой я рассказываю, то есть поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканым пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпускала меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до охотницкой, помещавшейся у нас за вокзалом.

На охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетеным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек была им верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, и все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне конституцию получают. На Рыбной бабелевского деда насмерть угостили.

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек.

Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль на розовом берегу реки, раскаленный июль в длинной холодной траве. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся в моих глазах, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лот-

ка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видал ты Шойла?

Калека не ответил, грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в волнении ерзал на креслице, жена его, Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы! — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, как будто он рыдает. — Видно, меня, Катерина, бог сыскал, что я за всех ответить должен... Люди полотно целыми штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы...

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся красивым лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он изо всех сил вертел рычажки.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — где брали сарпинку, мадамочка?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа-человек; чего наберешь, — все мне тащи, все покупаю...

Парень изогнулся над передком, хлестнул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам, што ль, сын человеческий...

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную проказой.

— Чего у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревший мое сердце.

Толстой рукой калека разворошил турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, подъехал ко мне, — голуби, — повторил он и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмашь ладонью, сжимавшей птицу, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще дышавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на большой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастье, истребила вдруг границу между моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, шел в убранстве окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо, как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода

гудели над головой, дворняжка бежала впереди, в переулке сбоку молодой мужик в жилете разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашеными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, воспламененные старухи летели вперед. Мужик в жилетке, увидав шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конец процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае и убирал мертвого Шойла.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, вишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал, изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шепотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и остыл, только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Десяти лет от роду я полюбил женщину по имени Галина Аполлоновна. Фамилия ее была Рубцова. Муж ее, офицер, уехал на японскую войну и вернулся в октябре тысяча девятьсот пятого года. Он привез с собой много сундуков. В этих сундуках были китайские вещи: ширмы, драгоценное оружие, всего тридцать пудов. Кузьма говорил нам, что Рубцов купил эти вещи на деньги, которые он нажил на военной службе в инженерном управлении Маньчжурской армии. Кроме Кузьмы, другие люди говорили то же. Людям трудно было не судачить о Рубцовых, потому что Рубцовы были счастливы. Дом их прилегал к нашему владению, стеклянная их терраса захватывала часть нашей земли, но отец не бранился с ними из-за этого. Рубцов, податной инспектор, слыл в нашем городе справедливым человеком, он водил знакомство с евреями. И когда с японской войны приехал офицер, сын старика, все мы увидели, как дружно и счастливо они зажили. Галина Аполлоновна по целым дням держала мужа за руки. Она не сводила с него глаз, потому что не видела мужа полтора года, но я ужасался ее взгляда, отворачивался и трепетал. Я видел в них удивительную постыдную жизнь всех людей на земле, я хотел заснуть необыкновенным сном, чтобы мне забыть об этой жизни, превосходящей мечты. Галина Аполлоновна ходила, бывало, по комнате с распущенной косой, в красных башмаках и китайском халате. Под кружевами ее рубашки, вырезанной низко, видно было углубление и начало белых, вздутых, отдавленных книзу грудей, а на

халате розовыми шелками вышиты были драконы, птицы, дуплистые деревья.

Весь день она слонялась с неясной улыбкой на мокрых губах и наталкивалась на нераспакованные сундуки, на гимнастические лестницы, разбросанные по полу. У Галины делались ссадины от этого, она подымала халат выше колена и говорила мужу:

— Поцелуй ваву...

И офицер, сгибая длинные ноги, одетые в драгунские чикчиры, в шпоры, в лайковые обтянутые сапоги, становился на грязный пол, и, улыбаясь, двигая ногами и подползая на коленях, он целовал ушибленное место, то место, где была пухлая складка от подвязки. Из моего окна я видел эти поцелуи. Они причиняли мне страдания, но об этом не стоит рассказывать, потому что любовь и ревность десятилетних мальчиков во всем похожи на любовь и ревность взрослых мужчин. Две недели я не подходил к окну и избегал Галины, пока случай не свел меня с нею. Случай этот был еврейский погром, разразившийся в пятом году в Николаеве и в других городах еврейской черты оседлости. Толпа наемных убийц разграбила лавку отца и убила деда моего Шойла. Все это случилось без меня, я покупал в то утро голубей у охотника Ивана Никодимыча. Пять лет из прожитых мною десяти я всею силою души мечтал о голубях, и вот, когда я купил их, калека Макаренко разбил голубей на моем виске. Тогда Кузьма отвел меня к Рубцовым. У Рубцовых на калитке был мелом нарисован крест, их не трогали, они спрятали у себя моих родителей. Кузьма привел меня на стеклянную террасу. Там сидела мать в зеленой ротонде и Галина.

— Нам надо умыться, — сказала мне Галина, — нам надо умыться, маленький раввин... У нас все лицо в перьях, и перья-то в крови...

Она обняла меня и повела по коридору, резко пахнувшему. Голова моя лежала на бедре Галины, бедро ее двигалось и дышало. Мы пришли на кухню, и Рубцова поставила меня под кран. Гусь жарился на кафельной плите, пылающая посуда висела по стенам, и рядом с посудой, в кухаркином углу, висел царь Николай, убранный бумажными цветами. Галина смыла остатки голубя, присохшие к моим щекам.

— Жених будешь, мой гарнесенький, — сказала она, поцеловав меня в губы запухшим ртом, и отвернулась.

— Ты видишь, — прошептала она вдруг, — у папки твоего неприятности, он весь день ходит по улицам без дела, позови папку домой...

И я увидел из окна пустую улицу с громадным небом над ней и рыжего моего отца, шедшего по мостовой. Он шел без шапки, весь в легких поднявшихся рыжих волосах, с бумажной манишкой, свороченной набок и застегнутой на какую-то пуговицу, но не на ту, на которую следовало. Власов, испитой рабочий в солдатских ваточных лохмотьях, неотступно шел за отцом.

— Так, — говорил он душевным хриплым голосом и обеими руками ласково трогал отца, — не надо нам свободы, чтобы жидам было свободно торговать... Ты подай светлость жизни рабочему человеку за труды за его, за ужасную эту громадность... Ты подай ему, друг, слышь, подай...

Рабочий молил о чем-то отца и трогал его, полосы чистого пьяного вдохновения сменялись на его лице унынием и сонливостью.

— На молокан должна быть похожа наша жизнь, — бормотал он и пошатывался на подворачивающихся ногах, — вроде молокан должна быть наша жизнь, но только без бога этого староверского, от него евреям выгода, другому никому...

И Власов с отчаянием закричал о староверском боге, пожалевшем одних евреев. Власов вопил, спотыкался и догонял неведомого своего бога, но в эту минуту казачий разъезд перерезал ему путь. Офицер в лампасах, в серебряном парадном поясе ехал впереди отряда, высокий картуз был поставлен на его голове. Офицер ехал медленно и не смотрел по сторонам. Он ехал как бы в ущелье, где смотреть можно только вперед.

— Капитан, — прошептал отец, когда казак поравнялся с ним, — капитан, — сжимая голову, сказал отец и стал коленями в грязь.

— Чем могу? — ответил офицер, глядя по-прежнему вперед, и поднес к козырьку руку в замшевой лимонной перчатке.

Впереди, на углу Рыбной улицы, громилы разбивали нашу лавку и выкидывали из нее ящики с гвоздями, машинами и новый мой портрет в гимназической форме.

— Вот, — сказал отец и не встал с колен, — они разбивают кровное, капитан, за что...

Офицер что-то пробормотал, приложил к козырьку лимонную перчатку и тронул повод, но лошадь не пошла. Отец ползал перед ней на коленях, притирался к коротким ее, добрым, чуть взлохмаченным ногам.

— Слушаю-с, — сказал капитан, дернул повод и уехал, за ним двинулись казаки.

Они бесстрастно сидели в высоких седлах, ехали в воображаемом ущелье и скрылись в повороте на Соборную улицу.

Тогда Галина опять подтолкнула меня к окну.

— Позови папку домой, — сказала она, — он с утра ничего не ел.

И я высунулся из окна.

Отец обернулся, услышав мой голос.

— Сыночка моя, — пролепетал он с невыразимой нежностью.

И вместе с ним мы пошли на террасу к Рубцовым, где лежала мать в зеленой ротонде. Рядом с ее кроватью валялись гантели и гимнастический аппарат.

— Паршивые копейки, — сказала мать нам навстречу, — человеческую жизнь, и детей, и несчастное наше счастье, — ты все им отдал... Паршивые копейки, — закричала она хриплым, не своим голосом, дернулась на кровати и затихла.

И тогда в тишине стала слышна моя икота. Я стоял у стены в нахлобученном картузе и не мог унять икоты.

— Стыдно так, мой гарнесенький, — улыбнулась Галина пренебрежительной своей улыбкой и ударила меня негнущимся халатом. Она прошла в красных башмаках к окну и стала навешивать китайские занавески на диковинный карниз. Обнаженные ее руки утопали в шелку, живая коса шевелилась на ее бедре, я смотрел на нее с восторгом.

Ученый мальчик, я смотрел на нее, как на далекую сцену, освещенную многими софитами. И тут же я вообразил себя Мироном, сыном угольщика, торговавшего на нашем углу. Я вообразил себя в еврейской самообороне, и вот, как и Мирон, я хожу в рваных башмаках, подвязанных веревкой. На плече, на зеленом шнурке, у меня висит негодное ружье, я стою на коленях у старого дощатого забора и отстреливаюсь от убийц. За забором

моим тянется пустырь, на нем свалены груды запылившегося угля, старое ружье стреляет дурно, убийцы, в бородах, с белыми зубами, все ближе подступают ко мне; я испытываю гордое чувство близкой смерти и вижу в высоте, в синеве мира, Галину. Я вижу бойницу, прорезанную в стене гигантского дома, выложенного мириадами кирпичей. Пурпурный этот дом попирает переулок, в котором плохо убита серая земля, в верхней бойнице его стоит Галина. Пренебрежительной своей улыбкой она улыбается из недосягаемого окна, муж, полуодетый офицер, стоит за спиной и целует ее в шею...

Пытаясь унять икоту, я вообразил себе все это затем, чтобы мне горше, горячей, безнадежней любить Рубцову, и, может быть, потому, что мера скорби велика для десятилетнего человека. Глупые мечты помогли мне забыть смерть голубей и смерть Шойла, я позабыл бы, пожалуй об этих убийствах, если бы в ту минуту на террасу не взошел Кузьма с ужасным этим евреем Абой.

Были сумерки, когда они пришли. На террасе горела скудная лампа, покривившаяся в каком-то боку, — мигающая лампа, спутник несчастий.

— Я деда обрядил, — сказал Кузьма, входя, — теперь очень красивые лежат, — вот и служку привел, пускай поговорит чего-нибудь над стариком...

И Кузьма показал на шамеса Абу.

— Пускай поскулит, — проговорил дворник дружелюбно, — служке кишку напихать — служка цельную ночь богу надоедать будет...

Он стоял на пороге — Кузьма — с добрым своим перебитым носом, повернутым во все стороны, и хотел рассказать как можно душевнее о том, как он подвязывал челюсти мертвецу, но отец прервал старика.

— Прошу вас, реб Аба, — сказал отец, — помолитесь над покойником, я заплачу вам...

— А я опасываюсь, что вы не заплатите, — скучным голосом ответил Аба и положил на скатерть бородатое брезгливое лицо, — я опасываюсь, что вы заберете мой карбач и уедете с ним в Аргентину, в Буэнос-Айрес, и откроете там оптовое дело на мой карбач... Оптовое дело, — сказал Аба, пожевал презрительными губами и потянул к себе газету «Сын отечества», лежавшую на столе. В газете этой было напечатано о царском манифесте 17 октября и о свободе.

— «...Граждане свободной России, — читал Аба газету по складам и разжевывал бороду, которой он набрал полон рот, — граждане свободной России, с светлым вас Христовым воскресением...»

Газета стояла боком перед старым шамесом и колыхалась: он читал ее сонливо, нараспев и делал удивительные ударения на незнакомых ему русских словах. Ударения Абы были похожи на глухую речь негра, прибывшего с родины в русский порт. Они рассмешили даже мать мою.

— Я делаю грех, — вскричала она, высовываясь из-под ротонды, — я смеюсь, Аба... Скажите лучше, как вы поживаете и как семья ваша?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — пробурчал Аба, не выпуская бороды из зубов и продолжая читать газету.

— Спроси его о чем-нибудь другом, — вслед за Абой сказал отец и вышел на середину комнаты. Глаза его, улыбавшиеся нам в слезах, повернулись вдруг в орбитах и уставились в точку, никому не видную.

— Ой, Шойл, — произнес отец ровным, лживым, приготовляющимся голосом, — ой, Шойл, дорогой человек...

Мы увидели, что он закричит сейчас, но мать предупредила нас.

— Манус, — закричала она, растрепавшись мгновенно, и стала обрывать мужу грудь, — смотри, как худо нашему ребенку, отчего ты не слышишь его икотки, отчего это, Манус?..

Отец умолк.

— Рахиль, — сказал он боязливо, — нельзя передать тебе, как я жалею Шойла...

Он ушел в кухню и вернулся оттуда со стаканом воды.

— Пей, артист, — сказал Аба, подходя ко мне, — пей эту воду, которая поможет тебе, как мертвому кадило...

И правда, вода не помогла мне. Я икал все сильнее. Рычание вырывалось из моей груди. Опухоль, приятная на ощупь, вздулась у меня на горле. Опухоль дышала, надувалась, перекрывала глотку и вываливалась из воротника. В ней клокотало разорванное мое дыхание. Оно клокотало, как закипевшая вода. И когда к ночи я не был уже больше лопоухий мальчик, каким я был во всю мою прежнюю жизнь, а стал извивающимся клубком,

тогда мать, закутавшись в шаль и ставшая выше ростом и стройнее, подошла к помертвевшей Рубцовой.

— Милая Галина, — сказала мать певучим, сильным голосом, — как мы беспокоим вас, и милую Надежду Ивановну, и всех ваших... Как мне стыдно, милая Галина...

С пылающими щеками мать теснила Галину к выходу, потом она кинулась ко мне и сунула шаль мне в рот, чтобы подавить мой стон.

— Потерпи, сынок, — шептала мать, — потерпи для мамы...

Но хоть бы и можно терпеть, я не стал бы этого делать, потому что не испытывал больше стыда...

Так началась моя болезнь. Мне было тогда десять лет. Наутро меня повели к доктору. Погром продолжался, но нас не тронули. Доктор, толстый человек, нашел у меня нервную болезнь.

Он велел поскорее ехать в Одессу, к профессорам, и дожидаться там тепла и морских купаний.

Мы так и сделали. Через несколько дней я выехал с матерью в Одессу к деду Лейви-Ицхоку и к дяде Симону. Мы выехали утром на пароходе, и уже к полдню бурные воды Буга сменились тяжелой зеленой волной моря. Передо мною открывалась жизнь у безумного деда Лейви-Ицхока, и я навсегда простился с Николаевом, где прошли десять лет моего детства.

КОНЕЦ СВ. ИПАТИЯ

Вчера я был в Ипатьевском монастыре, и монах Илларион, последний из обитающих здесь монахов, показывал мне дом бояр Романовых.

Московские люди пришли сюда в 1613 году просить на царство Михаила Федоровича.

Я увидел истоптанный угол, где молилась инокиня Марфа, мать царя, сумрачную ее опочивальню и вышку, откуда она смотрела гоньбу волков в костромских лесах.

Мы прошли с Илларионом по ветхим мостикам, заваленным сугробами, распугали ворон, угнездившихся в боярском терему, и вышли к церкви неописуемой красоты.

Обведенная венцом снегов, раскрашенная кармином и лазурью, она легла на задымленное небо севера, как пестрый бабий платок, расписанный русскими цветами.

Линии непышных ее куполов были целомудренны, голубые ее пристроечки были пузаты, и узорчатые переплеты окон блестели на солнце ненужным блеском.

В пустынной этой церкви я нашел железные ворота, подаренные Иваном Грозным, и обошел древние иконы, весь этот склеп и тлен безжалостной святыни.

Угодники — бесноватые нагие мужики с истлевшими бедрами — корчились на ободранных стенах, и рядом с ними была написана российская богородица: худая баба, с раздвинутыми коленями и волочащимися грудями, похожими на две лишние зеленые руки.

Древние иконы окружили беспечное мое сердце холодом мертвенных своих страстей, и я едва спасся от них, от гробовых этих угодников.

Их бог лежал в церкви, закостеневший и начищенный, как мертвец, уже обмытый в своем дому, но оставленный без погребения.

Один отец Илларион бродил вокруг своих трупов. Он припадал на левую ногу, задремывал, чесал в грязной бороде и скоро надоел мне.

Тогда я распахнул врата Ивана Четвертого, пробежал под черными сводами на площадку, и там блеснула мне Волга, закованная во льды.

Дым Костромы поднимался кверху, пробивая снега; мужики, одетые в желтые нимбы стужи, возили муку на дровнях, и битюги их вбивали в лед железные копыта.

Рыжие битюги, обвешанные инеем и паром, шумно дышали на реке, розовые молнии севера летали в соснах, и толпы, неведомые толпы, ползли вверх по обледенелым склонам.

Зажигательный ветер дул на них с Волги, множество баб проваливалось в сугробы, но бабы шли все выше и стягивались к монастырю, как осаждающие колонны.

Женский хохот гремел над горой, самоварные трубы и лохани въезжали на подъем, мальчишеские коньки стенали на поворотах.

Старые старухи втаскивали ношу на высокую гору — на гору святого Ипатия, — младенцы спали в их салазках, и белые козы шли у старух на поводу.

— Черти, — закричал я, увидев их, и отступил перед неслыханным нашествием. — Не к инокине ли Марфе идете вы, чтобы просить на царство Михаила Романова, ее сына?

— Ну тебя к шуту! — ответила мне баба и выступила вперед. — Зачем играешь с нами на дороге? Нам детей, что ль, от тебя нести?

И, вложившись в сани, она вкатила их на монастырский двор и чуть не сбила с ног потерявшегося отца Иллариона. Она вкатила в колыбель царей московских свои лохани, своих гусей, свой граммофон без трубы и, назвавшись Савичевой, потребовала для себя квартиру № 19 в архиерейских покоях.

И, к удивлению моему, Савичевой дали эту квартиру и всем другим вслед за нею.

И мне объяснили тут, что союз текстильщиков отстроил в сгоревшем корпусе 40 квартир для рабочих

Костромской объединенной льняной мануфактуры и что сегодня они переселяются в монастырь.

Отец Илларион, стоя в воротах, пересчитал всех коз и переселенцев; потом он позвал меня чай пить и в молчании поставил на стол чашки, украденные им во дворе при взятии в музей утвари бояр Романовых.

Мы пили чай из этих чашек до поту, бабьи босые ноги топтались перед нами на подоконниках; бабы мыли стекла на новых местах.

Потом дым повалил изо всех труб, точно сговорился, незнакомый петух взлетел на могилу игумена отца Сионния и загорланил, чья-то гармошка, протомившись в интродукциях, запела нежную песню, и чужая старушонка в зипуне, просунув голову в келью отца Иллариона, попросила у него взаймы щепотку соли ко щам.

Был уже вечер, когда к нам пришла старушонка; багровые облака пухли над Волгой, термометр на наружной стене показывал 40 градусов мороза, исполинские костры, изнемогая, метались на реке, — все же неунывающий какой-то парень упрямо лез по промерзшей лестнице к перекладине над воротами — лез затем, чтобы повесить там пустяковый фонарик и вывеску, на которой было изображено множество букв: СССР и РСФСР, и знак союза текстилей, и серп и молот, и женщина, стоящая у ткацкого станка, от которого идут лучи во все стороны.

ТЫ ПРОМОРГАЛ, КАПИТАН!

В Одесский порт пришел пароход «Галифакс». Он пришел из Лондона за русской пшеницей.

Двадцать седьмого января, в день похорон Ленина, цветная команда парохода — три китайца, два негра и один малаец — вызвала капитана на палубу. В городе гремели оркестры и мела метель.

— Капитан О'Нирн, — сказали негры, — сегодня нет погрузки, отпустите нас в город до вечера.

— Оставайтесь на местах, — ответил О'Нирн, — шторм имеет девять баллов, и он усиливается; возле Санжейки замерз во льдах «Биконсфильд», барометр показывает то, чего ему лучше не показывать. В такую погоду команда должна быть на судне. Оставаться на местах.

И, сказав это, капитан О'Нирн отошел ко второму помощнику. Они пересмеивались со вторым помощником, курили сигары и показывали пальцами на город, где в неудержимом горе мела метель и завывали оркестры.

Два негра и три китайца слонялись без толку по палубе. Они дули в озябшие ладони, притопывали резиновыми сапогами и заглядывали в приотворенную дверь капитанской каюты. Оттуда тек в девятибалльный шторм бархат диванов, обогретый коньяком и тонким дымом.

— Боцман! — закричал О'Нирн, увидев матросов. — Палуба не бульвар, загоните-ка этих ребят в трюм.

— Есть, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, поросшая красным волосом, — есть, сэр, — и он взял за шиворот взъерошенного малайца. Он поставил его к борту, выходившему в открытое море, и выбросил

на веревочную лестницу. Малаец скатился вниз и побежал по льду. Три китайца и два негра побежали за ним следом.

— Вы загнали людей в трюм? — спросил капитан из каюты, обогретой коньяком и тонким дымом.

— Я загнал их, сэр, — ответил боцман, колонна из красного мяса, и стал у трапа, как часовой в бурю.

Ветер дул с моря — девять баллов, как девять ядер, пущенных из промерзших батарей моря. Белый снег бесился над глыбами льдов. И по окаменелым волнам, не помня себя, летели к берегу, к причалам, пять скорчившихся запятых с обуглившимися лицами и в развевающихся пиджаках. Обдирая руки, они вскарабкались на берег по обледенелым сваям, пробежали в порт и влетели в город, дрожавший на ветру.

Отряд грузчиков с черными знаменами шел на площадь, к месту закладки памятника Ленину. Два негра и китайцы пошли с грузчиками рядом. Они задыхались, жали чьи-то руки и ликовали ликованием убежавших каторжников.

В эту минуту в Москве, на Красной площади, опускали в склеп труп Ленина. У нас, в Одессе, выли гудки, мела метель и шли толпы, построившись в ряды. И только на пароходе «Галифакс» непроницаемый боцман стоял у трапа, как часовой в бурю. Под его двусмысленной защитой капитан О'Нирн пил коньяк в своей прокуренной каюте.

Он положился на боцмана, О'Нирн, и он проморгал — капитан.

КОНЕЦ БОГАДЕЛЬНИ

В пору голода не было в Одессе людей, которым жилось бы лучше, чем богадельщикам на втором еврейском кладбище. Купец суконным товаром Кофман когда-то воздвиг в память жены своей Изабеллы богадельню рядом с кладбищенской стеной. Над этим соседством много потешались в кафе Фанкони. Но прав оказался Кофман. После революции призреваемые на кладбище старики и старухи захватили должности могильщиков, канторов, обмывальщиц. Они завели себе дубовый гроб с покрывалом и серебряными кистями и давали его напрокат бедным людям.

Тес в то время исчез из Одессы. Наемный гроб не стоял без дела. В дубовом ящике покойник отстаивался у себя дома и на панихиде; в могилу же его сваливали облаченным в саван. Таков забытый еврейский закон.

Мудрецы учили, что не следует мешать червям соединиться с падалью, она нечиста. «Из земли ты произошел и в землю обратишься».

Оттого, что старый закон возродился, старики получали к своему пайку приварок, который никому в те годы не снился. По вечерам они пьянствовали в погребке Залмана Криворучки и подавали соседям объедки.

Благополучие их не нарушалось до тех пор, пока не случилось восстания в немецких колониях. Немцы убили в бою коменданта гарнизона Герша Лугового.

Его хоронили с почестями. Войска прибыли на кладбище с оркестрами, походными кухнями и пулеметами на

тачанках. У раскрытой могилы были произнесены речи и даны клятвы.

— Товарищ Герш, — кричал, напрягаясь, Ленька Бройтман, начальник дивизии, — вступил в РСДРП большевиков в тысяча девятьсот одиннадцатом году, где проводил работу пропагандиста и агента связи. Репрессиям товарищ Герш начал подвергаться вместе с Соней Яновской, Иваном Соколовым и Моносзоном в тысяча девятьсот тринадцатом году в городе Николаеве...

Арье-Лейб, староста богадельни, держался со своими товарищами наготове. Ленька не успел кончить прощальное слово, как старики начали поворачивать гроб на сторону, чтобы вывалить мертвеца, прикрытого знаменем. Ленька незаметно толкнул Арье-Лейба шпорой.

— Отскочь, — сказал он, — отскочь отсюда... Герш заслужил у Республики...

На глазах оцепеневших стариков Луговой был зарыт вместе с дубовым ящиком, кистями и черным покрывалом, на котором серебром были вытканы щиты Давида и стих из древнееврейской заупокойной молитвы.

— Мы мертвые люди, — сказал Арье-Лейб своим товарищам после похорон, — мы у фараона в руках...

И он бросился к заведующему кладбищем Бройдину с просьбой о выдаче досок для нового гроба и сукна для покрывала. Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В его планы не входило обогащение стариков. Он сказал в конторе:

— Мне больше сердце болит за безработных коммунальников, чем за этих спекулянтов...

Бройдин пообещал, но ничего не сделал. В погребке Залмана Криворучки на его голову и на головы членов союза коммунальников сыпались талмудические проклятия. Старики закляли мозг в костях Бройдина и членов союза, свежее семя в утробе их жен и пожелали каждому из них особый вид паралича и язвы.

Доход их уменьшился. Паек состоял теперь из синей похлебки с рыбьими костями. На второе подавалась ячная каша, ничем не подмасленная.

Старик из Одессы может есть всякую похлебку, из чего бы она ни была сварена, если только в нее положены лавровый лист, чеснок и перец. Тут ничего этого не было.

Богадельня имени Изабеллы Кофман разделила общую участь. Ярость изголодавшихся стариков возрастала.

Она обрушилась на голову человека, который меньше всего ждал этого. Этим человеком оказалась докторша Юдифь Шмайсер, пришедшая в богадельню прививать оспу.

Губисполком издал распоряжение об обязательном оспопрививании. Юдифь Шмайсер разложила на столе свои инструменты и зажгла спиртовку. Перед окнами стояли изумрудные стены кладбищенских кустов. Голубой язычок пламени мешался с июньскими молниями.

Ближе всего к Юдифи стоял Меер Бесконечный, тощий старик. Он угрюмо следил за ее приготовлениями.

— Разрешите вас уколоть, — сказала ему Юдифь и взмахнула пинцетом. Она стала вытягивать из тряпья голубую плеть его руки.

Старик отдернул руку:

— Меня не во что колоть...

— Больно не будет, — вскричала Юдифь, — в мякоть не больно...

— У меня нет мякоти, — сказал Меер Бесконечный, — меня не во что колоть...

Из угла комнаты ему ответили глухим рыданием. Это рыдала Доба-Лея, бывшая повариха на обрезаниях. Меер искривил истлевшие щеки.

— Жизнь — смитье, — пробормотал он, — свет — бордель, люди — аферисты...

Пенсне на носике Юдифи закачалось, грудь ее вышла из накрахмаленного халата. Она открыла рот для того, чтобы объяснить пользу оспопрививания, но ее остановил Арье-Лейб, староста богадельни.

— Барышня, — сказал он, — нас родила мама так же, как и вас. Эта женщина, наша мама, родила нас для того, чтобы мы жили, а не мучались. Она хотела, чтобы мы жили хорошо, и она была права, как может быть права мать. Человек, которому хватает того, что Бройдин ему отпускает, — этот человек не достоин материала, который пошел на него. Ваша цель, барышня, состоит в том, чтобы прививать оспу, и вы, с божьей помощью, прививаете ее. Наша цель состоит в том, чтобы дожить нашу жизнь, а не домучить ее, и мы не исполняем этой цели.

Доба-Лея, усатая старуха с львиным лицом, зарыдала еще громче, услышав эти слова. Она зарыдала басом.

— Жизнь — смитье, — повторил Меер Бесконечный, — люди — аферисты...

Парализованный Симон-Вольф схватился за руль своей тележки и, визжа и выворачивая ладони, двинулся к двери. Ермолка сдвинулась с малиновой, раздутой его головы.

Вслед за Симоном-Вольфом на главную аллею, рыча и гримасничая, вывалились все тридцать стариков и старух. Они потрясали костылями и ревели, как голодные ослы.

Сторож, увидев их, захлопнул кладбищенские ворота. Могильщики подняли вверх лопаты с налипшей на них землей и корнями трав и остановились в изумлении.

На шум вышел бородатый Бройдин, в крагах и кепи велосипедиста и в кургузом пиджачке.

— Аферист, — закричал ему Симон-Вольф, — нас не во что колоть... У нас на руках нет мяса...

Доба-Лея оскалилась и зарычала. Тележкой парализованного она стала наезжать на Бройдина. Арье-Лейб начал, как всегда, с иносказаний, с притч, крадущихся издалека и к цели, не всем видимой.

Он начал с притчи о рабби Осии, отдавшем свое имущество детям, сердце — жене, страх — богу, подать — цезарю и оставившему себе только место под масличным деревом, где солнце, закатываясь, светило дольше всего. От рабби Осии Арье-Лейб перешел к доскам для нового гроба и к пайку.

Бройдин расставил ноги в крагах и слушал, не поднимая глаз. Коричневое заграждение его бороды лежало неподвижно на новом френче; он, казалось, отдается печальным и мирным мыслям.

— Ты простишь меня, Арье-Лейб, — Бройдин вздохнул, обращаясь к кладбищенскому мудрецу, — ты простишь меня, если я скажу, что не могу не видеть в тебе задней мысли и политического элемента... За твоей спиной я не могу не видеть, Арье-Лейб, тех, кто знает, что они делают, точно так же, как и ты знаешь, что ты делаешь...

Тут Бройдин поднял глаза. Они мгновенно залились белой водой бешенства. Трясущиеся холмы его зрачков уперлись в стариков.

— Арье-Лейб, — сказал Бройдин сильным своим голосом, — прочитай телеграммы из Татреспублики, где крупные количества татар голодают, как безумные... Прочитай воззвание питерских пролетариев, которые работают и ждут, голодая, у своих станков...

— Мне некогда ждать, — прервал заведующего Арье-Лейб, — у меня нет времени...

— Есть люди, — ничего не слыша, гремел Бройдин, — которые живут хуже тебя, и есть тысячи людей, которые живут хуже тех, кто живет хуже тебя... Ты сеешь неприятности, Арье-Лейб, ты получишь завирюху. Вы будете мертвыми людьми, если я отвернусь от вас. Вы умрете, если я пойду своей дорогой, а вы своей. Ты умрешь, Арье-Лейб. Ты умрешь, Симон-Вольф. Ты умрешь, Меер Бесконечный. Но перед тем, как вам умереть, скажите мне, — я интересуюсь это знать, — есть у нас Советская власть или, может быть, ее нет у нас? Если ее нет у нас и я ошибся, — тогда отведите меня к господину Берзону на угол Дерибасовской и Екатерининской, где я отработал жилеточником все годы моей жизни... Скажи мне, что я ошибся, Арье-Лейб...

И заведующий кладбищем вплотную подошел к калекам. Трясущиеся его зрачки были выпущены на них. Они неслись на помертвевшее, застонавшее стадо, как лучи прожекторов, как языки пламени. Краги Бройдина трещали, пот кипел на изрытом лице, он все ближе подступал к Арье-Лейбу и требовал ответа — не ошибся ли он, считая, что Советская власть уже наступила...

Арье-Лейб молчал. Молчание это могло бы стать его гибелью, если бы в конце аллеи не показался босой Федька Степун в матросской рубахе.

Федьку контузили когда-то под Ростовом, он жил на излечении в хибарке рядом с кладбищем, носил на оранжевом полицейском шнуре свисток и наган без кобуры.

Федька был пьян. Каменные завитки кудрей выложены были на его лбу. Под завитками кривилось судорогой скуластое лицо. Он подошел к могиле Лугового, обнесенной увядшими венками.

— Где ты был, Луговой, — сказал Федька покойнику, — когда я Ростов брал?..

Матрос заскрипел зубами, засвистел в полицейский свисток и вытащил из-за пояса наган. Вороненое дуло револьвера осветилось.

— Подавили царей, — закричал Федька, — нету царей... Всем без гробов лежать...

Матрос сжимал револьвер. Грудь его была обнажена. На ней татуировкой разрисовано было слово «Рива» и дракон, голова которого загибалась к соску.

Могильщики с поднятыми вверх лопатами столпились вокруг Федьки. Женщины, обмывавшие покойников, вышли из своих клетей и приготовились реветь вместе с Добой-Лееей. Воющие волны бились о запертые кладбищенские ворота.

Родственники, привезшие покойников на тачках, требовали, чтобы их впустили. Нищие колотили костылями об решетки.

— Подавили царей. — Матрос выстрелил в небо.

Люди прыжками понеслись по аллее. Бройдин медленно покрывался бледностью. Он поднял руку, согласился на все требования богадельни и, повернувшись по-солдатски, ушел в контору. Ворота в то же мгновение разъехались. Родственники умерших, толкая перед собой тележки, бойко катили их по дорожкам. Самозванные канторы пронзительными фальцетами запели «Эль молей рахим» [1] над разрытыми могилами. Вечером они отпраздновали свою победу у Криворучки. Федьке поднесли три кварты бессарабского вина.

— «Гэвэл гаволим» [2], — чокаясь с матросом, сказал Арье-Лейб, — ты душа-человек, с тобой можно жить... «Кулой гэвэл»... [3]

Хозяйка, жена Криворучки, перемывала за стенкой стаканы.

— Если у русского человека попадается хороший характер, — заметила мадам Криворучка, — так это действительно роскошь...

Федьку вывели во втором часу ночи.

— Гэвэл гаволим, — бормотал он губительные, непонятные слова, пробираясь по Степовой улице, — кулой гэвэл...

На следующий день старикам в богадельне выдали по четыре куска пиленого сахару и мясо к борщу. Вечером их повезли в Городской театр на спектакль, устроенный Собесом. Шла «Кармен». Впервые в жизни инвалидцы и уродцы увидели золоченые ярусы одесского театра, бархат его барьеров, масляный блеск его люстр. В антрактах всем роздали бутерброды с ливерной колбасой.

---

[1] Заупокойная еврейская молитва.
[2] Суета сует (*еврейск.*).
[3] И всяческая суета (*еврейск.*).

На кладбище стариков отвезли на военном грузовике. Взрываясь и грохоча, он пролагал свой путь по замерзшим улицам. Старики заснули с оттопыренными животами. Они отрыгивались во сне и дрожали от сытости, как забегавшиеся собаки.

Утром Арье-Лейб встал раньше других. Он обратился к востоку, чтобы помолиться, и увидел на дверях объявление. В бумажке этой Бройдин извещал, что богадельня закрывается для ремонта и все призреваемые имеют сего числа явиться в Губернский отдел социального обеспечения для перерегистрации по трудовому признаку.

Солнце всплыло над верхушками зеленой кладбищенской рощи. Арье-Лейб поднес пальцы к глазам. Из потухших впадин выдавилась слеза.

Каштановая аллея, светясь, уходила к мертвецкой. Каштаны были в цвету, деревья несли высокие белые цветы на растопыренных лапах. Незнакомая женщина в шали, туго подхватывавшей грудь, хозяйничала в мертвецкой. Там все было переделано наново — стены украшены елками, столы выскоблены. Женщина обмывала младенца. Она ловко ворочала его с боку на бок: вода бриллиантовой струей стекала по вдавившейся, пятнистой спинке.

Бройдин в крагах сидел на ступеньках мертвецкой. У него был вид отдыхающего человека. Он снял свое кепи и вытирал лоб желтым платком.

— В союзе я так и сказала товарищу Андрейчику, — голос незнакомой женщины был певуч, — мы работы не бежим... О нас пусть спросят в Екатеринославе... Екатеринослав знает нашу работу...

— Устраивайтесь, товарищ Блюма, устраивайтесь, — мирно сказал Бройдин, пряча в карман желтый платок, — со мной можно ладить... Со мной можно ладить... — повторил он и обратил сверкающие глаза к Арье-Лейбу, подтащившемуся к самому крыльцу, — не надо только плевать мне в кашу...

Бройдин не окончил своей речи: у ворот остановилась пролетка, запряженная высокой вороной лошадью. Из пролетки вылез заведующий комхозом в отложной рубашке. Бройдин подхватил его и повел к кладбищу.

Старый портняжеский подмастерье показал своему начальнику столетнюю историю Одессы, покоящуюся под гранитными плитами. Он показал ему памятники и склепы экспортеров пшеницы, корабельных маклеров и него-

циантов, построивших русский Марсель на месте поселка Хаджибей. Они лежали тут — лицом к воротам — Ашкенази, Гессены и Эфрусси, лощеные скупцы, философические гуляки, создатели богатств и одесских анекдотов. Они лежали под памятниками из лабрадора и розового мрамора, отгороженные цепями каштанов и акаций от плебса, жавшегося к стенам.

— Они не давали жить при жизни, — Бройдин стучал по памятнику сапогом, — они не давали умереть после смерти...

Воодушевившись, он рассказал заведующему комхозом свою программу переустройства кладбищ и план кампании против погребального братства.

— И вот этих убрать. — Заведующий указал на нищих, выстроившихся у ворот.

— Делается, — ответил Бройдин, — понемножку все делается...

— Ну, двигай, — сказал заведующий Майоров, — у тебя, отец, порядочек... Двигай...

Он занес ногу на подножку пролетки и вспомнил о Федьке.

— Это что за петрушка была?..

— Контуженый парень, — опустив глаза, сказал Бройдин, — и бывает невыдержанный... Но теперь ему объяснили, и он извиняется...

— Варит котелок, — сказал Майоров своему спутнику, отъезжая, — ворочает как надо...

Высокая лошадь несла к городу его и заведующего отделом благоустройства. По дороге им встретились старики и старухи, выгнанные из богадельни. Они прихрамывали, согнувшись под узелками, и плелись молча. Разбитные красноармейцы сгоняли их в ряды. Тележки парализованных скрипели. Свист удушья, покорное хрипение вырывалось из груди отставных канторов, свадебных шутов, поварих на обрезаниях и отслуживших приказчиков.

Солнце стояло высоко. Зной терзал груду лохмотьев, тащившихся по земле. Дорога их лежала по безрадостному, выжженному каменистому шоссе, мимо глинобитных хибарок, мимо полей, задавленных камнями, мимо раскрытых домов, разрушенных снарядами, и чумной горы. Невыразимо печальная дорога вела когда-то в Одессе от города к кладбищу.

ДОРОГА

Я ушел с развалившегося фронта в ноябре семнадцатого года. Дома мать собрала мне белья и сухарей. В Киев я угодил накануне того дня, когда Муравьев начал бомбардировку города. Мой путь лежал на Петербург. Двенадцать суток отсидели мы в подвале гостиницы Хаима Цирюльника на Бессарабке. Пропуск на выезд я получил от коменданта советского Киева.

В мире нет зрелища унылее, чем Киевский вокзал. Временные деревянные бараки уже много лет оскверняют подступ к городу. На мокрых досках трещали вши. Дезертиры, мешочники, цыгане валялись вперемешку. Старухи галичанки мочились на перрон стоя. Низкое небо было изборождено тучами, налито мраком и дождем.

Трое суток прошло, прежде чем ушел первый поезд. Вначале он останавливался через каждую версту, потом разошелся, колеса застучали горячей, запели сильную песню. В нашей теплушке это сделало всех счастливыми. Быстрая езда делала людей счастливыми в восемнадцатом году. Ночью поезд вздрогнул и остановился. Дверь теплушки разошлась, зеленое сияние снегов открылось нам. В вагон вошел станционный телеграфист в дохе, стянутой ремешком, и мягких кавказских сапогах. Телеграфист протянул руку и пристукнул пальцем по раскрытой ладони.

— Документы об это место...

Первой у двери лежала на тюках неслышная, свернувшаяся старуха. Она ехала в Любань к сыну-железно-

дорожнику. Рядом со мной дремали, сидя, учитель Иегуда Вейнберг с женой. Учитель женился несколько дней тому назад и увозил молодую в Петербург. Всю дорогу они шептались о комплексном методе преподавания, потом заснули. Руки их и во сне были сцеплены, вдеты одна в другую.

Телеграфист прочитал их мандат, подписанный Луначарским, вытащил из-под дохи маузер с узким и грязным дулом и выстрелил учителю в лицо.

У женщины вздулась мягкая шея. Она молчала. Поезд стоял в степи. Волнистые снега роились полярным блеском. Из вагонов на полотно выбрасывали евреев. Выстрелы звучали неровно, как возгласы. Мужик с развязавшимся треухом отвел меня за обледеневшую поленницу дров и стал обыскивать. На нас, затмеваясь, светила луна. Лиловая стена леса курилась. Чурбаки негнувшихся мороженых пальцев ползли по моему телу. Телеграфист крикнул с площадки вагона:

— Жид или русский?

— Русский, — роясь во мне, пробормотал мужик, — хучь в раббины отдавай...

Он приблизил ко мне мятое озабоченное лицо, — отодрал от кальсон четыре золотых десятирублевки, зашитых матерью на дорогу, снял с меня сапоги и пальто, потом, повернув спиной, стукнул ребром ладони по затылку и сказал по-еврейски:

— Анклойф [1], Хаим...

Я пошел, ставя босые ноги в снег. Мишень зажглась на моей спине, точка мишени проходила сквозь ребра. Мужик не выстрелил. В колоннах сосен, в накрытом подземелье леса качался огонек в венце багрового дыма. Я добежал до сторожки. Она курилась в кизяковом дыму. Лесник застонал, когда я ворвался в будку. Обмотанный полосами, нарезанными из шуб и шинелей, он сидел в бамбуковом бархатном креслице и крошил табак у себя на коленях. Растягиваемый дымом, лесник стонал, потом, поднявшись, он поклонился мне в пояс:

— Уходи, отец родной. Уходи, родной гражданин...

Он вывел меня на тропинку и дал тряпку, чтобы обмотать ноги. Я добрел до местечка поздним утром. В больнице не оказалось доктора, чтобы отрезать отмороженные

---

[1] Беги *(еврейск.)*.

мои ноги; палатой заведовал фельдшер. Каждое утро он подлетал к больнице на вороном коротком жеребце, привязывал его к коновязи и входил к нам воспламененный, с ярким блеском в глазах.

— Фридрих Энгельс, — светясь углями зрачков, фельдшер склонялся к моему изголовью, — учит вашего брата, что нации не должны существовать, а мы обратно говорим, — нация обязана существовать...

Срывая повязки с моих ног, он выпрямлялся и, скрипя зубами, спрашивал негромко:

— Куда? Куда вас носит... Зачем она едет, ваша нация?.. Зачем мутит, турбуется...

Совет вывез нас ночью на телеге — больных, не поладивших с фельдшером, и старых евреек в париках, матерей местечковых комиссаров..

Ноги мои зажили. Я двинулся дальше по нищему пути на Жлобин, Оршу, Витебск.

Дуло гаубичного орудия служило мне прикрытием на перегоне Ново-Сокольники — Локня. Мы ехали на открытой площадке. Федюха, случайный спутник, проделывавший великий путь дезертиров, был сказочник, острослов, балагур. Мы спали под могучим, коротким, задранным вверх дулом и согревались друг от друга в холстинной яме, устланной сеном, как логово зверя. За Локней Федюха украл мой сундучок и исчез. Сундучок выдан был местечковым Советом и заключал в себе две пары солдатского белья, сухари и несколько денег. Двое суток — мы приближались к Петербургу — прошли без пищи. На Царскосельском вокзале я отбыл последнюю стрельбу. Заградительный отряд палил в воздух, встречая подходивший поезд. Мешочников вывели на перрон, с них стали срывать одежду. На асфальт, рядом с настоящими людьми, валились резиновые, налитые спиртом. В девятом часу вечера вокзал вышвырнул меня на Загородный проспект из воющего своего острога. На стене, через улицу, у заколоченной аптеки, термометр показывал 24 градуса мороза. В туннеле Гороховой гремел ветер; над каналом закатывался газовый рожок. Базальтовая, остывшая Венеция стояла недвижимо. Я вошел в Гороховую, как в обледенелое поле, заставленное скалами.

В доме номер два, в бывшем здании градоначальства, помещалась Чека. Два пулемета, две железных собаки, подняв морду, стояли в вестибюле. Я показал коменданту

письма Вани Калугина, моего унтер-офицера в Шуйском полку. Калугин стал следователем в Чека; он звал меня в письмах.

— Ступай в Аничков, — сказал комендант, — он там теперь...

— Не дойти мне, — и я улыбнулся в ответ.

Невский Млечным Путем тек вдаль. Трупы лошадей отмечали его, как верстовые столбы. Поднятыми ногами лошади поддерживали небо, упавшее низко. Раскрытые животы их были чисты и блестели. Старик, похожий на гвардейца, провез мимо меня игрушечные резные сани. Напрягаясь, он вбивал в лед кожаные ноги, на макушке у него сидела тирольская шапочка, бечевка связывала бороду, сунутую в шаль.

— Не дойти мне, — сказал я старику.

Он остановился. Львиное, изрытое лицо его было полно спокойствия. Он подумал о себе и повлек сани дальше.

«Так отпадает необходимость завоевать Петербург», — подумал я и попытался вспомнить имя человека, раздавленного копытами арабских скакунов в самом конце пути. Это был Иегуда Галеви.

Два китайца в котелках, с буханками хлеба под мышками стояли на углу Садовой. Зябким ногтем они отмечали дольки на хлебе и показывали их подходившим проституткам. Женщины безмолвным парадом проходили мимо них.

У Аничкова моста, у Клодтовых коней, я присел на выступ статуи.

Локоть мой подвернулся под голову, я растянулся на полированной плите, но гранит опалил меня, выстрелил мною, ударил и бросил вперед, ко дворцу.

В боковом, брусничного цвета, флигеле дверь была раскрыта. Голубой рожок блестел над заснувшим в креслах лакеем. В морщинистом чернильно-мертвенном лице спадала губа, облитая светом гимнастерка без пояса накрывала придворные штаны, шитый золотом позумент. Мохнатая, чернильная стрелка указывала путь к коменданту. Я поднялся по лестнице и прошел пустые низкие комнаты. Женщины, написанные черно и сумрачно, водили хороводы на потолках и стенах. Металлические сетки затягивали окна, на рамах висели отбитые шпингалеты. В конце анфилады, освещенный точно на сцене, сидел

за столом в кружке соломенных мужицких волос — Калугин. Перед ним на столе горою лежали детские игрушки, разноцветные тряпицы, изорванные книги с картинками.

— Вот и ты, — сказал Калугин, поднимая голову, — здорово... Тебя здесь надо...

Я отодвинул рукой игрушки, разбросанные по столу, лег на блистающую его доску и... проснулся — прошли мгновения или часы — на низком диване. Лучи люстры играли надо мной в стеклянном водопаде. Срезанные с меня лохмотья валялись на полу в натекшей луже.

— Купаться, — сказал стоявший над диваном Калугин, поднял меня и понес в ванну. Ванна была старинная, с низкими бортами. Вода не текла из кранов. Калугин поливал меня из ведра. На палевых, атласных пуфах, на плетеных стульях без спинок разложена была одежда — халат с застежками, рубаха и носки из витого, двойного шелка. В кальсоны я ушел с головой, халат был скроен на гиганта, ногами я отдавливал себе рукава.

— Да ты шутишь с ним, что ли, с Александром Александровичем, — сказал Калугин, закатывая на мне рукава, — мальчик был пудов на девять...

Кое-как мы подвязали халат императора Александра Третьего и вернулись в комнату, из которой вышли. Это была библиотека Марии Федоровны, надушенная коробка с прижатыми к стенам золочеными, в малиновых полосах шкафами.

Я рассказал Калугину — кто убит у нас в Шуйском полку, кто выбран в комиссары, кто ушел на Кубань. Мы пили чай, в хрустальных стенах стаканов расплывались звезды. Мы заедали их колбасой из конины, черной и сыроватой. От мира отделял нас густой и легкий шелк гардин; солнце, вделанное в потолок, дробилось и сияло, душный жар налетал от труб парового отопления.

— Была не была, — сказал Калугин, когда мы разделались с кониной. Он вышел куда-то и вернулся с двумя ящиками — подарком султана Абдул-Гамида русскому государю. Один был цинковый, другой сигарный ящик, заклеенный лентами и бумажными орденами. «A sa majesté, l'Empereur de toutes les Russies [1], — было выгравировано на цинковой крышке, — от доброжелательного кузена...»

---

[1] Его величеству императору всероссийскому (*франц.*).

Библиотеку Марии Федоровны наполнил аромат, который был ей привычен четверть столетия назад. Папиросы двадцать сантиметров в длину и толщиной в палец были обернуты в розовую бумагу; не знаю, курил ли кто в свете, кроме всероссийского самодержца, такие папиросы, но я выбрал сигару. Калугин улыбался, глядя на меня.

— Была не была, — сказал он, — авось не считаны... Мне лакеи рассказывали — Александр Третий был завзятый курильщик: табак любил, квас да шампанское... А на столе у него, погляди, пятачковые глиняные пепельницы да на штанах — латки...

И вправду, халат, в который меня облачили, был засален, лоснился и много раз чинен.

Остаток ночи мы провели, разбирая игрушки Николая Второго, его барабаны и паровозы, крестильные его рубашки и тетрадки с ребячьей мазней. Снимки великих князей, умерших в младенчестве, пряди их волос, дневники датской принцессы Дагмары, письма сестры ее, английской королевы, дыша духами и тленом, рассыпались под нашими пальцами. На титулах Евангелий и Ламартина подруги и фрейлины — дочери бургомистров и государственных советников — в косых старательных строчках прощались с принцессой, уезжавшей в Россию. Мелкопоместная королева Луиза, мать ее, позаботилась об устройстве детей; она выдала одну дочь за Эдуарда VII, императора Индии и английского короля, другую за Романова, сына Георга сделали королем греческим. Принцесса Дагмара стала Марией в России. Далеко ушли каналы Копенгагена, шоколадные баки короля Христиана. Рожая последних государей, маленькая женщина с лисьей злобой металась в частоколе преображенских гренадеров, но родильная ее кровь пролилась в неумолимую мстительную гранитную землю...

До рассвета не могли мы оторваться от глухой, гибельной этой летописи. Сигара Абдул-Гамида была докурена. Наутро Калугин повел меня в Чека, на Гороховую, 2. Он поговорил с Урицким. Я стоял за драпировкой, падавшей на пол суконными волнами. До меня долетали обрывки слов.

— Парень свой, — говорил Калугин, — отец лавочник, торгует, да он отбился от них... Языки знает...

Комиссар внутренних дел коммун Северной области вышел из кабинета раскачивающейся своей походкой. За

стеклами пенсне вываливались обожженные бессонницей, разрыхленные, запухшие веки.

Меня сделали переводчиком при Иностранном отделе. Я получил солдатское обмундирование и талоны на обед. В отведенном мне углу зала бывшего Петербургского градоначальства я принялся за перевод показаний, данных дипломатами, поджигателями и шпионами.

Не прошло и дня, как все у меня было, — одежда, еда, работа и товарищи, верные в дружбе и смерти, товарищи, каких нет нигде в мире, кроме как в нашей стране.

Так началась тринадцать лет назад превосходная моя жизнь, полная мысли и веселья.

В ПОДВАЛЕ

Я был лживый мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было воспламенено. Я читал во время уроков, на переменах, по дороге домой, ночью — под столом, закрывшись свисавшей до пола скатертью. За книгой я проморгал все дела мира сего — бегство с уроков в порт, начало биллиардной игры в кофейнях на Греческой улице, плаванье на Ланжероне. У меня не было товарищей. Кому была охота водиться с таким человеком?..

Однажды в руках первого нашего ученика, Марка Боргмана, я увидел книгу о Спинозе. Он только что прочитал ее и не утерпел, чтобы не сообщить окружившим его мальчикам об испанской инквизиции. Это было ученое бормотание, — то, что он рассказывал. В словах Боргмана не было поэзии. Я не выдержал и вмешался. Тем, кто хотел меня слушать, я рассказал о старом Амстердаме, о сумраке гетто, о философах — гранильщиках алмазов. К прочитанному в книгах было прибавлено много своего. Без этого я не обходился. Воображение мое усиливало драматические сцены, переиначивало концы, таинственнее завязывало начала. Смерть Спинозы, свободная, одинокая его смерть, предстала в моем изображении битвой. Синедрион вынуждал умирающего покаяться, он не сломился. Сюда же я приплутал Рубенса. Мне казалось, что Рубенс стоял у изголовья Спинозы и снимал маску с мертвеца.

Мои однокашники разинув рты слушали эту фантастическую повесть. Она была рассказана с воодушевлением. Мы нехотя разошлись по звонку. В следующую перемену Боргман подошел ко мне, взял меня под руку, мы стали прогуливаться вместе. Прошло немного времени — мы сговорились. Боргман не представлял из себя дурной разновидности первого ученика. Для сильных его мозгов гимназическая премудрость была каракулями на полях настоящей книги. Эту книгу он искал с жадностью. Двенадцатилетними несмышленышами мы знали уже, что ему предстоит ученая, необыкновенная жизнь. Он и уроков не готовил, только слушал их. Этот трезвый и сдержанный мальчик привязался ко мне из-за моей особенности перевирать все вещи в мире, такие вещи, проще которых и выдумать нельзя было.

В тот год мы перешли в третий класс. Ведомость моя была уставлена тройками с минусом. Я так был странен со своими бреднями, что учителя, подумав, не решились выставить мне двойки. В начале лета Боргман пригласил меня к себе на дачу. Его отец был директором Русского для внешней торговли банка. Этот человек был одним из тех, кто делал из Одессы Марсель или Неаполь. В нем жила закваска старого одесского негоцианта. Он принадлежал к обществу скептических и обходительных гуляк. Отец Боргмана избегал говорить по-русски; он объяснялся на грубоватом обрывистом языке ливерпульских капитанов. Когда в апреле к нам приехала итальянская опера, у Боргмана на квартире устраивался обед для труппы. Одутловатый банкир — последний из одесских негоциантов — завязывал двухмесячную интрижку с грудастой примадонной. Она увозила с собой воспоминания, не отягчавшие совести, и колье, выбранное со вкусом и стоившее не очень дорого.

Старик состоял аргентинским консулом и председателем биржевого комитета. К нему-то в дом я был приглашен. Моя тетка — по имени Бобка — разгласила об этом по всему двору. Она приодела меня, как могла. Я поехал на паровичке к шестнадцатой станции Большого фонтана. Дача стояла на невысоком красном обрыве у самого берега. На обрыве был разделан цветник с фуксиями и подстриженными шарами туи.

Я происходил из нищей и бестолковой семьи. Обстановка боргмановской дачи поразила меня. В аллеях,

укрытые зеленью, белели плетеные кресла. Обеденный стол был покрыт цветами, окна обведены зелеными наличниками. Перед домом просторно стояла деревянная невысокая колоннада.

Вечером приехал директор банка. После обеда он поставил плетеное кресло у самого края обрыва, перед идущей равниной моря, задрал ноги в белых штанах, закурил сигару и стал читать «Manchester guardian». Гости, одесские дамы, играли на веранде в покер. В углу стола шумел узкий самовар с ручками из слоновой кости.

Картежницы и лакомки, неряшливые щеголихи и тайные распутницы с надушенным бельем и большими боками — женщины хлопали черными веерами и ставили золотые. Сквозь изгородь дикого винограда к ним проникало солнце. Огненный круг его был огромен. Отблески меди тяжелили черные волосы женщин. Искры заката входили в бриллианты — бриллианты, навешанные всюду: в углублениях разъехавшихся грудей, в подкрашенных ушах и на голубоватых припухлых самочьих пальцах.

Наступил вечер. Прошелестела летучая мышь. Море чернее накатывалось на красную скалу. Двенадцатилетнее мое сердце раздувалось от веселья и легкости чужого богатства. Мы с приятелем, взявшись за руки, ходили по дальней аллее. Боргман сказал мне, что он станет авиационным инженером. Есть слух о том, что отца назначат представителем Русского для внешней торговли банка в Лондон, — Марк сможет получить образование в Англии.

В нашем доме, доме тети Бобки, никто не толковал о таких вещах. Мне нечем было отплатить за непрерывное это великолепие. Тогда я сказал Марку, что хоть у нас в доме все по-другому, но дед Лейви-Ицхок и мой дядька объездили весь свет и испытали тысячи приключений. Я описал эти приключения по порядку. Сознание невозможного тотчас же оставило меня, я провел дядьку Вольфа сквозь русско-турецкую войну — в Александрию, в Египет...

Ночь выпрямилась в тополях, звезды налегли на погнувшиеся ветви. Я говорил и размахивал руками. Пальцы будущего авиационного инженера трепетали в моей руке. С трудом просыпаясь от галлюцинаций,

он пообещал прийти ко мне в следующее воскресенье. Запасшись этим обещанием, я уехал на паровичке домой, к Бобке.

Всю неделю после этого визита я воображал себя директором банка. Я совершал миллионные операции с Сингапуром и Порт-Саидом. Я завел себе яхту и путешествовал на ней один. В субботу настало время проснуться. Назавтра должен был прийти в гости маленький Боргман. Ничего из того, что я рассказал ему, — не существовало. Существовало другое, много удивительнее, чем то, что я придумал, но двенадцати лет от роду я совсем еще не знал, как мне быть с правдой в этом мире. Дед Лейви-Ицхок, раввин, выгнанный из своего местечка за то, что он подделал на векселях подпись графа Браницкого, был на взгляд наших соседей и окрестных мальчишек сумасшедший. Дядьку Симон-Вольфа я не терпел за шумное его чудачество, полное бессмысленного огня, крику и притеснения. Только с Бобкой можно было сговориться. Бобка гордилась тем, что сын директора банка дружит со мной. Она считала это знакомство началом карьеры и испекла для гостя штрудель с вареньем и маковый пирог. Все сердце нашего племени, сердце, так хорошо выдерживающее борьбу, заключалось в этих пирогах. Деда с его рваным цилиндром и тряпьем на распухших ногах мы упрятали к соседям Апельхотам, и я умолял его не показываться до тех пор, пока гость не уйдет. С Симон-Вольфом тоже уладилось. Он ушел со своими приятелями-барышниками пить чай в трактир «Медведь». В этом трактире прихватывали водку вместе с чаем, можно было рассчитывать, что Симон-Вольф задержится. Тут надо сказать, что семья, из которой я происхожу, не походила на другие еврейские семьи. У нас и пьяницы были в роду, у нас соблазняли генеральских дочерей и, не довезши до границы, бросали, у нас дед подделывал подписи и сочинял для брошенных жен шантажные письма.

Все старания я положил на то, чтобы отвадить Симон-Вольфа на весь день. Я отдал ему сбереженные три рубля. Прожить три рубля — это нескоро делается, Симон-Вольф вернется поздно, и сын директора банка никогда не узнает о том, что рассказ о доброте и силе моего дядьки — лживый рассказ. По совести говоря, если сообразить сердцем, это была правда, а не ложь,

но при первом взгляде на грязного и крикливого Симон-Вольфа непонятной этой истины нельзя было разобрать.

В воскресенье утром Бобка вырядилась в коричневое суконное платье. Толстая ее, добрая грудь лежала во все стороны. Она надела косынку с черными тиснеными цветами, косынку, которую одевают в синагогу на Судный день и на Рош-Гашоно. Бобка расставила на столе пироги, варенье, крендели и принялась ждать. Мы жили в подвале. Боргман поднял брови, когда проходил по горбатому полу коридора. В сенях стояла кадка с водой. Не успел Боргман войти, как я стал занимать его всякими диковинами. Я показал ему будильник, сделанный до последнего винтика руками деда. К часам была приделана лампа; когда будильник отсчитывал половинку или полный час, лампа зажигалась. Я показал еще бочонок с ваксой. Рецепт этой ваксы составлял изобретение Лейви-Ицхока: он никому этого секрета не выдавал. Потом мы прочитали с Боргманом несколько страниц из рукописи деда. Он писал по-еврейски, на желтых квадратных листах, громадных, как географические карты. Рукопись называлась «Человек без головы». В ней описывались все соседи Лейви-Ицхока за семьдесят лет его жизни — сначала в Сквире и Белой Церкви, потом в Одессе. Гробовщики, канторы, еврейские пьяницы, поварихи на брисах и проходимцы, производившие ритуальную операцию, — вот герои Лейви-Ицхока. Все это были вздорные люди, косноязычные, с шишковатыми носами, прыщами на макушке и косыми задами.

Во время чтения появилась Бобка в коричневом платье. Она плыла с самоваром на подносе, обложенная своей толстой, доброй грудью. Я познакомил их. Бобка сказала: «Очень приятно», — протянула вспотевшие, неподвижные пальцы и шаркнула обеими ногами. Все шло хорошо, как нельзя лучше. Апельхоты не выпускали деда. Я выволакивал его сокровища одно за другим: грамматики на всех языках и шестьдесят шесть томов Талмуда. Марка ослепил бочонок с ваксой, мудреный будильник и гора Талмуда, все эти вещи, которых нельзя увидеть ни в каком другом доме.

Мы выпили по два стакана чаю со штруделем, — Бобка, кивая головой и пятясь назад, исчезла. Я пришел в

радостное состояние духа, стал в позу и начал декламировать строфы, больше которых я ничего не любил в жизни. Антоний, склонясь над трупом Цезаря, обращается к римскому народу:

О римляне, сограждане, друзья,
Меня своим вниманьем удостойте.
Не восхвалять я Цезаря пришел,
Но лишь ему последний долг отдать.

Так начинает игру Антоний. Я задохся и прижал руки к груди.

Мне Цезарь другом был, и верным другом,
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Он пленных приводил толпами в Рим,
Их выкупом казну обогащая.
Не это ли считать за властолюбье...
При виде нищеты он слезы лил, —
Так мягко властолюбье не бывает.
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...
Вы видели во время луперкалий,
Я трижды подносил ему венец,
И трижды от него он отказался.
Ужель и это властолюбье?..
Но Брут его зовет властолюбивым,
А Брут — достопочтенный человек...

Перед моими глазами — в дыму вселенной — висело лицо Брута. Оно стало белее мела. Римский народ, ворча, надвигался на меня. Я поднял руку, — глаза Боргмана покорно двинулись за ней, — сжатый мой кулак дрожал, я поднял руку... и увидел в окне дядьку Симон-Вольфа, шедшего по двору в сопровождении маклака Лейкаха. Они тащили на себе вешалку, сделанную из оленьих рогов, и красный сундук с подвесками в виде львиных пастей. Бобка тоже увидела их из окна. Забыв про гостя, она влетела в комнату и схватила меня трясущимися ручками.

— Серденько мое, он опять купил мебель...

Боргман привстал в своем мундирчике и в недоумении поклонился Бобке. В дверь ломились. В коридоре раздался грохот сапог, шум передвигаемого сундука. Голоса Симон-Вольфа и рыжего Лейкаха гремели оглушительно. Оба были навеселе.

— Бобка, — закричал Симон-Вольф, — попробуй угадать, сколько я отдал за эти рога?!

Он орал, как труба, но в голосе его была неуверенность. Хоть и пьяный, Симон-Вольф знал, как ненавидим мы рыжего Лейкаха, подбивавшего его на все покупки, затоплявшего нас ненужной, бессмысленной мебелью.

Бобка молчала. Лейках пропищал что-то Симон-Вольфу. Чтобы заглушить змеиное его шипение, чтобы заглушить мою тревогу, я закричал словами Антония:

Еще вчера повелевал вселенной
Могучий Цезарь; он теперь во прахе,
И всякий нищий им пренебрегает.
Когда б хотел я возбудить к восстанью,
К отмщению сердца и души ваши,
Я повредил бы Кассию и Бруту,
Но ведь они почтеннейшие люди...

На этом месте раздался стук. Это упала Бобка, сбитая с ног ударом мужа. Она, верно, сделала горькое какое-нибудь замечание об оленьих рогах. Началось ежедневное представление. Медный голос Симон-Вольфа законопачивал все щели вселенной.

— Вы тянете из меня клей, — громовым голосом кричал мой дядька, — вы клей тянете из меня, чтобы запихать собачьи ваши рты... Работа отбила у меня душу. У меня нечем работать, у меня нет рук, у меня нет ног... Камень вы одели на мою шею, камень висит на моей шее...

Проклиная меня и Бобку еврейскими проклятиями, он сулил нам, что глаза наши вытекут, что дети наши еще во чреве матери начнут гнить и распадаться, что мы не будем поспевать хоронить друг друга и что нас за волосы стащат в братскую могилу.

Маленький Боргман поднялся со своего места. Он был бледен и озирался. Ему непонятны были обороты еврейского кощунства, но с русской матерщиной он был знаком. Симон-Вольф не гнушался и ею. Сын директора банка мял в руке картузик. Он двоился у меня в глазах, я силился перекричать все зло мира. Предсмертное мое отчаяние и свершившаяся уже смерть Цезаря слились в одно. Я был мертв, и я кричал. Хрипение поднималось со дна моего существа.

Коль слезы есть у вас, обильным током
Они теперь из ваших глаз польются.
Всем этот плащ знаком. Я помню даже,
Где в первый раз его накинул Цезарь:
То было летним вечером, в палатке,
Где находился он, разбив неврийцев.
Сюда проник нож Кассия; вот рана
Завистливого Каски; здесь в него
Вонзил кинжал его любимец Брут.
Как хлынула потоком алым кровь,
Когда кинжал из раны он извлек...

Ничто не в силах было заглушить Симон-Вольфа. Бобка, сидя на полу, всхлипывала и сморкалась. Невозмутимый Лейках двигал за перегородкой сундук. Тут мой сумасбродный дед захотел прийти мне на помощь. Он вырвался от Апельхотов, подполз к окну и стал пилить на скрипке, для того, верно, чтобы посторонним людям не слышна была брань Симон-Вольфа. Боргман взглянул в окно, вырезанное на уровне земли, и в ужасе подался назад. Мой бедный дед гримасничал своим синим окостеневшим ртом. На нем был загнутый цилиндр, черная ваточная хламида с костяными пуговицами и опорки на слоновых ногах. Прокуренная борода висела клочьями и колебалась в окне. Марк бежал.

— Это ничего, — пробормотал он, вырываясь на волю, — это, право, ничего...

Во дворе мелькнули его мундирчик и картуз с поднятыми краями.

С уходом Марка улеглось мое волнение. Я ждал вечера. Когда дед, исписав еврейскими крючками квадратный свой лист (он описывал Апельхотов, у которых, по моей милости, провел весь день), улегся на койку и заснул, я выбрался в коридор. Пол там был земляной. Я двигался во тьме, босой, в длинной и заплатанной рубахе. Сквозь щели досок остриями света мерцали булыжники. В углу, как всегда, стояла кадка с водой. Я опустился в нее. Вода разрезала меня надвое. Я погрузил голову, задохся, вынырнул. Сверху, с полки, сонно смотрела кошка. Во второй раз я выдержал дольше, вода хлюпала вокруг меня, мой стон уходил в нее. Я открыл глаза и увидел на дне бочки парус рубахи и ноги, прижатые друг к дружке. У меня снова не хватило сил, я вынырнул. Возле бочки стоял дед в кофте. Единственный его зуб звенел.

— Мой внук, — он выговорил эти слова презрительно и внятно, — я иду принять касторку, чтобы мне было что принесть на твою могилу...

Я закричал, не помня себя, и опустился в воду с размаху. Меня вытащила немощная рука деда. Тогда впервые за этот день я заплакал, — и мир слез был так огромен и прекрасен, что все, кроме слез, ушло из моих глаз.

Я очнулся на постели, закутанный в одеяла. Дед ходил по комнате и свистел. Толстая Бобка грела мои руки на груди.

— Как он дрожит, наш дурачок, — сказала Бобка, — и где дитя находит силы так дрожать...

Дед дернул бороду, свистнул и зашагал снова. За стеной с мучительным выдохом храпел Симон-Вольф. Навоевавшись за день, он ночью никогда не просыпался.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Все люди нашего круга — маклеры, лавочники, служащие в банках и пароходных конторах — учили детей музыке. Отцы наши, не видя себе ходу, придумали лотерею. Они устроили ее на костях маленьких людей. Одесса была охвачена этим безумием больше других городов. И правда — в течение десятилетий наш город поставлял вундеркиндов на концертные эстрады мира. Из Одессы вышли Миша Эльман, Цимбалист, Габрилович, у нас начинал Яша Хейфец.

Когда мальчику исполнялось четыре или пять лет — мать вела крохотное, хилое это существо к господину Загурскому. Загурский содержал фабрику вундеркиндов, фабрику еврейских карликов в кружевных воротничках и лаковых туфельках. Он выискивал их в молдаванских трущобах, в зловонных дворах Старого базара. Загурский давал первое направление, потом дети отправлялись к профессору Ауэру в Петербург. В душах этих заморышей с синими раздутыми головами жила могучая гармония. Они стали прославленными виртуозами. И вот — отец мой решил угнаться за ними. Хоть я и вышел из возраста вундеркиндов — мне шел четырнадцатый год, но по росту и хилости меня можно было сбыть за восьмилетнего. На это была вся надежда.

Меня отвели к Загурскому. Из уважения к деду он согласился брать по рублю за урок — дешевая плата. Дед мой Лейви-Ицхок был посмешище города и украшение его. Он расхаживал по улицам в цилиндре и в опорках

и разрешал сомнения в самых темных делах. Его спрашивали, что такое гобелен, отчего якобинцы предали Робеспьера, как готовится искусственный шелк, что такое кесарево сечение. Мой дед мог ответить на эти вопросы. Из уважения к учености его и безумию Загурский брал с нас по рублю за урок. Да и возился он со мною, боясь деда, потому что возиться было не с чем. Звуки ползли с моей скрипки, как железные опилки. Меня самого эти звуки резали по сердцу, но отец не отставал. Дома только и было разговора о Мише Эльмане, самим царем освобожденном от военной службы. Цимбалист, по сведениям моего отца, представлялся английскому королю и играл в Букингэмском дворце; родители Габриловича купили два дома в Петербурге. Вундеркинды принесли своим родителям богатство. Мой отец примирился бы с бедностью, но слава была нужна ему.

— Не может быть, — нашептывали люди, обедавшие за его счет, — не может быть, чтобы внук такого деда...

У меня же в мыслях было другое. Проигрывая скрипичные упражнения, я ставил на пюпитре книги Тургенева или Дюма, — и, пиликая, пожирал страницу за страницей. Днем я рассказывал небылицы соседским мальчишкам, ночью переносил их на бумагу. Сочинительство было наследственное занятие в нашем роду. Лейви-Ицхок, тронувшийся к старости, всю жизнь писал повесть под названием «Человек без головы». Я пошел в него.

Нагруженный футляром и нотами, я три раза в неделю тащился на улицу Витте, бывшую Дворянскую, к Загурскому. Там, вдоль стен, дожидаясь очереди, сидели еврейки, истерически воспламененные. Они прижимали к слабым своим коленям скрипки, превосходившие размерами тех, кому предстояло играть в Букингэмском дворце.

Дверь в святилище открывалась. Из кабинета Загурского, шатаясь, выходили головастые, веснушчатые дети с тонкими шеями, как стебли цветов, и припадочным румянцем на щеках. Дверь захлопывалась, поглотив следующего карлика. За стеной, надрываясь, пел, дирижировал учитель, с бантом, в рыжих кудрях, с жидкими ногами. Управитель чудовищной лотереи — он населял Молдаванку и черные тупики Старого рынка призраками пиччикато и кантилены. Этот распев доводил потом до дьявольского блеска старый профессор Ауэр.

В этой секте мне нечего было делать. Такой же карлик, как и они, я в голосе предков различал другое внушение.

Трудно мне дался первый шаг. Однажды я вышел из дому, навьюченный футляром, скрипкой, нотами и двенадцатью рублями денег — платой за месяц ученья. Я шел по Нежинской улице, мне бы повернуть на Дворянскую, чтобы попасть к Загурскому, вместо этого я поднялся вверх по Тираспольской и очутился в порту. Положенные мне три часа пролетели в Практической гавани. Так началось освобождение. Приемная Загурского больше не увидела меня. Дела поважнее заняли все мои помыслы. С однокашником моим Немановым мы повадились на пароход «Кенсингтон» к старому одному матросу по имени мистер Троттибэрн. Неманов был на год моложе меня, он с восьми лет занимался самой замысловатой торговлей в мире. Он был гений в торговых делах и исполнял все, что обещал. Теперь он миллионер в Нью-Йорке, директор General Motors C°, компании столь же могущественной, как и Форд. Неманов таскал меня с собой потому, что я повиновался ему молча. Он покупал у мистера Троттибэрна трубки, провозимые контрабандой. Эти трубки точил в Линкольне брат старого матроса.

— Джентльмены, — говорил нам мистер Троттибэрн, — помяните мое слово, детей надо делать собственноручно... Курить фабричную трубку — это то же, что вставлять себе в рот клистир... Знаете ли вы, кто такое был Бенвенуто Челлини?.. Это был мастер. Мой брат в Линкольне мог бы рассказать вам о нем. Мой брат никому не мешает жить. Он только убежден в том, что детей надо делать своими руками, а не чужими... Мы не можем не согласиться с ним, джентльмены...

Неманов продавал трубки Троттибэрна директорам банка, иностранным консулам, богатым грекам. Он наживал на них сто на сто.

Трубки линкольнского мастера дышали поэзией. В каждую из них была уложена мысль, капля вечности. В их мундштуке светился желтый глазок, футляры были выложены атласом. Я старался представить себе, как живет в старой Англии Мэтью Троттибэрн, последний мастер трубок, противящийся ходу вещей.

— Мы не можем не согласиться с тем, джентльмены, что детей надо делать собственноручно...

Тяжелые волны у дамбы отдаляли меня все больше от нашего дома, пропахшего луком и еврейской судьбой. С Практической гавани я перекочевал за волнорез. Там на клочке песчаной отмели обитали мальчишки с Приморской улицы. С утра до ночи они не натягивали на себя штанов, ныряли под шаланды, воровали на обед кокосы и дожидались той поры, когда из Херсона и Каменки потянутся дубки с арбузами и эти арбузы можно будет раскалывать о портовые причалы.

Мечтой моей сделалось уменье плавать. Стыдно было сознаться бронзовым этим мальчишкам в том, что, родившись в Одессе, я до десяти лет не видел моря, а в четырнадцать не умел плавать.

Как поздно пришлось мне учиться нужным вещам! В детстве, пригвожденный к Гемаре, я вел жизнь мудреца, выросши — стал лазать по деревьям.

Уменье плавать оказалось недостижимым. Водобоязнь всех предков — испанских раввинов и франкфуртских менял — тянула меня ко дну. Вода меня не держала. Исполосованный, налитый соленой водой, я возвращался на берег — к скрипке и нотам. Я привязан был к орудиям моего преступления и таскал их с собой. Борьба раввинов с морем продолжалась до тех пор, пока надо мной не сжалился водяной бог тех мест — корректор «Одесских новостей» Ефим Никитич Смолич. В атлетической груди этого человека жила жалость к еврейским мальчикам. Он верховодил толпами рахитичных заморышей. Никитич собирал их в клоповниках на Молдаванке, вел их к морю, зарывал в песок, делал с ними гимнастику, нырял с ними, обучал песням и, прожариваясь в прямых лучах солнца, рассказывал истории о рыбаках и животных. Взрослым Никитич объяснял, что он натурфилософ. Еврейские дети от историй Никитича помирали со смеху, они визжали и ластились, как щенята. Солнце окропляло их ползучими веснушками, веснушками цвета ящерицы.

За единоборством моим с волнами старик следил молча сбоку. Увидев, что надежды нет и что плавать мне не научиться, — он включил меня в число постояльцев своего сердца. Оно было все тут с нами — его веселое сердце, никуда не заносилось, не жадничало и не тревожилось... С медными своими плечами, с головой состарившегося гладиатора, с бронзовыми, чуть кривыми ногами, — он лежал среди нас за волнорезом, как властелин

этих арбузных, керосиновых вод. Я полюбил этого человека так, как только может полюбить атлета мальчик, хворающий истерией и головными болями. Я не отходил от него и пытался услуживать.

Он сказал мне:

— Ты не суетись... Ты укрепи свои нервы. Плаванье придет само собой... Как это так — вода тебя не держит... С чего бы ей не держать тебя?

Видя, как я тянусь, — Никитич для меня одного изо всех своих учеников сделал исключение, позвал к себе в гости на чистый просторный чердак в циновках, показал своих собак, ежа, черепаху и голубей. В обмен на эти богатства я принес ему написанную мною накануне трагедию.

— Я так и знал, что ты пописываешь, — сказал Никитич, — у тебя и взгляд такой... Ты все больше никуда не смотришь...

Он прочитал мои писания, подергал плечом, провел рукой по крутым седым завиткам, прошелся по чердаку.

— Надо думать, — произнес он врастяжку, замолкая после каждого слова, — что в тебе есть искра божия...

Мы вышли на улицу. Старик остановился, с силой постучал палкой о тротуар и уставился на меня.

— Чего тебе не хватает?.. Молодость не беда, с годами пройдет... Тебе не хватает чувства природы.

Он показал мне палкой на дерево с красноватым стволом и низкой кроной.

— Это что за дерево?

Я не знал.

— Что растет на этом кусте?

Я и этого не знал. Мы шли с ним сквериком Александровского проспекта. Старик тыкал палкой во все деревья, он схватывал меня за плечо, когда пролетала птица, и заставлял слушать отдельные голоса.

— Какая это птица поет?

Я ничего не мог ответить. Названия деревьев и птиц, деление их на роды, куда летят птицы, с какой стороны восходит солнце, когда бывает сильнее роса — все это было мне неизвестно.

— И ты осмеливаешься писать?.. Человек, не живущий в природе, как живет в ней камень или животное, не напишет во всю свою жизнь двух стоящих строк... Твои пейзажи похожи на описание декораций. Черт меня

побери, — о чем думали четырнадцать лет твои родители?..

О чем они думали?.. О протестованных векселях, об особняках Миши Эльмана... Я не сказал об этом Никитичу, я смолчал.

Дома — за обедом — я не прикоснулся к пище. Она не проходила в горло.

«Чувство природы, — думал я. — Бог мой, почему это не пришло мне в голову... Где взять человека, который растолковал бы мне птичьи голоса и названия деревьев?.. Что известно мне о них? Я мог бы распознать сирень, и то когда она цветет. Сирень и акацию. Дерибасовская и Греческая улицы обсажены акациями...»

За обедом отец рассказал новую историю о Яше Хейфеце. Не доходя до Робина, он встретил Мендельсона, Яшиного дядьку. Мальчик, оказывается, получает восемьсот рублей за выход. Посчитайте — сколько это выходит при пятнадцати концертах в месяц.

Я сосчитал — получилось двенадцать тысяч в месяц. Делая умножение и оставляя четыре в уме, я взглянул в окно. По цементному дворику, в тихонько отдуваемой крылатке, с рыжими колечками, выбивающимися из-под мягкой шляпы, опираясь на трость, шествовал господин Загурский, мой учитель музыки. Нельзя сказать, что он хватился слишком рано. Прошло уже больше трех месяцев с тех пор, как скрипка моя опустилась на песок у волнореза...

Загурский подходил к парадной двери. Я кинулся к черному ходу — его накануне заколотили от воров. Тогда я заперся в уборной. Через полчаса возле моей двери собралась вся семья. Женщины плакали. Бобка терлась жирным плечом о дверь и закатывалась в рыданиях. Отец молчал. Заговорил он так тихо и раздельно, как не говорил никогда в жизни.

— Я офицер, — сказал мой отец, — у меня есть имение. Я езжу на охоту. Мужики платят мне аренду. Моего сына я отдал в кадетский корпус. Мне нечего заботиться о моем сыне...

Он замолк. Женщины сопели. Потом страшный удар обрушился в дверь уборной, отец бился об нее всем телом, он налетал с разбегу.

— Я офицер, — вопил он, — я езжу на охоту... Я убью его... Конец...

Крючок соскочил с двери, там была еще задвижка, она держалась на одном гвозде. Женщины катались по полу, они хватали отца за ноги; обезумев, он вырывался. На шум подоспела старуха — мать отца.

— Дитя мое, — сказала она ему по-еврейски, — наше горе велико. Оно не имеет краев. Только крови недоставало в нашем доме. Я не хочу видеть кровь в нашем доме...

Отец застонал. Я услышал удалявшиеся его шаги. Задвижка висела на последнем гвозде.

В моей крепости я досидел до ночи. Когда все улеглись, тетя Бобка увела меня к бабушке. Дорога нам была дальняя. Лунный свет оцепенел на неведомых кустах, на деревьях без названия... Невидимая птица издала свист и угасла, может быть, заснула... Что это за птица? Как зовут ее? Бывает ли роса по вечерам?.. Где расположено созвездие Большой Медведицы? С какой стороны восходит солнце?..

Мы шли по Почтовой улице. Бобка крепко держала меня за руку, чтобы я не убежал. Она была права. Я думал о побеге.

КАРЛ-ЯНКЕЛЬ

В пору моего детства на Пересыпи была кузница Иойны Брутмана. В ней собирались барышники лошадьми, ломовые извозчики — в Одессе они называются биндюжниками — и мясники с городских скотобоен. Кузница стояла у Балтской дороги. Избрав ее наблюдательным пунктом, можно было перехватить мужиков, возивших в город овес и бессарабское вино. Иойна был пугливый, маленький человек, но к вину он был приучен, в нем жила душа одесского еврея.

В мою пору у него росли три сына. Отец доходил им до пояса. На пересыпском берегу я впервые задумался о могуществе сил, тайно живущих в природе. Три раскормленных бутая с багровыми плечами и ступнями лопатой — они сносили сухонького Иойну в воду, как сносят младенца. И все-таки родил их он и никто другой. Тут не было сомнений. Жена кузнеца ходила в синагогу два раза в неделю — в пятницу вечером и в субботу утром; синагога была хасидская, там доплясывались на пасху до исступления, как дервиши. Жена Иойны платила дань эмиссарам, которых рассылали по южным губерниям галицийские цадики. Кузнец не вмешивался в отношения жены своей к богу — после работы он уходил в погребок возле скотобойни и там, потягивая дешевое розовое вино, кротко слушал, о чем говорили люди, — о ценах на скот и политике.

Ростом и силой сыновья походили на мать. Двое из них, подросши, ушли в партизаны. Старшего убили под Вознесенском, другой Брутман, Семен, перешел к

Примакову — в дивизию червонного казачества. Его выбрали командиром казачьего полка. С него и еще с нескольких местечковых юношей началась эта неожиданная порода еврейских рубак, наездников и партизанов.

Третий сын стал кузнецом по наследству. Он работает на плужном заводе Гена на старых местах. Он не женился и никого не родил.

Дети Семена кочевали вместе с его дивизией. Старухе нужен был внук, которому она могла бы рассказать о Баал-Шеме. Внука она дождалась от младшей дочери Поли. Одна во всей семье девочка пошла в маленького Иойну. Она была пуглива, близорука, с нежной кожей. К ней присватывались многие. Поля выбрала Овсея Белоцерковского. Мы не поняли этого выбора. Еще удивительнее было известие о том, что молодые живут счастливо. У женщин свое хозяйство; постороннему не видно, как бьются горшки. Но тут горшки разбил Овсей Белоцерковский. Через год после женитьбы он подал в суд на тещу свою Брану Брутман. Воспользовавшись тем, что Овсей был в командировке, а Поля ушла в больницу лечиться от грудницы, старуха похитила новорожденного внука, отнесла его к малому оператору Нафтуле Герчику, и там в присутствии десяти развалин, десяти древних и нищих стариков, завсегдатаев хасидской синагоги, над младенцем был совершен обряд обрезания.

Новость эту Овсей Белоцерковский узнал после приезда. Овсей был записан кандидатом в партию. Он решил посоветоваться с секретарем ячейки Госторга Бычачем.

— Тебя морально запачкали, — сказал ему Бычач, — ты должен двинуть это дело...

Одесская прокуратура решила устроить показательный суд на фабрике имени Петровского. Малый оператор Нафтула Герчик и Брана Брутман, шестидесяти двух лет, очутились на скамье подсудимых.

Нафтула был в Одессе такое же городское имущество, как памятник дюку де Ришелье. Он проходил мимо наших окон на Дальницкой с трепаной, засаленной акушерской сумкой в руках. В этой сумке хранились немудрящие его инструменты. Он вытаскивал оттуда то ножик, то бутылку водки с медовым пряником. Он нюхал пряник, прежде чем выпить, и, выпив, затягивал молитвы. Он был рыж, Нафтула, как первый рыжий человек на земле. Отрезая то, что ему причиталось, он не отцеживал

кровь через стеклянную трубочку, а высасывал ее вывороченными своими губами. Кровь размазывалась по всклокоченной его бороде. Он выходил к гостям захмелевший. Медвежьи глазки его сияли весельем. Рыжий, как первый рыжий человек на земле, он гнусавил благословение над вином. Одной рукой Нафтула опрокидывал в заросшую, кривую, огнедышащую яму своего рта водку, в другой руке у него была тарелка. На ней лежал ножик, обагренный младенческой кровью, и кусок марли. Собирая деньги, Нафтула обходил с этой тарелкой гостей, он толкался между женщинами, валился на них, хватал за груди и орал на всю улицу.

— Толстые мамы, — орал старик, сверкая коралловыми глазками, — печатайте мальчиков для Нафтулы, молотите пшеницу на ваших животах, старайтесь для Нафтулы... Печатайте мальчиков, толстые мамы...

Мужья бросали деньги в его тарелку. Жены вытирали салфетками кровь с его бороды. Дворы Глухой и Госпитальной не оскудевали. Они кишели детьми, как устья рек икрой. Нафтула плелся со своим мешком, как сборщик подати. Прокурор Орлов остановил Нафтулу в его обходе.

Прокурор гремел с кафедры, стремясь доказать, что малый оператор является служителем культа.

— Верите ли вы в бога? — спросил он Нафтулу.

— Пусть в бога верит тот, кто выиграл двести тысяч, — ответил старик.

— Вас не удивил приход гражданки Брутман в поздний час, в дождь, с новорожденным на руках?..

— Я удивляюсь, — сказал Нафтула, — когда человек делает что-нибудь по-человечески, а когда он делает сумасшедшие штуки — я не удивляюсь...

Ответы эти не удовлетворили прокурора. Речь шла о стеклянной трубочке. Прокурор доказывал, что, высасывая кровь губами, подсудимый подвергал детей опасности заражения. Голова Нафтулы — кудлатый орешек его головы — болталась где-то у самого пола. Он вздыхал, закрывал глаза и вытирал кулачком провалившийся рот.

— Что вы бормочете, гражданин Герчик? — спросил его председатель.

Нафтула устремил потухший взгляд на прокурора Орлова.

— У покойного мосье Зусмана, — сказал он, вздыхая, — у покойного вашего папаши была такая голова, что во всем свете не найти другую такую. И, слава богу, у него не было апоплексии, когда он тридцать лет тому назад позвал меня на ваш брис [1]. И вот мы видим, что вы выросли большой человек у Советской власти и что Нафтула не захватил вместе с этим куском пустяков ничего такого, что бы вам потом пригодилось...

Он заморгал медвежьими глазками, покачал рыжим своим орешком и замолчал. Ему ответили орудия смеха, громовые залпы хохота. Орлов, урожденный Зусман, размахивая руками, кричал что-то, чего в канонаде нельзя было расслышать. Он требовал занесения в протокол... Саша Светлов, фельетонист «Одесских известий», послал ему из ложи прессы записку: «Ты баран, Сема, — значилось в записке, — убей его иронией, убивает исключительно смешное... Твой *Саша*».

Зал притих, когда ввели свидетеля Белоцерковского.

Свидетель повторил письменное свое заявление. Он был долговяз, в галифе и кавалерийских ботфортах. По словам Овсея, Тираспольский и Балтский укомы партии оказывали ему полное содействие в работе по заготовке жмыхов. В разгаре заготовок он получил телеграмму о рождении сына. Посоветовавшись с заворгом Балтского укома, он решил, не срывая заготовок, ограничиться посылкой поздравительной телеграммы, приехал же он только через две недели. Всего было собрано по району шестьдесят четыре тысячи пудов жмыха. На квартире, кроме свидетельницы Харченко, соседки, по профессии прачки, и сына, он никого не застал. Супруга его отлучилась в лечебницу, а свидетельница Харченко, раскачивая люльку, что является устарелым, пела над ним песенку. Зная свидетельницу Харченко как алкоголика, он не счел нужным вникать в слова ее пения, но только удивился тому, что она называет мальчика Яшей, в то время как он указал назвать сына Карлом, в честь учителя Карла Маркса. Распеленав ребенка, он убедился в своем несчастье.

Несколько вопросов задал прокурор. Защита объявила, что у нее вопросов нет. Судебный пристав ввел свидетельницу Полину Белоцерковскую. Шатаясь, она подошла

[1] Брис — обряд обрезания.

к барьеру. Голубоватая судорога недавнего материнства кривила ее лицо, на лбу стояли капли пота. Она обвела взглядом маленького кузнеца, вырядившегося точно в праздник — в бант и новые штиблеты, и медное, в седых усах, лицо матери. Свидетельница Белоцерковская не ответила на вопрос о том, что ей известно по данному делу. Она сказала, что отец ее был бедным человеком, сорок лет проработал он в кузнице на Балтской дороге. Мать родила шестерых детей, из них трое умерли, один является красным командиром, другой работает на заводе Гена...

— Мать очень набожна, это все видят, она всегда страдала от того, что дети ее неверующие, и не могла перенести мысли о том, что внуки ее не будут евреями. Надо принять во внимание — в какой семье мать выросла... Местечко Меджибож всем известно, женщины там до сих пор носят парики...

— Скажите, свидетельница, — прервал ее резкий голос. Полина замолкла, капли пота окрасились на ее лбу, кровь, казалось, просачивается сквозь тонкую кожу. — Скажите, свидетельница, — повторил голос, принадлежавший бывшему присяжному поверенному Самуилу Линингу...

Если бы синедрион существовал в наши дни, Лининг был бы его главой. Но синедриона нет, и Лининг, в двадцать пять лет обучившийся русской грамоте, стал на четвертом десятке писать в сенат кассационные жалобы, ничем не отличавшиеся от трактатов Талмуда...

Старик проспал весь процесс. Пиджак его был засыпан пеплом. Он проснулся при виде Поли Белоцерковской.

— Скажите, свидетельница, — рыбий ряд синих выпадающих его зубов затрещал, — вам известно было о решении мужа назвать сына Карлом?

— Да.

— Как назвала его ваша мать?

— Янкелем.

— А вы, свидетельница, как вы называли вашего сына?

— Я называла его «дусенькой».

— Почему именно дусенькой?..

— Я всех детей называю дусеньками...

— Идем дальше, — сказал Лининг, зубы его выпали, он подхватил их нижней губой и опять супул в че-

люсть, — идем далее... Вечером, когда ребенок был унесен к подсудимому Герчику, вас не было дома, вы были в лечебнице... Я правильно излагаю?

— Я была в лечебнице.

— В какой лечебнице вас пользовали?..

— На Нежинской улице, у доктора Дризо...

— Пользовали у доктора Дризо...

— Да.

— Вы хорошо это помните?..

— Как могу я не помнить...

— Имею представить суду справку, — безжизненное лицо Лининга приподнялось над столом, — из этой справки суд усмотрит, что в период времени, о котором идет речь, доктор Дризо отсутствовал и находился на конгрессе педиаторов в Харькове...

Прокурор не возражал против приобщения справки.

— Идем далее, — треща зубами, сказал Лининг.

Свидетельница всем телом налегла на барьер. Шепот ее был едва слышен.

— Может быть, это не был доктор Дризо, — сказала она, лежа на барьере, — я не могу всего запомнить, я измучена...

Лининг чесал карандашом в желтой бороде, он терся сутулой спиной о скамью и двигал вставными зубами. На просьбу предъявить бюллетень из страхкассы Белоцерковская ответила, что она потеряла его...

— Идем далее, — сказал старик.

Полина провела ладонью по лбу. Муж ее сидел на краю скамьи, отдельно от других свидетелей. Он сидел выпрямившись, подобрав под себя длинные ноги в кавалерийских ботфортах... Солнце падало на его лицо, набитое перекладинами мелких и злых костей.

— Я найду бюллетень, — прошептала Полина, и руки ее соскользнули с барьера.

Детский плач раздался в это мгновенье. За дверью плакал и кряхтел ребенок.

— О чем ты думаешь, Поля, — густым голосом прокричала старуха, — ребенок с утра не кормленный, ребенок захлял от крика...

Красноармейцы, вздрогнув, подобрали винтовки. Полина скользила все ниже, голова ее закинулась и легла на пол. Руки взлетели, задвигались в воздухе и обрушились.

— Перерыв, — закричал председатель.

Грохот взорвался в зале. Блестя зелеными впадинами, Белоцерковский журавлиными шагами подошел к жене.

— Ребенка покормить, — приставив руки рупором, крикнули из задних рядов.

— Покормят, — ответил издалека женский голос, — тебя дожидались...

— Припутана дочка, — сказал рабочий, сидевший рядом со мной, — дочка в доле...

— Семья, брат, — произнес его сосед, — ночное дело, темное... Ночью запутают, днем не распутаешь...

Солнце косыми лучами рассекало зал. Толпа туго ворочалась, дышала огнем и потом. Работая локтями, я пробрался в коридор. Дверь из красного уголка была приоткрыта. Оттуда доносилось кряхтенье и чавканье Карл-Янкеля. В красном уголке висел портрет Ленина, тот, где он говорит с броневика на площади Финляндского вокзала; портрет окружали цветные диаграммы выработки фабрики имени Петровского. Вдоль стены стояли знамена и ружья в деревянных станках. Работница с лицом киргизки, наклонив голову, кормила Карл-Янкеля. Это был пухлый человек пяти месяцев от роду в вязаных носках и с белым хохлом на голове. Присосавшись к киргизке, он урчал и стиснутым кулачком колотил свою кормилицу по груди.

— Галас какой подняли, — сказала киргизка, — найдется кому покормить...

В комнате вертелась еще девчонка лет семнадцати, в красном платочке и с щеками, торчавшими, как шишки. Она вытирала досуха клеенку Карл-Янкеля.

— Он военный будет, — сказала девочка, — ишь дерется...

Киргизка, легонько потягивая, вынула сосок изо рта Карл-Янкеля. Он заворчал и в отчаянии запрокинул голову — с белым хохолком... Женщина высвободила другую грудь и дала ее мальчику. Он посмотрел на сосок мутными глазенками, что-то сверкнуло в них. Киргизка смотрела на Карл-Янкеля сверху, скосив черный глаз.

— Зачем военный, — сказала она, поправляя мальчику чепец, — он авиатор у нас будет, он под небом летать будет...

В зале возобновилось заседание.

Бой шел теперь между прокурором и экспертами, давшими уклончивое заключение. Общественный обвинитель, приподнявшись, стучал кулаком по пюпитру. Мне видны были и первые ряды публики — галицийские цадики, положившие на колени бобровые свои шапки. Они приехали на процесс, где, по словам варшавских газет, собирались судить еврейскую религию. Лица раввинов, сидевших в первом ряду, повисли в бурном пыльном сиянии солнца.

— Долой! — крикнул комсомолец, пробравшись к самой сцене.

Бой разгорался жарче.

Карл-Янкель, бессмысленно уставившись на меня, сосал грудь киргизки.

Из окна летели прямые улицы, исхоженные детством моим и юностью, — Пушкинская тянулась к вокзалу, Мало-Арнаутская вдавалась в парк у моря.

Я вырос на этих улицах, теперь наступил черед Карл-Янкеля, но за меня не дрались так, как дерутся за него, мало кому было дела до меня.

— Не может быть, — шептал я себе, — чтобы ты не был счастлив, Карл-Янкель... Не может быть, чтобы ты не был счастливее меня...

ГЮИ ДЕ МОПАССАН

Зимой шестнадцатого года я очутился в Петербурге с фальшивым паспортом и без гроша денег. Приютил меня учитель русской словесности — Алексей Казанцев.

Он жил на Песках, в промерзшей, желтой, зловонной улице. Приработком к скудному его жалованию были переводы с испанского; в ту пору входил в славу Бласко Ибаньес.

Казанцев и проездом не бывал в Испании, но любовь к этой стране заполняла его существо — он знал в Испании все замки, сады и реки. Кроме меня, к Казанцеву жалось еще множество вышибленных из правильной жизни людей. Мы жили впроголодь. Изредка бульварные листки печатали мелким шрифтом наши заметки о происшествиях.

По утрам я околачивался в моргах и полицейских участках.

Счастливее нас был все же Казанцев. У него была родина — Испания.

В ноябре мне представилась должность конторщика на Обуховском заводе, недурная служба, освобождавшая от воинской повинности.

Я отказался стать конторщиком.

Уже в ту пору — двадцати лет от роду — я сказал себе: лучше голодовка, тюрьма, скитания, чем сидение за конторкой часов по десяти в день. Особой удали в этом обете нет, но я не нарушал его и не нарушу. Мудрость дедов сидела в моей голове: мы рождены для наслаждения трудом, дракой, любовью, мы рождены для этого и ни для чего другого.

Слушая мои рацеи, Казанцев ерошил желтый короткий пух на своей голове. Ужас в его взгляде перемешивался с восхищением.

На рождестве к нам привалило счастье. Присяжный поверенный Бендерский, владелец издательства «Альциона», задумал выпустить в свет новое издание сочинений Мопассана. За перевод взялась жена присяжного поверенного — Раиса. Из барской затеи ничего не вышло.

У Казанцева, переводившего с испанского, спросили, не знает ли он человека в помощь Раисе Михайловне. Казанцев указал на меня.

На следующий день, облачившись в чужой пиджак, я отправился к Бендерским. Они жили на углу Невского и Мойки, в доме, выстроенном из финляндского гранита и обложенном розовыми колонками, бойницами, каменными гербами. Банкиры без роду и племени, выкресты, разжившиеся на поставках, настроили в Петербурге перед войной множество пошлых, фальшиво величавых этих замков.

По лестнице пролегал красный ковер. На площадках, поднявшись на дыбы, стояли плюшевые медведи.

В их разверстых пастях горели хрустальные колпаки.

Бендерские жили в третьем этаже. Дверь открыла горничная в наколке, с высокой грудью. Она ввела меня в гостиную, отделанную в древнеславянском стиле. На стенах висели синие картины Рериха — доисторические камни и чудовища. По углам — на поставцах — расставлены были иконы древнего письма. Горничная с высокой грудью торжественно двигалась по комнате. Она была стройна, близорука, надменна. В серых раскрытых ее глазах окаменело распутство. Девушка двигалась медленно. Я подумал, что в любви она, должно быть, ворочается с неистовым проворством. Парчовый полог, висевший над дверью, заколебался. В гостиную, неся большую грудь, вошла черноволосая женщина с розовыми глазами. Не нужно было много времени, чтобы узнать в Бендерской упоительную эту породу евреек, пришедших к нам из Киева и Полтавы, из степных, сытых городов, обсаженных каштанами и акациями. Деньги оборотистых своих мужей эти женщины переливают в розовый жирок на животе, на затылке, на круглых плечах. Сонливая, нежная их усмешка сводит с ума гарнизонных офицеров.

— Мопассан — единственная страсть моей жизни, — сказала мне Раиса.

Стараясь удержать качание больших бедер, она вышла из комнаты и вернулась с переводом «Мисс Гарриэт». В переводе ее не осталось и следа от фразы Мопассана, свободной, текучей, с длинным дыханием страсти. Бендерская писала утомительно правильно, безжизненно и развязно — так, как писали раньше евреи на русском языке.

Я унес рукопись к себе и дома в мансарде Казанцева — среди спящих — всю ночь прорубал просеки в чужом переводе. Работа эта не так дурна, как кажется. Фраза рождается на свет хорошей и дурной в одно и то же время. Тайна заключается в повороте, едва ощутимом. Рычаг должен лежать в руке и обогреваться. Повернуть его надо один раз, а не два.

Наутро я снес выправленную рукопись. Раиса не лгала, когда говорила о своей страсти к Мопассану. Она сидела недвижимо во время чтения, сцепив руки; атласные эти руки текли к земле, лоб ее бледнел, кружевце между отдавленными грудями отклонялось и трепетало.

— Как вы это сделали?

Тогда я заговорил о стиле, об армии слов, об армии, в которой движутся все роды оружия. Никакое железо не может войти в человеческое сердце так леденяще, как точка, поставленная вовремя. Она слушала, склонив голову, приоткрыв крашеные губы. Черный луч сиял в лакированных ее волосах, гладко прижатых и разделенных пробором. Облитые чулком ноги с сильными и нежными икрами расставились по ковру.

Горничная, уводя в сторону окаменевшие распутные глаза, внесла на подносе завтрак.

Стеклянное петербургское солнце ложилось на блеклый неровный ковер. Двадцать девять книг Мопассана стояли над столом на полочке. Солнце тающими пальцами трогало сафьяновые корешки книг — прекрасную могилу человеческого сердца.

Нам подали кофе в синих чашечках, и мы стали переводить «Идиллию». Все помнят рассказ о том, как голодный юноша-плотник отсосал у толстой кормилицы молоко, тяготившее ее. Это случилось в поезде, шедшем из Ниццы в Марсель, в знойный полдень, в стране роз, на родине роз, там, где плантации цветов спускаются к берегу моря...

Я ушел от Бендерских с двадцатью пятью рублями аванса. Наша коммуна на Песках была пьяна в этот вечер, как стадо упившихся гусей. Мы черпали ложкой зернистую икру и заедали ее ливерной колбасой. Захмелев, я стал бранить Толстого.

— Он испугался, ваш граф, он струсил... Его религия — страх... Испугавшись холода, старости, граф сшил себе фуфайку из веры...

— И дальше? — качая птичьей головой, спрашивал меня Казанцев.

Мы заснули рядом с собственными постелями. Мне приснилась Катя, сорокалетняя прачка, жившая под нами. По утрам мы брали у нее кипяток. Я и лица ее толком не успел разглядеть, но во сне мы с Катей бог знает что делали. Мы измучили друг друга поцелуями. Я не удержался от того, чтобы зайти к ней на следующее утро за кипятком.

Меня встретила увядшая, перекрещенная шалью женщина, с распустившимися пепельно-седыми завитками и отсыревшими руками.

С этих пор я всякое утро завтракал у Бендерских. В нашей мансарде завелась новая печка, селедка, шоколад. Два раза Раиса возила меня на острова. Я не утерпел и рассказал ей о моем детстве. Рассказ вышел мрачным, к собственному моему удивлению. Из-под кротовой шапочки на меня смотрели блестящие испуганные глаза. Рыжий мех ресниц жалобно вздрагивал.

Я познакомился с мужем Раисы — желтолицым евреем с голой головой и плоским сильным телом, косо устремившимся к полету. Ходили слухи о его близости к Распутину. Барыши, получаемые им на военных поставках, придали ему вид одержимого. Глаза его блуждали, ткань действительности порвалась для него. Раиса смущалась, знакомя новых людей со своим мужем. По молодости лет я заметил это на неделю позже, чем следовало.

После Нового года к Раисе приехали из Киева две ее сестры. Я принес как-то рукопись «Признания» и, не застав Раисы, вернулся вечером. В столовой обедали. Оттуда доносилось серебристое кобылье ржанье и гул мужских голосов, неумеренно ликующих. В богатых домах, не имеющих традиций, обедают шумно. Шум был еврей-

ский — с перекатами и певучими окончаниями. Раиса вышла ко мне в бальном платье с голой спиной. Ноги в колеблющихся лаковых туфельках ступали неловко.

— Я пьяна, голубчик. — И она протянула мне руки, унизанные цепями платины и звездами изумрудов.

Тело ее качалось, как тело змеи, встающей под музыку к потолку. Она мотала завитой головой, бренча перстнями, и упала вдруг в кресло с древнерусской резьбой. На пудреной ее спине тлели рубцы.

За стеной еще раз взорвался женский смех. Из столовой вышли сестры с усиками, такие же полногрудые и рослые, как Раиса. Груди их были выставлены вперед, черные волосы развевались. Обе были замужем за своими собственными Бендерскими. Комната наполнилась бессвязным женским весельем, весельем зрелых женщин. Мужья закутали сестер в котиковые манто, в оренбургские платки, заковали их в черные ботики; под снежным забралом платков остались только нарумяненные пылающие щеки, мраморные носы и глаза с семитическим близоруким блеском. Пошумев, они уехали в театр, где давали «Юдифь» с Шаляпиным.

— Я хочу работать, — пролепетала Раиса, протягивая голые руки, — мы упустили целую неделю...

Она принесла из столовой бутылку и два бокала. Грудь ее свободно лежала в шелковом мешке платья; соски выпрямились, шелк накрыл их.

— Заветная, — сказала Раиса, разливая вино, — мускат восемьдесят третьего года. Муж убьет меня, когда узнает...

Я никогда не имел дела с мускатом восемьдесят третьего года и не задумался выпить три бокала один за другим. Они тотчас же увели меня в переулки, где веяло оранжевое пламя и слышалась музыка.

— Я пьяна, голубчик... Что у нас сегодня?

— Сегодня у нас «L'aveu»...

— Итак, «Признание». Солнце — герой этого рассказа, le soleil de France... [1] Расплавленные капли солнца, упав на рыжую Селесту, превратились в веснушки. Солнце от-

[1] Солнце Франции... *(франц.)*

полировало отвесными своими лучами, вином и яблочным сидром рожу кучера Полита. Два раза в неделю Селеста возила в город на продажу сливки, яйца и куриц. Она платила Политу за проезд десять су за себя и четыре су за корзину. И в каждую поездку Полит, подмигивая, справляется у рыжей Селесты: «Когда же мы позабавимся, ma belle?» [1] — «Что это значит, мсье Полит?» Подпрыгивая на козлах, кучер объяснил: «Позабавиться — это значит позабавиться, черт меня побери... Парень с девкой — музыки не надо...» — «Я не люблю таких шуток, мсье Полит», — ответила Селеста и отодвинула от парня свои юбки, нависшие над могучими икрами в красных чулках.

Но этот дьявол Полит все хохотал, все кашлял, — когда-нибудь мы позабавимся, ma belle, — и веселые слезы катились по его лицу цвета кирпичной крови и вина.

Я выпил еще бокал заветного муската. Раиса чокнулась со мной.

Горничная с окаменевшими глазами прошла по комнате и исчезла.

Ce diable de Polyte... [2] За два года Селеста переплатила ему сорок восемь франков. Это пятьдесят франков без двух. В конце второго года, когда они были одни в дилижансе и Полит, хвативший сидра перед отъездом, спросил по своему обыкновению: «А не позабавиться ли нам сегодня, мамзель Селеста?» — она ответила, потупив глаза: «Я к вашим услугам, мсье Полит...»

Раиса с хохотом упала на стол. Ce diable de Polyte...

Дилижанс был запряжен белой клячей. Белая кляча с розовыми от старости губами пошла шагом. Веселое солнце Франции окружило рыдван, закрытый от мира порыжевшим козырьком. Парень с девкой, музыки им не надо...

Раиса протянула мне бокал. Это был пятый.

— Mon vieux [3], за Мопассана...

— А не позабавиться ли нам сегодня, ma belle...

Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.

---

[1] Красавица (*франц.*).

[2] Этот пройдоха Полит... (*франц.*)

[3] Старина (*франц.*).

— Вы забавный, — сквозь зубы пробормотала Раиса и отшатнулась.

Она прижалась к стене, распластав обнаженные руки. На руках и на плечах у нее зажглись пятна. Изо всех богов, распятых на кресте, это был самый обольстительный.

— Потрудитесь сесть, мсье Полит...

Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь.

Ночь подложила под голодную мою юность бутылку муската восемьдесят третьего года и двадцать девять книг, двадцать девять петард, начиненных жалостью, гением, страстью... Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. Двадцать девять томов обрушились на ковер, страницы их разлетелись, они стали боком... и белая кляча моей судьбы пошла шагом.

— Вы забавный, — прорычала Раиса.

Я ушел из гранитного дома на Мойке в двенадцатом часу, до того, как сестры и муж вернулись из театра. Я был трезв и мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься, и я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним.

Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над «Дон-Кихотом» издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева, придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Мениаль — «О жизни и творчестве Гюи де Мопассана».

Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась.

И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Мениаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. Двадцати пяти лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные

в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним. Зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку — и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на сороковом году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках... Последняя надпись в его скорбном листе гласит:

«Monsieur de Maupassant va s'animaliser» («Господин Мопассан превратился в животное»). Он умер сорока двух лет. Мать пережила его.

Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.

НЕФТЬ

«...Новостей много, как всегда... Шабсовичу дали премию за крекинг, ходит весь в «заграничном», начальство получило повышение. Узнав о назначении, все прозрели: парень вырос... По сему случаю встречаться с ним я перестала. «Выросши», парень почувствовал что знает истину, которая от нас, обыкновенных смертных, скрыта, и напустил на себя такую стопроцентность и ортодоксальность (ортобокс, как говорит Харченко), что никуда не сдвинешь... Увиделись мы дня два тому назад, он спросил, почему я не поздравляю. Я ответила: кого поздравлять — его или Советскую власть?.. Он понял, вильнул, сказал: «Звоните...» Об этом немедленно пронюхала супруга. Вчера — звонок: «Клавдюша, мы теперь прикреплены к ГОРТ, если тебе нужно что из белья...» Я ответила, что надеюсь дожить до мировой революции со своей собственной книжкой...

Теперь — о себе. Да будет тебе известно — я управделами Нефтесиндиката. Намечалось давно, я отказывалась. Мои доводы — неспособность к канцелярской работе и затем желание поступить в Промакадемию... Вопрос четыре раза стоял на бюро, пришлось согласиться, теперь не раскаиваюсь... Отсюда ясная картина предприятия, кое-что удалось сделать, организовала экспедицию на нашу часть Сахалина, усилила разведку, много занимаюсь Нефтяным институтом. Зинаида при мне. Она здорова, скоро родит, перипетий было много... О беременности Зинаида сказала своему Максу Александровичу (я зову его Макс и Мориц) поздно, пошел четвертый

месяц. Он изобразил восторг, запечатлел на Зинаидином лбу ледяной поцелуй и потом дал понять, что ему предстоит великое научное открытие, мысли его далеки от действительной жизни, нельзя себе вообразить что-нибудь более неприспособленное к семейной жизни, чем он, Макс Александрович Шоломович, но, конечно, он не задумается от всего отказаться и прочее, и прочее, прочее... Зинаида, будучи женщиной двадцатого столетия, заплакала, но характер выдержала... Ночью она не спала, задыхалась, вытягивала шею. Чуть свет, непричесанная, страшная, в старой юбке помчалась в Гипромез, наговорила ему, что она просит забыть вчерашнее, ребенка она уничтожит, но никогда этого людям не простит... Все это происходит в коридоре Гипромеза, в толкучке. Макс и Мориц краснеет, бледнеет, бормочет:

— Надо созвониться, встретиться...

Зинаида не дослушала, полетела ко мне и объявила:

— Завтра на работу не выйду!

Меня взорвало, сдерживаться не сочла нужным и левиты прочитала ей по-настоящему... Подумать только — девке четвертый десяток, красотой не блещет, хороший мужик на нее не высморкается, подвернулся этот Макс и Мориц (и то не на нее, а на чужую расу, на предков-аристократов полез), запопала от него штучку, держи, расти... Метисы от евреев очень хороши получаются, мы знаем, — погляди, какой экземпляр у Ани, — да и когда рожать, если не теперь, когда мускулы живота еще действуют, когда можно еще плод этот выкормить?! На все один ответ: «Я не могу, чтобы у моего ребенка не было отца», то есть девятнадцатое столетие продолжается, папаша-генерал выйдет из кабинета с иконой и проклянет (или без иконы — не знаю, как там проклинали), девки стащут младенца в воспитательный или на деревню к кормилке...

— Вздор, Зинаида, — говорю я ей, — другие времена, другие песни, обойдемся без Макса и Морица...

Не успела я договорить, позвали на собрание. К тому времени остро стал вопрос о Викторе Андреевиче. Тут подоспело решение ЦК о том, чтобы в отмену прежнего варианта пятилетки довести в 1932 году добычу нефти до 40 миллионов тонн. Разработать материалы поручили плановикам, то есть Виктору Андреевичу. Он заперся у себя, потом вызывает меня и показывает письмо. Адре-

совано президиуму ВСНХ. Содержание: слагаю с себя ответственность за плановый отдел. Цифру в сорок миллионов тонн считаю произвольной. Больше трети предположено взять с неразведанных областей, что означает делить шкуру медведя, не только не убитого, но еще не выслеженного... Далее, с трех крекинг-установок, действующих сегодня, мы перескакиваем, согласно новому плану, к ста двадцати в последнем году пятилетки. Это при дефиците металла и при том, что сложнейшее производство крекингов у нас не освоено... Кончалось письмо так: подобно всем смертным я предпочитаю стоять за высокие темпы, но сознание долга... и прочее и прочее. Прочитала. Он спрашивает:

— Посылать или нет?

Я говорю:

— Виктор Андреевич, доводы ваши и вся установка для меня неприемлемы, но я не считаю себя вправе советовать скрывать свои взгляды...

Письмо он отослал. ВСНХ — на дыбы. Назначили собрание. От ВСНХ приехал Багриновский. На стене укрепили карту Союза с новыми месторождениями, с трубчатками, нефте- и продуктопроводами; как сказал Багриновский:

— Страна с новым кровообращением...

На собрании молодые инженеры из типа «всеядных» требовали поставить Виктора Андреевича на колени. Я выступила, говорила сорок пять минут. «Не сомневаясь в знаниях и доброй воле профессора Клоссовского и даже преклоняясь перед ним, мы отвергаем фетишизм цифр, в плену которых он находится», — вот мысль, которую я защищала.

— Отвергнем таблицу умножения как правило государственной мудрости... На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы выполним нефтяную пятилетку по части добычи в два с половиной года?.. На основании голых цифр можно ли было сказать, что мы с тысяча девятьсот тридцать первого года увеличим экспорт в девять раз и выйдем на второе место после Соединенных Штатов?

После меня выступил Мурадьян с критикой направления нефтепровода Каспий — Москва. Виктор Андреевич молча делал заметки. На щеках его выступил старческий румянец, румянец венозной крови... Мне было жалко, я

не дослушала, ушла к себе. Зинаида все сидит в кабинете, сцепив руки.

— Будешь рожать, — спрашиваю, — или нет?

Она смотрит и не видит, голова пошатывается, говорит, и в словах нет звука.

— Нас двое, Клавдюша, — говорит она мне, — я и мое горе, точно горб приклеили... И как скоро все забывается, вот уж и не помню, как живут люди без несчастья...

Говорит она это, нос вытянулся еще больше, покраснел, мужицкие скулы (у дворян бывают такие скулы) выперли... Макс и Мориц, думаю, не больно бы воспламенился, увидев тебя такую... Я раскричалась, прогнала ее на кухню картошку чистить... Не смейся, приедешь — и тебя заставим. На проектировку Орского завода дали такие сроки, что конструкторская и чертежники сидят день и ночь, на обед Васена начистит им картошки с селедкой, изжарит яичницу — и снова трубят... Ушла она на кухню. Через минуту слышу крик. Прибегаю — Зинаида моя на полу, пульса нет, глаза закатились... Измучились мы с ней нельзя сказать как: Виктор Андреевич, Васена и я. Вызвали доктора. Сознание вернулось к ней ночью, она потрогала мою руку, — ты знаешь Зину, необыкновенную ее нежность... Я вижу: все перегорело в ней за эти часы и все родилось вновь... Времени упускать было нельзя.

— Зинуша, — говорю я, — мы позвоним Розе Михайловне (она у нас по-прежнему по этим делам придворная), что ты раздумала, что ты не придешь... Можно мне звонить?

Она сделала знак, что можно, иди. На диване возле нее сидел Виктор Андреевич, все пульс щупал. Я отошла, слушаю — он говорит:

— Мне шестьдесят пять лет, Зинуша, тень от меня на землю все слабее ложится. Я ученый, старый человек, и вот бог (все — бог!) так сделал, что последние пять лет моей жизни совпадают с этой, — ну, вы знаете с чем — с пятилеткой... Теперь мне уж до самой смерти не передохнуть, не подумать о себе... И если бы по вечерам не приходила моя дочь и не хлопала меня по плечу, если бы сыновья не писали мне писем, я был бы так грустен, что и сказать нельзя... Родите, Зинуша, мы с Клавдией Павловной возьмем шефство.

Старик бормочет, я звоню Розе Михайловне, что вот, мол, душечка Роза Михайловна, Мурашова обещалась прийти завтра, так вот она раздумала... В телефон молодцеватый голос:

— Блестяще, что раздумала, совершенно чудно...

Придворная наша — все та же; розовая шелковая кофточка, английская юбка, завита, душ, гимнастика, хахали...

Перевезли Зинаиду домой, я уложила ее потеплее, заварила чаю. Спали мы вместе, — тут и поплакали, вспомнили, что не надо было, все обговорили, так, перемешав слезы, и заснули... Мой «черт» сидел тихонько, работал, переводил с немецкого техническую книгу. Ты бы, Даша, «черта» не узнала — он присмирел, съежился, притих. Меня это мучает... Целый день гнет спину в Госплане, вечером — переводы.

— Зинаида родит, — я ему говорю. — Как назвать мальчика? (О девочке никто не помышляет). — Решили — Иваном, — Юрии и Леониды надоели... Будет он парень, наверное, сволочеватый, с острыми зубами, зубов — на шестьдесят человек. Горючего мы ему наготовили, будет катать барышень куда-нибудь в Ялту, в Батум, — не то что нас — на Воробьевы горы... До свидания, Даша. «Черт» напишет отдельно. Как твои дела?

Клавдия.

P. S. Строчу у себя на службе, над головой грохот, с потолка валится штукатурка. Дом наш, оказывается, еще крепок, к прежним четырем этажам мы пристраиваем еще четыре. Москва вся разрыта, в окопах, завалена трубами, кирпичами, трамвайные линии перепутаны, ворочают хоботом привезенные из-за границы машины, трамбуют, грохочут, пахнет смолой, дым идет, как над пожарищем... Вчера на Варварской площади видела одного парня... Рожа широкая, красная бритая голова блестит, косоворотка без пояса, на босу ногу сандалии. Прыгали мы с ним с кочки на кочку, с горы на гору, вылезали, снова проваливались...

— Вот она, когда сражения пошла, — он мне говорит. — Теперь, барышня, в Москве самый фронт, самая война...

Рожа добрая, улыбается, как ребенок. Так его и вижу перед собой...»

УЛИЦА ДАНТЕ

От пяти до семи гостиница наша «Hôtel Danton» [1] поднималась в воздух от стонов любви. В номерах орудовали мастера. Приехав во Францию с убеждением, что народ ее обессилел, я немало удивился этим трудам. У нас женщину не доводят до такого накала, далеко нет. Мой сосед Жан Бьеналь сказал мне однажды:

— Mon vieux, за тысячу лет нашей истории мы сделали женщину, обед и книгу... В этом никто нам не откажет...

В деле познания Франции Жан Бьеналь, торговец подержанными автомобилями, сделал для меня больше, чем книги, которые я прочитал, и города, которые я видел. Он спросил при первом знакомстве о моем ресторане, о моем кафе, о публичном доме, где я бываю. Ответ ужаснул его.

— On va refaire votre vie... [2]

И мы ее переделали. Обедать мы стали в харчевне скотопромышленников и торговцев вином — против Halles aux vins [3].

Деревенские девки в шлепанцах подавали нам омаров в красном соусе, жаркое из зайца, начиненного чесноком и трюфелями, и вино, которого нельзя было достать в другом месте. Заказывал Бьеналь, платил я, но платил столько, сколько платят французы. Это не было дешево, но это была настоящая цена. И эту же цену я платил в публичном доме, содержимом несколькими сенаторами

[1] Отель Дантон (*франц.*).

[2] Нужно переделать вашу жизнь... (*франц.*)

[3] Винный рынок (*франц.*).

возле Gare St. Lazare[1]. Бьеналю стоило большего труда представить меня обитательницам этого дома, чем если бы я захотел присутствовать на заседании палаты, когда свергают министерство. Вечер мы кончали у Porte Maillot в кафе, где собираются устроители матчей бокса и автомобильные гонщики. Учитель мой принадлежал к той половине нации, которая торгует автомобилями; другая их обменивает. Он был агентом Рено и торговал больше всего с румынскими дельцами, самыми грязными из дельцов. В свободное время Бьеналь обучал меня искусству купить подержанный автомобиль. Для этого, по его словам, нужно было отправиться на Ривьеру к концу сезона, когда разъезжаются англичане и бросают в гаражах машины, послужившие два или три месяца. Сам Бьеналь разъезжал на облупившемся «рено», которым он управлял, как самоед управляет собаками. По воскресеньям мы отправлялись на прыгающем этом возке за сто двадцать километров в Руан есть утку, которую там жарят в собственной ее крови. Нас сопровождала Жермен, продавщица перчаток в магазине на Rue Royale[2]. Их дни с Бьеналем были среда и воскресенье. Она приходила в пять часов. Через мгновенье в их комнате раздавались ворчание, стук падающих тел, возглас испуга, и потом начиналась нежная агония женщины:

— Oh, Jean...[3]

Я высчитывал про себя: ну, вот вошла Жермен, она закрыла за собой дверь, они поцеловали друг друга, девушка сняла с себя шляпу, перчатки и положила их на стол, и больше, по моему расчету, времени у них не оставалось. Его не оставалось на то, чтобы раздеться. Не произнеси ни одного слова, они прыгали в своих простынях, как зайцы. Постонав, они помирали со смеху и лепетали о своих делах. Я знал об этом все, что может знать сосед, живущий за дощатой перегородкой. У Жермен были несогласия с мосье Анриш, заведующим магазином. Родители ее жили в Туре, она ездила к ним в гости. В одну из суббот она купила себе меховую горжетку, в другую субботу слушала «Богему» в Гранд-Опера. Мосье Анриш заставлял своих продавщиц носить

---

[1] Вокзал Сент-Лазар (*франц.*).
[2] Королевская улица (*франц.*).
[3] О, Жан... (*франц.*)

гладкие костюмы tailleur[1]. Мосье Анриш энглезировал Жермен, она стала в ряды деловых женщин, плоскогрудых, подвижных, завитых, подкрашенных пылающей коричневой краской, но полная щиколотка ее ноги, низкий и быстрый смех, взгляд внимательных и блестящих глаз и этот стон агонии — oh, Jean! — все оставлено было для Бьеналя.

В дыму и золоте парижского вечера двигалось перед нами сильное и тонкое тело Жермен; смеясь, она откидывала голову и прижимала к груди розовые ловкие пальцы. Сердце мое согревалось в эти часы. Нет одиночества безвыходнее, чем одиночество в Париже.

Для всех пришедших издалека этот город есть род изгнания, и мне приходило на ум, что Жермен нужна нам больше, чем Бьеналю. С этой мыслью я уехал в Марсель.

Прожив месяц в Марселе, я вернулся в Париж. Я ждал среды, чтобы услышать голос Жермен.

Среда прошла, никто не нарушил молчания за стеной. Бьеналь переменил свой день. Голос женщины раздался в четверг, в пять часов, как всегда. Бьеналь дал своей гостье время на то, чтобы снять шляпу и перчатки. Жермен переменила день, но она переменила и голос. Это не было больше прерывистое, умоляющее oh, Jean... и потом молчание, грозное молчание чужого счастья. Оно заменилось на этот раз домашней хриплой возней, гортанными выкриками. Новая Жермен скрипела зубами, с размаху валилась на диван и в промежутках рассуждала густым протяжным голосом. Она ничего не сказала о мосье Анриш, а прорычав до семи часов, собралась уходить. Я приоткрыл дверь, чтобы встретить ее, и увидел идущую по коридору мулатку с поднятым гребешком лошадиных волос, с выставленной вперед большой, отвислой грудью. Мулатка, шаркая ногами в разносившихся туфлях без каблуков, прошла по коридору. Я постучал к Бьеналю. Он валялся на кровати без пиджака, измятый, посеревший, в застиранных носках.

— Mon vieux, вы дали отставку Жермен?..

— Cette femme est folle[2], — ответил он и стал ежиться, — то, что на свете бывает зима и лето, начало и конец, то, что после зимы наступает лето и наоборот, —

---

[1] Английский дамский костюм (*франц.*).
[2] Эта женщина сумасшедшая (*франц.*).

все это не касается мадемуазель Жермен, все это песни не для нее... Она навьючивает вас ношей и требует, чтобы вы ее несли... куда? Никто этого не знает, кроме мадемуазель Жермен...

Бьеналь сел на кровати, штаны обмялись вокруг жидких его ног, бледная кожа головы просвечивала сквозь слипшиеся волосы, треугольник усов вздрагивал. Макон по четыре франка за литр поправил моего друга. За десертом он пожал плечами и сказал, отвечая своим мыслям:

— ...Кроме вечной любви, на свете есть еще румыны, векселя, банкроты, автомобили с лопнувшими рамами. Oh, j'en ai plein le dos... [1]

Он повеселел в кафе «Де Пари» за рюмкой коньяку. Мы сидели на террасе под белым тентом. Широкие полосы были положены на нем. Перемешавшись с электрическими звездами, по тротуару текла толпа. Против нас остановился автомобиль, вытянутый, как мина. Из него вышел англичанин и женщина в собольей накидке. Она проплыла мимо нас в нагретом облаке духов и меха, нечеловечески длинная, с маленькой фарфоровой светящейся головой. Бьеналь подался вперед, увидев ее, выставил ногу в трепаной штанине и подмигнул, как подмигивают девицам с Rue de la Gaîte [2]. Женщина улыбнулась углом карминного рта, наклонила едва заметно обтянутую розовую голову и, колебля и волоча змеиное тело, исчезла. За ней, потрескивая, прошел негнущийся англичанин.

— Ah, canaille! [3] — сказал им вслед Бьеналь. — Два года назад с нее довольно было аперитива...

Мы расстались с ним поздно. В субботу я назначил себе пойти к Жермен, позвать ее в театр, поехать с ней в Шартр, если она захочет, но мне пришлось увидеть их — Бьеналя и бывшую его подругу — раньше этого срока. На следующий день вечером полицейские заняли входы в отель «Дантон», синие их плащи распахнулись в нашем вестибюле. Меня пропустили, удостоверившись, что я принадлежу к числу жильцов мадам Трюффо, нашей хозяйки. Я нашел жандармов у порога моей комнаты. Дверь

---

[1] О, у меня достаточно хлопот... (*франц.*)
[2] Улица Веселья (*франц.*).
[3] А, каналья! (*франц.*)

из номера Бьеналя была растворена. Он лежал на полу в луже крови, с помутившимися и полузакрытыми глазами. Печать уличной смерти застывала на нем. Он был зарезан, мой друг Бьеналь, и хорошо зарезан. Жермен в костюме tailleur и шапочке, сдавленной по бокам, сидела у стола. Здороваясь со мной, она склонила голову, и с нею вместе склонилось перо на шапочке...

Все это случилось в шесть часов вечера, в час любви; в каждой комнате была женщина. Прежде чем уйти — полуодетые, в чулках до бедер, как пажи, — они торопливо накладывали на себя румяна и черной краской обводили рты. Двери были раскрыты, мужчины в незашнурованных башмаках выстроились в коридоре. В номере у морщинистого итальянца, велосипедиста, плакала на подушке босая девочка. Я спустился вниз, чтобы предупредить мадам Трюффо. Мать этой девочки продавала газеты на улице Сен-Мишель. В конторке собрались уже старухи с нашей улицы, с улицы Данте: зеленщицы и консьержки, торговки каштанами и жареным картофелем, груды зобастого, перекошенного мяса, усатые, тяжело дышавшие, в бельмах и багровых пятнах.

— Voila qui n'est pas gai, — сказал я, входя, — quel malheur! [1]

— C'est l'amour, monsieur... Elle l'aimait... [2]

Под кружевцем вываливались лиловые груди мадам Трюффо, слоновые ноги расставились посреди комнаты, глаза ее сверкали.

— L'amore, — как это сказала за ней синьора Рокка, содержательница ресторана на улице Данте. — Dio cartiga quelli, chi non conoseono l'amore... [3]

Старухи сбились вместе и бормотали все разом. Осенный пламень зажег их щеки, глаза вышли из орбит.

— L'amour, — наступая на меня, повторила мадам Трюффо, — c'est une grosse affaire, l'amour... [4]

На улице заиграл рожок. Умелые руки поволокли убитого вниз, к больничной карете. Он стал номером, мой друг Бьеналь, и потерял имя в прибое Парижа. Синьора Рокка подошла к окну и увидела труп. Она была бере-

---

[1] Вот кому невесело. Какой ужас! (*франц.*)

[2] Это любовь, сударь... Она любила его... (*франц.*)

[3] Любовь. Бог наказывает тех, кто не знает любви... (*итал.*)

[4] Любовь... это великое дело, любовь... (*франц.*)

менша, живот грозно выходил из нее, на оттопыренных боках лежал шелк, солнце прошло по желтому, запухшему ее лицу, по желтым мягким волосам.

— Dio, — произнесла синьора Рокка, — tu non perdoni quelli, chi non ama...[1]

На истертую сеть Латинского квартала падала тьма, в уступах его разбегалась низкорослая толпа, горячее чесночное дыхание шло из дворов. Сумерки накрыли дом мадам Трюффо, готический фасад его с двумя окнами, остатки башенок и завитков, окаменевший плющ.

Здесь жил Дантон полтора столетия тому назад. Из своего окна он видел замок Консьержери, мосты, легко переброшенные через Сену, строй слепых домишек, прижатых к реке, то же дыхание восходило к нему. Толкаемые ветром, скрипели ржавые стропила и вывески заезжих дворов.

---

[1] Господи, ты не прощаешь тем, кто не любит... *(итал.)*

ФРОИМ ГРАЧ

В девятнадцатом году люди Бени Крика напали на арьергард добровольческих войск, вырезали офицеров и отбили часть обоза. В награду они потребовали у Одесского Совета три дня «мирного восстания», но разрешения не получили и вывезли поэтому мануфактуру из всех лавок, расположенных на Александровском проспекте. Деятельность их перенеслась потом на Общество взаимного кредита. Пропуская вперед клиентов, они входили в банк и обращались к артельщикам с просьбой положить в автомобиль, ждавший на улице, тюки с деньгами и ценностями. Прошел месяц, прежде чем их стали расстреливать. Тогда нашлись люди, сказавшие, что к делам поимки и арестов имеет отношение Арон Пескин, владелец мастерской. В чем состояла работа этой мастерской — установлено не было. На квартире Пескина стоял станок — длинная машина с покоробленным свинцовым валом; на полу валялись опилки и картон для переплетов.

Однажды в весеннее утро приятель Пескина Миша Яблочко постучался к нему в мастерскую.

— Арон, — сказал гость Пескину, — на улице дивная погода. В моем лице ты имеешь типа, который способен захватить с собой полбутылки с любительской закуской и поехать кататься по воздуху в Аркадию... Ты можешь смеяться над таким субъектом, но я любитель сбросить иногда все эти мысли с головы...

Пескин оделся и поехал с Мишей Яблочко на штейгере в Аркадию. Они катались до вечера; в сумерках

Миша Яблочко вошел в комнату, где мадам Пескина мыла в корыте четырнадцатилетнюю свою дочь.

— Приветствую, — сказал Миша, снимая шляпу, — мы бесподобно провели время. Воздух — это что-то небывалое, но только надо наесться горохом, прежде чем говорить с вашим мужем... Он имеет надоедливый характер.

— Вы нашли кому рассказывать, — произнесла мадам Пескина, хватая дочь за волосы и мотая ее во все стороны. — Где он, этот авантюрист?

— Он отдыхает в палисаднике.

Миша снова приподнял шляпу, простился и уехал на штейгере. Мадам Пескина, не дождавшись мужа, пошла за ним в палисадник. Он сидел в шляпе панама, облокотившись о садовый стол, и скалил зубы.

— Авантюрист, — сказала ему мадам Пескина, — ты еще смеешься... У меня делается припадок от твоей дочери, она не хочет мыть голову... Пойди, имей беседу с твоей дочерью...

Пескин молчал и все скалил зубы.

— Бонабак, — начала мадам Пескина, заглянула мужу под шляпу панама и закричала.

Соседи сбежались на ее крик.

— Он не живой, — сказала им мадам Пескина. — Он мертвый.

Это была ошибка. Пескину в двух местах прострелили грудь и проломили череп, но он жил еще. Его отвезли в еврейскую больницу. Не кто другой, как доктор Зильберберг, сделал раненому операцию, но Пескину не посчастливилось — он умер под ножом. В ту же ночь Чека арестовала человека по прозвищу Грузин и его друга Колю Лапидуса. Один из них был кучером Миши Яблочко, другой ждал экипаж в Аркадии, на берегу моря у поворота, ведущего в степь. Их расстреляли после допроса, длившегося недолго. Один Миша Яблочко ушел из засады. След его потерялся, и несколько дней прошло прежде, чем на двор к Фроиму Грачу пришла старуха, торговавшая семечками. Она несла на руке корзину со своим товаром. Одна бровь ее мохнатым угольным кустом была поднята кверху, другая, едва намеченная, загибалась над веком. Фроим Грач сидел, расставив ноги, у конюшни и играл со своим внуком Аркадием. Мальчик этот три года назад выпал из могучей утробы дочери его Баськи. Дед

протянул Аркадию палец, тот охватил его, повис и стал качаться на нем, как на перекладине.

— Ты — чепуха... — сказал внуку Фроим, глядя на него единственным глазом.

К ним подошла старуха с мохнатой бровью и в мужских штиблетах, перевязанных бечевкой.

— Фроим, — произнесла старуха, — я говорю тебе, что у этих людей нет человечества. У них нет слова. Они давят нас в погребах, как собак в яме. Они не дают нам говорить перед смертью... Их надо грызть зубами, этих людей, и вытаскивать из них сердце... Ты молчишь, Фроим, — прибавил Миша Яблочко, — ребята ждут, что ты перестанешь молчать...

Миша встал, переложил корзину из одной руки в другую и ушел, подняв черную бровь. Три девочки с заплетенными косицами встретились с ним на Алексеевской площади у церкви. Они прогуливались, взявшись за талии.

— Барышни, — сказал им Миша Яблочко, — я не угощу вас чаем с семитатью...

Он насыпал им в карман платьиц семечек из стакана и исчез, обогнув церковь.

Фроим Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у колониальных войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки паслись с жеребятами на усадьбе. В тени под каштаном кучера играли в карты и прихлебывали вино из черепков. Жаркие порывы ветра налетали на меловые стены, солнце в голубом своем оцепенении лилось над двором. Фроим встал и вышел на улицу. Он пересек Прохоровскую, чадившую в небо нищим тающим дымом своих кухонь, и площадь Толкучего рынка, где люди, завернутые в занавеси и гардины, продавали их друг другу. Он дошел до Екатерининской улицы, свернул у памятника императрице и вошел в здание Чека.

— Я Фроим, — сказал он коменданту, — мне надо до хозяина.

Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового, чтобы расспросить его о посетителе.

— Это грандиозный парень, — ответил Боровой, — тут вся Одесса пройдет перед вами...

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

— Хозяин, — сказал вошедший, — кого ты бьешь?.. Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смитьем?..

Симен сделал движение и приоткрыл ящик стола.

— Я пусто, — сказал тогда Фроим, — в руках у меня ничего нет, и в чеботах у меня ничего нет, и за воротами на улице я никого не оставил... Отпусти моих ребят, хозяин, скажи твою цену...

Старика усадили в кресло, ему принесли коньяку. Боровой вышел из комнаты и собрал у себя следователей и комиссаров, приехавших из Москвы.

— Я покажу вам одного парня, — сказал он, — это эпопея, второго нет...

И Боровой рассказал о том, что одноглазый Фроим, а не Беня Крик, был истинным главой сорока тысяч одесских воров. Игра его была скрыта, но все совершалось по планам старика — разгром фабрик и казначейства в Одессе, нападения на добровольцев и на союзные войска. Боровой ждал выхода старика, чтоб поговорить с ним. Фроим не появлялся. Соскучившийся следователь отправился на поиски. Он обошел все здание и под конец заглянул на черный двор. Фроим Грач лежал там распростертый под брезентом у стены, увитой плющом. Два красноармейца курили самодельные папиросы над его трупом.

— Чисто медведь, — сказал старший, увидев Борового, — это сила непомерная... Такого старика не убить, ему б износу не было... В нем десять зарядов сидит, а он все лезет...

Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок.

— Мелешь больше пуду, — прервал его другой конвоир, — помер и помер, все одинакие...

— Ан не все, — вскричал старший, — один просится, кричит, другой слова не скажет... Как это так можно, чтобы все одинакие...

— У меня они все одинакие, — упрямо повторил красноармеец помоложе, — все на одно лицо, я их не разбираю...

Боровой наклонился и отвернул брезент. Гримаса движения осталась на лице старика.

Следователь вернулся в свою комнату. Это был циркульный зал, обитый атласом. Там шло собрание о новых правилах делопроизводства. Симен делал доклад о непорядках, которые он застал, о неграмотных приговорах, о бессмысленном ведении протоколов следствия. Он настаивал на том, чтоб следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дела по формам и образцам, утвержденным Главным управлением в Москве.

Боровой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Симен подошел к нему после собрания и взял за руку.

— Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он, — но только мы власть, Саша, мы — государственная власть, это надо помнить...

— Я не сержусь, — ответил Боровой и отвернулся, — вы не одессит, вы не можете этого знать, тут целая история с этим стариком...

Они сели рядом, председатель, которому исполнилось двадцать три года, со своим подчиненным. Симен держал руку Борового в своей руке и пожимал ее.

— Ответь мне как чекист, — сказал он после молчания, — ответь мне как революционер — зачем нужен этот человек в будущем обществе?

— Не знаю, — Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, — наверное, не нужен...

Он сделал усилие и прогнал от себя воспоминания. Потом, оживившись, он снова начал рассказывать чекистам, приехавшим из Москвы, о жизни Фроима Грача, об изворотливости его, неуловимости, о презрении к ближнему, все эти удивительные истории, отошедшие в прошлое...

СУЛАК

В двадцать втором году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Адриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в Галицию, вскоре газеты сообщили о его смерти. Через шесть лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышову и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хощеватое, на родину Сулака. Председателем сельрады оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый.

— Вы тут кувшина молока не расстараетесь, — сказал он нам, — в том Хощеватом людей живьем едят...

Расспрашивая о ночлеге, Чернышов навел разговор на хату Сулака.

— Можно, — сказал председатель, — у цей вдовы и хатына есть...

Он повел нас на край села, в дом, крытый железом. В горнице, перед грудой холста, сидела карлица в белой кофте навыпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженые головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой, белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота.

— Харитина Терентьевна, — неуверенным голосом сказал председатель, — хочу хороших людей к тебе постановить...

Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту.

— Ця вдова не откажет, — сказал председатель, когда мы вышли, — у ней обстановка такая...

Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что Сулак служил когда-то у желто-блакитных, а от них перешел к папе римскому.

— Муж у папы римского, — сказал Чернышов, — а жена в год по ребенку приводит...

— Живое дело, — ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее, — вы на эту вдову не глядите, что она недомерок, у ней молока на пятерых хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются...

Дома председатель зажарил яичницу с салом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач.

— Ганночко, божусь тебе, — бормотал наш хозяин, — божусь тебе, завтра до вчительки пойду...

— Разговорились, — крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной, — людям спать не дашь...

Всклокоченный председатель выглянул из-за печи; ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали книзу.

— Вчителька в школе трусов на развод давала, — сказал он виновато, — трусиху дала, а самого нет... Трусиха побыла, побыла, а тут весна, живое дело, она и подалась в лес. Ганночко, — закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке, — завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем...

Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой, он все вскрикивал «Ганночко», потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышов.

— Пошли, — сказал он.

Мы встали. На чистом, без облачка, небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде Сулака, заросшем бурьяном, торчали голые стебли кукурузы, валялось обломанное железо. К огороду примыкала конюшня, внутри ее слышался шорох, в расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них, запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни, на дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках.

— Здравствуй, Адриян, — сказал Чернышов, — ужинать собрался?..

Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили.

— Адриян, — сказал Чернышов и отскочил, — нам тебя живого надо...

Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул.

— С тобой как с человеком разговаривают, — сказал Чернышов и выстрелил.

Сулак прислонился к желтой оструганной стене, погрогал ее, кровь вылилась у него изо рта и ушей, и он упал.

Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом с Чернышовым по мокрой, тускло блиставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок.

— Молочная, — сказал вдруг Чернышов, шагавший по дороге, — я тебе покажу молоко...

ДИ ГРАССО

Мне было четырнадцать лет. Я принадлежал к неустрашимому корпусу театральных барышников. Мой хозяин был жулик с всегда прищуренным глазом и шелковыми громадными усами. Звали его Коля Шварц. Я угодил к нему в тот несчастный год, когда в Одессе прогорела итальянская опера. Послушавшись рецензентов из газеты, импресарио не выписал на гастроли Ансельми и Тито Руффо и решил ограничиться хорошим ансамблем. Он был наказан за это, он прогорел, а с ним и мы. Для поправки дел нам пообещали Шаляпина, но Шаляпин запросил три тысячи за выход. Вместо него приехал сицилианский трагик ди Грассо с труппой. Их привезли в гостиницу на телегах, набитых детьми, кошками, клетками, в которых прыгали итальянские птицы. Осмотрев этот табор, Коля Шварц сказал:

— Дети, это не товар...

Трагик после приезда отправился с кошелкой на базар. Вечером — с другой кошелкой — он явился в театр. На первый спектакль собралось едва ли пятьдесят человек. Мы уступали билеты за полцены, охотников не находилось.

Играли в тот вечер сицилианскую народную драму, историю обыкновенную, как смена дня и ночи. Дочь богатого крестьянина обручилась с пастухом. Она была верна ему до тех пор, пока из города не приехал барчук в бархатном жилете. Разговаривая с приезжим, девушка невпопад хихикала и невпопад замолкала. Слушая их, пастух ворочал головой, как потревоженная птица. Весь

первый акт он прижимался к стенам, куда-то уходил в развевающихся штанах и, возвращаясь, озирался.

— Мертвое дело, — сказал в антракте Коля Шварц, — это товар для Кременчуга...

Антракт был сделан для того, чтобы дать девушке время созреть для измены. Мы не узнали ее во втором действии — она была нетерпима, рассеянна и, торопясь, отдала пастуху обручальное кольцо. Тогда он подвел ее к нищей и раскрашенной статуе святой девы и на сицилианском своем наречии сказал:

— Синьора, — сказал он низким своим голосом и отвернулся, — святая дева хочет, чтобы вы выслушали меня... Джованни, приехавшему из города, святая дева даст столько женщин, сколько он захочет; мне же никто не нужен, кроме вас, синьора... Дева Мария, непорочная наша покровительница, скажет вам то же самое, если вы спросите ее, синьора...

Девушка стояла спиной к раскрашенной деревянной статуе. Слушая пастуха, она нетерпеливо топала ногой. На этой земле — о, горе нам! — нет жещины, которая не была бы безумна в те мгновенья, когда решается ее судьба... Она остается одна в эти мгновения, одна, без девы Марии, и ни о чем не спрашивает у нее...

В третьем действии приехавший из города Джованни встретился со своей судьбой. Он брился у деревенского цирюльника, разбросав на авансцене сильные мужские ноги; под солнцем Сицилии сияли складки его жилета. Сцена представляла из себя ярмарку в деревне. В дальнем углу стоял пастух. Он стоял молча, среди беспечной толпы. Голова его была опущена, потом он поднял ее, и под тяжестью загоревшегося, внимательного его взгляда Джованни задвигался, стал ерзать в кресле и, оттолкнув цирюльника, вскочил. Срывающимся голосом он потребовал от полицейского, чтобы тот удалил с площади сумрачных подозрительных людей. Пастух — играл его ди Грассо — стоял задумавшись, потом он улыбнулся, поднялся в воздух, перелетел сцену городского театра, опустился на плечи Джованни и, перекусив ему горло, ворча и косясь, стал высасывать из раны кровь. Джованни рухнул, и занавес, — грозно, бесшумно сдвигаясь, — скрыл от нас убитого и убийцу. Ничего больше не ожидая, мы бросились в Театральный переулок к кассе, которая должна была открыться на следующий день. Впереди всех несся

Коля Шварц. На рассвете «Одесские новости» сообщили тем немногим, кто был в театре, что они видели самого удивительного актера столетия.

Ди Грассо в этот свой приезд сыграл у нас «Короля Лира», «Отелло», «Гражданскую смерть», тургеневского «Нахлебника», каждым словом и движением своим утверждая, что в исступлении благородной страсти больше справедливости и надежды, чем в безрадостных правилах мира.

На эти спектакли билеты шли в пять раз выше своей стоимости. Охотясь за барышниками, покупатели находили их в трактире — горланящих, багровых, извергающих безвредное кощунство.

Струя пыльного розового зноя была впущена в Театральный переулок. Лавочники в войлочных шлепанцах вынесли на улицу зеленые бутыли вина и бочонки с маслинами. В чанах, перед лавками, кипели в пенистой воде макароны, и пар от них таял в далеких небесах. Старухи в мужских штиблетах продавали ракушки и сувениры и с громким криком догоняли колеблющихся покупателей. Богатые евреи с раздвоенными, расчесанными бородами подъезжали в экипажах к Северной гостинице и тихонько стучались в комнаты черноволосых толстух с усиками — актрис из труппы ди Грассо. Все были счастливы в Театральном переулке, кроме одного человека, и этот человек был я. Ко мне в эти дни приближалась гибель. С минуты на минуту отец мог хватиться часов, взятых у него без позволения и заложенных у Коли Шварца. Успев привыкнуть к золотым часам и будучи человеком, пившим по утрам вместо чая бессарабское вино, Коля, получив обратно свои деньги, не мог, однако, решиться вернуть мне часы. Таков был его характер. От него ничем не отличался характер моего отца. Стиснутый этими людьми, я смотрел, как проносятся мимо меня обручи чужого счастья. Мне не оставалось ничего другого, как бежать в Константинополь. Все уже было сговорено со вторым механиком парохода «Duke of Kent» [1], но, перед тем как выйти в море, я решил проститься с ди Грассо. Он в последний раз играл пастуха, которого отделяет от земли непонятная сила. В театр пришли итальянская колония во главе с лысым и стройным консулом, поеживающиеся греки, бородатые экстерны, фанатически уставившиеся в

---

[1] «Граф Кентский» (*англ.*).

никому не видимую точку, и длиннорукий Уточкин. И даже Коля Шварц привел с собой жену в фиолетовой шали с бахромой, женщину, годную в гренадеры и длинную, как степь, с мятым, сонливым личиком на краю. Оно было омочено слезами, когда опустился занавес.

— Босяк, — выходя из театра, сказала она Коле, — теперь ты видишь, что такое любовь...

Тяжело ступая, мадам Шварц шла по Ланжероновской улице; из рыбьих глаз ее текли слезы, на толстых плечах содрогалась шаль с бахромой. Шаркая мужскими ступнями, тряся головой, она оглушительно, на всю улицу, высчитывала женщин, которые хорошо живут со своими мужьями.

— Циленька, — называют эти мужья своих жен, — золотко, деточка...

Присмиревший Коля шел рядом с женой и тихонько раздувал шелковые усы. По привычке я шел за ними и всхлипывал. Затихнув на мгновенье, мадам Шварц услышала мой плач и обернулась.

— Босяк, — вытаращив рыбьи глаза, сказала она мужу, — пусть я не доживу до хорошего часа, если ты не отдашь мальчику часы...

Коля застыл, раскрыл рот, потом опомнился и, больно ущипнув меня, боком сунул часы.

— Что я имею от него, — безутешно причитал, удаляясь, грубый плачущий голос мадам Шварц, — сегодня животные штуки, завтра животные штуки... Я тебя спрашиваю, босяк, сколько может ждать женщина?..

Они дошли до угла и повернули на Пушкинскую. Сжимая часы, я остался один и вдруг, с такой ясностью, какой никогда не испытывал до тех пор, увидел уходившие ввысь колонны Думы, освещенную листву па бульваре, бронзовую голову Пушкина с неярким отблеском луны на ней, увидел в первый раз окружавшее меня таким, каким оно было на самом деле, — затихшим и невыразимо прекрасным.

ПОЦЕЛУЙ

В начале августа штаб армии отправил нас для переформирования в Будятичи. Захваченное поляками в начале войны — оно вскоре было отбито нами. Бригада втянулась в местечко на рассвете; я приехал днем. Лучшие квартиры были заняты, мне достался школьный учитель. В низкой комнате, среди кадок с плодоносящими лимонными деревьями, сидел в кресле парализованный старик. На нем была тирольская шляпа с перышком; серая борода спускалась на грудь, осыпанную пеплом. Моргая глазами, он пролепетал какую-то просьбу. Умывшись, я ушел в штаб и вернулся ночью. Мишка Суровцев, ординарец, оренбургский лукавый казак, доложил мне обстановку; кроме парализованного старика, в наличности оказалась дочь его, Томилина Елизавета Алексеевна, и пятилетний сынок Миша, тезка Суровцева; дочь вдовеет после офицера, убитого в германскую войну, ведет себя исправно, но хорошему человеку, по сведениям Суровцева, может себя предоставить.

— Обладим, — сказал он, удалился на кухню и загремел там посудой; учительская дочка помогала ему. Куховаря, Суровцев рассказал о моей храбрости, о том, как я ссадил в бою двух польских офицеров и как уважает меня Советская власть. Ему отвечал сдержанный, негромкий голос Томилиной.

— Ты где отдыхаешь? — спросил ее Суровцев на прощанье. — Ты поближе к нам лягай, мы люди живые.

Он внес в комнату яичницу на гигантской сковороде и поставил ее на стол.

— Согласная, — сказал он, усаживаясь, — только не высказывает...

И в то же мгновенье сдавленный шепот, шуршанье, тяжелая осторожная беготня поднялись в доме. Мы не успели съесть нашего блюда войны, как в дом потянулись старики на костылях, старухи, с головой закутанные в шали. Кровать маленького Миши перетащили в столовую, в лимонную чащу, рядом с креслом деда. Немощные гости, приготовившиеся защитить честь Елизаветы Алексеевны, сбились в кучу, как овцы в непогоду, и, забаррикадировав дверь, всю ночь бесшумно играли в карты, шепотом называя ремизы и замирая при каждом шорохе. За этой дверью я не мог заснуть от неловкости, от смущения и едва дождался света.

— К вашему сведению, — сказал я, встретив Томилину в коридоре, — к вашему сведению должен сообщить, что я окончил юридический факультет и принадлежу к так называемым интеллигентным людям...

Оцепенев, она стояла, опустив руки, в старомодной тальме, словно вылитой на тонкой ее фигуре. Не мигая, прямо на меня смотрели расширившиеся, сиявшие в слезах голубые глаза.

Через два дня мы стали друзьями. Страх и неведение, в котором жила семья учителя, семья добрых и слабых людей, были безграничны. Польские чиновники внушили им, что в дыму и варварстве кончилась Россия, как когда-то кончился Рим. Детская боязливая радость овладела ими, когда я рассказал о Ленине, о Москве, в которой бушует будущее, о Художественном театре. По вечерам к нам приходили двадцатидвухлетние большевистские генералы со спутанными рыжеватыми бородами. Мы курили московские папиросы, мы съедали ужин, приготовленный Елизаветой Алексеевной из армейских продуктов, и пели студенческие песни. Перегнувшись в кресле, парализованный слушал с жадностью, и тирольская шляпа тряслась в такт нашей песне. Старик жил все эти дни, отдавшись бурной, внезапной, неясной надежде, и, чтобы ничем не омрачить своего счастья, старался не замечать в нас некоторого щегольства кровожадностью и громогласной простоты, с какой мы решали к тому времени все мировые вопросы.

После победы над поляками — так постановлено было на семейном совете — Томилины переедут в Москву: старика мы вылечим у знаменитого профессора, Елизавета Алексеевна поступит учиться на курсы, а Мишку мы отдадим в ту самую школу на Патриарших прудах, где когда-то училась его мать. Будущее казалось никем не оспариваемой нашей собственностью, война — бурной подготовкой к счастью, и самое счастье — свойством нашего характера. Нерешенными были только его подробности, и в обсуждении их проходили ночи, могучие ночи, когда огарок свечи отражался в мутной бутыли самогона. Расцветшая Елизавета Алексеевна была безмолвной нашей слушательницей. Никогда не видел я существа более порывистого, свободного и боязливого. По вечерам лукавый Суровцев отвозил нас в реквизированном еще на Кубани плетеном шарабане к холму, где светился в огне заката брошенный дом князей Гонсиоровских. Худые, но длинные и породистые лошади дружно бежали на красных вожжах; беспечная серьга колыхалась в ухе Суровцева, круглые башни вырастали изо рва, заросшего желтой скатертью цветов. Обломанные стены чертили в небе кривую, набухшую рубиновой кровью линию, куст шиповника прятал ягоды, и голубая ступень, остаток лестницы, по которой поднимались когда-то польские короли, блестела в кустарнике. Сидя на ней, я притянул к себе однажды голову Елизаветы Алексеевны и поцеловал ее. Она медленно отстранилась, выпрямилась и, ухватив руками стену, прислонилась к ней. Она стояла неподвижно, вокруг ослепшей ее головы бурлил огненный пыльный луч, потом, вздрогнув и словно вслушиваясь во что-то, Томилина подняла голову; пальцы ее оттолкнулись от стены; путаясь и ускоряя шаги, она побежала вниз. Я окликнул ее, мне не ответили. Внизу, разбросавшись в плетеном шарабане, спал румяный Суровцев. Ночью, когда все уснули, я прокрался в комнату Елизаветы Алексеевны. Она читала, далеко отставив от себя книгу: упавшая на стол рука казалась неживой. Обернувшись на стук, Елизавета Алексеевна поднялась с места.

— Нет, — сказала она, вглядываясь в меня, — нет, дорогой мой. — И, обхватив мое лицо голыми, длинными руками, поцеловала меня все усиливавшимся, нескончаемым, безмолвным поцелуем.

Треск телефона в соседней комнате оттолкнул нас друг от друга. Вызывал адъютант штаба.

— Выступаем, — сказал он в телефон, — приказанио явиться к командиру бригады...

Я побежал без шапки, на ходу рассовывая бумаги. Из дворов выводили лошадей, во тьме, крича, мчались всадники. У комбрига, стоя завязывавшего на себе бурку, мы узнали, что поляки прорвали фронт под Люблином и что нам поручена обходная операция. Оба полка выступали через час. Разбуженный старик беспокойно следил за мной из-под листвы лимонного дерева.

— Скажите, что вы вернетесь, — повторил он и тряс головой.

Елизавета Алексеевна, накинув полушубок поверх батистовой ночной кофты, вышла провожать нас на улицу. Во мраке бешено промчался невидимый эскадрон. У поворота в поле я оглянулся — Томилина, наклонившись, поправляла куртку на мальчике, стоявшем впереди нее, и прерывистый свет лампы, горевшей на подоконнике, тек по нежному костлявому ее затылку...

Пройдя без дневок сто километров, мы соединились с 14-й кавдивизией и, отбиваясь, стали уходить. Мы спали в седлах. На привалах, сраженные сном, мы падали на землю, и лошади, натягивая повод, тащили нас, спящих, по скошенному полю. Начиналась осень и неслышно сыплющиеся галицийские дожди. Сбившись в молчащее взъерошенное тело, мы петляли и описывали круги, ныряли в мешок, завязанный поляками, и выходили из него. Сознание времени оставило нас. Располагаясь на ночлег в Тощенской церкви, я и не подумал о том, что мы находимся в девяти верстах от Будятичей. Напомнил Суровцев, мы переглянулись.

— Главное, что кони пристали, — сказал он весело, — а то съездили бы...

— Нельзя, — ответил я, — хватятся ночью...

И мы поехали. К седлам нашим были приторочены гостинцы — голова сахару, ротонда на рыжем меху и живой двухнедельный козленок. Дорога шла качающимся промокшим лесом, стальная звезда плутала в кронах дубов. Меньше чем в час мы доехали до местечка, выгоревшего в центре, заваленного побелевшими от мучной пыли грузовиками, орудийными упряжками и ломаными дыш-

лами. Не слезая с лошади, я стукнул в знакомое окно — белое облако пронеслось по комнате. Все в той же батистовой кофте с обвислым кружевом Томилина выбежала на крыльцо. Горячей рукой она взяла мою руку и ввела в дом. В большой комнате на сломанных лимонных деревьях сушилось мужское белье, незнакомые люди спали на койках, поставленных без промежутков, как в госпитале. Высовывая грязные ступни, с криво окостеневшими ртами, они хрипло кричали со сна и жадно и шумно дышали. Дом был занят нашей трофейной комиссией, Томилины загнаны в одну комнату.

— Когда вы нас увезете отсюда? — стискивая мою руку, спросила Елизавета Алексеевна.

Старик, проснувшись, тряс головой. Маленький Миша, прижимая к себе козленка, заливался счастливым, беззвучным смехом. Над ним, надувшись, стоял Суровцев и вытряхивал из карманов казацких шаровар шпоры, пробитые монеты, свисток на желтом витом шнуре. В этом доме, занятом трофейной комиссией, скрыться было негде, и мы ушли с Томилиной в дощатую пристройку, где на зиму складывали картофель и рамки от ульев. Там, в чулане, я увидел, какой неотвратимый губительный путь был путь поцелуя, начатого у замка князей Гонсиоровских...

Незадолго до рассвета к нам постучался Суровцев.

— Когда вы увезете нас? — глядя в сторону, сказала Елизавета Алексеевна.

Промолчав, я направился в дом, чтобы проститься со стариком.

— Главное, что время нет, — загородил мне дорогу Суровцев, — сидайте, поедем...

Он вытолкал меня на улицу и подвел лошадь. Томилина подала мне похолодевшую руку. Как всегда, она прямо держала голову. Лошади, отдохнув за ночь, понесли рысью. В черном сплетении дубов поднималось огнистое солнце. Ликование утра переполняло мое существо.

В лесу открылась прогалина, я пустил лошадь и, обернувшись, крикнул Суровцеву:

— Что бы еще побыть... Рано вспугнул...

— И то не рано, — ответил он, подравниваясь и разнимая рукой мокрые, сыплющие искры ветви, — кабы не старик, я и раньше бы вспугнул... А то разговорился,

старый, разнервничался, крякает и на сторону валиться стал... Я подскочил к нему, смотрю — мертвый, испекся...

Лес кончился. Мы выехали на вспаханное поле без дороги. Привстав, поглядывая по сторонам, подсвистывая, Суровцев вынюхивал правильное направление и, втянув его с воздухом, пригнулся и поскакал.

Мы приехали вовремя. В эскадроне поднимали людей. Обещая жаркий день, пригревало солнце. В это утро наша бригада прошла бывшую государственную границу Царства Польского.

СУД

Мадам Бляншар, шестидесяти одного года от роду, встретилась в кафе на Boulevard des Italiens [1] с бывшим подполковником Иваном Недачиным. Они полюбили друг друга. В их любви было больше чувственности, чем рассудка. Через три месяца подполковник бежал с акциями и драгоценностями, которые мадам Бляншар поручила ему оценить у ювелира на Rue de la Paix [2].

— Accès de folie passagère [3], — определил врач припадок, случившийся с мадам Бляншар.

Вернувшись к жизни, старуха повинилась невестке. Невестка заявила в полицию. Недачина арестовали на Монпарнасе в погребке, где пели московские цыгане. В тюрьме Недачин пожелтел и обрюзг. Судили его в четырнадцатой камере уголовного суда. Первым прошло автомобильное дело, затем предстал перед судом шестнадцатилетний Раймонд Лепик, застреливший из ревности любовницу. Мальчика сменил подполковник. Жандармы вытолкнули его на свет, как выталкивали когда-то Урса на арену цирка. В зале суда французы в небрежно сшитых пиджаках громко кричали друг на друга, покорно раскрашенные женщины обмахивали веерами заплаканные лица. Впереди них — на возвышении, под мраморным гер-

---

[1] Итальянский бульвар (*франц.*).
[2] Улица Мира (*франц.*).
[3] Припадок временного безумия (*франц.*).

бом республики — сидел краснощекий мужчина с галльскими усами, в тоге и в шапочке.

— Eh bien, Nedatchine [1], — сказал он, увидев обвиняемого, — eh bien, mon ami [2]. — И картавая, быстрая речь опрокинулась на вздрогнувшего подполковника.

— Происходя из рода дворян Nedatchine, — звучно говорил председатель, — вы записаны, мой друг, в геральдические книги Тамбовской провинции... Офицер царской армии, вы эмигрировали вместе с Врангелем и сделались полицейским в Загребе... Разногласия по вопросу о границах государственной и частной собственности, — звучно продолжал председатель, то высовывая из-под мантии носок лакированного башмака, то снова втягивая его, — разногласия эти, мой друг, заставили вас расстаться с гостеприимным королевством югославов и обратить взор на Париж... В Париже... — Тут председатель пробежал глазами лежавшую перед ним бумагу. — В Париже, мой друг, экзамен на шофера такси оказался крепостью, которой вы не смогла овладеть... Тогда вы отдали запас неизрасходованных сил отсутствующей в заседании мадам Бляншар...

Чужая речь сыпалась на Недачина как летний дождь. Беспомощный, громадный, с повисшими руками — он возвышался над толпой, как грустное животное другого мира.

— Voyons [3], — сказал председатель неожиданно, — я вижу со своего места невестку почтенной мадам Бляншар.

Наклонив голову, к свидетельскому столу пробежала жирная женщина без шеи, похожая на рыбу, всунутую в сюртук. Задыхаясь, подымая к небу короткие ручки, она стала перечислять названия акций, похищенных у мадам Бляншар.

— Благодарю вас, мадам, — перебил ее председатель и кивнул сидевшему налево от суда сухощавому человеку с породистым и впалым лицом.

Слегка приподнявшись, прокурор процедил несколько слов и сел, сцепив руки в круглых манжетах. Его сменил адвокат, натурализовавшийся киевский еврей. Он обиженно, словно ссорясь с кем-то, закричал о Голгофе русского офицерства. Невнятно произносимые французские слова

---

[1] Итак, Недачин *(франц.)*.
[2] Итак, друг мой (*франц.*).
[3] Ну вот (*франц.*).

крошились, сыпались у него во рту и к концу речи стали похожи на еврейские. Несколько мгновений председатель молча, без выражения смотрел на адвоката и вдруг качнулся вправо — к иссохшему старику в тоге и в шапочке, потом он качнулся в другую сторону к такому же старику, сидевшему слева.

— Десять лет, мой друг, — кротко сказал председатель, кивнув Недачину головой, и схватил на лету брошенное ему секретарем новое дело.

Вытянувшись во фронт, Недачин стоял неподвижно. Бесцветные глазки его мигали, на маленьком лбу выступил пот.

— T'a encaissé dix ans [1], — сказал жандарм за его спиной, — c'est fini, mon vieux [2]. — И, тихонько работая кулаками, жандарм стал подталкивать осужденного к выходу.

---

[1] Тебе дали десять лет (*франц.*)

[2] Все кончено, старина (*франц.*).

ВОС=
ПОМИ=
НАНИЯ

БАГРИЦКИЙ

Усилие, направленное на создание прекрасных вещей, усилие постоянное, страстное, все разгорающееся — вот жизнь Багрицкого. Она была — подъем непрерывный. Среди первых его стихов попадались слабые, с годами он писал все строже. Воодушевление его поэзии возрастало. Страсть, в ней заключенная, усиливалась, потому что усиливалась работа Багрицкого над мыслью и чувством. Работу эту он исполнял честно, с упрямством и веселостью.

Писание Багрицкого — не физиологическая способность, а увеличенные против нормы сердце и мозги, увеличенные против того, что̀ мы считаем нормой и что̀ будет беднейшим прожиточным минимумом сердца в будущем.

Я помню его юношей в Одессе.

Он опрокидывал на собеседника громады стихов — своих и чужих. Он ел не по-нашему, одежду его составляли шаровары и кофта, повадка у него была шумная, но с остановками.

В те годы, когда стандарт указывался обстоятельствами, Багрицкий был похож на самого себя и ни на кого больше.

Слава Франсуа Виллона из Одессы внушала к нему любовь, она не внушала доверия. И вот — охотничьи его рассказы стали пророчеством, ребячливость — мудростью, потому что он был мудрый человек, соединивший в себе комсомольца с Бен-Акибой.

Ему ничего не пришлось ломать в себе, чтобы стать поэтом чекистов, рыбоводов, комсомольцев. Говорят, он

испытал кризисы подобно другим литераторам. Я не заметил этого.

Любовь к справедливости, к изобилью и веселью, любовь к звучным, умным словам — вот была его философия. Она оказалась поэзией революции.

Как хорошая стройка, — он всегда был в поэтических лесах. Они менялись на нем, и эту работу вечного обновления он делал мужественно, неподкупно, открыто.

От него — умирающего — шел ток жизни. Сердца людей, впавших в тревогу, тянулись к нему. Жизнью своей он говорил нам, что поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное.

По пути к тому, чтобы стать членом коммунистического общества, Багрицкий прошел дальше многих других...

Я вспоминаю последний наш разговор. Пора бросить чужие города, согласились мы с ним, пора вернуться домой, в Одессу, снять домик на Ближних Мельницах, сочинять там истории, стариться... Мы видели себя стариками, лукавыми, жирными стариками, греющимися на одесском солнце, у моря — на бульваре, и провожающими женщин долгим взглядом...

Желания наши не осуществились. Багрицкий умер тридцати восьми лет, не сделав и малой части того, что мог.

В государстве нашем основан ВИЭМ — Институт экспериментальной медицины. Пусть добьется он того, чтобы бессмысленные эти преступления природы не повторялись больше.

НАЧАЛО

Лет двадцать тому назад, находясь в весьма нежном возрасте, расхаживал я по городу Санкт-Петербургу с липовым документом в кармане и — в лютую зиму — без пальто. Пальто, надо признаться, у меня было, но я не надевал его по принципиальным соображениям. Собственность мою в ту пору составляли несколько рассказов — столь же коротких, сколь и рискованных. Рассказы эти я разносил по редакциям, никому не приходило в голову читать их, а если они кому-нибудь попадались на глаза, то производили обратное действие. Редактор одного из журналов выслал мне через швейцара рубль, другой редактор сказал о рукописи, что это сущая чепуха, но что у тестя его есть мучной лабаз и в лабаз этот можно поступить приказчиком. Я отказался и понял, что мне не остается ничего другого, как пойти к Горькому.

В Петрограде издавался тогда интернационалистский журнал «Летопись», сумевший за несколько месяцев существования сделаться лучшим нашим ежемесячником. Редактором его был Горький. Я отправился к нему на Большую Монетную улицу. Сердце мое колотилось и останавливалось. В приемной редакции собралось самое необыкновенное общество из всех, какое только можно себе представить: великосветские дамы и так называемые «босяки», арзамасские телеграфисты, духоборы и державшиеся особняком рабочие, подпольщики-большевики.

Прием должен был начаться в шесть часов. Ровно в шесть дверь открылась, и вошел Горький, поразив меня

своим ростом, худобой, силой и размером громадного костяка, синевой маленьких и твердых глаз, заграничным костюмом, сидевшим на нем мешковато, но изысканно. Я сказал: дверь открылась ровно в шесть. Всю жизнь он оставался верен этой точности, добродетели королей и старых, умелых, уверенных в себе рабочих.

Посетители в приемной разделялись — на принесших рукописи и на тех, кто ждал решения участи.

Горький подошел ко второй группе. Походка его была легка, бесшумна, я бы сказал — изящна, в руках он держал тетради; на некоторых из них его рукой было написано больше, чем рукой автора. С каждым он говорил сосредоточенно и долго, слушал собеседника с всепоглощающим жадным вниманием. Мнение свое он высказывал прямо и сурово, выбирая слова, силу которых мы узнали много позже, через годы и десятилетия, когда слова эти, прошедшие в душе нашей длинный, неотвратимый путь, сделались правилом и направлением жизни.

Покончив с авторами, уже знакомыми ему, Горький подошел к нам и стал собирать рукописи. Мельком он взглянул на меня. Я представлял тогда собой румяную, пухлую и неперебродившую смесь толстовца и социал-демократа, не носил пальто, но был вооружен очками, замотанными вощеной ниткой.

Дело происходило во вторник. Горький взял тетрадку и сказал:

— За ответом — в пятницу.

Неправдоподобно звучали тогда эти слова... Обычно рукописи истлевали в редакциях по нескольку месяцев, а чаще всего — вечность.

Я вернулся в пятницу и застал новых людей: как и в первый раз, среди них были княгини и духоборы, рабочие и монахи, морские офицеры и гимназисты. Войдя в комнату, Горький снова взглянул на меня беглым своим, мгновенным взглядом, но оставил меня напоследок. Все ушли. Мы остались одни — Максим Горький и я, свалившийся с другой планеты, из собственного нашего Марселя (не знаю, нужно ли пояснять, что я говорю об Одессе). Горький позвал меня в кабинет. Слова, сказанные им там, решили мою судьбу.

— Гвозди бывают маленькие, — сказал он, — бывают и большие — с мой палец. — И он поднес к моим глазам длинный, сильно и нежно вылепленный палец. — Писа-

тельский путь, уважаемый пистолет (с ударением на о), усеян гвоздями, преимущественно крупного формата. Ходить по ним придется босыми ногами, крови сойдет довольно, и с каждым годом она будет течь все обильнее... Слабый вы человек — вас купят и продадут, вас затормошат, усыпят, и вы увянете, притворившись деревом в цвету... Честному же человеку, честному литератору и революционеру пройти по этой дороге — великая честь, на каковые нелегкие действия я вас, сударь, и благословляю...

Надо думать, в моей жизни не было часов важнее тех, которые я провел в редакции «Летописи». Выйдя оттуда, я полностью потерял физическое ощущение моего существа. В тридцатиградусный, синий, обжигающий мороз я бежал в бреду по громадным пышным коридорам столицы, открытым далекому темному небу, и опомнился, когда оставил за собой Черную Речку и Новую Деревню...

Прошла половина ночи, и тогда только я вернулся на Петербургскую сторону, в комнату, снятую накануне у жены инженера, молодой, неопытной женщины. Когда со службы пришел ее муж и осмотрел мою загадочную и юную персону, он распорядился убрать из передней все пальто и галоши и закрыть на ключ дверь из моей комнаты в столовую.

Итак, я вернулся в свою новую квартиру. За стеной была передняя, лишенная причитавшихся ей галош и накидок, в душе кипела и заливала меня жаром радость, тиранически требовавшая выхода. Выбирать было не из чего. Я стоял в передней, чему-то улыбался и неожиданно для себя открыл дверь в столовую. Инженер с женой пили чай. Увидев меня в этот поздний час, они побледнели, особенно у них побелели лбы.

«Началось», — подумал инженер и приготовился дорого продать свою жизнь.

Я ступил два шага по направлению к нему и сознался в том, что Максим Горький обещал напечатать мои рассказы.

Инженер понял, что он ошибся, приняв сумасшедшего за вора, и побледнел еще смертельнее.

— Я прочту вам мои рассказы, — сказал я, усаживаясь и придвигая к себе чужой стакан чая, — те рассказы, которые он обещал напечатать...

Краткость содержания соперничала в моих творениях с решительным забвением приличий. Часть из них, к

счастью благонамеренных людей, не явилась на свет. Вырезанные из журналов, они послужили поводом для привлечения меня к суду по двум статьям сразу — за попытку ниспровергнуть существующий строй и за порнографию. Суд надо мной должен был состояться в марте 1917 года, но вступившийся за меня народ в конце февраля восстал, сжег обвинительное заключение, а вместе с ним и самое здание Окружного суда.

Алексей Максимович жил тогда на Кронверкском проспекте. Я приносил ему все, что писал, а писал я по одному рассказу в день (от этой системы мне пришлось впоследствии отказаться, с тем чтобы впасть в противоположную крайность). Горький все читал, все отвергал и требовал продолжения. Наконец мы оба устали, и он сказал мне глуховатым своим басом:

— С очевидностью выяснено, что ничего вы, сударь, толком не знаете, но догадываетесь о многом... Ступайте-ка посему в люди...

И я проснулся на следующий день корреспондентом одной неродившейся газеты, с двумястами рублей подъемных в кармане. Газета так и не родилась, но подъемные мне пригодились. Командировка моя длилась семь лет, много дорог было мною исхожено и многих боев я был свидетель. Через семь лет, демобилизовавшись, я сделал вторую попытку печататься и получил от него записку: «Пожалуй, можно начинать...»

И снова, страстно и непрерывно, стала подталкивать меня его рука. Это требование — увеличивать непрестанно и во что бы то ни стало число нужных и прекрасных вещей на земле — он предъявлял тысячам людей, им отысканных и взращенных, а через них и человечеству. Им владела не ослабевавшая ни на мгновенье, невиданная, безграничная страсть к человеческому творчеству. Он страдал, когда человек, от которого он ждал много, оказывался бесплоден. И счастливый, он потирал руки и подмигивал миру, небу, земле, когда из искры возгоралось пламя...

ПЬЕСЫ

ЗАКАТ

Пьеса в 8 сценах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Мендель Крик — владелец извозопромышленного заведения, 62 года.

Нехама — его жена, 60 лет.

Беня } их дети — щеголеватый молодой человек, 26 лет.

Левка } их дети — гусар в отпуску, 22 года.

Двойра } их дети — перезрелая девица, 30 лет.

Арье-Лейб — служка в синагоге извозопромышленников, 65 лет.

Никифор — старший кучер у Криков, 50 лет.

Иван Пятирубель — кузнец, друг Менделя, 50 лет.

Бен Зхарья — раввин на Молдаванке, 70 лет.

Фомин — подрядчик, 40 лет.

Евдокия Потаповна Холоденко — торгует живой и битой птицей на рынке, тучная старуха с вывороченным боком. Пьяница, 50 лет.

Маруся — ее дочь, 20 лет.

Рябцов — хозяин трактира.

Митя — официант в трактире.

Мирон Попятник — флейтист в трактире Рябцова.

Мадам Попятник — его жена.

Урусов — подпольный ходатай по делам. Картавит.

Семен — лысый мужик.

Бобринец — шумный еврей. Шумит оттого, что богат.

Вайнер — гундосый богач.

Мадам Вайнер — богачиха.

Клаша Зубарева — беременная бабенка.

Мосье Боярский — владелец конфексиона готовых платьев под фирмой «Шедевр».

[Сенька Топун] [1].

[Кантор Цвибак].

Действие происходит в Одессе в 1913 г.

---

[1] В квадратные скобки заключены имена персонажей, пропущенные автором в списке действующих лиц.

Первая сцена

Столовая в доме Криков. Низкая обжитая мещанская комната. Бумажные цветы, комоды, граммофон, портреты раввинов и рядом с раввинами семейные фотографии Криков — окаменелых, черных, с выкатившимися глазами, с плечами широкими, как шкафы.

В столовой приготовлено к приему гостей. На столе, покрытом красной скатертью, расставлены вина, варенье, пироги.

Старуха Крик заваривает чай. Сбоку, на маленьком столике — кипящий самовар.

В комнате старуха Нехама, Арье-Лейб, Левка в парадной гусарской форме. Желтая бескозырка косо посажена на его кирпичное лицо, длиннополая шинель брошена на плечи. За Левкой волочится кривая сабля. Беня Крик, разукрашенный, как испанец на деревенском празднике, вывязывает перед зеркалом галстук.

Арье-Лейб. Ну, хорошо, Левка, отлично... Арье-Лейб, сват с Молдаванки и шамес [1] у биндюжников, знает теперь, что такое рубка лозы... Сначала рубят лозу, потом рубят человека... Матери в нашей жизни роли не играют... Но объясни мне, Левка, почему такому гусару, как ты, нельзя опоздать из отпуска на неделю, пока твоя сестра не сделает своего счастья?

Левка *(хохочет. В грубом его голосе движутся громы)*. На неделю!.. Вы набитый дурак, Арье-Лейб!.. Опоздать на неделю!.. Кавалерия — это вам не пехота. Кавалерия плевала на вашу пехоту... Опоздал я на один час, и вахмистр берет меня к себе в помещение, пускает мне

[1] Служка в синагоге.

из души юшку, и из носу пускает мне юшку, и еще под суд меня отдает. Три генерала судят каждого конника, три генерала с медалями за Турецкую войну.

Арье-Лейб. Это со всеми так делают или только с евреями?

Левка. Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Вы какой-то болван, Арье-Лейб!.. Причем тут евреи?

Сквозь полуоткрытую дверь просовывается лицо Двойры.

Двойра. Мама, пока у вас что-нибудь найдешь, можно мозги себе сломать. Куда вы подевали мое зеленое платье?

Нехама *(ни на кого не глядя, бурчит себе под нос)*. Посмотри в комоде.

Двойра. Я смотрела в комоде — нету.

Нехама. В шкафу.

Двойра. В шкафе нету.

Левка. Какое платье?

Двойра. Зеленое с гесткой.

Левка. Кажется, папаша подхватил.

Полуодетая, нарумяненная, завитая Двойра входит в комнату. Она высока ростом, дебела.

Двойра *(деревянным голосом)*. Ох, я умру!

Левка *(матери)*. Вы небось признались ему, старая хулиганка, что Боярский придет сегодня смотреть Двойру?.. Она призналась. Готово дело!.. Я его еще с утра заметил. Он запряг в биндюг Соломона Мудрого и Муську, поснедал, нажрался водки, как кабан, бросил в козлы что-то зеленое и подался со двора.

Двойра. Ох, я умру! *(Она разражается громким плачем, сдирает с окна занавеску, топчет ее и бросает старухе.)* Нате вам!..

Нехама. Издохни! Сегодня издохни...

Рыча и рыдая, Двойра убегает. Старуха прячет занавеску в комод.

Беня *(вывязывает галстук)*. Папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое.

Левка. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Арье-Лейб. Ты это про отца, Левка?

Левка. Пусть не будет босяком.

А р ь е - Л е й б. Отец старше тебя на субботу.

Л е в к а. Пусть не будет грубияном.

Б е н я *(закалывает в галстук жемчужную булавку)*. В прошлом году Семка Мунш хотел Двойру, но папаша, понимаете ли вы меня, жалеет приданое. Он сделал из Семкиной вывески кашу с подливкой и выбросил его со всех лестниц.

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь, человек, заняться изготовлением свечей, то солнце станет посреди неба, как тумба, и никогда не закатится...»

Л е в к а *(матери)*. Сто раз на дню старик убивает нас, а вы молчите ему, как столб. Тут каждую минуту жених может наскочить...

А р ь е - Л е й б. Сказано про меня у Ибн-Эзра: «Вздумай саваны шить для мертвых, и ни один человек не умрет отныне и во веки веков, аминь!..»

Б е н я *(вывязал галстук, сбросил с головы малиновую повязку, поддерживающую прическу, облачился в кургузый пиджачок, налил рюмку водки)*. Здоровье присутствующих!

Л е в к а *(грубым голосом)*. Будем здоровы.

А р ь е - Л е й б. Чтобы было хорошо.

Л е в к а *(грубым голосом)*. Пусть будет хорошо!

В комнату вкатывается м о с ь е Б о я р с к и й, бодрый круглый человек.
Он сыплет без умолку.

Б о я р с к и й. Привет! Привет! *(Представляется.)* Боярский... Приятно, чересчур приятно!.. Привет!

А р ь е - Л е й б. Вы обещались в четыре, Лазарь, а теперь шесть.

Б о я р с к и й *(усаживается и берет из рук старухи стакан чаю)*. Бог мой, мы живем в Одессе, а в нашей Одессе есть заказчики, которые вынимают из вас жизнь, как вы вынимаете косточку из финика, есть добрые приятели, которые согласны скушать вас в одежде и без соли, есть вагон неприятностей, тысяча скандалов. Когда тут подумать о здоровье, и зачем купцу здоровье? Насилу забежал в теплые морские ванны — и прямо к вам.

А р ь е - Л е й б. Вы принимаете морские ванны, Лазарь?

Б о я р с к и й. Через день, как часы.

А р ь е - Л е й б *(старухе)*. Худо-бедно положите пятьдесят копеек на ванну.

Б о я р с к и й. Бог мой, молодое вино есть в нашей Одессе. Греческий базар, Фанкони...

А р ь е - Л е й б. Вы захаживаете к Фанкони, Лазарь?

Б о я р с к и й. Я захаживаю к Фанкони.

А р ь е - Л е й б *(победоносно)*. Он захаживает к Фанкони!.. *(Старухе.)* Худо-бедно тридцать копеек надо оставить у Фанкони, я не скажу — сорок.

Б о я р с к и й. Простите меня, Арье-Лейб, если я, как более молодой, перебью вас. Фанкони обходится мне ежедневно в рубль, а также в полтора рубля.

А р ь е - Л е й б. Так вы же мот, Лазарь, вы негодяй, какого еще свет не видел!.. На тридцать рублей живет семья, и еще детей учат на скрипке, еще откладывают где какую копейку...

В комнату вплывает Д в о й р а. На ней оранжевое платье, могучие ее икры стянуты высокими башмаками.

Это наша Вера.

Б о я р с к и й *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Д в о й р а *(хрипло)*. Очень приятно.

Все садятся.

Л е в к а. Наша Вера сегодня немножко угорела от утюга.

Б о я р с к и й. Угореть от утюга может всякий, но быть хорошим человеком — это не всякий может.

А р ь е - Л е й б. Тридцать рублей в месяц кошке под хвост... Лазарь, вы не имели права родиться!

Б о я р с к и й. Тысячу раз простите меня, Арье-Лейб, но о Боярском надо вам знать, что он не интересуется капиталом, — капитал — это ничтожество, — Боярский интересуется счастьем... Я спрашиваю вас, дорогие, что вытекает для меня из того, что моя фирма выдает в месяц сто — полтораста костюмов плюс к этому брючные комплекты, плюс к этому польты?

А р ь е - Л е й б *(старухе)*. Положите на костюм пять рублей чистых, я не скажу — десять...

Б о я р с к и й. Что вытекает для меня из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем?

Арье-Лейб. И я скажу на это, Лазарь, что если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, то вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти, живите сто двадцать лет... Это я говорю вам, как шамес, а не как сват.

Беня *(разливает вино)*. Исполнение обоюдных желаний.

Левка *(грубым голосом)*. Будем здоровы!

Арье-Лейб. Пусть будет хорошо.

Боярский. Я начал про Фанкони. Выслушайте, мосье Крик, историю про еврея-нахала... Забегаю сегодня к Фанкони, кофейная набита людьми, как синагога в Судный день. Люди закусывают, плюют на пол, расстраиваются... Один расстраивается оттого, что у него плохие дела, другой расстраивается оттого, что у соседа хорошие дела. Присесть, между прочим, некуда... Поднимается тут мне навстречу мосье Шапелон, видный из себя француз... Заметьте, что это большая редкость, чтобы француз был из себя видный... поднимается мне навстречу и приглашает к своему столику. Мосье Боярский, говорит он мне по-французски, я уважаю вас, как фирму, и у меня есть дивная крыша для шубы...

Левка. Крыша?

Боярский. Сукно, верх для шубы... Дивная крыша для шубы, говорит он мне по-французски, и прошу вас, как фирму, выпить со мною две кружки пива и скушать десять раков...

Левка. Я люблю раков.

Арье-Лейб. Скажи еще, что ты любишь жабу.

Боярский. ...и скушать десять раков...

Левка *(упрямо)*. Я люблю раков!

Арье-Лейб. Рак — это же жаба.

Боярский *(Левке)*. Вы простите меня, мосье Крик, если я скажу вам, что еврей не должен уважать раков. Это я говорю вам замечание из жизни. Еврей, который уважает раков, может позволить себе с женским полом больше, чем себе надо позволять, он может сказать сальность за столом, и если у него бывают дети, так на сто процентов выродки и бильярдисты. Это я вам сказал замечание из жизни. Теперь выслушайте историю про еврея-нахала...

Беня. Боярский!

Боярский. Я.

Беня. Прикинь мне, Боярский, на скорую руку, во что мне обойдется зимний костюм прима?

Боярский. Двубортный, однобортный?

Беня. Однобортный.

Боярский. Фалды вы себе мыслите — круглые или отрезанные?

Беня. Фалды круглые.

Боярский. Сукно ваше или мое?

Беня. Сукно твое.

Боярский. Какой товар вы себе рисуете — английский, лодзинский или московский?

Беня. Какой лучше?

Боярский. Английское сукно, мосье Крик, это хорошее сукно, лодзинское сукно — это дерюга, на которой что-то нарисовано, а московское сукно — это дерюга, на которой ничего не нарисовано.

Беня. Возьмем английское.

Боярский. Доклад ваш или мой?

Беня. Доклад твой.

Боярский. Сколько вам обойдется?

Беня. Сколько мне обойдется?

Боярский *(осененный внезапной мыслью)*. Мосье Крик, мы сойдемся!

Арье-Лейб. Вы сойдетесь!

Боярский. Мы сойдемся... Я начал про Фанкони...

Слышен гром сапог, окованных гвоздями. Входит Мендель Крик с кнутом и Никифор, старший кучер.

Арье-Лейб *(оробел)*. Познакомьтесь, Мендель, с мосье Боярским...

Боярский *(вскакивает)*. Привет! Боярский.

Гремя сапогами, ни на кого не глядя, старик идет через всю комнату. Он бросает кнут, садится на кушетку, протягивает длинные толстые ноги. Нехама опускается на колени и стягивает с мужа сапоги.

Арье-Лейб *(заикаясь)*. Мосье Боярский рассказывал нам здесь про свою фирму. Она выдает полтораста костюмов в месяц...

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор *(прислонился к косяку двери и уставился в потолок)*. Я то говорю, хозяин, что с нас люди смеются.

Мендель. Почему с нас люди смеются?

Никифор. Люди говорят — у вас тыща хозяев на конюшне, у вас семь пятниц на неделе... Вчера возили в гавань пшеницу, кинулся я в контору деньги получать, они мне — назад: тут, говорят, молодой хозяин был, Бенчик, он приказание дал, чтобы деньги в банк платить, на квитанцию.

Мендель. Приказание дал?

Никифор. Приказание дал.

Нехама *(стянула сапог. Мендель подает ей другую ногу. Старуха поднимает на мужа глаза, полные ненависти, и бормочет сквозь стиснутые зубы)*. Чтоб ты света не дождался, мучитель!..

Мендель. Так что ты говоришь, Никифор?

Никифор. Я то говорю, что от Левки сегодня грубость видели.

Беня *(отставив мизинец, пьет вино)*. Обоюдное исполнение желаний.

Левка. Будем здоровы.

Никифор. Повели сегодня Фрейлину ковать, наскочил в кузню Левка, открыл рот, как лоханку, приказывает кузнецу Пятирубелю подковы резиной подбивать. Я тут встреваю. Что мы, полицмейстеры, говорю, или мы цари, Николаи Вторые, чтобы резиной подбивать? Хозяин не приказывал... А Левка стал красный, как буряк, и кричит: кто твой хозяин?..

Нехама стянула второй сапог. Мендель встал. Он потянул к себе скатерть. Посуда, пироги, варенье — все полетело на пол.

Мендель. Кто же твой хозяин, Никифор?

Никифор *(угрюмо)*. Вы мой хозяин.

Мендель. А если я твой хозяин *(он подходит к Никифору и берет его за грудь)*, а если я твой хозяин, так бей того, кто ступит ногой в мою конюшню, бей в душу, в жилы, в глаза... *(Он трясет Никифора и отшвыривает от себя.)*

Согнувшись, шаркая босыми ногами, Мендель идет через всю комнату к выходу, за ним бредет Никифор.

Нехама. Чтоб ты свету не дождался, мучитель...

Молчание.

А р ь е - Л е й б. Если я скажу вам, Лазарь, что старик не кончил высших женских курсов...

Б о я р с к и й. ...так я поверю вам без честного слова.

Б е н я *(подает Боярскому руку).* Зайдешь другим разом, Боярский.

Б о я р с к и й. Бог мой, в семье все случается. Бывает холодное, бывает горячее. Привет! Привет! Зайду другим разом. *(Исчезает.)*

Беня встает, закуривает папироску, перекидывает через руку щегольский плащ.

А р ь е - Л е й б. Про такого свата, как я, сказано у Ибн-Эзра: «Если ты вздумаешь шить саваны для мертвых...»

Л е в к а. Зарезать такого старика ко всем свиньям!

Двойра откинулась на спинку кресла и завизжала.

Здрасте! Двойра получила истерику.

В комнату входит Н и к и ф о р. Беня перекладывает плащ на левую руку и правой бьет Никифора по лицу.

Б е н я. Заложи мне гнедого в дрожки!

Н и к и ф о р *(из носу у него вытекает нерешительная струйка крови).* Расчет мне дайте...

Б е н я *(подходит к Никифору в упор и говорит ласковым, вздрагивающим голосом).* Ты у меня умрешь сегодня, не поужинав, Никифор, мой дружок...

Вторая сцена

Ночь. Спальня Криков. Лунный луч, роящийся и голубой, входит в окно. С т а р и к и Н е х а м а на двуспальной кровати. Они укрыты одним одеялом. Всклокоченная грязно-седая старуха сидит на постели. Она бубнит голосом, бубнит нескончаемо.

Н е х а м а. У людей все как у людей... У людей берут к обеду десять фунтов мяса, делают суп, делают котлеты, делают компот. Отец приходит с работы, все садятся за стол, люди кушают и смеются... А у нас?.. Бог, милый бог, как темно в моем доме!

М е н д е л ь. Дай жить, Нехама. Спи!

Н е х а м а. ...Бенчик, такой Бенчик, такое солнце на небе, он пошел в эту жизнь. Сегодня один пристав, зав-

тра другой пристав... Сегодня люди имеют кусок хлеба, завтра им обложат ноги железом...

Мендель. Дай дыхать, Нехама! Спи.

Нехама. ...Такой Левка. Дите придет из солдат и тоже кинется в налеты. Куда ему кинуться? Отец выродок, отец не пускает детей в дело...

Мендель. Делай ночь, Нехама. Спи!

Молчание.

Нехама. Раввин сказал, раввин Бен Захарья... Настанет новый месяц, сказал Бен Захарья, и я не впущу Менделя в синагогу. Евреи не дадут мне...

Мендель *(сбрасывает одеяло, садится рядом со старухой)*. Чего не дадут евреи?

Нехама. Придет поволуние, сказал Бен Захарья...

Мендель. Что мне не дадут евреи и что мне дали твои евреи?

Нехама. Не пустят, не пустят в синагогу.

Мендель. Карбованец с откусанным углом дали мне твои евреи, тебя, клячу, и этот гроб с клопами.

Нехама. А кацапы что тебе дали, что кацапы тебе дали?

Мендель *(укладывается)*. О, кляча на мою голову!

Нехама. Водку кацапы тебе дали, матерщины полный рот, бешеный рот, как у собаки... Ему шестьдесят два года, бог, милый бог, и он горячий, как печка, он здоровый, как печка.

Мендель. Выйми мне зубы, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы, согни мне спину...

Нехама. Горячий как печка... Как мне стыдно, бог!.. *(Она забирает свою подушку и укладывается на полу, в лунном луче. Молчание. Потом снова раздается ее бормотание.)* В пятницу вечером люди выходят за ворота, люди цацкаются с внуками...

Мендель. Делай ночь, Нехама.

Нехама *(плачет)*. Люди цацкаются с внуками...

Входит Беня. Он в нижнем белье.

Беня. Может быть, хватит на сегодня, молодожены?

Мендель приподымается. Он смотрит на сына во все глаза.

Или я должен пойти в гостиницу, чтобы выспаться?

Мендель *(встал с кровати. Он, как и сын, в нижнем белье)*. Ты... ты вошел?

Беня. Дать два рубля за номер, чтобы выспаться?

Мендель. Ночью, ночью ты вошел?

Беня. Она мне мать. Ты слышишь, супник!

Отец и сын стоят в нижнем белье друг против друга. Мендель все ближе, все медленнее подходит к Бене. В лунном луче трясется всклоченная голова Нехамы.

Мендель. Ночью, ночью ты вошел...

Третья сцена

Трактир на Привозной площади. Ночь. Хозяин трактира Рябцов, болезненный строгий человек, читает у стойки Евангелие. Пыльные его волосы разложены по обеим сторонам лба. На возвышении сидит кроткий флейтист Мирон (в просторечии Майор) Попятник. Флейта его выводит слабую дрожащую мелодию. За одним из столов черноусые, седоватые греки играют в кости с Сенькой Топуном, приятелем Бени Крика. Перед Сенькой разрезанный арбуз, финский нож и бутылка малаги. Два матроса спят, положив на стол литые плечи. В дальнем углу смиренно попивает зельтерскую воду подрядчик Фомин. Его убеждает в чем-то пьяная Потаповна. За передним столом стоит Мендель Крик, пьяный, воспаленный, громадный, и Урусов, ходатай по делам.

Мендель *(бьет кулаком по столу)*. Темно! Ты в могиле меня держишь, Рябцов, в черной могиле!..

Официант Митя, старичок с серебряными волосами ежиком, приносит лампу и ставит ее перед Менделем.

Я все лампы приказывал! Я хор требовал! Я со всего трактира лампы приказывал!

Митя. Керосин-то, вишь, нашему брату даром не дают. Вот, видишь, какое дело...

Мендель. Темно!

Митя *(Рябцову)*. Добавку освещения требуют.

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Рябцов. Получил рупь.

Мендель. Урусов!

Урусов. Есть!

Мендель. Скрозь мое сердце сколько, говоришь, крови льется?

Урусов. По науке считается, скрозь человеческое сердце льется в сутки двести пудов крови. А в Америке такое изобрели...

Мендель. Стой! Стой!.. А если я в Америку хочу ехать — это слободно?

Урусов. Свободно вполне. Сел и поехал...

Переваливаясь, виляя кривым боком, к столу подходит Потаповна.

Потаповна. Мендель, мама моя, мы не в Америку, мы в Бессарабию поедем, сады покупать.

Мендель. Сел, говоришь, и поехал?

Урусов. По науке считается, что вы четыре моря проезжаете — Черное море, Ионическое, Эгейское, Средиземное и два всемирных океана — Атлантический океан и Тихий.

Мендель. А ты сказывал — человек через моря летать может?

Урусов. Может.

Мендель. Через горы, через высокие горы может человек лететь?

Урусов *(с твердостью)*. Может.

Мендель *(сжимает ладонями лохматую голову)*. Конца нет, краю нет... *(Рябцову.)* Поеду. В Бессарабию поеду.

Рябцов. А делать чего будешь в Бессарабии?

Мендель. Чего захочу, то и буду.

Рябцов. А чего тебе хотеть?

Мендель. Слухай меня, Рябцов, я еще живой...

Рябцов. Не живой ты, если тебя бог убил.

Мендель. Когда это меня бог убил?

Рябцов. Годов-то тебе сколько?

Голос из трактира. Годов ему — всех шестьдесят два.

Рябцов. Шестьдесят два года бог тебя и убивает.

Мендель. Рябцов, я бога хитрей.

Рябцов. Ты русского бога хитрей, а жидовского бога ты не хитрей.

Митя вносит еще одну лампу. За ним гуськом выступают четыре заспанных толстых девки. В руках у каждой из них по зажженной лампе. Свет разливается по трактиру.

Митя. Со светлым тебя, значит, Христовым воскресеньем! Девки, обставь его, бешеного, лампами.

Девки ставят лампы на стол перед Менделем. Сияние озаряет багровое лицо его.

Голос из трактира. Из ночи день делаем, Мендель?

Мендель. Конца нет.

Потаповна *(дергает Урусова за рукав)*. Прошу вашей дорогой любезности, выпейте со мной, господин... Вот я курями на базаре торгую, мне мужики все летошних кур всучивают, да рази я к курям этим присужденная? У меня папочка садовник был, первый садовник. Я, какая где яблонька задичится, я ее раздичу...

Голос из трактира. Из понедельника воскресенье делаем, Мендель?

Потаповна *(кофта разошлась на жирной ее груди. Водка, жара, восторг душат ее)*. Мендель дело свое продаст, получим, бог даст, деньги, мы тогда с ясочкой нашей в сады уедем, на нас, послухайте, господин, на нас с липы цвет лететь будет... Мендель, золотко, я папочкина дочка!..

Мендель *(идет к стойке)*. Рябцов, у меня глаза были... слухай меня, Рябцов, у меня глаза сильней телескопов были, а чего я сделал с моими глазами? У меня ноги быстрей паровозов были, мои ноги по морю ходят, а чего я сделал с моими ногами? От обжорки к сортиру, от сортира к обжорке... Я полы мордой заметал, а теперь я сады поставлю.

Рябцов. Ставь. Кто тебя не пущает?

Голос из трактира. Найдутся — не пустят. Наступят на хвост — не выдерет...

Мендель. Я песни приказывал! Дай военную, музыкант... Не мотай жилы... Жизнь дай! Еще дай!..

Митя *(Урусову шепотом)*. Фомину приходить или рано?

Урусов. Рано. *(Музыканту.)* Прибавь, Майор!

Голос из трактира. И прибавлять нечего, хор пришел. Пятирубель хор приволок.

Входит хор — слепцы в красных рубахах. Они натыкаются на стулья, машут перед собой камышовыми тросточками. Их ведет кузнец Пятирубель, азартный человек, друг Менделя.

Пятирубель. Со сна чертей похватал. Не будем, говорят, песни играть. Ночь, говорят, на всем белом свете,

наигрались... Да вы, говорю, перед каким человеком, говорю, стоите?!

Мендель *(бросается к запевале, рябому рослому слепцу)*. Федя, я в Бессарабию еду.

Слепой *(густым, глубоким басом)*. Счастливо вам, хозяин!

Мендель. Песню, Федя, песню играй.

Слепой. «Славное море» — споем?

Мендель. Песню!..

Слепцы *(настраивают гитары. Тягучие их басы запевают)*.

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка,
Эй, баргузин, пошевеливай вал:
Плыть молодцу недалечко.

Мендель *(швыряет в окно пустую бутылку)*. Бей!

Пятирубель. Ох, и герой же, сукин сын!

Митя *(Рябцову)*. За стекло сколько посчитаем?

Рябцов. Рупь.

Митя. Получайте рупь.

Слепцы *(поют)*.

Долго я тяжкие цепи носил,
Долго скитался в горах Акатуя,
Старый товарищ бежать пособил,
Ожил я, волю почуя...

Мендель. Бей.

Пятирубель. Сатана, а не старик!

Голоса из трактира:

Форсовито гуляет!..

— Ничего не форсовито... Обыкновенно гуляет.

— Обыкновенно так не бывает. Помер у него кто-нибудь?

— Никто у него не помер... Обыкновенно гуляет.

— А причина какая, по какой причине гуляет?

Рябцов. Поди разбери причину. У одного деньги есть — он от денег гуляет, у другого денег нет — он от бедности гуляет. Человек ото всего гуляет...

Песня гремит все могущественнее. В разбитом окне качается звезда. Заспанные девки встали у косяков, подперли груди шершавыми руками и запели. Матрос качается на расставленных больших ногах и подпевает чистым тенором.

Шилка и Нерчинск не страшны теперь,
Горная стража меня не поймала.
В дебрях не тронул прожорливый зверь,
Пуля стрелка миновала...

Потаповна *(пьяна и счастлива)*. Мендель, мама моя, выпейте со мной! Выпьем за нашу ясочку!

Пятирубель. Швейцару на почте морду бил. Вот какой старик! Телеграфные столбы крал и домой на плечах приносил...

Шел я и ночью и средь бела дня,
Вкруг городов озирался я зорко,
Хлебом кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой...

Мендель. Согни мне спину, Нехама, налей жидовский суп в мои жилы!.. *(Он бросается на пол, ворочается, стонет, хохочет.)*

Голоса из трактира:

— Чисто слон!

— Я видел — и слоны плачут...

— Врешь, слоны не плачут...

— Говорю тебе, слезами плакал...

— В зверинце я слона одного задражнил...

Митя *(Урусову)*. Фомину приходить или рано?

Урусов. Рано.

Певцы поют во всю мочь.

Славное море — священный Байкал,
Славный мой парус — кафтан дыроватый,
Эй, баргузин, пошевеливай вал.
Слышатся грома раскаты...

Радостными рыдающими голосами поют слепцы последние строки. Окончив песню, они встают и уходят, как по команде.

Митя. И все?

Запевала. Хватит.

Мендель *(вскочил с пола и затопал)*. Военное мне дай! Жизнь, музыкант, дай!

Митя *(Урусову)*. Фомину взойти или рано?

Урусов. Самое время.

Митя подмигивает Фомину, сидящему в дальнем углу. Фомин рысью подбирается к столу Менделя.

Фомин. С приятным заседанием!

Урусов *(Менделю)*. Теперь, дорогой, оно у нас так будет — потехе время, делу час. *(Вытаскивает исписанный лист бумаги.)* Читать, что ли?

Фомин. Если вам нежелательно, скажем, плясать, то можно читать.

Урусов. Сумму, что ли, читать?

Фомин. Согласен на такое ваше предложение.

Мендель *(во все глаза смотрит на Фомина и отодвигается)*. Я песни приказывал...

Фомин. И петь будем и гулять будем, а придется помирать — помирать будем.

Урусов *(читает очень картаво)*. «...Согласно каковым пунктам, уступаю в полную собственность Фомину Василию Елисеевичу извозопромышленное заведение мое в составе, как поименовано...»

Пятирубель. Фомин, ты понимай, паяц, каких коней забираешь! Кони эти миллион пшеницы отвезли, они полмира угля перетаскали. Ты от нас всю Одессу с этими конями забираешь...

Урусов. «...А всего за сумму двенадцать тысяч рублей, из коих треть при подписании сего, а остальные...»

Мендель *(указывает пальцем на турка, безмятежно курившего кальян в углу)*. Вон человек сидит, обсуждает меня.

Пятирубель. Верно, обсуждает... А ну, стукнитесь! *(Фомину.)* Ей-богу, сейчас человека убьет.

Фомин. Авось не убьет.

Рябцов. Дуришь, дурак! Гость этот — турок, святой человек.

Потаповна *(потягивает вино мелкими глотками и блаженно смеется)*. Папочкина дочка!

Фомин. Вот, дорогой, тут и распишись.

Потаповна *(хлопает Фомина по груди)*. Здеся у него, у Васьки, деньги, здеся они!

Мендель. Расписаться, говоришь?.. *(Шаркая сапогами, он идет через весь трактир к турку, садится рядом с ним.)* И что я, дорогой человек, девок поимел на

моем веку, и что я счастья видел, и дом поставил, и сынов выходил, — цена этому, дорогой человек, двенадцать тысяч. А потом крышка — помирай!

Турок кланяется, прикладывает руку к сердцу, ко лбу. Мендель бережно целует его в губы.

Фомин *(Потаповне)*. Значит, Янкеля со мной вертеть?

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, убиться мне, если не продаст!

Мендель *(возвращается, мотает головой)*. Скука какая!

Митя. Вот те и скука — платить надо.

Мендель. Уйди!

Митя. Врешь, уплатишь!

Мендель. Убью!

Митя. Ответишь.

Мендель. Уйди, я спать буду...

Митя. Не платишь? Ох, старички, убивать буду!

Пятирубель. Погоди убивать. Ты сколько с него за полбутылки гребешь?

Митя *(распалился)*. Я мальчик злой, я покусаю!

Мендель, не поднимая головы, выбрасывает из кармана деньги. Монеты катятся по полу. Митя ползет за ними, подбирает. Заспанная девка дует на лампы, тушит их. Темно. Мендель спит, положив голову на стол.

Фомин *(Потаповне)*. Суешься поперед батьки... Стучишь языком, как собака бегает... Всю музыку испортила!

Потаповна *(выжимает слезы из грязных мятых морщин)*. Василий Елисеевич, я дочку жалею.

Фомин. Жалеть умеючи надо.

Потаповна. Жиды, как воши, обсели.

Фомин. Жид умному не помеха.

Потаповна. Продаст он, Василий Елисеевич, покуражится и продаст.

Фомин *(грозно, медленно)*. А не продаст, так богом Иисусом Христом, богом нашим вседержителем божусь тебе, старая, домой придем — я со спины у тебя ремни резать буду!

Четвертая сцена

Мансарда Потаповны. Старуха, разодетая в новое яркое платье, лежит на окне и переговаривается с соседкой. Из окна виден порт, блистающее море. На столе ворох покупок — отрез материи, дамские туфли, шелковый зонтик.

Голос соседки. Погордиться бы пришла, покрасоваться перед нами.

Потаповна. Да приду к вам, проведаю...

Голос соседки. А то в одном ряду на птичьей двенадцать лет торговали, и хвать — нет ее, Потаповны.

Потаповна. Да авось я не присужденная к курям к этим. Видно, не век мне маяться...

Голос соседки. Видно, что не век.

Потаповна. У людей-то небось на Потаповну глаза разбегаются?

Голос соседки. Каково разбегаются-то! Счастья-то каждому подай. Испеки да подай...

Потаповна *(смеется, тучное ее тело сотрясается)*. Девка-то, вишь, не у всякого есть.

Голос соседки. Девка-то, говорят, худая.

Потаповна. У кости, милая, мясо слаще.

Голос соседки. Сыны, слышь, против вас копают...

Потаповна. Девка сынов перетянет.

Голос соседки. И я говорю — перетянет.

Потаповна. Старик небось девку не бросает.

Голос соседки. Да ничего не говорят, только гавкают. Кто их разберет?

Потаповна. Разберем. Я разберу... Про полотно-то чего толкуют?

Голос соседки. Толкуют, старик вам двадцать аршин справил.

Потаповна. Пятьдесят!

Голос соседки. Башмаков пару...

Потаповна Три!

Голос соседки. Очень смертно любят старики.

Потаповна. Видно, к курям-то мы не присужденные...

Голос соседки. Видно, не присужденные... Покрасоваться бы пришла, погордиться перед нами.

Потаповна. Приду. Проведаю вас... Прощай, милая!

Голос соседки. Прощай, милая!

Потаповна слезает с окна. Переваливаясь, напевая, бродит она по комнате, открывает шкаф. Взбирается на стул, чтобы достать до верхней полки, на которой штоф наливки, пьет, закусывает трубочкой с кремом. В комнату входят Мендель, одетый по-праздничному, и Маруся.

Маруся *(очень звонко)*. Птичка-то наша куда взгромоздилась! Сбегайте к Мойсейке, мама.

Потаповна *(слезая со стула)*. А чего купить?

Маруся. Кавуны купите, бутылку вина, копченой скумбрии полдесятка... *(Менделю.)* Дай ей рубль.

Потаповна. Не хватит рубля.

Маруся. Арапа не заправляйте! Хватит, еще сдачи будет.

Потаповна. Не хватит мне рубля.

Маруся. Хватит! Придете через час. *(Она выталкивает мать, захлопывает дверь, запирает ее на ключ.)*

Голос Потаповны. Я за воротами посижу, надо будет — покличешь.

Маруся. Ладно. *(Она бросает на стол шляпку, распускает волосы, заплетает золотую косу. Голосом, полным силы, звона и веселья, она продолжает прерванный рассказ.)* ...Пришли на кладбище, глядим — первый час. Все похороны отошли, народу никакого, только в кустах целуются. У крестного могилка хорошенькая — чудо!.. Я кутью разложила, мадеру, что ты мне дал, две бутылки, побежала за отцом Иоанном. Отец Иоанн старенький, с голубенькими глазами, ты его знать должен...

Мендель смотрит на Марусю с обожанием. Он дрожит и мычит что-то в ответ, непонятно, что мычит.

Батюшка панихиду отслужил, я ему рюмку мадеры налила, рюмку полотенцем вытерла, он выпил, я ему вторую... *(Маруся заплела косу, распушила конец. Она садится на кровать, расшнуровывает желтые, длинные, по тогдашней моде, башмаки.)* Ксенька, та, как будто не у отца на могиле, надулась, как мышь на крупу, вся накрашенная, намазанная, жениха глазами ест. А Сергей Иваныч, тот мне все бутерброды мажет... Я Ксеньке в пику и говорю... Что вы, говорю, Сергей Иваныч, Ксении Матвеевне, невесте вашей, внимание не уделяете?.. Сказала, и проехало. Мадеру мы твою дочиста выпили... *(Маруся*

снимает башмаки и чулки, она идет босиком к окну, задергивает занавеску.) Крестная все плакала, а потом стала розовая, как барышня, хорошенькая — чудо! Я тоже выпила — и Сергею Иванычу *(Маруся раскрывает постель):* айда, Сергей Иваныч, на Ланжерон купаться! Он: айда! *(Маруся хохочет, стягивает с себя платье, оно поддается туго.)* А у Ксеньки-то спина небось полна прыщей, и ноги три года не мыла... Она на меня тут язык свой спустила *(Маруся перекрыта с головой наполовину стянутым платьем):* ты, мол, фасон давишь, ты интересантка, ты то, ты се, на стариковы деньги позарилась, ну, тебя отошьют от этих денег... А я ей: знаешь что, Ксенька, — это я ей, — не дразни ты, Ксенька, моих собак... Сергей Иваныч слушает нас, помирает со смеху!.. *(Голой девической прекрасной рукой Маруся тащит к себе Менделя. Она снимает с него пиджак и швыряет пиджак на пол.)* Ну, иди сюда, скажи — Марусичка...

Мендель. Марусичка!

Маруся. Скажи — Марусичка, солнышко мое...

Старик хрипит, дрожит, не то плачет, не то смеется.

(Ласково.) Ах ты, рыло!

Пятая сцена

Синагога общества извозопромышленников на Молдаванке. Богослужение в пятницу вечером. Зажженные свечи. У амвона кантор Цвибак в талесе и сапогах. Прихожане оглушительно беседуют с богом, слоняются по синагоге, раскачиваются, отплевываются. Ужаленные внезапной пчелой благодати, они издают громовые восклицания, подпевают кантору неистовыми, привычными голосами, стихают, долго бормочут себе под нос и потом снова ревут, как разбуженные волы. В глубине синагоги, над фолиантом Талмуда склонились два древних еврея, два костистых горбатых гиганта с желтыми бородами, свороченными набок. Арье-Лейб, шамес, величественно расхаживает между рядами. На передней скамье толстяк с оттопыренными пушистыми щеками зажал между коленями мальчика лет десяти. Отец тычет мальчика в молитвенник. На боковой скамье Беня Крик. Позади него сидит Сенька Топун. Они не подают вида, что знакомы друг с другом.

Кантор *(возглашает).* Лху нранно ладонай норийо ицур ишейну!

Извозчики подхватили напев. Гудение молитвы.

Арбоим шоно окут бдойр воймар... *(Сдавленным голосом.)* Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Ширу ладонай шир ходош. Ой, пойте господу новую песню... *(Подходит к молящемуся еврею.)* Как стоит сено?

Еврей *(раскачивается)*. Поднялось.

Арье-Лейб. На много?

Еврей. Пятьдесят две копейки.

Арье-Лейб. Доживём, будет шестьдесят.

Кантор. Лифней адонай ки во мишпойт гоорец... Арье-Лейб, крысы!

Арье-Лейб. Довольно кричать, буян.

Кантор *(сдавленным голосом)*. Я увижу еще одну крысу — я сделаю несчастье.

Арье-Лейб *(безмятежно)*. Лифней адонай ки во, ки во... Ой, стою, ой, стою перед господом... Как овес?..

Второй еврей *(не прерывая молитвы)*. Рупь четыре, рупь четыре...

Арье-Лейб. С ума сойти!

Второй еврей *(раскачивается с ожесточением)*. Будет рупь десять, будет рупь десять...

Арье-Лейб. С ума сойти! Лифней адонай — ки во, ки во...

Все молятся. В наступившей тишине слышны отрывистые приглушенные слова, которыми обмениваются Беня Крик и Сенька Топун.

Беня *(склонился над молитвенником)*. Ну?

Сенька *(за спиной Бени)*. Есть дело.

Беня. Мы не сделали дела.

Сенька. Оптовое дело.

Беня. Что можно взять?

Сенька. Сукно.

Беня. Много сукна?

Сенька. Много.

Беня. Какой городовой?

Сенька. Городового не будет.

Беня. Ночной сторож?

Сенька. Ночной сторож в доле.

Беня. Соседи?

Сенька. Соседи согласны спать.

Беня. Что ты хочешь с этого дела?

Сенька. Половину.

Беня. Мы не сделали дела.

Сенька. Докладываешь батькино наследство?

Беня. Докладываю батькино наследство.

Сенька. Что ты даешь?

Беня. Мы не сделали дела.

Грянул выстрел. Кантор Цвибак застрелил пробежавшую мимо амвона крысу. Молящиеся воззрились на кантора. Мальчик, стиснутый скучными коленями отца, бьется, пытается вырваться. Арье-Лейб застыл с раскрытым ртом. Талмудисты подняли равнодушные большие лица.

Толстяк с пушистыми щеками. Цвибак, это босяцкая выходка!

Кантор. Я договаривался молиться в синагоге, а не в кладовке с крысами. *(Он оттягивает дуло револьвера, выбрасывает гильзу.)*

Арье-Лейб. Ай, босяк, ай, хам!

Кантор *(указывает револьвером на убитую крысу)*. Смотрите на эту крысу, евреи, позовите людей. Пусть люди скажут, что это не корова...

Арье-Лейб. Босяк, босяк, босяк!..

Кантор *(хладнокровно)*. Конец этим крысам. *(Он заворачивается в талес и подносит к уху камертон.)*

Мальчик разжал наконец плен отцовских коленей, ринулся к гильзе, схватил ее и убежал.

1-й еврей. Гоняешься целый день за копейкой, приходишь в синагогу получить удовольствие и — ná тебе!

Арье-Лейб *(визжит)*. Евреи, это шарлатанство! Евреи, вы не знаете, что здесь происходит! Молочники дают этому босяку на десять рублей больше... Иди к молочникам, босяк, целуй молочников туда, куда ты их должен целовать!

Сенька *(хлопает кулаком по молитвеннику)*. Пусть будет тихо! Нашли себе толчок!

Кантор *(торжественно)*. Мизмойр лдовид!

Все молятся.

Беня. Ну?

Сенька. Есть люди.

Беня. Какие люди?

Сенька. Грузины.

Беня. Имеют оружие?

Сенька. Имеют оружие.

Беня. Откуда они взялись?

Сенька. Живут рядом с вашим покупателем.

Беня. С каким покупателем?

Сенька. Который ваше дело покупает.

Беня. Какое дело?

Сенька. Ваше дело — площадки, дом, весь извоз.

Беня *(оборачивается)*. Сказился?

Сенька. Сам говорил.

Беня. Кто говорил?

Сенька. Мендель говорил, отец... Едет с Маруськой в Бессарабию сады покупать.

Гул молитвы.

Беня. Сказился.

Сенька. Все люди знают.

Беня. Божись!

Сенька. Пусть мне счастья не видеть!

Беня. Матерью божись!

Сенька. Пусть я мать живую не застану!

Беня. Еще божись, стерва!

Сенька *(пренебрежительно)*. Дурак ты!

Кантор. Борух ато адонай...

Шестая сцена

Двор Криков. Закат. Семь часов вечера. У конюшни, на телеге с торчащим дышлом, сидит Беня и чистит револьвер. Левка прислонился к двери конюшни. Арье-Лейб объясняет сокровенный смысл «Песни песней» тому самому мальчику, который в пятницу вечером удрал из синагоги. Никифор без толку мечется по двору. Он, видимо, чем-то обеспокоен.

Беня. Время идет. Дай времени дорогу!

Левка. Зарезать ко всем свиньям!

Беня. Время идет. Посторонись, Левка! Дай времени дорогу!

Арье-Лейб. «Песня песней» учит нас — ночью на ложе моем искала я того, кого люблю... Что же говорит нам Рашэ? [1]

Никифор *(указывает Арье-Лейбу на братьев)*. Вон выставились коло конюшни, как дубы.

Арье-Лейб. Вот что говорит нам Рашэ: ночью — это значит днем и ночью. Искала я на ложе моем... Кто

[1] Рашэ — комментатор Священного писания и Талмуда.

искал? — спрашивает Рашэ. Израиль искал, народ Израиля. Того, кого люблю... Кого же любит Израиль? — спрашивает Рашэ. Израиль любит Тору, Тору любит Израиль.

Никифор. Я спрашиваю, зачем без дела коло конюшни стоять?

Беня. Кричи больше.

Никифор *(мечется по двору)*. Я свое знаю... У меня хомуты пропадают. Кого хочу, того подозревать буду.

Арье-Лейб. Старый человек учит ребенка закону, а ты мешаешь ему, Никифор...

Никифор. Зачем они коло конюшни выставились, как дубы паршивые?

Беня *(разбирает револьвер, чистит)*. Замечаю я, Никифор, что ты очень растревожился.

Никифор *(кричит, но в голосе его нет силы)*. Я хомутам вашим не присягал! У меня, если хотите знать, брат на деревне живет, еще при силах! Меня, если хотите знать, брат с дорогой душой возьмет...

Беня. Кричи, кричи перед смертью.

Никифор *(Арье-Лейбу)*. Старик, скажи, зачем они так делают?

Арье-Лейб *(поднимает на кучера выцветшие глаза)*. Один человек учит закон, а другой кричит, как корова. Разве так оно должно быть на свете?

Никифор. Ты смотришь, старик, а чего ты видишь? *(Уходит.)*

Беня. Растревожился наш Никифор.

Арье-Лейб. Ночью искала я на ложе моем. Кого искала? — учит нас Рашэ.

Мальчик. Рашэ учит нас — искала Тору.

Слышны громкие голоса.

Беня. Время идет. Посторонись, Левка, дай времени дорогу!

Входят Мендель, Бобринец, Никифор, Пятирубель под хмельком.

Бобринец *(оглушительным голосом)*. Если не ты, Мендель, отвезешь в гавань мою пшеницу, так кто же отвезет? Если не к тебе, Мендель, я пойду, так к кому же мне прийти?

Мендель. Есть на свете люди, кроме Менделя. Есть на свете извоз, кроме моего извоза.

Бобринец. Нет в Одессе извоза, кроме твоего... Или ты пошлешь меня к Буцису с его клячами на трех ногах, к Журавленке с его побитыми лоханками?..

Мендель *(не глядя на сыновей)*. Люди крутятся около моей конюшни.

Никифор. Выставились, как дубы паршивые.

Бобринец. Запряжешь мне завтра десять пар, Мендель, отвезешь пшеницу, получишь деньги, пропустишь шкалик, споешь песню... Ай, Мендель!

Пятирубель. Ай, Мендель!

Мендель. Зачем люди крутятся около моей конюшни?

Никифор. Хозяин, за-ради бога!..

Мендель. Ну?

Никифор. Тикай со двора, хозяин, бо сыны твои...

Мендель. Что сыны мои?

Никифор. Сыны твои хочут лупцовать тебя.

Беня *(прыгнул с телеги на землю. Нагнув голову, он говорит раздельно)*. Пришлось мне слышать от чужих людей, мне и брату моему Левке, что вы продаете, папаша, дело, в котором есть золотник и нашего пота...

Соседи, работавшие во дворе, придвигаются поближе к Крикам.

Мендель *(смотрит в землю)*. Люди, хозяева...

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Люди и хозяева, вот смотрите на мою кровь *(он поднимает голову)*, на мою кровь, которая заносит на меня руку...

Беня. Правильно ли мы слышали, я и брат мой Левка?

Мендель. Ой, не возьмете!.. *(Он кидается на Левку, валит его с ног, бьет по лицу.)*

Левка. Ой, возьмем!..

Небо залито кровью заката. Старик и Левка откатываются за сарай.

Никифор *(прислонился к стене)*. Ох, грех...

Бобринец. Левка, отца?!

Беня *(отчаянным голосом)*. Никишка, счастьем тебе клянусь, он коней, дом, жизнь — все девке под ноги бросил!

Никифор. Ох, грех...

Пятирубель. Убью, кто разнимет! Чур, не разнимать!

Хрипение и стоны доносятся из-за сарая.

Не уродился еще на земле человек против Менделя.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Я ста рублями отвечу...

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Старик и Левка вываливаются из-за сарая. Они вскакивают на ноги, но Мендель снова сшибает сына.

Бобринец. Левка, отца?!

Мендель. Не возьмешь! *(Он топчет сына.)*

Пятирубель. Ста рублями любому отвечу...

Мендель. Не возьмешь!

Беня. Ой, возьмем! *(Он с силой опускает рукоятку револьвера на голову отца.)*

Молчание. Все ниже опускаются пылающие леса заката.

Никифор. Теперь убили.

Пятирубель *(склонился над неподвижным Менделем)*. Миш?..

Левка *(приподнимается, хватаясь за землю кулаками. Он плачет и топает ногой)*. Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель. Миш!..

Беня *(оборачивается к толпе зевак)*. Что вы здесь забыли?

Пятирубель. А я говорю — еще не вечер. Еще тыща верст до вечера.

Арье-Лейб *(на коленях перед поверженным стариком)*. Ай, русский человек, зачем шуметь, что еще не вечер, когда ты видишь, что перед нами уже нет человека?

Левка *(кривые ручьи слез и крови текут по его лицу)*. Он под низ живота меня бил, сука!

Пятирубель *(отходит, пошатываясь)*. Двое — на одного.

Арье-Лейб. Иди со двора, Иван.

Пятирубель. Двое — на одного... Стыд, стыд на всю Молдаву! *(Уходит, спотыкаясь.)*

Арье-Лейб вытирает мокрым платком раздробленную голову Менделя. В глубине двора неверными кругами движется Нехама. Она становится на колени рядом с Арье-Лейбом.

Нехама. Не молчи, Мендель.

Бобринец *(густым голосом)*. Довольно строить штуки, старый шутник!

Нехама. Кричи что-нибудь, Мендель!

Бобринец. Вставай, старый ломовик, прополощи глотку, пропусти шкалик...

На земле, расставив босые ноги, сидит Левка. Он не торопясь выплевывает изо рта длинные ленты крови.

Беня *(загнал зевак в тупик, прижал к стене обезумевшего от страха парня лет двадцати и взял его за грудь)*. Ну-ка, назад!

Молчание. Вечер. Синяя тьма, но над тьмою небо еще багрово, раскалено, изрыто огненными ямами.

Седьмая сцена

Каретник Криков — сваленные в кучу хомуты, распряженные дрожки, сбруя. Видна часть двора.

В дверях за небольшим столом пишет Беня. На него наскакивает лысый нескладный мужик Семен, тут же шныряет мадам Попятник. Во дворе на телеге с торчащим дышлом сидит, свесив ноги, Майор. К стенке приставлена новая вывеска. На ней золотыми буквами: «Извозопромышленное заведение Мендель Крик и сыновья». Вывеска украшена гирляндами подков и скрещенными кнутами.

Семен. Я ничего не знаю... Мне штоб деньги были...

Беня *(продолжает писать)*. Грубо говоришь, Семен.

Семен. Мне штоб деньги были... Я глотку вырву!

Беня. Добрый человек, я на тебя плевать хочу!

Семен. Ты куда старика дел?

Беня. Старик больной.

Семен. Вон тута на стенке он писал, сколько за овес следует, сколько за сено — все чисто. И платил. Двадцать годов ему возил, худого не видел.

Беня *(встает)*. Ты ему возил, а мне не будешь, он на стенке писал, а я не буду писать, он платил тебе, а я, может, и не заплачу, потому что...

Мадам Попятник *(с величайшим неодобрением разглядывает мужика)*. Человек, когда он дурак, — это очень паскудно.

Беня. ...потому что ты можешь у меня помереть, не поужинав, добрый человек.

Семен *(струсил, но еще петушится)*. Мне штоб деньги были!

Мадам Попятник. Я не философка, мосье Крик, но я вижу, что на свете живут люди, которые совсем не должны жить на свете.

Беня. Никифор!

Входит Никифор, он смотрит исподлобья, говорит нехотя.

Никифор. Я Никифор.

Беня. Рассчитаешь Семена и возьмешь у Грошева.

Никифор. Там поденные пришли, спрашивают, кто с ними уговариваться будет.

Беня. Я буду уговариваться.

Никифор. Стряпка там шурует. У ней самовар хозяин в заклад брал. У кого, спрашивает, самовар выкупать?

Беня. У меня выкупать... Семена рассчитаешь вчистую. Возьмешь у Грошева сена пятьсот пудов...

Семен *(остолбенел)*. Пятьсот?! Двадцать годов возил...

Мадам Попятник. За свои деньги можно достать и сено, и овес, и вещи получше сена.

Беня. Овса — двести.

Семен. Я возить не отказываюсь.

Беня. Потеряй мой адрес, Семен.

Семен мнет шапку, вертит шеей, уходит, оборачивается, опять уходит.

Мадам Попятник. Один паскудный мужик и так разволновал вас... Боже мой, если бы люди захотели вспомнить, кто им остался должен! Еще сегодня я говорю моему Майору: муж, миленький муж, Мендель Крик заслужил у вас эти несчастные два рубля...

Майор *(мелодическим глухим голосом)*. Рубль девяносто пять.

Беня. Какие два рубля?

Мадам Попятник. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить!.. В прошлый четверг у мосье Крика было дивное настроение, он заказал военное... Сколько раз военное, Майор?

Майор. Военное — девять раз.

Мадам Попятник. И потом танцы...

Майор. Двадцать один танец.

Мадам Попятник. Вышло рубль девяносто пять. Боже мой, заплатить музыканту — это было у мосье Крика на первом плане...

Шлепая сапогами, входит Никифор. Он смотрит в сторону.

Никифор. Потаповна пришла.

Беня. Зачем мне знать, что кто-то пришел?

Никифор. Грозится.

Беня. Зачем мне знать...

Припадая на ногу, вламывается Потаповна. Старуха пьяна. Она устремляет на Беню мутные немигающие глаза.

Потаповна. Цари наши...

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна. Цари наши...

Никифор. Пошла дурить!

Потаповна. Д-ж-ж, жидовские шарики жужжат... Прыгают в голове шарики — д-ж-ж-ж...

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна *(бьет по земле кулаком)*. Правильно, правильно! Нехай умный панует, а свинья в монопольку...

Мадам Попятник. Интеллигентная дама!

Потаповна *(разбрасывает по земле медяки)*. Вот сорок копеек заработала... Встала, света не было, мужиков на Балтской дороге поджидала... *(Задирает голову к небу.)* Теперь сколько часов будет? Три будет?

Беня. В чем суть, мадам Холоденко?

Потаповна. Д-ж-ж-ж, пустил шарики...

Беня. Никифор!

Никифор. Ну?

Потаповна *(подманивает Никифора толстым слабым пьяным пальцем)*. Девочка-то наша занеслась, Никиша!

Мадам Попятник *(присела и зажглась)*. Интрига, ай, какая интрига!

Беня. Что вы потеряли здесь, мадам Попятник, и что вы хотите здесь найти?

Мадам Попятник *(приседает, глазки ее ворочаются, стреляют, сыплют искры)*. Я иду... я иду... Дай бог свидеться в счастье, в удовольствии, в добрый час, в счастливую минуту!.. *(Она дергает мужа за руки, пятится,*

вертится, глаза у нее стали косые и светят вбок черным огнем.)

Майор тащится за женой и шевелит пальцами. Наконец они исчезают.

Потаповна *(размазывает слезы по мятому дряблому лицу)*. Ночью я к ней подобралась, грудь тронула, а у ней уже налилось, в руке не помещается.

Беня *(лоск с него слетел. Он говорит быстро, оглядывается)*. Какой месяц?

Потаповна *(не мигая смотрит она на Беню с земли)*. Четвертый.

Беня. Врешь!

Потаповна. Ну, третий.

Беня. Чего тебе от нас надо?

Потаповна. Д-ж-ж, пустил шарики...

Беня. Чего тебе надо?

Потаповна *(подвязывает платок)*. Вычистка сто рублей стоит.

Беня. Двадцать пять!

Потаповна. Портовых наведу.

Беня. Портовых наведешь?.. Никифор!

Никифор. Я — Никифор.

Беня. Взойди к папаше и спроси его, приказывает он давать двадцать пять...

Потаповна. Сто!

Беня. ...двадцать пять рублей на вычистку или не приказывает?

Никифор. Не взойду я.

Беня. Не взойдешь?! *(Он бросается к ситцевой занавеске, разделяющей каретник на две половины.)*

Никифор *(хватает Беню за руки)*. Парень, я бога не боюсь... Я бога видел и не испугался... Я убью и не испугаюсь...

Занавеска трепещет и раздвигается. Выходит Мендель. За спину у него закинуты сапоги. Лицо его сине и одутловато, как лицо мертвеца.

Мендель. Отоприте.

Потаповна *(лезет по полу)*. Ай, страшно!

Никифор. Хозяин!

К каретнику приближаются Арье-Лейб и Левка.

Мендель. Отоприте.

Потаповна *(лезет по полу)*. Ай, страшно!

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша.

Мендель. Ты отопрешь мне ворота, Никифор, сердце мое...

Никифор *(падает на колени)*. Великодушно прошу вас, хозяин, не срамитесь передо мной, простым человеком!

Мендель. Почему ты не хочешь отпереть ворота, Никифор? Почему ты не хочешь выпустить меня из двора, в котором я отбыл мою жизнь? *(Голос старика усиливается, свет разгорается на дне его глаз.)* Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены, хозяином над моими конями. Он видел силу мою, и двадцать моих жеребцов, и двенадцать площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, большие, как столбы, и руки мои, злые руки мои... А теперь отоприте мне, дорогие сыны, пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть я уйду из этого двора, который видел слишком много...

Беня. Взойдите в помещение к вашей супруге, папаша! *(Он приближается к отцу.)*

Мендель. Не бей меня, Бенчик.

Левка. Не бей его.

Беня. Низкие люди!.. *(Пауза.)* Как могли вы... *(Пауза.)* Как могли вы сказать то, что вы только что сказали?

Арье-Лейб. Отчего вы не видите, люди, что вам надо уйти отсюда?

Беня. Звери, о звери!.. *(Он быстро уходит. Левка за ним.)*

Арье-Лейб *(ведет Менделя к лежанке)*. Мы отдохнем, Мендель, мы заснем...

Потаповна *(поднялась с земли и заплакала)*. Убили сокола!..

Арье-Лейб *(укладывает Менделя на лежанке за занавеской)*. Мы заснем, Мендель...

Потаповна *(валится на землю рядом с лежанкой, она целует свисающую безжизненную руку старика)*. Сыночек мой, любочка моя!

Арье-Лейб *(перекрывает лицо Менделя платком, садится и начинает тихо, издалека)*. В старинные времена жил человек Давид. Он был пастух и потом был царь,

царь над Израилем, над войсками Израиля и над мудрецами его...

Потаповна *(всхлипывает)*. Сыночек мой!

Арье-Лейб. Богатство испытал Давид и славу, но не узнал сытости. Сила жаждет, и только печаль утоляет сердце. Состарившись, увидел Давид-царь на крышах Иерусалима, под небом Иерусалима Вирсавию, жену Урии-военачальника. Грудь Вирсавии была красива, ноги ее были красивы, веселье ее было велико. И был послан Урия-военачальник в битву, и царь соединился с Вирсавией, с женой мужа, еще не умерщвленного. Грудь ее была красива, веселье ее было велико...

Восьмая сцена

Столовая в доме Криков. Вечер. Комната ярко освещена доморощенной висячей лампой, свечами, вставленными в канделябры, и старинными голубыми лампами, ввинченными в стену. У стола, убранного цветами, заставленного закусками и вином, суетится мадам Попятник, облачившаяся в шелковое платье. В глубине столовой безмолвно сидит Майор. На нем вздулась бумажная манишка, флейта покоится на его коленях, он шевелит пальцами и двигает головой. Много гостей. Одни расхаживают по анфиладе раскрытых комнат, другие сидят у стены. В столовую входит беременная Клаша Зубарева. На ней платок, расписанный гигантскими цветами. За Клашей вваливается пьяный Левка, наряженный в парадную гусарскую форму.

Левка *(орет кавалерийские сигналы)*.

Всадники, други, вперед!
Рысью вперед!
По временам коням
Освежайте рот.

Клаша *(хохочет)*. Ой, живот! Ой, выкину!..

Левка. Левый шенкель приложи и направо поверни!

Клаша. Ой, уморил!..

Проходят. Навстречу им Боярский в сюртуке и Двойра.

Боярский. Мамзель Крик, на черное я не скажу, что оно белое, и на белое не позволю себе сказать, что оно черное. С тремя тысячами мы ставим конфексион на Дерибасовской и венчаемся в добрый час.

Двойра. Но почему сразу все три тысячи?

Боярский. Потому что мы имеем сегодня июль на дворе, а июль — это же не сентябрь. Демисезонный товар работает у меня июль, а сентябрь работает у меня саки... Что вы имеете после сентября? Ничего. Сентяб, октяб, нояб, декаб... На ночь я не скажу, что это день, и на день не позволю себе сказать, что это ночь...

Проходят. Появляются Беня и Бобринец.

Беня. У вас готово, мадам Попятник?

Мадам Попятник. Николаю Второму не стыдно сесть за такой стол!

Бобринец. Вырази мне твою мысль, Беня.

Беня. Моя мысль: еврей не первой молодости, еврей, отходивший всю свою жизнь голый, и босой, и замазанный, как ссыльнопоселенец с острова Сахалина... И теперь, когда он, благодаря бога, вошел в свои пожилые годы, надо сделать конец этой бессрочной каторге, надо сделать, чтобы суббота была субботой...

Проходят Боярский и Двойра.

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом, я хочу, чтобы вы меня немножко любили, Боярский.

Боярский. А что с вами делать, если не любить вас? На котлеты вас рубить? Смешно, ей-богу!..

Проходят. У стены, под голубой лампой, сидит степенный прасол и парень в тройке, с толстыми ногами. Парень осторожно грызет подсолнухи и прячет шелуху в карман.

Парень с толстыми ногами. Р-раз ему в морду, два ему в морду, старик с катушек и слетел.

Прасол. Татары — и те стариков почитают. Жизнь пройти — не поле перейти.

Парень с толстыми ногами. Кабы человек ловчился жить, а то... *(сплевывает шелуху)*, а то живет, как поживется. За что почитать-то?

Прасол. Что с дураком толковать-то?

Парень с толстыми ногами. Бенчик сена одного тыщу пудов купил.

Прасол. Старик по сто покупал — хватало.

Парень с толстыми ногами. Старика они все равно зарежут.

Прасол. Это жиды-то? Это отца-то?

Парень с толстыми ногами. Зарежут до смерти.

Прасол. Толкуй с дураком...

Проходят Беня и Бобринец.

Бобринец. Что же ты хочешь, Беня?

Беня. Я хочу, чтобы суббота была субботой. Я хочу, чтобы мы были люди не хуже других людей. Я хочу ходить вниз ногами и вверх головой... Ты понял меня, Бобринец?

Бобринец. Я понял тебя, Бенчик.

У стены рядом с Пятирубелем сидят надувшиеся от величия богачи муж и жена Вайнер.

Пятирубель *(тщетно ищет у них сочувствия)*. Городовикам ремни обрезал, на главной почте швейцара бил. По четверти выпивал, не закусывая, всю Одессу в руках держал... Вот какой старик был!

Вайнер долго ворочает тяжелым слюнявым языком, но разобрать, что он говорит, невозможно.

(Робко.) Они гундосые?

Мадам Вайнер *(злобно)*. Ну да!

Проходят Двойра и Боярский.

Боярский. Сентяб, октяб, нояб, декаб...

Двойра. И потом, я хочу ребенка, Боярский.

Боярский. Вот видите, ребенок при конфексионе — это красиво, это имеет вид. А ребенок без дела — какой это может иметь вид?

В величайшем возбуждении влетает мадам Попятник.

Мадам Попятник. Бен Захарья приехал! Раввин... Бен Захарья...

Комната наполняется гостями. Среди них Двойра, Левка, Беня, Клаша Зубарева, Сенька Топун; напомаженные кучера, переваливающиеся лавочники, пересмеивающиеся бабы.

Парень с толстыми ногами. На деньги и раввин прибежал. Тут как тут.

Арье-Лейб и Бобринец вкатывают большое кресло. Оно прячет в развороченных своих недрах крохотное тельце Бен Захарьи.

Бен Захарья *(визгливо)*. Еще только рассвет чихаст, еще бог на небе красной водой умывается...

Бобринец *(хохочет, предвкушая замысловатый ответ)*. Почему красной, рабби?

Бен Захарья. ...еще я на спине лежу, как таракан...

Бобринец. Почему на спине, рабби?

Бен Захарья. По утрам бог переворачивает меня на спину, чтобы я не мог молиться. Богу надоели мои молитвы...

Бобринец шумно хохочет.

Еще курицы не вставали, а меня будит Арье-Лейб: бегите к Крикам, рабби, у них ужин, у них обед. Крики дадут вам пить, они дадут вам есть...

Беня. Они дадут вам пить, они дадут вам есть, все, что вы захотите, рабби.

Бен Захарья. Все, что я захочу?.. И лошадей своих отдашь?

Беня. И лошадей моих отдам.

Бен Захарья. Сбегайте тогда, евреи, в погребальное братство, запрягите его лошадей в колесницу и отвезите меня... куда?

Бобринец. Куда, рабби?

Бен Захарья. На второе еврейское кладбище, дуралей!

Бобринец *(шумно хохочет, срывает с раввина ермолку и целует его облезшую, розовую макушку)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Арье-Лейб *(представляет Беню)*. Это он и есть, рабби, сын Менделя — Бенцион.

Бен Захарья *(жует губами)*. Бенцион... сын Сиона... *(Молчит.)* Соловья не кормят баснями, сын Сиона, а женщин мудростью...

Левка *(оглушительным голосом)*. Кидайтесь на стулья, урканы, жмите скамейки!

Клаша *(качает головой, улыбается)*. Ох, здоровый!

Беня *(мечет на брата негодующий взгляд)*. Дорогие, присаживайтесь! Мосье Бобринец сядет рядом с рабби.

Бен Зхарья *(ерзает в кресле)*. Зачем я сяду с этим евреем, длинным, как наше изгнание? Пусть государственный банк *(тычет пальцем в Клашу)* сядет рядом со мной.

Бобринец *(предвкушая новую остроту)*. Почему государственный банк?

Бен Зхарья. Она лучше банка. В нее хорошо положишь, — она такой процент даст, что пшенице завидно. Плохое в нее положишь, — она всеми кишками заскрипит, чтобы выменять поломанную твою копейку на новый золотой... Она лучше банка, она лучше банка...

Бобринец *(поднял кверху палец)*. Надо понимать, что он говорит.

Бен Зхарья. А где же звезда наша во Израиле, где хозяин дома сего, где рабби Мендель Крик?

Левка. Он сегодня больной.

Беня. Рабби, он здоров... Никифор!

В дверях показывается Никифор в затрапезном своем армяке.

Пусть взойдет папаша со своей супругой.

Молчание.

Никифор *(отчаянным голосом)*. Уважающие гости!..

Беня *(медленно)*. Пусть взойдет папаша.

Арье-Лейб. Бенчик, у нас, евреев, отца не срамят перед людьми.

Левка. Рабби, человек так не мучает кабанчика, как он мучает папашу.

Вайнер возмущенно лопочет, брызгая слюной.

Беня *(склоняется к мадам Вайнер)*. Что он говорит?

Мадам Вайнер. Он говорит — стыд и срам!

Арье-Лейб. Евреи так не делают, Беня!

Клаша. Расти сынов...

Беня. Арье-Лейб, старый человек, старый сват, служитель в синагоге биндюжников и кладбищенский кантор, не расскажешь ли ты мне, как делаются дела у людей?..

(Он стучит кулаком по столу и говорит с расстановкой.) Пусть взойдет папаша!

Никифор исчез. Склонив голову, расставив ноги, стоит Беня посреди комнаты. Медленная кровь заливает его лицо. Молчанье. И только бессмысленное бормотанье Бен Зхарьи нарушает томительную тишину.

Бен Зхарья. Бог умывается на небе красной водой. *(Молчит, ерзает в кресле.)* Почему красной, почему не белой? Потому что красная веселее белой...

Половинки боковой двери скрипят, стонут и расходятся. Все лица оборачиваются в ту сторону. Показывается Мендель с иссеченным запудренным лицом. Он в новом костюме. С ним Нехама в наколке, в тяжелом бархатном платье.

Беня. Друзья, сидящие в моем доме! Этот бокальчик позвольте мне поднять за моего отца, за труженика Менделя Крика, и его супругу, Нехаму Борисовну, которые тридцать пять лет идут по совместной дороге жизни. Дорогие! Мы знаем, слишком хорошо мы знаем, что никто не выложил цементом эту дорогу, никто не поставил скамеек на длинном этом пути, и оттого, что великие кучи людей пробежали по этой дороге, она не стала легче, она стала тяжелее. Друзья, сидящие в моем доме! Я жду от вас, что вы не разбавите водой вино в ваших стаканах и вино в ваших сердцах...

Вайнер восторженно лопочет.

Что он говорит?

Мадам Вайнер. Он говорит — ура!

Беня *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!.. *(Подносит отцу и матери вино.)* Наши гости почитают вас, папаша. Скажите слово нашим гостям.

Мендель *(озирается и говорит тихо)*. Желаю доброго здоровья...

Беня. Папаша хочет сказать, что он жертвует сто рублей в чью-нибудь пользу.

Прасол. Толкуют мне про жидов...

Беня. Пятьсот рублей жертвует папаша. В чью пользу, рабби?

Бен Зхарья. В чью пользу? Молоко в девушке не должно киснуть, евреи... В пользу невест-бесприданниц надо пожертвовать!

Бобринец *(заливается хохотом)*. Ай, хулиган!.. Ай, умница!..

Мадам Попятник. Я даю туш.

Беня. Давайте!

Заунывный туш оглашает комнату. Вереница гостей с бокалами тянется к Менделю и Нехаме.

Клаша Зубарева. Ваше здоровье, дедушка!

Сенька Топун. Вагон удовольствий, папаша, сто тысяч на мелкие расходы!

Беня *(ни на кого не глядя)*. Учи меня, Арье-Лейб!

Бобринец. Мендель, дай бог мне иметь такого сына, как твой сын!

Левка *(через весь стол)*. Папаша, не серчайте! Папаша, вы свое отгуляли...

Прасол. Толкуют мне про жидов! Я жидов получше вашего знаю...

Пятирубель *(лезет к Бене и порывается целовать его)*. Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь!

Громкое рыдание раздается за спиной Бени. Слезы текут по лицу Арье-Лейба.

Арье-Лейб. Пятьдесят лет, Бенчик! Пятьдесят лет вместе с твоим отцом... У тебя был хороший отец, Беня!

Вайнер *(обрел дар речи)*. Выведите его!

Мадам Вайнер. Боже, какие штуки!

Боярский. Арье-Лейб, вы ошиблись. Теперь надо смеяться.

Вайнер. Выведите его!

Арье-Лейб *(всхлипывает)*. У тебя был хороший отец, Беня...

Мендель бледнеет под своей пудрой. Он протягивает Арье-Лейбу новый платок. Тот вытирает слезы. Плачет и смеется.

Бобринец. Болван, вы не у себя на кладбище!

Пятирубель. Свет наскрозь пройдете, такого Бенчика не сыщете. Я об заклад буду биться...

Беня. Дорогие, присаживайтесь!

Левка. Жмите скамейки...

Гром сдвигаемых стульев. Менделя усаживают рядом с рабби и Клашей Зубаревой.

Бен Зхарья. Евреи!

Бобринец. Тихо чтоб было!

Бен Зхарья. Старый дуралей Бен Зхарья хочет сказать слово...

Левка фыркает, падает грудью на стол, но Беня встряхивает его, и он замолкает.

День есть день, евреи, и вечер есть вечер. День затопляет нас потом трудов наших, но вечер держит наготове веера своей божественной прохлады. Иисус Навин, остановивший солнце, был злой безумец. И вот Мендель Крик, прихожанин нашей синагоги, оказался не умнее Иисуса Навина. Всю жизнь хотел он жариться на солнцепеке, всю жизнь хотел он стоять на том месте, где его застал полдень. Но бог имеет городовых на каждой улице, и Мендель Крик имел сынов в своем доме. Городовые приходят и делают порядок. День есть день, и вечер есть вечер. Все в порядке, евреи. Выпьем рюмку водки!

Левка. Выпьем рюмку водки!..

Дребезжанье флейты, звон бокалов, бессвязные крики, громовой хохот.

МАРИЯ

Пьеса в 8 картинах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Муковнин Николай Васильевич.
Людмила — его дочь.
Фельзен Катерина Вячеславовна.
Дымшиц Исаак Маркович.
Голицын Сергей Илларионович — бывший князь.
Нефедовна — нянька в доме Муковнина.
Евстигнеич, Бишонков, Филипп — инвалиды.
Висковский — бывший ротмистр гвардии.
Кравченко.
Мадам Дора.
Надзиратель — в милиции.
Калмыкова — горничная в номерах на Невском, 86.
Агаша — дворничиха.
Андрей, Кузьма — полотеры.
Сушкин.
Сафонов — рабочий.
Елена — его жена.
Нюшка.
Милиционер.
Пьяный — в милиции.
Красноармеец — с фронта.

Действие происходит в Петрограде, в первые годы революции.

Картина первая

Номера на Невском. Комната Дымшица — грязно, нагромождение мешков, ящиков, мебели. Два инвалида, Бишонков и Евстигнеич, раскладывают привезенные продукты. У Евстигнеича — тучного человека с большим красным лицом — выше колен отняты ноги. У Бишонкова зашпилен пустой рукав. На груди у инвалидов — медали, георгиевские кресты. Дымшиц бросает на счетах.

Евстигнеич. Дорогу всю расшлепали... Зандберг был на Вырице, людям жить давал, — убрали.

Бишонков. Слишком тиранят, Исаак Маркович.

Дымшиц. А Королев есть?

Евстигнеич. Зачем «есть», — коцнули. Дорогу как есть расшлепали, все заградиловки новые.

Бишонков. Слишком стало затруднительно с продуктовым делом, Исаак Маркович. К одной заградиловке привыкнешь, а ее уже нет. Хоть бы отбирали, а то ведь смерть к глазам приставляют.

Евстигнеич. Ума не дашь... Кажный день изобретение делают... Подъезжаем нонче к Царскосельскому — стрельба. Что такое?.. Думаем — власть отошла, а они это моду такую взяли — допрежде всякого разбору бахать.

Бишонков. Большое богатство продуктов нонешний день отобрали. Деткам, говорят, пойдет... В Царском Селе в настоящее время одни дети — колония считается.

Евстигнеич. Деткам, да с бородой.

Бишонков. А если я голодный, неужели ж я себе не возьму? Обязательно я себе возьму, если я голодный.

Дымшиц. Где Филипп? Я о Филиппе думаю... Зачем вы человека бросили?

Бишонков. Мы его, Исаак Маркович, не бросали: он чувства свои потерял.

Евстигнеич. Водит его кто-нибудь...

Бишонков. Одно слово — тиранство, Исаак Маркович.

Евстигнеич. Того же Филиппа взять: мужчина рослый, заметный, а внутренности нет, внутренность слабая... Подъезжаем к вокзалу — стрельба, народ плачет, падает... Я ему говорю: «Филипп, говорю, мы форткой на Загородный пройдем, там вся цепочка своя». А уж он не тот, потерялся. «Я, говорит, опасываюсь идти». — «Ну, говорю, опасываешься, — сиди... Спиртонос — божий человек, только в морду дадут, чего тебе бояться? На тебе один пояс с вином...» А его уж к полу привалило. Мужчина сильный, лошадиная сила, а внутренность не та.

Бишонков. Мы так надеемся, Исаак Маркович, — отыщется. За ним следу большого нет.

Дымшиц. Почем колбасу брали?

Бишонков. Колбасу, Исаак Маркович, по восемнадцать тысяч брали, да и похужело. В настоящее время, что Витебск, что Петроград — один завод.

Евстигнеич *(открывает в стенке потайное место, переносит туда продукты)*. Подравняли Расею.

Дымшиц. Крупа почем?

Бишонков. Крупа, Исаак Маркович, девять тысяч, а слово напротив скажешь — не бери. Торговлей никак не интересуются. Он того только и ждет, чтобы тебе не понравилось. Такой кураж у этих купцов пошел — не передать!

Евстигнеич *(прячет в стену хлебы)*. Супруги сами хлебы пекли, свои труды клали... Кланяться велели.

Дымшиц. Дети как — живы, здоровы?

Бишонков. Дети живы, здоровы, очень благополучны. Одеваны в шубки, богатые детки... Супруга приехать просят.

Дымшиц. Больше делать нечего... *(Бросает на счетах.)* Бишонков!

Бишонков. Я.

Дымшиц. Не вижу пользы, Бишонков.

Бишонков. Слишком затруднительно стало, Исаак Маркович.

Дымшиц. Расчету не вижу, Бишонков.

Бишонков. Расчету, Исаак Маркович, никак не видать... У нас с Евстигнеичем такая думка, что надо на другой товар перекидаться. Продукт — он вещество громоздкое: мука — она громоздкая, крупа — громоздкая, ножка телячья — тоже громоздкая. Надо, Исаак Маркович, на другое перекидаться — на сахарин или, там, на камешки... Бриллиант — это прелестное вещество: за щеку положил — и нету.

Дымшиц. Филиппа нет... Я об Филиппе думаю.

Евстигнеич. Пожалуй, покалечили.

Бишонков. И то сказать, — инвалид по восемнадцатому году фирма была, а в настоящий момент...

Евстигнеич. Куда тебе, — образовались! Раньше у народа перед инвалидами совести не хватало, а теперь — ноль внимания. «Ты зачем инвалид?» — спрашивают. «У меня, говорю, бризантный снаряд обе ноги отобрал». — «А в этом, говорят, ничего такого особенного нет, у тебя, говорят, без страдания оторвало, сразу... Ты, говорят, страдания не принимал». — «Как это, говорю, страдания не принимал?» — «А так, говорят, известная вещь: тебе ноги под хлороформом подравняли, ты ничего и не слыхал. У тебя только с пальцами недоразумение, пальцы у тебя вроде стремят, чешутся, хотя они и отобраны, и больше ничего такого с тобой нет». — «Как ты, говорю, можешь это знать?» — «А так, говорит, — народ, слава те филькиной сучке, образовался». — «Видно, образовался, если инвалида с поезда скидает... Зачем ты, говорю, меня на путь скидаешь? Я калека...» — «А потому и скидаем, что нам в Расее, говорит, на калек глядеть обрыдло». И скидает, как поленницу... Я, Исаак Маркович, очень на наш народ обижаюсь.

Входит Висковский — в бриджах, в пиджаке. Рубаха расстегнута.

Дымшиц. Это вы?

Висковский. Это я.

Дымшиц. А где здравствуйте?

Висковский. Людмила Муковнина приходила к вам, Дымшиц?

Дымшиц. Здравствуйте собака съела?.. А если приходила, так что?

Висковский. Кольцо Муковниных у вас, я знаю, Мария Николаевна передать его вам не могла...

Дымшиц. Передали мне люди, не обезьяны.

Висковский. Как попало к вам это кольцо, Дымшиц?

Дымшиц. Люди дали, чтоб продать.

Висковский. Продайте мне.

Дымшиц. Почему вам?

Висковский. Пытались вы когда-нибудь быть джентльменом, Дымшиц?

Дымшиц. Я всегда джентльмен.

Висковский. Джентльмены не задают вопросов.

Дымшиц. Люди хотят валюту за кольцо.

Висковский. Вы должны мне пятьдесят фунтов.

Дымшиц. За какие такие дела?

Висковский. За дело с нитками.

Дымшиц. Которые вы просыпали...

Висковский. В конной гвардии нас не учили торговать нитками.

Дымшиц. Вы просыпали потому, что вы горячий.

Висковский. Дайте срок, маэстро, я научусь

Дымшиц. Что за учение, когда вы не слушаетесь? Вам говорят одно, вы делаете другое... На войне вы там ротмистр или граф, — я не знаю, кто вы там, — может быть, на войне нужно, чтобы вы были горячий, но в деле купец должен видеть, куда он садится.

Висковский. Слушаю-с.

Дымшиц. Я серчаю на вас, Висковский, я еще за другое на вас серчаю. Что это был за номер с княжной?

Висковский. Задумано, как побогаче.

Дымшиц. Вы знали, что она девушка?

Висковский. Самый цимис...

Дымшиц. Так вот, этого цимиса мне не надо. Я маленький человек, господин ротмистр, и не хочу, чтобы эта княжна приходила ко мне, как божья матерь с картины, и смотрела на меня глазами, как серебряные ложки... О чем шел разговор? — спрашиваю я вас. Пусть это будет женщина под тридцать, мы говорили, под тридцать пять, домашняя женщина, которая знает, почем пуд лиха, которая взяла бы мою крупу и печеный хлеб и четыреста граммов какао для детей — и не сказала бы мне потом: «Паршивый мешочник, ты меня запачкал, ты мною воспользовался».

Висковский. Про запас остается младшая Муковнина.

Дымшиц. Она врунья. Я не люблю женщину, когда она врунья... Почему вы меня со старшей не познакомили?

Висковский. Мария Николаевна уехала в армию.

Дымшиц. Вот это был человек — Мария Николаевна, вот тут было на что посмотреть, с кем поговорить... Вы дождались того, что она уехала.

Висковский. Со старшей это сложно, Дымшиц. Это очень сложно.

Евстигнеич. «Тебя, говорит, без страху убило, ты, говорит, отмучился», — вон ведь как он меня обеспечил...

Отдаленный выстрел, потом ближе; выстрелы учащаются. Дымшиц гасит свет, запирает двери на ключ. Свет из окна, зеленые стекла, мороз.

(Шепотом.) Житуха...

Бишонков. Окаянство!

Евстигнеич. Все матросня орудует...

Бишонков. Никак жизни нет, Исаак Маркович!

Стук в дверь. Молчание. Висковский вынимает револьвер из кармана, открывает предохранитель. Снова стук.

Кто там?

Филипп (*за дверью*). Я.

Евстигнеич. Голос дай... Кто это я?

Филипп. Откройте.

Дымшиц. Это Филипп.

Бишонков открывает дверь. В комнату проникает бесформенное огромное существо. Вошедший приваливается к стене, молчит. Вспыхивает свет. Половина Филиппова лица заросла диким мясом. Голова его упала на грудь, глаза закрыты.

В тебя стреляли?

Филипп. Не.

Евстигнеич. Наморился, Филипп?

Евстигнеич с Бишонковым снимают с Филиппа тулуп, верхнюю одежду, вытаскивают из-под нее резиновый костюм, бросают его на пол. Безрукий резиновый человек — второй Филипп — распростерт на полу. Пальцы Филиппа изрезаны, кровоточат.

Оборудовали как следует быть... Человеки зовемся...

Филипп *(голова его все свалена на грудь)*. По следу... по следу шел...

Евстигнеич. Он шел?

Филипп. Он.

Евстигнеич. В крагах?

Филипп. Он.

Евстигнеич. Таперича взялись...

Дымшиц. До дому довел?

Филипп *(с трудом выговаривая слова)*. До дому не довел... Стрельба перехватила, на стрельбу пошел...

Бишонков с Евстигнеичем подхватывают раненого, укладывают его.

Евстигнеич. Я тебе сказывал — воротами пройдем...

Филипп стонет, охает. Вдалеке выстрелы, пулеметная очередь, потом тишина.

Житуха...

Бишонков. Окаянство!..

Висковский. Где кольцо, маэстро?

Дымшиц. Приспичило с кольцом, горит под вами...

Картина вторая

Комната в доме Муковнина, служащая одновременно спальней, столовой, кабинетом, — комната 20-го года. Стильная старинная мебель; тут же «буржуйка», трубы протянуты через всю комнату; под печкой сложены мелко наколотые дрова. За ширмой одевается, перед тем как ехать в театр, Людмила Николаевна. На лампе греются щипцы для завивки волос. Катерина Вячеславовна гладит платье.

Людмила. Сударыня, ты отстала... В Мариинке теперь очень нарядная публика. Сестры Крымовы, Варя Мейендорф — все одеваются по журналу и живут превосходно, уверяю тебя.

Катя. Да кто теперь хорошо живет? Нет таких.

Людмила. Очень есть. Ты отстала, Катюша... Господа пролетарии входят во вкус: они хотят, чтобы женщина была изящна. Ты думаешь, твоему Редько нравится, когда ты ходишь замарашкой? Ничуть не нравится... Господа пролетарии входят во вкус, Катюша.

Катя. На твоем месте я бы ресниц не делала, и это платье без рукавов...

Людмила. Сударыня, вы забываете — я с кавалером.

Катя. Кавалер, пожалуй, не разберет.

Людмила. Не скажи. У него свой вкус, темперамент...

Катя. Рыжие горячи — это известно.

Людмила. Какой же он рыжий, мой Дымшиц? Он шоколадный.

Катя. И правда — у него так много денег?.. Висковский, по-моему, бредит.

Людмила. У Дымшица шесть тысяч фунтов стерлингов.

Катя. Все на калеках нажил?

Людмила. Ничего не на калеках... Вольно же было другим додуматься. У них артель, складчина. Инвалидов до сих пор не обыскивали, легче было провезти.

Катя. Нужно быть евреем, чтобы додуматься...

Людмила. Ах, Катюша, лучше быть евреем, чем кокаинистом, как наши мужчины... Один, смотришь, кокаинист, другой дал себя расстрелять, третий в извозчики пошел, стоит у «Европейской», седоков поджидает... Par le temps qui court [1] евреи вернее всего.

Катя. Да уж вернее Дымшица не найти.

Людмила. И потом, мы бабы... Katy, мы простые бабы, вот как дворникова Агаша говорит, «трепаться надоело». Мы не умеем быть неприкаянными, правда же, не умеем...

Катя. И детей родишь?

Людмила. Рожу двух рыженьких.

Катя. Значит — законный брак?

Людмила. С евреями иначе нельзя, Катюша. Они страшно семейственны, жена у них советчица, над детьми они трясутся... И потом — еврей всегда благодарен женщине, которая ему принадлежала. Поэтому — эта благородная черта — уважение к женщине.

Катя. Да ты откуда евреев так знаешь?

Людмила. Ну вот — «откуда». Папа в Вильне корпусом командовал, там все евреи... У папы приятель раввин был... Они все философы — их раввины.

Катя *(подает через ширму разглаженное платье)*. После театра — ужин?

Людмила. Не исключено.

---

[1] В наше время *(франц.)*.

Катя. Конечно, вы выпьете, Людмила Николаевна, порыв страсти, все потонуло в тумане...

Людмила. Пальцем в небо, сударыня!.. Манеж будет продолжаться месяц, два месяца — с евреями так надо. Еще даже не решено, будут ли поцелуи...

Входит генерал в валенках; шинель на красной подкладке переделана в халат; две пары очков.

Муковнин *(читает)*. «...Октября шестнадцатого дня тысяча восемьсот двадцатого года, в царствование благословенного императора Александра, рота лейб-гвардии Семеновского полка, забыв долг присяги и воинского повиновения начальству, дерзнула самовольно собраться в позднее вечернее время...» *(Подымает голову.)* В чем же оно выразилось — забвение присяги? Выразилось оно в том, что люди вышли в коридор после переклички и решили просить у командира роты отмены очередного смотра по десяткам на дому... у командира полка бывали и такие смотры. За это, за так называемый бунт, было определено наказание... какое? *(Читает.)* «...Нижних чинов, признанных зачинщиками, лишить живота, людей первой и второй рот, подавших пример беспорядка, наказать виселицей, рядовых, помянутых в параграфе третьем, в пример другим, прогнать шпицрутенами сквозь батальон по шести раз...»

Людмила. Разве это не ужасно?

Катя. Кто же спорит, что прежде было много жестокого?

Людмила. По-моему, большевики должны ухватиться за папину книгу. Им же выгодно, чтобы бранили старую армию.

Катя. Они все требуют к текущему моменту.

Муковнин. Я разбиваю семеновскую трагедию на две главы. Первая — исследование причин мятежа, вторая — описание бунта, истязаний, отсылки в рудники... История моя будет история казармы, — не перечень народов, а судьба всех этих Сидоровых и Прошек, отданных Аракчееву, сосланных на двадцатилетнюю военную каторгу.

Людмила. Папа, ты должен прочитать Кате главу об императоре Павле. Если бы жил Толстой, он оценил бы, я уверена.

Катя. В газетах все требуют к настоящему моменту.

Муковнин. Без познания прошлого — нет пути к

будущему. Большевики исполняют работу Ивана Калиты — собирают русскую землю. Мы, кадровые офицеры, нужны им хотя бы для того, чтобы рассказать о наших ошибках...

Звонок. Возня в прихожей. Входит Дымшиц с пакетами, в шубе.

Дымшиц. Здравия желаю, Николай Васильевич! Здравия желаю, Катерина Вячеславна! Людмила Николаевна в доме?

Катя. Ждет вас.

Людмила *(из-за ширмы)*. Я одеваюсь...

Дымшиц. Здравия желаю, Людмила Николаевна! На улице такая погода, что хороший хозяин собаку не выпустит... Меня привез Ипполит, наговорил полную голову, все шиворот-навыворот, — такого типа поискать надо... Мы не опоздаем, Людмила Николаевна?

Муковнин. На улице белый день, а они в театр.

Катя. Николай Васильевич, театры теперь начинают в пять часов дня.

Муковнин. Электричество экономят?

Катя. Во-первых, электричество. Потом, если поздно возвращаться, — разденут.

Дымшиц *(раскладывая пакеты)*. Маленький окорочок, Николай Васильевич. Я в этом не специалист, но мне его продали, как хлебный... Хлебом его кормили или чем другим — при этом мы не были...

Катя отошла в угол, курит.

Муковнин. Право, Исаак Маркович, вы слишком добры к нам.

Дымшиц. Немножко шкварок...

Муковнин *(не понял)*. Виноват!

Дымшиц. У вашего папы вы этого не кушали, но в Минске, в Вилюйске, в Чернобыле их уважают. Это кусочки от гусятины. Вы отведаете и скажете мне ваше мнение... Как поживает книжка, Николай Васильевич?

Муковнин. Книжка подвигается. Я подошел к царствованию Александра Павловича.

Людмила. Читается, как роман, Исаак Маркович. Я считаю, что это напоминает «Войну и мир», — там, где Толстой о солдатах говорит...

Дымшиц. Очень приятно слушать... На улице пусть стреляют, Николай Васильевич, на улице пусть

бьются головой об стенку, — вы должны делать свое. Кончите книжку — магарыч мой, и на первые сто экземпляров — я покупатель... Кусочек сальтисона, Николай Васильевич: сальтисон домашний, от одного немца...

Муковнин. Исаак Маркович, право, я рассержусь...

Дымшиц. Это для меня честь, чтобы генерал Муковнин на меня сердился... Сальтисон дивный! Этот немец был довольно видный профессор, теперь занимается колбасами... Людмила Николаевна, я сильно подозреваю, что мы опоздаем.

Людмила *(из-за ширмы)*. Я готова.

Муковнин. Сколько я вам должен, Исаак Маркович?

Дымшиц. Вы мне должны подкову от лошади, которая издохла сегодня на Невском проспекте.

Муковнин. Нет, серьезно...

Дымшиц. Хотите серьезно — две подковы от двух лошадей.

Из-за ширмы выходит Людмила Николаевна. Она ослепительна, стройна, румяна. В мочках ушей бриллианты. На ней черное бархатное платье без рукавов.

Муковнин. Хороша у меня дочка, Исаак Маркович?

Дымшиц. Не скажу — нет.

Катя. Вот это она и есть, Исаак Маркович, — русская красота.

Дымшиц. Не специалист в этом, но вижу, что хорошо.

Муковнин. Я вас еще со старшей моей познакомлю — с Машей.

Людмила. Предупреждаю: Мария Николаевна у нас любимица, — и вот, пожалуйте, любимица в солдаты ушла.

Муковнин. Какие же это солдаты, Люка?.. В политотдел.

Дымшиц. Ваше превосходительство, про политотдел спросите меня. Это те же солдаты.

Катя *(отводит Людмилу в сторону)*. Право, серег не надо.

Людмила. Ты думаешь?

Катя. Конечно, не надо. И потом — этот ужин...

Людмила. Сударыня, спите спокойно. Ученого

учить... *(Целует Катю.)* Катюша, ты глупая, милая... *(Дымшицу.)* Мои ботики... *(Отвернувшись, снимает серьги.)*

Дымшиц *(кидается)*. Момент!

Одеванне: ботики, шуба, оренбургский платок. Дымшиц услуживает, мечется.

Людмила. Надеваю и сама удивляюсь — еще не продано... Папа, изволь без меня принять лекарство. И не давай ему работать, Катя.

Муковнин. Мы домовничать будем с Катей.

Людмила *(целует отца в лоб)*. Вам нравится мой папка, Исаак Маркович? Правда, он у нас не такой, как у всех...

Дымшиц. Николай Васильевич роскошь, а не человек!

Людмила. Его никто не знает — одни мы... Где вы оставили князя Ипполита?

Дымшиц. Оставил у ворот. Приказ — ждать, дисциплина. Момент — и будем там... Всего хорошего, Николай Васильевич!

Катя. Очень не кутите.

Дымшиц. Очень не будем, теперь это обеспечено.

Людмила. Папочка, до свидания!

Муковнин провожает дочь и Дымшица в переднюю. Голоса и смех за дверью. Генерал возвращается.

Муковнин. Очень милый и достойный еврей.

Катя *(забилась в угол дивана, курит)*. Мне кажется — им всем не хватает такта.

Муковнин. Катя, голубчик, откуда взяться такту?.. Людям позволяли жить на одной стороне улицы и городовыми гнали с другой. Так было в Киеве, на Бибиковском бульваре. Откуда такту взяться? Тут другому надо удивляться — энергии, жизненной силе, сопротивляемости...

Катя. Энергия эта вошла теперь в русскую жизнь, но мы ведь другие, все это чуждо нам.

Муковнин. Фатализм — вот это нам не чуждо. Распутин и немка Алиса, погубившая династию, — это нам не чуждо. Ничего, кроме пользы, от чудесного этого народа, давшего Гейне, Спинозу, Христа...

Катя. Вы и японцев хвалили, Николай Васильевич.

Муковнин. Что ж японцы... Японцы — великий народ, у них учиться и учиться.

Катя. Вот и видно, что Марье Николаевне есть в кого пойти... Вы большевик, Николай Васильевич.

Муковнин. Я русский офицер, Катя, и спрашиваю: как это так, господа, с каких пор, спрашиваю я, правила военной игры стали чуждыми для вас?.. Мы мучили и унижали этих людей, они защищались, они перешли в наступление и дерутся с находчивостью, с обдуманностью, с отчаянием, скажу я, — дерутся во имя идеала, Катя.

Катя. Идеал?.. Не знаю. Мы несчастны и счастливы не будем. Нами пожертвовали, Николай Васильевич.

Муковнин. Пусть растрясут Ванюху и Петруху, превосходно будет. И времени больше нет, Катя... Единственный русский император, Петр, сказал: «Промедление времени смерти подобно». Вот заповедь! И если это так, то должно же у вас, господа офицеры, хватить мужества посмотреть на карту, узнать, с какого фланга вы обойдены, где и почему нанесено вам поражение... Держать глаза открытыми — мое право, и я не отказываюсь от него.

Катя. Николай Васильевич, вам надо лекарство принять.

Муковнин. Соратникам моим, людям, с которыми я дрался бок о бок, я говорю: господа, tirez vos conclusions [1], промедление времени — смерти подобно. *(Уходит).*

За стеной на виолончели холодно и чисто играют фугу Баха. Катя слушает, потом встает, подходит к телефону.

Катя. Дайте штаб округа... Дайте Редько... Это ты, Редько?.. Я хотела сказать... Надо думать, кроме тебя, еще есть люди, которые делают революцию, но вот ты один никак не найдешь времени, чтобы повидаться с человеком... С человеком, у которого ты ночуешь, когда тебе это надо....

Пауза.

Редько, прокати меня. Приезжай за мной на машине... Ну да, если ты занят... Нет, я не сержусь. За что же сердиться?.. *(Вешает трубку.)*

Музыка прекращается. Входит Голицын, длинный человек в солдатской куртке и обмотках, с виолончелью в руках.

---

[1] Делайте выводы *(франц.)*.

К а т я. Князь, как это вам сказали в трактире — «не играй плачевное»?

Г о л и ц ы н. «Не играй плачевное, не тяни жилы».

К а т я. Им веселое нужно, Сергей Илларионович. Люди забыться хотят, отдыха...

Г о л и ц ы н. Не все. Другие требуют чувствительного.

К а т я *(садится за рояль)*. Ваша публика — кто она?

Г о л и ц ы н. Грузчики с Обводного.

К а т я. Пожалуй, в профсоюз пройдете... Вы и ужин там получаете?

Г о л и ц ы н. Получаю.

К а т я *(играет «Яблочко», поет вполголоса)*.

Пароход идет, вода кольцами.
Будем рыбу мы кормить добровольцами.

Подбирайте за мной. Вы им лучше «Яблочко» в трактире сыграйте.

Голицын подбирает, фальшивит, потом поправляется.

Сергей Илларионович, стоит мне заняться стенографией?

Г о л и ц ы н. Стенографией? Не знаю.

К а т я.

Я на бочке сидю, слезы капают,
Никто замуж не берет, только лапают...

В стенографистках нужда теперь.

Г о л и ц ы н. Не умею вам сказать. *(Подбирает «Яблочко».)*

К а т я. Из всех нас настоящая женщина — Маша. У нее сила, смелость, она женщина. Мы вздыхаем здесь, а она счастлива в своем политотделе... Кроме счастья — какой другой закон выдумали люди?.. Его, верно, и нет, другого закона.

Г о л и ц ы н. Мария Николаевна руль всегда поворачивала круто. Этим она и отличается.

К а т я. Она права...

Ах ты, яблочко, куда котишься...

И потом, у нее роман с этим Аким Иванычем...

Г о л и ц ы н *(перестает играть)*. Кто это Аким Иваныч?

К а т я. Их командир дивизии, бывший кузнец... Она о нем в каждом письме упоминает.

Г о л и ц ы н. Почему же роман?

Катя. Там между строк есть, я знаю... Или уехать мне в Борисоглебск, к родным? Все-таки гнездо... Вот вы в лавру к монаху этому ходите... как зовут его?

Голицын. Сионий.

Катя. К Сионию. Чему он учит вас?

Голицын. Вы говорили о счастье... Он учит меня видеть его не в чувстве власти над людьми и не в этой беспрестанной жадности — жадности, которую мы утолить не можем.

Катя. Давайте, Сергей Илларионович.

Я на бочке сидю, бочка котится,
Хоть в кармане ни гроша,
Выпить хотется...

Сионий — красивое имя.

Картина третья

Людмила и Дымшиц в его номере. На столе остатки ужина, бутылки. Видна часть соседней комнаты. Бишонков, Филипп и Евстигнеич играют там в карты. Евстигнеича с отрубленными ногами поставили на стул.

Людмила. Феликс Юсупов был бог по красоте, теннисист, чемпион России. Его красоте недоставало мужественности, в нем была кукольность... С Владимиром Баглеем мы встретились у Феликса. Император так до конца и не понял рыцарскую натуру этого человека. Его называли у нас «тевтонский рыцарь»... Фредерикс был дружен с князем Сергеем... Вы знаете князя Сергея, который играет на виолончели?.. На вечере был еще номер hors programme [1], архиепископ Амвросий. Старик ухаживал за мною, — можете себе представить! — подливал крюшону и делал такую постную, лукавую мину. Вначале я не произвела на Владимира впечатления, он признался мне в этом: «Вы были курносая, si démesurement russe [2], с пылающим румянцем...» На рассвете мы поехали в Царское, оставили машину в парке и взяли лошадь. Он сам правил. «Людмила Николаевна, нужно ли вам сказать, что я весь вечер не сводил с вас глаз?..» — «Это учтено

---

[1] Сверх программы *(франц.)*.

[2] Такая бесконечно русская *(франц.)*.

Ниной Бутурлиной, mon prince». Я знала, что у них роман, вернее — флирт. «Бутурлина — c'est le passé, Людмила Николаевна...» — «On revient toujours, ses premiers ámours, mon prince»[1], Владимир не носил великокняжеского титула, он был от морганатического брака, их семья не встречалась с императрицей... Владимир называл эту женщину гением зла. И потом — он был поэт, мальчик, ничего не понимал в политике... Мы приехали в Царское. Рассвет. Над прудом где-то, совсем понизу, запел соловей... Мой спутник повторяет: «Mademoiselle Boutourline c'est le passé»[2]. — «Mon prince, прошлое возвращается иногда, и возвращения эти ужасны...»

Дымшиц гасит свет, накидывается на Муковнину, валит ее на диван, борьба. Она вырывается, поправляет волосы, платье.

Бишонков *(подкидывает карту)*. Подсекай...

Филипп. Подсечешь у тебя, как же!

Евстигнеич. Ну, повели к забору, руки связаны... «Ну, говорят, поворачивайся, друг». А он: «Не надо поворачиваться, я военный человек, коцайте так...» А заборы у них вроде плетня, полроста человеческого... Ночь, конец села, за селом степь, на краю степи — яр...

Бишонков *(убивая карту)*. Вот ты и козел!

Филипп. Отвечаю на все!

Евстигнеич. ...Привели, берут на изготовку. Он стоит у плетня, да как снимется от земли, с завязанными-то руками, ровно господь бог его от земли отнял. Перелетел через плетень — и наискосок... Они — стрелять... да ночь, темнота, он кружит, петляет — ушел.

Филипп *(сдает карты)*. Это герой!

Евстигнеич. Это герой вечный. Джигит считался. Я его, как тебя, знал... Полгода гулял, потом прикрыли.

Филипп. Неужто доделали?

Евстигнеич. Доделали. Я считаю — неправильно. Человек из могилы вылез, человек тот свет видал, — значит, не судьба его убивать.

Филипп. Ноль внимания в настоящее время.

Евстигнеич. Я считаю — неправильно. Во всех странах такой закон: не добили — твое счастье, живи дальше.

Филипп. У нас давай только... Доделают.

---

[1] Первые увлечения обычно возвращаются, князь *(франц.)*.

[2] Мадемуазель Бутурлина — это прошлое *(франц.)*.

Бишонков. У нас давай...

Людмила. Зажгите свет.

Дымшиц открывает выключатель.

Я ухожу. *(Оборачивается, смотрит на Дымшица, разражается смехом.)* Не надувайте губ, идите ко мне... Скажите, друг мой, как вы все это себе представляете? Должна же я привыкнуть к вам сначала...

Дымшиц. Я не штиблет, чтобы ко мне привыкать.

Людмила. Я не скрываю — какое-то чувство симпатии вы мне внушаете, но надо этому чувству укрепиться... Из армии приедет Маша, вы познакомитесь: в нашей семье без нее ничего не делается... Папа — тот хорошо относится к вам, но он беспомощный — вы видели... И потом, много еще не решено; ваша жена?..

Дымшиц. При чем здесь жена?

Людмила. Я знаю — евреи привязаны к своим детям.

Дымшиц. Не о чем говорить, ей-богу, не о чем говорить.

Людмила. Поэтому до поры до времени надо тихонько сидеть рядом со мной, вооружиться терпением...

Дымшиц. С тех пор как евреи ждут мессию — они вооружены терпением. Выпейте еще бокальчик.

Людмила. Я много выпила.

Дымшиц. Это вино мне принесли с броненосца. У великого князя был сундучок на броненосце...

Людмила. Как это вы все достаете?

Дымшиц. Где я достану — там другой не достанет... выпейте этот бокальчик.

Людмила. С условием, что вы будете сидеть тихо.

Дымшиц. Тихо сидят в синагоге.

Людмила. Вот вы и сюртук надели, — верно, для синагоги. Сюртук, Исачок, носили директора гимназии на выпускных актах и купцы на поминальных обедах.

Дымшиц. Я не буду носить сюртука.

Людмила. И потом — билеты. Никогда, мой друг, не покупайте билеты в первом ряду, — это делают выскочки, парвеню...

Дымшиц. Я же выскочка и есть.

Людмила. У вас внутреннее благородство — это совсем другое. Вам даже имя ваше не идет... Теперь можно дать объявление в газете, в «Известиях»... Я бы переменила на Алексей... Вам нравится — Алексей?

Дымшиц. Нравится. *(Он снова гасит свет и накидывается на Муковнину.)*

Евстигнеич. Взвозились...

Филипп *(прислушивается)*. Вроде наша...

Бишонков. Мне Людмила Николаевна больше всех по сердцу — она человека привечает... А то ходят дикие, трепаные... Меня по отечеству привечает...

В комнату инвалидов входит Висковский, становится за спиной Евстигнеича, смотрит, как падают карты.

Людмила *(вырывается)*. Позовите мне извозчика...

Дымшиц. Моментально!.. Больше мне делать нечего.

Людмила. Позовите сию минуту!

Дымшиц. На улице тридцать градусов мороза, сумасшедшую собаку выпустить жалко.

Людмила. На мне все порвано... Как я домой покажусь?..

Дымшиц. Где пьют — там и льют.

Людмила. Пошло... Исаак Маркович, вы ошиблись адресом.

Дымшиц. Такое мое счастье.

Людмила. Я же вам говорю — у меня болят зубы, болят невыносимо!..

Дымшиц. Где именье, где вода... При чем тут зубы?

Людмила. Достаньте мне зубных капель... Я страдаю.

Дышмиц выходит, в соседней комнате сталкивается с Висковским.

Висковский. С легким паром, учитель.

Дымшиц. У нее зубы болят.

Висковский. Бывает...

Дымшиц. Бывает, что и не болят.

Висковский. Липа, Исаак Маркович, обязательно липа.

Филипп. Это изобретение ее, Исаак Маркович, а не зубы болят...

Людмила *(поправила волосы перед зеркалом. Статная, веселая, раскрасневшаяся, она ходит по комнате и напевает)*.

Милый мой строен и высок,
Милый мой ласков и жесток,
Больно хлещет шелковый шнурок...

Дымшиц. Я не мальчик, Евгений Александрович, — уже оно давно прошло, то время, когда я был мальчиком.

Висковский. Слушаю-с.

Людмила *(снимает телефонную трубку)*. 3-75-02. Папочка, ты?.. Мне очень хорошо... В театре была Надя Иогансон с мужем. Мы ужинаем у Исаака Марковича... Ты обязательно посмотри Спесивцеву, она заменит Павлову... Лекарство ты принял? Тебе надо лечь... Твоя дочь умница, папа, ужасная выдумщица... Катюша, ты?.. Ваше приказание, сударыня, исполнено. Le menège contiпue, j'ai mal aux dents se soir [1]. *(Ходит по комнате, поет, взбивает волосы.)*

Дымшиц. И она может дождаться того, что в следующий раз меня для нее не будет дома...

Висковский. Дело хозяйское.

Дымшиц. Потому что о моих детях и моей жене пусть меня спрашивают другие, а не она.

Висковский. Слушаю-с.

Дымшиц. Люди недостойны завязать башмак у моей жены, если вы хотите знать, — шнурок от башмака.

Картина четвертая

У Висковского. Он в галифе, в сапогах, без куртки, ворот рубахи расстегнут. На столе бутылки, выпито много. На тахте, привалившись, румяный, короткий Кравченко в военной форме и мадам Дора — тощая женщина в черном, с испанским гребнем в волосах и качающимися большими серьгами.

Висковский. Один удар, Яшка...

Я знал одной лишь силы власть.
Одну, но пламенную страсть...

Кравченко. Сколько же тебе надо?

Висковский. Десять тысяч фунтов. Один удар... Ты видел когда-нибудь фунт стерлингов, Яшка?

Кравченко. И все на нитках?

---

[1] Манеж продолжается, нынешним вечером у меня болят зубы *(франц.)*.

Висковский. Нитки пóбоку!.. Бриллианты. Трехкаратники, голубая вода, чистые, без песку. Других в Париже не берут.

Кравченко. Да их небось уже нету.

Висковский. В каждом доме есть бриллианты, надо уметь их взять... У Римских-Корсаковых есть, у Шаховских... Есть еще алмазы в императорском Санкт-Петербурге.

Кравченко. Не выйдет из тебя красный купец, Евгений Александрович.

Висковский. Выйдет!.. У меня отец торговал — выменивал усадьбы на жеребцов... Гвардия сдается, товарищ Кравченко, но не умирает.

Кравченко. Ты бы Муковнину позвал... Мается женщина в коридоре...

Висковский. В Париж, Яшка, я приеду барином.

Кравченко. Дымшиц этот — куда он запропастился?

Висковский. Отсиживается в уборной или в «шестьдесят шесть» играет с курляндчиком и Шапирой... *(Открывает дверь.)* Мисс, к нашему огоньку... *(Выходит в коридор.)*

Дора *(целует у Кравченко руки)*. Ты солнце! Ты божество!

Входят Людмила в шубке и Висковский.

Людмила. Это непостижимо! Был уговор...

Висковский. Который дороже денег.

Людмила. Был уговор, что я приду в восемь. Теперь три четверти десятого... и ключа не оставил... Куда же он делся?

Висковский. Поспекулирует и придет.

Людмила. Все-таки они не джентльмены — эти люди...

Висковский. Выпейте водки, девочка.

Людмила. Правда, я выпью, озябла... Непостижимо все-таки!

Висковский. Разрешите вам представить, Людмила Николаевна, мадам Дору, гражданку Французской республики — Liberté, Egalité, Fraternité [1]. Между прочими достоинствами обладает заграничным паспортом.

---

[1] Свобода, Равенство, Братство *(франц.)*.

Людмила *(подает руку)*. Муковнина.

Висковский. Яшку Кравченко вы знаете: прапорщик военного времени, ныне красный артиллерист. Стоит у десятидюймовых орудий Кронштадтской крепостной артиллерии и может их повернуть в любом направлении.

Кравченко. Евгений Александрович нынче в ударе.

Висковский. В любом направлении... Все можно представить себе, Яшка. Тебе прикажут разрушить улицу, на которой ты родился, — ты разрушишь ее, обстрелять детский приют, — ты скажешь: «Трубка два ноль восемь» — и обстреляешь детский приют. Ты сделаешь это, Яшка, только бы тебе позволили существовать, бренчать на гитаре, спать с худыми женщинами: ты толст и любишь худых... Ты на все пойдешь, и если тебе скажут: трижды отрекись от своей матери, — ты отречешься от нее. Но дело не в том, Яшка, — дело в том, что они пойдут дальше: тебе не позволят пить водку в той компании, которая тебе нравится, книги тебя заставят читать скучные, и песни, которым тебя станут обучать, тоже будут скучные... Тогда ты рассердишься, красный артиллерист, ты взбесишься, забегаешь глазками... Два гражданина придут к тебе в гости: «Пойдем, товарищ Кравченко...» — «Вещи, — спросишь ты, — брать с собой или нет?» — «Вещи можно не брать, товарищ Кравченко, дело минутное, допрос, пустяки...» И тебе поставят точку, красный артиллерист, — это будет стоить четыре копейки денег. Высчитано, что пуля от кольта стоит четыре копейки, и ни сантима больше.

Дора. Жак, берите меня домой...

Висковский. Твое здоровье, Яков!.. За победоносную Францию, мадам Дора!

Людмила *(ей все время подливают)*. Я схожу посмотрю, не вернулся ли он...

Висковский. Поспекулирует и придет... Маркиза, липу с зубами сами придумали?

Людмила. Сама... Здорово?.. *(Смеется.)* Право же, теперь иначе нельзя. Евреи должны уважать женщину, с которой они хотят быть близки.

Висковский. Я смотрю на вас, Люка, — вы похожи на синичку... Выпьем, синичка!

Людмила. Теперь за меня примется. Вы чего-то намешали в это пойло, Висковский.

Висковский. Синичка... Все силы Муковниных ушли на Марию, вам остался только ряд мелких зубов.

Людмила. Дешево, Висковский.

Висковский. И маленькую твою грудь я не люблю... Грудь женщины должна быть красива, велика, беспомощна, как у овцы...

Кравченко. Мы пошли, Евгений Александрович.

Висковский. Никуда вы не пойдете... Синичка, выходи за меня замуж.

Людмила. Нет, уж я лучше за Дымшица... Знаем, как за вас выходить: нынче вы напились, завтра у вас похмелье, потом вы уезжаете неведомо куда, потом вы стреляетесь... Нет, уж мы за Дымшица.

Кравченко. Отпусти нас, Евгений Александрович, сделай милость!

Висковский. Никуда вы не пойдете... Тост! Тост за женщину. *(Доре.)* Это Люка... Сестру ее зовут Мария.

Кравченко. Мария Николаевна в армии, кажется?

Людмила. Она на границе теперь.

Висковский. На фронте, на фронте, Кравченко. Дивизией у них командует шестерка.

Людмила. Висковский, это неправда. Он — металлист.

Висковский. Шестерку зовут Аким... Выпьем за женщин, мадам Дора! Женщины любят прапорщиков, половых, акцизных чиновников, китайцев... Их дело любить, — в участке разберутся. *(Поднимает бокал.)* «За милых женщин, прелестных женщин, любивших нас хотя бы час...» Впрочем, и часу не было. Паутина. Потом паутина порвалась... Ее сестру зовут Мария... Представь себе, Яшка, что ты полюбил царицу. «Вы гадки, — говорит она тебе, — уходите...»

Людмила *(смеется)*. Узнаю Машу...

Висковский. «Вы гадки, уходите...» Конную гвардию отвергли, тогда решено было пойти на Фурштадтскую, шестнадцать, квартира четыре...

Людмила. Висковский, не смейте!

Висковский. За кронштадтскую артиллерию, Яша!.. Было решено пойти на Фурштадтскую. Мария Николаевна вышла из дому в сером костюме tailleur. Она купила фиалки у Троицкого моста и приколола их к петлице своего жакета... Князь, — он играет на виолончели, — князь убрал свою холостую квартиру, запихал под шкаф

грязное белье, немытые тарелки снес на антресоли... Был приготовлен кофе на Фурштадтской и petits fours [1]. Кофе выпили. Она принесла с собой весну, фиалки и забралась с ногами на диван. Он покрыл шалью ее сильные нежные ноги, навстречу ему сияла улыбка, ободряющая, покорная, печальная ободряющая улыбка... Она обняла его седеющую голову... «Князь! Что же вы, князь?» Но голос у князя оказался как у папского певчего. Passe, rien ne va plus [2].

Людмила. Боже, какая злюка!

Висковский. Вообрази, Яша, царица снимает перед тобой лиф, чулки, панталоны... Может, и ты оробел бы, Яшка...

Людмила Николаевна опрокидывается, хохочет.

Она ушла с Фурштадтской, шестнадцать... Где след ее ноги, чтобы я мог поцеловать его?.. Где след ее ноги?.. Но у Акима, будем падеяться, голос звучит погрубее... Ваше мнение, Людмила Николаевна?

Людмила. Висковский, вы намешали что-то в эту водку... У меня голова кружится...

Висковский. Иди сюда, мелочь! *(С силой берет ее за плечи и приближает к себе.)* Дымшиц — сколько заплатил он тебе за кольцо?

Людмила. Что вы говорите такое?

Висковский. Кольцо не твое, сестры. Ты продала чужое кольцо.

Людмила. Оставьте меня!

Висковский *(отталкивает ее в боковую дверь)*. Иди со мною, мелочь!..

В комнате остаются Дора и Кравченко. В окне медленный луч прожектора. Дора, взъерошенная, выпученная, тянется к Кравченко, целует у него руки, стонет, лепечет. Входит на цыпочках босой Филипп с обваренным лицом, не торопясь, бесшумно берет со стола вино, колбасу, хлеб.

Филипп *(негромко, склонив голову набок)*. Не обидно будет, Яков Иванович?

Кравченко кивает головой, инвалид, осторожно ступая босыми ногами, уходит.

---

[1] Печенье *(франц.)*.
[2] Все в прошлом *(франц.)*.

Дора. Ты солнце! Ты бог! Ты все!

Кравченко молчит, прислушивается. Входит Висковский, закуривает, руки его дрожат. Дверь в соседнюю комнату открыта. Брошенная на диван, плачет Муковнина.

Висковский. Спокойствие, Людмила Николаевна, до свадьбы заживет...

Дора. Жак, я хочу нашу комнату... Берите меня домой, Жак...

Кравченко. Погоди, Дора.

Висковский. По разгонной, граждане?

Кравченко. Погоди, Дора.

Висковский. По разгонной — за дам...

Кравченко. Нехорошо, ротмистр.

Висковский. За дам, Яков Иванович!

Кравченко. Нехорошо, ротмистр.

Висковский. Что именно нехорошо?

Кравченко. Трипперитики не спят с женщинами, господин Висковский.

Висковский *(офицерским голосом)*. Как вы сказали?

Пауза. Плач смолкает.

Кравченко. Я сказал — больные гонореей...

Висковский. Снимите очки, Кравченко. Я буду бить вам морду!..

Кравченко вынимает револьвер.

Очень хорошо.

Кравченко стреляет. Занавес. За спущенным занавесом — выстрелы, падение тел, женский крик.

Картина пятая

У Муковниных. В углу на сундуке свернулась старуха нянька. Спит. На столе пятно света от лампы. Катя читает Муковнину письмо.

Катя. «...На рассвете меня будит рожок штабного эскадрона. К восьми надо быть в политотделе, я там за все... Правлю статьи в дивизионную газету, веду школу ликбеза. Пополнение у нас — украинцы, языком и выразительностью они напоминают мне итальянцев. Казенная Россия в течение столетий подавляла и унижала их культуру... На нашей Миллионной в Петербурге, в доме про-

тив Эрмитажа и Зимнего дворца, мы жили, как в Полинезии, — не зная нашего народа, не догадываясь о нем... Вчера на уроке я прочитала из папиной книги главу об убийстве Павла. Наказание свое император заслужил так очевидно, что никто об этом не задумался: спрашивали меня — здесь сказался точный ум простолюдина — о расположении полка, комнат во дворце, о том, какая рота гвардии была в карауле, среди кого были набраны заговорщики, чем обидел их Павел... Я все мечтаю о том, что папа приедет к нам летом, если только поляки не зашевелятся... Ты увидишь, дружок мой папа, новую армию, новую казарму — в противовес той, о которой ты рассказываешь. К тому времени наш парк расцветет и зазеленеет, лошади поправятся на подножном корму, седла приготовлены... Я говорила Аким Иванычу — он согласен, только бы у вас все было благополучно, милые мои... Теперь ночь. Я освободилась поздно и поднялась к себе по истоптанным четырехсотлетним ступеням. Я живу на вышке, в сводчатой зале, служившей когда-то оружейной графам Красницким. Замок построен на крутизне, у подножья его синяя река, пространство лугов необозримо, с туманной стеной леса вдали... В каждом этаже замка выбита ниша для дозорного: отсюда они следили приближение татар и русских и лили кипящее масло на головы осаждающих. Старушка Гедвига, экономка последнего Красницкого, приготовила мне ужин и растопила камин, глубокий и черный, как подземелье... В парке внизу переминаются, задремывают лошади. Кубанцы ужинают вокруг костра и заводят песню. Снег налег на деревья, ветви дубов и каштанов переплелись, неровная серебряная крыша накрыла занесенные дорожки, статуи. Они еще сохранились — юноши, бросающие копье, и обнаженные закоченевшие богини с согнутыми руками, с волнистой линией волос и слепыми глазами... Гедвига дремлет и трясет головой, поленья в камине вспыхивают и распадаются. Столетия сделали кирпичи звонкими, как стекло — они озарены золотом в ту минуту, когда я пишу вам... Карточка Алеши у меня на столе... Здесь те самые люди, которые не задумались убить его. Я ушла только что от них и помогла их освобождению... Правильно ли я сделала, Алексей, исполнила ли я твое завещание жить мужественно?.. И тем, что в нем есть неумирающего, он не отвергает меня... Поздно, не могу заснуть — от необъ-

яснимой тревоги за вас, от боязни снов. Во сне я вижу погоню, мучительство, смерть. Я живу странной смесью — близостью к природе, беспокойством о вас. Почему Люка пишет так редко? Несколько дней тому назад я послала ей бумажку, подписанную Аким Ивановичем, о том, что у меня, как у военнослужащей, не имеют права реквизировать комнату. Кроме того, у папы должна быть охранная грамота на библиотеку. Если срок ее прошел, надо возобновить в Наркомпросе, у Чернышева моста, комната сорок. Я буду счастлива, если Люке удастся основать свою семью, но надо, чтобы этот человек бывал у нас в доме, познакомился бы с папой — тут сердце не обманет. И пусть нянька увидит его... Катюша все жалуется на старуху, что та не работает. Катюша, нянька стара, она вырастила два поколения Муковниных, у нее свои мысли и чувства, она не простой человек... Мне всегда казалось, что в ней мало крестьянского, — а впрочем, что знали мы в нашей Полинезии о крестьянах?.. В Петербурге, говорят, стало еще труднее с продовольствием; у тех, кто не служит, забирают комнаты и белье... Мне стыдно за то, что мы живем хорошо. Два раза Аким Иванович брал меня с собой на охоту, у меня верховая лошадь, донец...» *(Катя поднимает голову.)* Вот видите, Николай Васильевич, как хорошо.

Муковнин закрывает глаза ладонью.

Не надо плакать...

Муковнин. Я спрашиваю у бога, — у каждого из нас есть бог его души, — за что ты дал мне, дурному, себялюбивому человеку, таких детей — Машу, Люку?..

Катя. Но это же хорошо, Николай Васильевич. Зачем плакать?

Картина шестая

Участок милиции ночью. Под лавкой скрючился пьяный. Он двигает пальцами перед самым своим лицом, внушает себе что-то. На лавке дремлет грузный старый человек, хорошо одетый, в енотовой шубе и высокой шапке. Шуба распахнулась, под ней голая серая грудь. Надзиратель допрашивает Муковнину. Кротовая шапочка ее сбита набок, волосы растрепаны, шубка стащена с плеча.

Надзиратель. Имя?

Людмила. Отпустите меня.

Надзиратель. Имя?

Людмила. Варвара.

Надзиратель. Отчество?

Людмила. Ивановна.

Надзиратель. Где работаете?

Людмила. У Лаферма, на табачной фабрике.

Надзиратель. Профбилет?

Людмила. Я не ношу с собой.

Надзиратель. Зачем липу гоните?

Людмила. Я замужем... Отпустите меня...

Надзиратель. Почему вам интересно липу гнать, скажите? Брылева давно знаете?

Людмила. О ком вы говорите?.. Я не знаю.

Надзиратель. Ордера на нитки Брылев подписывал, через вас шло к Гутману, где вы склад сделали?..

Людмила. Что вы говорите? Какой склад?..

Надзиратель. Сейчас узнаете — какой... *(Милиционеру.)* Позовите Калмыкову.

Милиционер вводит Шуру Калмыкову, горничную в номерах на Невском, 86.

Надзиратель. Вы коридорная?

Калмыкова. Я подменяю.

Надзиратель. Признаете гражданку?

Калмыкова. Очень отлично признаю.

Надзиратель. Что можете показать?

Калмыкова. Могу отвечать по вопросам... Отец их — генерал.

Надзиратель. Работает она?

Калмыкова. Пару поддает — это у ней работа.

Надзиратель. Муж есть?

Калмыкова. Под кустом венчались... У ней мужьев много. Один от ее зубов весь вечер в отхожем хоронился.

Надзиратель. Какие зубы? Чего плетешь?..

Калмыкова. Людмила Николаевна знает, какие зубы.

Надзиратель *(Муковниной)*. Приводы были?.. Сколько?

Людмила. Меня заразили... Я больна.

Надзиратель *(Калмыковой)*. Нам удостоверить надо, сколько у ней приводов.

Калмыкова. Это не знаю, не скажу... Я то не скажу, чего не знаю.

Людмила. Я измучена... Отпустите меня...

Надзиратель. Не волноваться! На меня смотрите.

Людмила. У меня голова кружится... Я упаду...

Надзиратель. На меня смотреть!

Людмила. Боже мой, зачем мне смотреть на вас?..

Надзиратель *(в бешенстве)*. Затем, что я пятые сутки не спавши... Можете вы это понять?..

Людмила. Я могу понять.

Надзиратель *(подступает к ней ближе, берет за плечи и смотрит ей в глаза)*. Приводов сколько — говори...

Картина седьмая

У Муковниных. Горят коптилки. Тени на стенах и потолке. Перед зажженной лампадой молится Голицын. На сундуке спит нянька.

Голицын. ...Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падая в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит — того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел...

Катя *(подходит неслышно, становится рядом с Голицыным, кладет голову на его плечо)*. Свидания мои с Редько происходят в штабе, Сергей Илларионович, в бывшей прихожей, там клеенчатый диван есть... Я прихожу, Редько запирает дверь, потом дверь отмыкается...

Голицын. Да.

Катя. Я уезжаю в Борисоглебск, князь.

Голицын. Уезжайте.

Катя. Редько все учит меня, все учит — кого любить, кого ненавидеть... Он говорит — закон больших чисел. Но я-то сама малое число — или это не считается?..

Голицын. Должно считаться.

Катя. Вот видите — должно считаться... Вот я и свободна, нянька... Проснись. Пожалуйста, проснись. Ты царствие небесное проспишь...

Нефедовна *(поднимает голову)*. Люка-то где?

Катя. Люка скоро придет, нянька, а я уезжаю, некому будет тебя бранить.

Нефедовна. Зачем меня бранить, какие мои дела... Я нянька рожденная, для детей взята, детей растить, а их тут нету... Баб полон дом, а ребенков нету. Одна воевать пошла, без нее некому, другая шатается без пути... Какой это может быть дом — без ребенков?

Катя. Вот родим тебе от святого духа...

Нефедовна. Вы треплетесь, разве я не вижу, треплетесь, да толку нет.

Голицын. Уезжайте в Борисоглебск, вы нужны там... В Борисоглебске пустыня, Катерина Вячеславна, в этой пустыне звери пожирают друг друга...

Нефедовна. Вон Молостовы — скверные совсем купчишки, выхлопотали своей няньке пенсион, пятьдесят рублев в месяц... Похлопочи за меня, князь, почему мне пенсион не дают?

Голицын *(растапливает «буржуйку»)*. Меня не послушают, Нефедовна, у меня теперь силы нет.

Нефедовна. Вон ведь простые совсем купчики.

Открывается дверь. Муковнин отступает перед Филиппом, закутанным в тряпье и башлык, громадным и бесформенным. Половина Филиппова лица заросла диким мясом, он в валенках.

Муковнин. Кто вы?

Филипп *(продвигается ближе)*. Я Людмиле Николаевне знакомый.

Муковнин. Что вам угодно?

Филипп. Там заварушка получилась, ваше превосходительство.

Катя. Вы от Исаака Марковича?

Филипп. Так точно, от Исаака Марковича... Вроде как ни с чего и получилось.

Катя. Людмила Николаевна?..

Филипп. Там же, при них они и были, в компании... Маленько, ваше превосходительство, перехорошили. Евгений Александрович — одно, Яков Иваныч им вроде как напротив, стали цапаться, оба с мухой...

Голицын. Николай Васильевич, я поговорю с этим товарищем.

Ф и л и п п. Особого такого ничего не случилось, а только недоразумение... Оба с мухой, оружия при себе...

М у к о в н и н. Где моя дочь?

Ф и л и п п. Ваше превосходительство, неизвестно.

М у к о в н и н. Где моя дочь, скажите? Мне все можно сказать.

Ф и л и п п *(чуть слышно)*. Законвертовали.

М у к о в н и н. Я смотрел смерти в глаза. Я солдат.

Ф и л и п п *(громче)*. Законвертовали, ваше превосходительство.

М у к о в н и н. Арестовали — за что?

Ф и л и п п. Вроде как из-за болезни сыр-бор получился. Яков Иванович говорят: «Вы болезнью наделили»,— Евгений Александрович — стрелять. Оружия при себе, оружия — тут она...

М у к о в н и н. Это Чека?

Ф и л и п п. Люди взяли, а кто их разберет?.. Люди сейчас неформенные, ваше превосходительство, себя не показывают.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, Катя.

К а т я. Никуда вы, Николай Васильевич, не поедете.

М у к о в н и н. Надо ехать в Смольный, сейчас же.

К а т я. Николай Васильевич, дорогой мой...

М у к о в н и н. Дело в том, Катя, что моя дочь должна быть возвращена мне. *(Подходит к телефону.)* Прошу штаб военного округа...

К а т я. Не надо, Николай Васильевич!

М у к о в н и н. Прошу к телефону товарища Редько... Говорит Муковнин... Я не могу объяснить вам лучше, товарищ, кто говорит, — в прошлом я генерал-квартирмейстер Шестой армии... Товарищ Редько, вы?.. Здравствуйте, Федор Никитич. У аппарата Муковнин. Здравия желаю... Если оторвал от дела — сожалею очень... Сегодня, Федор Никитич, в доме восемьдесят шесть по Невскому, вечером, вооруженными людьми взята моя дочь Людмила. Я не ходатайствую перед вами, Федор Никитич, — знаю, что в организации вашей это не принято, — но только хотел доложить, что мне нужно увидеться со старшей моей дочерью, Марией Николаевной. Дело в том, что я недомогаю в последнее время, Федор Никитич, и чувствую необходимость посоветоваться с Марией Николаевной. Мы посылали телеграммы и срочные письма, Катерина Вячеславна, знаю, и вас затрудняла — ответа нет... Просьба

связать по прямому проводу, Федор Никитич... Могу добавить, что я вызван генералом Брусиловым в Москву для переговоров о службе... Вы говорите — доставлено?.. Доставлено восьмого?.. Покорно благодарю, желаю успеха, Федор Никитич. *(Вешает трубку.)* Все хорошо, Машу разыскали, телеграмма вручена восьмого. Она будет в Петербурге завтра, послезавтра, самое позднее. Надо убрать Машину комнату, Нефедовна, — подняться завтра чуть свет и убрать... Катюша права — квартира запущена. Мы ужасно все запустили в последнее время, везде пыль. Надо чехлы надеть. У нас есть чехлы, Катюша?

Катя. Не на всю мебель, но есть.

Муковнин *(мечется по комнате)*. Непременно надеть надо чехлы... Маше приятно будет застать все в том виде, как она оставила. Почему не создать уют, когда это можно сделать... И вот Катя у нас не амюзируется, — ты совсем не амюзируешься [1], Катюша, не ходишь в театр, так можно отстать.

Катя. Маша вернется — я пойду.

Муковнин *(инвалиду)*. Простите, ваше имя-отчество?..

Филипп. Филипп Андреевич.

Муковнин. Почему вы не садитесь, Филипп Андреевич?.. Мы вас даже за хлопоты не поблагодарили... Надо угостить Филиппа Андреевича... Нянька, найдется у нас, чем угостить? Дом наш открыт, Филипп Андреевич, милости просим по-простому, будем рады. Мы вас непременно с Марией Николаевной познакомим...

Катя. Вам надо отдохнуть, Николай Васильевич, лечь надо.

Муковнин. И если хотите, я за Люку ни одного мгновения не беспокоюсь. Это урок — урок за ребячество, за отсутствие опыта... Если хотите — я доволен... *(Вздрагивает, останавливается, падает на стул. К нему подбегает Катя.)* Спокойствие, Катя, спокойствие...

Катя. Что с вами?

Муковнин. Ничего, — сердце...

Катя и Голицын берут его под руки, уводят.

Филипп. Расстроился.

---

[1] От французского глагола s'amuser — приятно проводить время, развлекаться.

Нефедовна *(ставит на стол прибор).* Барышню нашу при тебе брали?

Филипп. При мне.

Нефедовна. Билась?

Филипп. Сперва билась, потом пошла ничего.

Нефедовна. Я тебе картошку дам, кисель есть...

Филипп. Поверишь, бабушка, дома пельменей целый ушат навалили, заварушка эта поднялась, — глядь, и уперли.

Нефедовна *(ставит перед Филиппом картошку).* Лицо-то у тебя на войне обварило?

Филипп. Лицо у меня гражданским порядком обварило, давно дело было...

Нефедовна. А война будет? Чего у вас говорят?

Филипп *(ест).* Война, бабушка, будет в августе месяце.

Нефедовна. С поляками, что ли?

Филипп. С поляками.

Нефедовна. Не все им отдали?

Филипп. Они, бабушка, желают иметь свое государство от одного моря и до самого другого моря. Как в старину было, так они и в настоящий момент желают.

Нефедовна. Ишь дураки какие!

Входит Катя.

Катя. Очень худо Николаю Васильевичу. Нужно доктора.

Филипп. Доктор, барышня, сейчас не пойдет.

Катя. Он умирает, нянька, у него нос синий... Уже видно, какой он будет мертвый...

Филипп. Доктора, барышня, сейчас на запоре, в ночное время не пойдут, хоть стреляй в него.

Катя. В аптеку надо за кислородом...

Филипп. Они союзные — их превосходительство?

Катя. Не знаю... Мы ничего здесь не знаем.

Филипп. Если не союзные — не дадут.

Резкий звонок. Филипп идет открывать, возвращается.

Там... там... Мария Николаевна...

Катя. Маша?!

Катя идет вперед, протягивает руки, плачет, останавливается, закрывает лицо руками, потом отнимает их. Перед ней красноармеец, лет девятнадцати, мальчик на длинных ногах, он тащит за собой мешок. Входит Голицын, останавливается у двери.

Красноармеец. Здравствуйте!

Катя. Боже мой, Маша!..

Красноармеец. Тут Мария Николаевна из продуктов кое-что прислали.

Катя. Где же она?.. Она с вами?

Красноармеец. Мария Николаевна в дивизии, сейчас все на местах... Из вещей тут кое-что есть — сапоги...

Катя. Она не приехала с вами?

Красноармеец. Там бои, товарищи, идут, — как можно?

Катя. Мы телеграммы посылали, письма...

Красноармеец. Что ни посылайте — все равно... Части день и ночь в движении.

Катя. Вы увидите ее?

Красноармеец. Как же не увидеть?.. Если передать что-нибудь...

Катя. Да, передайте ей, пожалуйста... Передайте, что отец ее умирает и мы не надеемся его спасти. Передайте, что, умирая, он звал ее... Сестра ее Люка не живет с нами больше — она арестована. Скажите, что мы желаем счастья Марии Николаевне, желаем, чтобы она не думала о тех днях и часах, когда ее не было с нами...

Красноармеец озирается, отступает. Шатаясь, выходит из своей комнаты Муковнин. Глаза его блуждают, волосы поднялись, он улыбается.

Муковнин. Вот, Маша, тебя не было, и я не хворал, все время был молодцом, Маша... *(Видит красноармейца.)* Кто это? *(Повторяет громче.)* Кто это?.. Кто это?.. *(Падает.)*

Нефедовна *(опускается на колени рядом с Муковниным)*. Ну что, Коля, уходишь?.. Не ждешь няньку...

Старик хрипит. Агония.

Картина восьмая

Полдень. Ослепительный свет. В окне облитые солнцем колонны Эрмитажа, угол Зимнего дворца. Пустая зала Муковниных. В глубине натирают паркет Андрей и подмастерье Кузьма, толстомордый парень. Агаша кричит в окно.

Агаша. Нюшка, проклятущая, не давай дитю об стенку мазаться!.. Куда глаза подевала? Сидишь, что ли,

на глазах?.. Выросла — небо прободаешь, а толку все то же... Тихон, слышь, Тихон, зачем у тебя сарай растворенный? Замкни сарай-то... Егоровна, здравствуй! Я у тебя сольцы до первого не достану?.. Первого разживусь по купону — отдам. Девка моя зайдет, насыпь ей в пузырек, до первого... Тихон, слышь, Тихон, у Новосельцевых был? Когда они съезжают?

Голос Тихона. Съезжать, говорят, некуда.

Агаша. Жить умели — умейте и съезжать... До воскресенья дай им срок, а после воскресенья у нас с ними серьез будет, так и скажи... Нюшка, проклятущая, гляди, дите себе в нос землю пихает!.. Бери дите наверх, марш домой, окна мыть!.. *(Полотеру.)* Ну как, мастер, действуешь?

Андрей. Прикладываем труды.

Агаша. Не больно прикладываешь... Углы все пооставляли.

Андрей. Это какие углы?

Агаша. Да все четыре — и пол у тебя рыжий. Разве он должен быть рыжий?.. Не тот колер совсем.

Андрей. Материал теперь не тот, хозяйка.

Агаша. Сам хитришь и малого учишь... За деньгами небось аккуратно придешь.

Андрей. А я тебе, Аграфена, то отвечу, что ты врагу своему закажешь впервой после революции полы чистить... Тут за революцию грязи на три вершка наросло, рубанком не отстругаешь. Мне за это медаль нацепить, за то, что я после революции полы чищу, а ты лаешься...

В глубине проходят Сушкин и Катя в трауре.

Сушкин. Единственно как фанатик мебельной отрасли покупаю, единственно по охоте моей, что не могу мимо античной вещи пройти, — я за античную вещь болею. Громоздкую вещь в настоящий момент покупать — это камень на шею, с ним тонуть, Катерина Вячеславна... Вот сделаешь сегодняшний день покупку — мечтаешь, а завтра ты страдалец куда бы рассовать.

Катя. Вы забываете, Аристарх Петрович, что здесь ни одной простой вещи нет. Мебель эту сто лет назад Строгановы из Парижа выписывали.

Сушкин. Оттого миллиард двести и даю.

Катя. Что значит теперь этот миллиард, если на хлеб перевести?

Сушкин. А вы не на хлеб, а на мою ненормальность переведите, что я как охотник покупаю. С громоздкой вещью в настоящий момент остаться — ведь это я у них первый кандидат буду... *(Меняя тон.)* Тут у меня и молодежь приготовлена... *(Кричит вниз.)* Ребятежь, подхватывайся, веревки с собой тащи!..

Агаша *(выступает вперед)*. Это куда подхватываться?

Сушкин. С кем имею честь-удовольствие?..

Катя. Это наша смотрительница двора, Аристарх Петрович.

Агаша. Ну, хоть дворничиха.

Сушкин. Очень приятно. Теперь, значит, такой разговор: вы нам, как говорится, поможете мебель снести, мы обоюдно вам поможем.

Агаша. Не получится у вас, гражданин.

Сушкин. Что именно у вас не получится?

Агаша. Тут переселенные люди будут, из подвала...

Сушкин. Это нам, конечно, интересно знать, что переселенные...

Агаша. Мебель-то где они возьмут?

Сушкин. А вот это нам, гражданка, совершенно неинтересно знать.

Катя. Агаша, Мария Николаевна поручила мне продать...

Сушкин. Прошу прощения, гражданка, мебель-то ваша?

Агаша. Мебель не моя, да и не твоя тоже.

Сушкин. На это первично отвечу, что мы с вами над одной ямкой не сидели, а вторично я вам скажу, что вы в настоящий момент, гражданка, неприятность себе наживаете.

Агаша. Ордер принесешь — я мебель выпущу.

Катя. Агаша, мебель принадлежит Марии Николаевне, ты же знаешь...

Агаша. Я что знала, барышня, то забыла, переучиваюсь теперь.

Сушкин. Гляди, баба, нарвешься!

Агаша. Не ругайся, выгоню...

Катя. Уйдемте, Аристарх Петрович.

Сушкин. Превышение власти, баба, делаешь.

Агаша. Ордер принеси — выпущу.

Сушкин. В другом месте поговорим.

Агаша. Хочь на Гороховой.

Катя. Уйдемте, Аристарх Петрович...

Сушкин. Я уйду, да вернусь, — не один вернусь, с людями.

Агаша. Нехорошо делаете, барышня.

Уходят. Андрей и Кузьма кончают натирать, собирают свой снаряд.

Кузьма. Умыла как следует.

Андрей. Колкая дамочка.

Кузьма. Она и при генерале была?

Андрей. При генерале она низко ходила, головы не высовывала.

Кузьма. Генерал-то дрался небось?

Андрей. Зачем дрался? Совершенно он не дрался. Ты к нему придешь — он с тобой за ручку возьмется, поздоровкается... Его и народ любил.

Кузьма. Как это так — народ генерала любил?

Андрей. По дурости нашей — любили... Он вреда больше положенного не делал. Сам себе дрова колол.

Кузьма. Старый был?

Андрей. Особо старый не был.

Кузьма. А помер...

Андрей. Помирает, брат Кузьма, не зрелый, а поспелый. Значит, поспел.

Входят Агаша, рабочий Сафонов, костлявый молчаливый парень, и беременная жена его Елена, длинная, с маленьким светлым лицом, молодая женщина лет двадцати, не более, она в последних днях. Все нагружены домашним скарбом, тащут с собой табуретки, матрацы, примус.

Погоди, погоди, дай подстелю...

Агаша. Входи, Сафонов, не бойся. Тут тебе и помещаться.

Елена. Нам бы другого чего-нибудь, похуже...

Агаша. Привыкай к хорошему.

Андрей. Плевое дело — к хорошему привыкнуть.

Агаша. Налево кухня, там ванная — мыться... Пойдем, хозяин, остальное притащим... Ты сиди, Елена, не ходи — выкинешь, пожалуй.

Агаша и Сафонов уходят. Андрей собирает свои пожитки — щетки, ведра, Елена садится на табуретку.

Андрей. С новосельем, значит?

Елена. Вроде неудобно помещение, велико...

Андрей. Когда рассыпаться тебе?

Елена. Завтра пойду.

Андрей. Очень просто. На Мойку, что ли, во дворец?

Елена. На Мойку.

Андрей. Дворец этот — нонче называется матери и ребенка, — его в прежнее время царица для пастуха построила, теперь там бабы опрастываются. Все по порядку, очень просто.

Елена. Завтра идти. То боюсь, дядя Андрей, а то ничего.

Андрей. Бояться тут нечего: родишь — не чихнешь. Проработает тебе все жилы, разделаешься, опосля этого себя не узнаешь.

Елена. У меня, дядя Андрей, кость узкая...

Андрей. Попросят ее, твою кость, она подвинется... Другой раз посмотришь на бабочку, кое-как слеплена, волосьев копна, да ножки, да ручки, а выпечатает такого мужичищу, он водки ведро выпьет да вола кулаком убьет... На все специальность... *(Взваливает на плечи мешок.)* Мальчика желаешь или девочку?

Елена. Мне все равно, дядя Андрей.

Андрей. Это верно, что все равно... Я так располагаю, которые дети теперь изготовляются, должны к хорошей жизни поспеть. Иначе-то как же?.. *(Собирает свой инструмент.)* Пошли, Кузьма... *(Елене.)* Родишь — не чихнешь, на все специальность... Поехали, казак.

Полотеры уходят. Елена раскрывает окна, в комнату входят солнце и шум улицы. Выставив живот, женщина осторожно идет вдоль стен, трогает их, заглядывает в соседние комнаты, зажигает люстру, гасит ее. Входит Нюша, непомерная багровая девка, с ведром и тряпкой — мыть окна. Она становится на подоконник, затыкает подол выше колен, лучи солнца льются на нее. Подобно статуе, поддерживающей своды, стоит она на фоне весеннего неба.

Елена. На новоселье придешь ко мне, Нюша?

Нюша *(басом)*. Позовешь — приду, а чего поднесешь?..

Елена. Много не поднесу, что найдется...

Нюша. Мне сладенького поднеси, красного... *(Пронзительно и неожиданно она запевает.)*

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края,
Скакал он садиком зеленым.
Кольцо блестело на руке.
Кольцо казачка подарила,
Когда казак пошел в поход.
Она дарила — говорила, что
Через год буду твоя.
Вот год прошел...

Занавес

СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

В Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. Пароходы, приходящие к нам в порт, разжигают одесские наши сердца жаждой прекрасных и новых земель.

Вот семь молодых одесситов. У них нет ни денег, ни виз. Дать бы им паспорт и три английских фунта — и они укатили бы в недосягаемые страны, названия которых звонки и меланхоличны, как речь негра, ступившего на чужой берег.

Вот семь молодых одесситов. Они читают колониальные романы по вечерам, а днем они служат в самом скучном из губстатбюро. И потому что у них нет ни визы, ни английских фунтов — поэтому Гехт пишет об уездном Можайске, как о стране, открытой им и не изведанной никем другим, а Славин повествует о Балте, как Расин о Карфагене. Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский, попавший на Пересыпь, к мельнице Вайнштейна, и необыкновенно трогательно притворяющийся, что он на тропиках. Впрочем, и притворяться нечего. Наша Пересыпь, я думаю, лучше тропиков.

Третий одессит — Ильф. По Ильфу, люди — замысловатые актеры, подряд гениальные.

Потом Багрицкий, плотояднейший из фламандцев. Он пахнет как скумбрия, только что изжаренная моей матерью на подсолнечном масле. Он пахнет, как уха из бычков, которую на прибрежном ароматическом песку варят малофонтанские рыбаки в двенадцатом часу июльского неудержимого дня. Багрицкий полон пурпурной влаги, как арбуз, который когда-то в юности мы раз-

бивали с ним о тумбы в Практической гавани у пароходов, поставленных на близкую Александрийскую линию.

Колычев и Гребнев моложе других в этой книге. У них есть о чем порассказать, и мы от них не спасемся. Они возьмут свое и расскажут о диковинных вещах.

Тут все дело в том, что в Одессе каждый юноша — пока он не женился — хочет быть юнгой на океанском судне. И одна у нас беда, — в Одессе мы женимся с необыкновенным упорством.

РАБОТА НАД РАССКАЗОМ

Когда я начинал работать, писать рассказы, я, бывало на две-три страницы нанижу в рассказе сколько полагается слов, но не дам им достаточно воздуха. Я прочитывал слова вслух, старался, чтобы ритм был строго соблюден, и вместе с тем так уплотнял свой рассказ, что нельзя было перевести дыхания.

В рассказах молодых писателей, которые я прочел, дело обстоит лучше.

Рассказы эти хороши тем, что написаны просто. Здесь нет претензий, вычурности, но стиля своего маловато, удара и страсти мало.

Я считаю, что нужно было подробней описать фабрику, больше показать ее специфику, для того чтобы ощущалась присущая ей атмосфера. Конечно, не надо запутывать рассказ всякими техническими словами, но ритмику фабричной жизни следует показать более ярко.

В описании у автора какие-то не свои слова, не им рожденные. Такие же фразы мы уже не раз читали.

Возьмем, например, такую фразу: «Дымились сочные тополя». Ведь это уже было сказано; я уверен, что автор не продумал этих слов. Он не вспомнил как следует описываемого им вечера, его краски, небо. А если бы он подумал об этом, если бы почувствовал всю красоту вечера, то нашел бы неповторимые слова для его описания.

Я вовсе не говорю, что нужно находить такие слова, которыми можно огорошить читателя. Я вовсе не требую особой вычурности, такой, чтобы все ахнули и сказали: «Написал, мол, такое, чего никто другой не придумает».

Но нужно изменять затрепанные образы или дополнять их своими словами.

Мне не нравится и такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу» — та́к уже много раз говорили.

Русский язык еще сыроват, и русские писатели находятся, в смысле языка, в более выгодном положении, чем французские. По художественной цельности и отточенности французский язык доведен до предельной степени совершенства и тем осложняет работу писателей. Об этом с грустью говорили мне молодые французские писатели. Чем заменить сухость, блеск, отточенность старых книг, — разве что шумовым оркестром?

Мы не находимся в таком положении. Нам следует искать страстные, но простые и новые слова. А вот такая фраза: «Мысленно выругала Тоня подругу», — несомненно, встречалась.

Возьмите Горького. Изучение его важно, оно много даст для понимания техники рассказа и новеллы. Я говорю о Горьком не в том смысле, что ему надо слепо подражать, а потому, что он создает рассказы, которые при сплаве с ритмом нашей жизни дают изумительные результаты.

Возьмите его маленькие рассказы в полторы-две страницы, они летят, летят как песня. Кто помнит его рассказ «Едут»?

Рассказ «Едут» очень короток. Всем надо его прочесть. Но вернемся к Меньшикову.

Вот у него такая фраза: «Колхоз вырос уверенно и скоро». Слова «уверенно и скоро», может быть, и хорошие слова, но в данном случае они становятся плохими, общими.

Или вот такая фраза: «Прошумела, проканонадила революция». Я люблю новые слова, но это слово какое-то неуклюжее, неудобное.

Или такая фраза: «И когда тоска проходила...» Это не раз повторялось, затрепано. Я должен сказать, что мне в этом рассказе больше нравится то, чего в нем нет, чем то, что в нем есть. В нем нет пошлости — это хорошо, и это чрезвычайно важно.

Я опять вернусь к Горькому. В основе его статей о литературе лежит борьба с пошлостью, являющейся в наших условиях, в условиях нашей литературы, могучим орудием враждебных нам сил.

Мы хотим наши мысли, желания и устремления сделать достоянием миллионов людей. Но если слова и фразы затрепаны, если у автора нет мужественного отношения к словам и фразам, то они превращаются в силу, отравляющую наше сознание. Это важно понять.

Наша литература не похожа на западную, — в частности, на литературу Франции. О чем там пишут? Полюбил молодой человек девушку — ничего из этого не вышло. Хотел работать — тоже ничего не вышло. В результате застрелился.

У нас пишут не так. Нашему автору — о чем бы он ни писал — совершенно ясно, что дело идет о величайшей переделке людей, о ломке старого мира. И, о чем бы он ни повествовал, он будет говорить именно об этом. А об этом нельзя говорить пошло, что у нас, к сожалению, часто бывает.

Если о революционных сдвигах говорить разухабисто, без чувства ответственности, то тем самым можно только помочь контрреволюции чувств.

Вот этого дефекта в рассказах Меньшикова нет. И это очень хорошо.

Но вместе с тем у него мыслей маловато, нет удара, нет настоящей внутренней мускулатуры в словах. Вы здесь не видите внутренней жизни автора, не видите основы под его словами. Они плавают на поверхности.

Я оптимист в области литературы и уверен, что мы дадим еще не виданные произведения. Они родятся на основе совмещения великолепной техники со страстностью, с ритмом нашей эпохи.

Нам нужны теперь небольшие рассказы. У десятков миллионов новых читателей досуга мало, и поэтому они требуют небольших рассказов. Нужно признать, что у нас романы пишутся слабо. У наших авторов еще не хватает темперамента и своих мыслей на триста страниц. Получаются десятки тетрадей, исписанных механически.

Меньшиков. Скажите, каким путем вы избавлялись от литературщины? Как вы находили свое лицо?

Бабель. В детстве я учился плохо. В семнадцать лет на меня «нашло», я стал много читать и учиться. В течение одного года изучил три языка, прочел много книг. До сих пор я в значительной степени питаюсь этим багажом.

Теперь настало время коренным образом этот багаж обновить и дополнить. В наши дни из писателя, мало знающего, полагающегося на нутро, ничего не выйдет. Конечно, забота о самостоятельности писателя должна быть постоянной.

Только теперь я начинаю подходить к профессионализму. Прежде чем что-нибудь написать, я проверяю себя. Не надо прибавлять к сотням тысяч напечатанных плохих страниц еще одну страницу болтовни.

Вы спрашиваете меня: можно ли написать рассказ в короткий срок? Если вам, например, сейчас скажут: «Поезжайте во Францию и напишите о ней очень быстро хороший рассказ», — вы, наверное, этого сделать не сможете. Но если бы у вас были определенно сложившийся взгляд, жизненный опыт, собственная оценка явлений, вы бы смогли написать такой рассказ.

Представьте себе, что Ленин, который не являлся специалистом — писателем, пожелал бы исследовать быт какой-либо американской народности. Он пошел бы в рабочие кварталы, на фабрики, заводы, в банки, в исследовательские институты и проверил бы свои, всей жизнью накопленные, мысли и убеждения, и именно под этим углом он написал бы так же блестяще об опыте какого-нибудь народа, как писал и другие, знакомые нам исследования.

Меньшиков. Как вы пишете: сразу или работаете подолгу над каждой фразой?

Бабель. Раньше я как бы декламировал фразу за фразой, проверял все на слух, потом садился, писал без помарки и сразу же сдавал в редакцию. Все прежние мои рассказы, которые вы читали, написаны без помарок, можно сказать, по памяти. Потом я изменил метод. Вот пришла мне мысль, и я ее записываю. Затем надолго откладываю. Проходит два-три месяца, опять к ней возвращаюсь, и так это иногда несколько лет продолжается. У меня особая какая-то любовь к переделкам. Есть такие люди, которые напишут вещь и больше не могут ее видеть. У меня иначе: написать мне трудно, а переделывать нравится.

Все то, что я говорю сейчас, можно, конечно, принять к сведению, а работать каждый должен по-своему. Я знаю людей, которые могут писать только при абсолютной тишине. А вот Илья Эренбург любит писать на вокзале. Это все равно что работать рядом с шумящим авиамотором.

Все лучшее, что Эренбургом создано, написано в кафе, куда он приходит каждое утро. Великолепный образец высокого профессионализма и стиля в работе дает Горький. Вот у него, мне кажется, учиться надо.

Почему я мало печатал в последние годы? Все старался переломить себя, научиться писать длинно. Затея была гордая, но неправильная. Теперь вернулся к самому себе и выбираю из груды заготовленного материала (у меня хватило вкуса его не печатать) годное.

Работникам в области литературы думать — дело не лишнее, а сейчас в особенности. Нельзя вливать новое вино в старые мехи. Идеям, рожденным пролетарской революцией, идеям нового человека, тесно в кацавейке Баранцевича, Рышкова или Потапенко.

Надо упорно работать и над формой и над содержанием, памятуя о высоком звании писателя в Советской стране.

РЕЧЬ НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗНОМ СЪЕЗДЕ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Товарищи, статьи Горького о языке, мне кажется, нельзя толковать ограничительно. Они имеют далеко идущий смысл и значение. Важно не только то, что говорится, скажем, о какой-нибудь ошибке автора, о его небрежности, невежестве — тут больше вины, пожалуй, редактора, чем автора. Это статьи о великой ответственности и революционной важности слов в наши дни, особенно в нашей стране.

В истории человечества не было такого времени, когда за ведущим классом (а в нашей стране за рабочим классом и его партией) шли бы миллионы и десятки миллионов трудящихся людей, спаянных одной мыслью, одной идеей и стремлением. С этой точки зрения необыкновенно важен, я бы сказал, потрясающ наш съезд. Были у нас съезды инженеров, профессоров, химиков, строителей, но этот съезд людей по самой своей профессии, по их технологии разъединенных разностью мироощущения, вкусами, методами работы, — необычаен.

И никогда в истории человечества все эти люди, знающие, что такое «сопротивление материала», сопротивление слова, не чувствовали такой силы единства, как чувствуем мы и трудящиеся нашей страны. Мы объединены этой общностью идеи, мысли, борьбы, потому что, товарищи, борьба, видоизменившаяся в нашей стране, развернется с невиданной силой во всем мире. В этой борьбе нужно немного слов, но это должны быть хорошие слова, а выдуманные, пошлые, казенные слова, пожалуй, играют на

руку враждебным нам силам. Пошлость в наши дни — это уже не дурное свойство характера, а это преступление. Больше того: пошлость — это контрреволюция. Пошлость — вот один из важнейших врагов, по моему мнению.

На днях я был свидетелем такого случая. Монтер по соседству избил свою жену. Сбежались люди. Один говорит: дрянной человек, женщину избил. Другой: это припадочный. Подходит третий и говорит: какой черт припадочный, это — контрреволюционер.

Товарищи, я испытал чувство растроганности, когда услышал эти слова. Если в широкую массу, в толщу нашего народа вошло такое высокое духовное понятие о революции, то действительно победа ее окончательна. За этими чувствами слова не поспевают. Наша задача — облагородить эти слова. Посмотрите вы на превращение наших газет. Они были скучноваты, тусклы, не отражали многообразия жизни. Но вот поистине с чудесной, возможной только в нашей стране, быстротой с ними произошло изменение.

Очередь за газетой — радостная очередь, если не говорить, конечно, с точки зрения бумажной промышленности *(смех и аплодисменты)*.

Теперь происходит как бы массовый призыв литераторов в газету (я говорю главным образом о газете, о брошюре, потому что это многомиллионные тиражи, многомиллионный рупор), и этому призыву надо последовать.

Со здания социализма снимаются первые леса. Самым близоруким видны уже очертания этого здания, красота его. И мы все — свидетели того, как нашу страну охватило могучее чувство просто физической радости.

Но выразители этой радости у нас иногда хромают. Иногда вдруг какой-нибудь человек — в сущности, глубоко унылая личность — зарядит о своей радости, начнет талдычить и нудить; на таких радующихся тошно глядеть.

Этот человек становится еще более страшен, когда он испытывает потребность объясниться кому-нибудь в любви *(смех)*. Невыносимо громко говорят у нас о любви. Товарищи, на месте женщин я бы впал в панику: если так будет продолжаться, им перебьют все барабанные перепонки. Если так будет продолжаться, у нас скоро будут объясняться в любви через рупор, как судьи на футбольных матчах. И ведь дошло уже до того, что объекты любви начинают протестовать, вот как Горький вчера.

Серьезное тут заключается в том, что мы, литераторы, обязаны содействовать победе нового, большевистского вкуса в стране. Это будет немалая политическая победа, потому что, по счастью нашему, у нас не политических побед нет. Это будет и утверждение стиля нашей эпохи... Он не в болтовне, не в декларациях и не в необыкновенной способности говорить длинно, когда мысль коротка (причем специалистов говорить длинно можно убедить говорить коротко только тогда, когда у них никакой мысли нет) *(смех)*.

Стиль большевистской эпохи — в мужестве, в сдержанности, он полон огня, страсти, силы, веселья.

Вот я сказал об уважении к читателю, о читателе. С ним прямо беда. Если сказать словами Зощенко, это получается форменная труба *(смех)*. Вот иностранные товарищи жалуются на него. Товарищи, а у нас читатели наступают сомкнутыми рядами, они идут прямо в кавалерийскую атаку на нас, бреющим полетом носятся над головой и протягивают руку, в которую вы камень не положите. Тут надо положить хлеб искусства. Он требует этого иногда с трогательностью, иногда с прямолинейным простодушием. Конечно, нужно его предупредить во избежание могущих возникнуть недоразумений: хлеб-то мы ему постараемся положить, но насчет стандарта формы этого хлеба — тут хорошо бы удивить его неожиданностью искусства, а не то чтобы он сказал: «Правильно, с подлинным верно». Без высоких мыслей, без философии нет литературы. Довольно теней на стекле! И этого читатель от нас ждет.

Я заговорил об уважении к читателю. Я, пожалуй, страдаю гипертрофией этого чувства. Я к нему испытываю такое беспредельное уважение, что немею, замолкаю *(смех)*.

Представишь себе аудиторию читателей человек в пятьсот секретарей райкомов, которые знают в десять раз больше нас, писателей, и пчеловодство, и сельское хозяйство, и как строить металлургические гиганты, — тогда и чувствуешь, что тут разговорами, болтовней, гимназической чепухой не отделаешься. Тут разговор должен быть серьезный и вплотную.

Если заговорили о молчании, то нельзя не сказать обо мне — великом мастере этого жанра *(смех)*.

Надо сказать прямо, что в любой уважающей себя буржуазной стране я бы давно подох с голоду, и никакому

издателю не было бы дела до того, как говорит Эренбург, кролик я или слониха. Произвел бы меня этот издатель, скажем, в зайцы и в этом качестве заставил бы меня прыгать, а не стал бы — меня заставили бы продавать галантерею. А вот здесь, в нашей стране, интересуются — а он кролик или слониха, что у него там в утробе, причем и не очень эту утробу толкают, — маленько, но не очень *(смех, аплодисменты)*, и не очень допытываются, какой будет младенец: шатен или брюнет, и что он будет говорить и прочее. Вот, товарищи, я этому не радуюсь, но это, пожалуй, живое доказательство того, как в нашей стране уважаются методы работы, хотя бы необычные и медлительные.

Вслед за Горьким мне хочется сказать, что на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева, что все нам дано партией и правительством и отнято только одно право — плохо писать.

Товарищи, не будем скрывать. Это было очень важное право, и отнимают у нас немало *(смех)*. Это была привилегия, которой мы широко пользовались.

Так вот, товарищи, давайте на писательском съезде отдадим эту привилегию, и да поможет нам бог. Впрочем, бога нет, сами себе поможем *(аплодисменты)*.

О РАБОТНИКАХ НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Товарищи, нас сюда привело восстание читателя, бунт читательской публики.

Конечное значение этого движения далеко выходит за пределы частных личных случаев. Можно соглашаться, можно не соглашаться с теми способами нанесения увечий различным товарищам, которые иногда практикуются нашей критикой, но по существу этих увечий должен сказать, что я с ними согласен *(смех)*.

Есть обновленный 170-миллионный народ, большая часть которого лишь десяток, два десятка лет тому назад научилась грамоте. Появились десятки миллионов новых читателей, которым начинать с Джойса и Пруста невозможно. В руководстве великим, небывалым этим движением возможны ошибки; на редакциях и критиках наших лежит историческая ответственность. Я не собираюсь заступаться за них. В той путанице, которую критики наши сейчас разбирают, часто они сами повинны, часто суждения их по своей неожиданности напоминают атмосферические явления. Но все это имеет малое, второстепенное значение. Значение имеет то, что 170-миллионный народ, строящий новую культуру, провозвестник и создатель нового общества, говорит нам, что ему не хватает книг и что значительная часть тех, которые есть, — плохи. Заявление, важность которого и обязательность для нас нельзя переоценить. Исходя из этого, надо, чтобы совещание наше стало совещанием производственным.

Мы говорим о людях доброй воли и способностей, которые могут и хотят работать, — и говорим конкретно. Добрых намерений на всех наших литературных совещаниях высказано было много, добрыми намерениями вымощен ад и наша литература *(смех)*. Признаний Советской власти тоже мы выслушали немало. По-моему, речь теперь должна идти о том — признает ли Советская власть тех, кто ее признает *(аплодисменты)*.

Что должны мы делать для поднятия своей квалификации и как это делать? Вот вопрос, который каждый из нас должен себе задать.

Возьму случай с товарищем Бабелем — случай, известный мне лучше других. Мне трудно тут не присоединиться к хору жалующихся на товарища Бабеля.

Меня упрекают в малой продуктивности. В ранней юности мною было напечатано несколько рассказов, встреченных с интересом, после чего я замолчал на семь лет. Потом снова стал печататься, и кончилось это тем, что мне разонравилось то, что я делал, и у меня возникло законное желание делать по-другому.

Я не могу связать слово «ошибка» с тем чувством недовольства собой, которое я испытывал. Ошибка в литературе — это же и есть литератор. Людовик сказал когда-то: «Королевство — это я». И тут надо принять далеко идущие меры по отношению к себе.

В начале моей работы было у меня стремление писать коротко и точно, был у меня, я думал, свой способ выражать чувства и мысли. Потом я остыл в этой страсти и убедил себя, что писать надо плавно, длинно, с классической холодностью и спокойствием. И я исполнил свое намерение, уединился, исписал столько бумаги, сколько полагается графоману *(смех)*.

В числе моих пороков есть свойство, которое, пожалуй, надо сохранить. Я считаю, что нужно быть себе предварительной цензурой, а не последующей. Поэтому, написав, я дал сочиненному отлежаться, и когда прочитал со свежей головой, то, по совести, не узнал себя: вяло, скучно, длинно, нет удара, неинтересно. И тогда снова — в который раз — я решил идти в люди, объехал много тысяч километров, видел множество дел и людей.

Мысль моя была такова — совершаются мировой важности события, рождаются люди еще не виданные, совершаются вещи небывалые, и, пожалуй, один только фактический материал может потрясать в наше время.

И вот я постарался изложить этот фактический материал, написал, отложил его, прочитал и увидел — неинтересно *(смех)*.

Это начало становиться серьезным. Пришло время пересмотра и решения. И я понял, что первое мое желание было желание каким-то особенным объективизмом, техникой и формой подменить то, чем был я. Вторым внутренним моим расчетом было то, что за меня будет говорить Советская страна, что события наших дней так удивительны, что мне и делать особенно нечего — они сами за себя говорят. Нужно только правильно их изложить, и это будет важно, потрясающе, интересно для всего мира. И вот — не вышло. Получилось неинтересно. Тогда я понял окончательно, что книга — это есть мир, видимый через человека. В моем построении человека и не было, — он ушел от самого себя. Надо было к нему вернуться; у меня, как у литератора, никаких других инструментов, кроме как мои чувства, желания и склонности, не было и не могло быть; в наших условиях высокой ответственности нужна ничем не ограниченная добросовестность к себе.

Так пришел я к убеждению, что для того, чтобы хорошо писать, нужно чувства мои, мечты, сокровенные желания довести до их предела, довести до полного голоса, сказать себе со всей силой, что я есть, очистить себя, пойти полным ходом, и только тогда видно будет, дело я затеял или нет, товар это или не товар. И тут, товарищи, впервые за несколько лет я почувствовал легкость в работе и прелесть ее. Только будучи самим собой, с величайшей силой и искренностью развивая свои способности и чувства, можно подвергнуть себя решительной проверке. Человеческий мой характер, работа моя, то, чему я хочу учить и к чему я хочу вести, — является ли это частью созидания социалистической культуры, работником которой я являюсь? Вот в чем заключается эта проверка. Представитель ли я тех людей, новых людей нашей страны, с жадностью смотрящих на сцену, ждущих и требующих нового, страстного, сильного слова?

Я себе ответил на этот вопрос так, что работу мне надо продолжать с гораздо большей настойчивостью, чем это было раньше. Чтобы не удариться в область «добрых намерений», я не стану распространяться. Подождем дел моих... Постараюсь, чтобы ждать было недолго.

Не может быть хорошей литературы, если собрание литераторов не будет собранием могучих, сильных, страстных и разнообразных характеров. Объединенные одной целью и страстной любовью к строительству социализма, они должны создать новую социалистическую культуру *(продолжительные аплодисменты)*.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ФРАНЦИЮ

«Город-светоч»

С детства слышал я о великом городе. Французы называют его «город-светоч» (ville-lumière), на Западе он — всеми признанная столица мира...

И вот наш поезд въехал на Северный вокзал Парижа. Вышли мы на перрон и испытали что-то вроде разочарования: грязновато, шумновато, видимого порядка нет...

Где висят таблицы «Не ходить», — ходят; где написано «Не курить», — курят. Кто-то поет, кто-то хохочет. Шумно целуется группа молодежи, свист и песни...

Вышли мы с вокзала. Трехэтажные и четырехэтажные, закопченные, сумрачные дома, порядочно мусора на тротуарах. День нашего приезда был удушливо-жаркий. Над раскаленными камнями города висело желтое солнце. На тротуарах, в кафе, без пиджаков, в одних жилетах, сидят, шумно и непринужденно ведут себя толстоватые люди, напомнившие мне моих земляков — одесситов, — такой же невидный, быстрый, уверенный в себе народ.

Итак, мы встретили не то, что ждали: никакой торжественности, натянутости и парадной пышности; ни особого блеска, ни громадных зданий. Старинный, плохо расположенный город; рядом с просторными блестящими бульварами — узкие улички, тупики, беспорядочное и громовое движение.

Но вот мы пожили в Париже некоторое время, присмотрелись к чему-то неясному еще для вас самих, но важному, и новое чувство медленно, непреодолимо начи-

нает проникать в вас, и все более становятся вам понятны художники разных стран, приехавшие в Париж на неделю или на месяц и оставшиеся на всю жизнь в этом городе, созданном, как произведение искусства.

Городу — тысяча лет. В нем живут люди всех наций, и уклад жизни всех наций — мир в миниатюре. Он обладает разнообразием, невозможным в другом месте. Нет языка, которого вы не услышали бы в Париже, нет человеческого чувства, которое не было бы выражено на одном из бесчисленных и чужих языков. Нет вина, которое нельзя было там выпить. И недаром один француз со страстью убеждал меня в том, что лучший украинский борщ изготовляется не в Полтаве, а в Париже, на одной из уличек, прилегающих к Елисейским полям. Елисейские поля — так странно для нашего уха называется улица, которую французы считают самой прекрасной улицей мира. Она тянется от площади Согласия до древнего и вечно юного Булонского леса, прерываемая в победоносном просторном своем беге хрустальными фонтанами, зелеными скверами, уложенная мраморными плитами, на которых сияет и переливается вода во время дождя.

Так постепенно отделываетесь вы от первого впечатления, для того чтобы дать место другим. На бульварах мало детей... зато множество стариков и старушек, вяжущих, читающих газеты, наблюдающих за детьми. Эти люди могут долго говорить о кушаньях, о том, какая в прошлый четверг была погода, — и, должен сознаться, они в конце концов отучили меня от пренебрежительного отношения к тому, что мы называем «разговорами о погоде». Я понял, что для горожанина — это хоть слабое, но все же приближение к природе.

На улицах мы видели народ, насмешливый и беспокойный. Стоит появиться уличному певцу, как вокруг него собираются люди, расхватывают листки с песнями, которые он исполняет, и тут же подпевают ему. Стоит кондукторше в трамвае сделать кому-нибудь замечание, как поднимается веселый скандал на полчаса. Все это может создать впечатление существования поверхностного. Вначале думаешь: неужели легкий и неуважительный этот народ создал искусство, недосягаемое по красоте, простоте и легкости изложения? Неужели народ этот дал Бальзака и Гюго, Вольтера, Робеспьера?.. Нужен срок, чтобы почувствовать, в чем прелесть и тайна этого города, его

народа, его прекрасной страны, разделанной с тщательностью, любовью и вкусом.

В Париже есть книжные издательства, насчитывающие столетия существования, и часто в книжной лавке сидит праправнук по прямой линии того человека, который основал эту лавку лет триста назад, то есть в то время, когда у нас на окраины Москвы заходили волки и медведи. Накопление богатств, знаний, технического уменья началось на столетия раньше, чем у нас. Культура Франции не в показном блеске: нужны внимание и серьезность, чтобы проникнуть в ее глубину.

Если говорить о том, что называется национальным характером, то французы в массе своей — народ философичный, народ ясной, точной, изящной мысли, скрывающий часто под шуткой глубокое содержание. Народ, несмотря на свою репутацию, замкнутый, не раскрывающий по пустякам своего сердца. Беда в том, однако, что власть капиталистов, политическое устройство капиталистического государства искажают прекрасное лицо этой страны, поражают ее жизненные центры.

Школа во Франции

По нашим, советским представлениям, она поставлена плохо. В этом деле Франция — одна из отсталых стран Европы, со старым, схоластическим обучением, с зубрежкой как основой преподавания.

Дети проводят в школе часов по десять в день. Учиться начинают с шести лет. Задают много и требуют много. Физкультура только начинает прививаться. Французский школьник — существо хилое и озабоченное. Наши ребята выгодно от них отличаются силой, простым и здоровым весельем. Старинные колледжи французских детей походят на казематы, на крепости, — это угрюмые, казенные здания. Здания эти, самый распорядок школьной жизни подавляют воображение и запугивают его. Зубрежка латыни и греческого начинается чуть ли не со второго класса. К концу обучения французские школьники знают древние языки и классических авторов, но это дается непосильным напряжением физических сил. И сами французы признают, что больше половины того, что проходится в школах, настолько неприменимо к жизни,

настолько ложно и схоластично, что они сожалеют о потерянном времени и потраченных силах.

Лучше поставлено преподавание в школах, принадлежащих ордену иезуитов — одному из самых способных, настойчивых и образованных отрядов католической церкви. Яд религиозного воспитания вводится в сознание ребенка так тонко и незаметно, методами столь гибкими и совершенными, что опасность эту нельзя недооценить. У иезуитов — лучшие преподаватели, богатое оборудование, горячие завтраки, умелое внешкольное воспитание, внешнее благообразие и мягкость. Многие трудовые люди попадаются на эту удочку и обрабатываются в духе, выгодном иезуитам.

Другой дух веет в высшей школе. И хотя Сорбонна — комплекс парижских университетов — здание серое, тяжелое, холодное, но в нем кипит веселая, разноязычная, бурная толпа.

Любой человек может прийти в Сорбонну, записаться на любой курс, заплатить за этот курс несколько десятков франков и прослушать его. Скажем, вы изучили археологию или географию. Можете прийти к знаменитому профессору и сказать:

— Профессор, я желаю у вас экзаменоваться по географии за весь курс.

Он обязан вас проэкзаменовать и выдать вам аттестат. Для этого вы не должны даже быть записаны на лекции.

Не знаю, хорошая ли это система, — во всяком случае, она небюрократична.

Города и деревни

Я ехал по удивительному французскому шоссе, в руках у меня была карта; счет оставленных позади километров неопровержимо говорил за то, что я должен въехать в деревню.

Но вместо нее по обе стороны дороги выстроились глухие, безглазые стены, без окон и дверей. Я проехал это угрюмое собрание складов, или цейхгаузов, и спросил у первого попавшего мне прохожего, где же деревня.

Он ответил: «Вы проехали ее». Стены, показавшиеся мне цейхгаузами, или сараями, на самом деле оказались складами человеческих сердец и стремлений, а не только плугов и зерна.

Французские богатые фермеры (кулаки — в переводе на язык честных людей) строят свои дома окнами и дворами внутрь, сооружают замкнутые в себе крепости, только размерами и обыденностью отличающиеся от средневековых феодальных замков. «Человек человеку — волк» — вот что невидимыми буквами написано на этих стенах. Один двор враждебен другому. Одно хозяйство противопоставлено другому. Душа отдыхает, когда это сумрачное видение сменяется панорамой городка — они встречаются часто, — спрятанного в зелени, обведенного цветами, покойного, готического и романтичного. Многое во Франции устарело, но многое выстроено вновь: земля украшена и расчищена руками работавших на ней многих поколений. Труду помог благословенный климат юга.

Незабываемы для меня дни, проведенные в Марселе, на берегу Средиземного моря, «под небом, вечно голубым», под щедрым, сверкающим солнцем. Свежий морской ветер колышет ветви пальм, олив, лимонных и апельсиновых деревьев. Веселые южные улицы берут начало у моря. И в этом же Марселе есть старая часть города, где нет доступа солнцу. Там узкие улицы, средневековые шести- и восьмиэтажные дома. Солнце не проникает в теснины средневековых громад, близко поставленных друг к другу, в извилистые и сырые коридоры улиц, где не разъедутся две повозки, в одуряющее зловоние отверженных кварталов. Наверху между домами висит белье; внизу, на очагах, на угольных плитках, на улице и в коридорах, готовят еду, распространяющую едкие, пряные запахи. Здесь живут мавры, арабы, негры — беднота, подавленная рабочая сила марсельского порта. Всего только в пятистах метрах сверкает изумрудное море, вода отражает белые стремительные корпуса яхт, вверх подымаются кварталы вилл и дворцов, улицы простреливают сильные, неудержимые тела дорогих автомобилей... Товарищи, это называется капитализмом...

Правосудие и парламент

Камера уголовного суда. Сидит судья, а вокруг него такой визг, шум, такая суета, что никак вы не можете разобрать, где подсудимый, где защитник, где стороны.

Приговор объявляется мимоходом, как будто между делом.

— Два года. Три года. Шесть месяцев. Уходи, подсудимый...

Сначала вся эта ярмарка забавляет, но потом, когда оказывается, что по этим приговорам, брошенным вскользь, мимоходом, в грохоте базарной суеты, надо прожить годы в тюрьме с каторжным режимом, настроение ваше меняется. Судебное следствие ввиду многочисленности дел проходит с быстротой пулеметной очереди. Ведет его председатель, для которого обильно расточаемые остроты являются признаком хорошего тона. Допрос приблизительно выглядит так: председатель обращается к подсудимому:

— Здравствуйте, мой друг. Ну вот мы наконец и познакомились. Попали вы ко мне, конечно, по недоразумению, ни в чем вы, конечно, не виноваты?.. Но все же, может быть, вы нам расскажете, как проделывали вы все эти гадости?..

Вторая по важности фигура во французском суде — адвокат. Как бы незначительно ни было дело, адвокат считает своим долгом многословие, пафос, широкие жесты, изыскания во тьме времен. Его слушают, как актера в театре. И судят о нем, как об актере. Впрочем, председателю это представление не мешает заниматься своим делом, переговариваться с сотрудниками, писать. Это не мешает ему по окончании речи качнуться направо и налево к двум другим судьям, древним старцам, мало чем отличающимся от египетских мумий, и небрежно произнести:

— Три года. Идите, мой друг. Уберите его, жандармы.

Немногим больше порядка во французском парламенте. Красивый, полукруглый зал, обыкновенно на три четверти пустой. Депутаты, не слушая оратора, громко разговаривают друг с другом, пишут письма, читают. Оратор говорит не для них, а для стенограммы. Оживление бывает во время речи знаменитого оратора или по скандальному какому-нибудь поводу, в чем недостатка никогда нет.

Народный фронт

Последние выборы усилили роль и значение коммунистической фракции в парламенте. Коммунисты во Франции были творцами народного фронта против фашизма. Они объединили для совместного действия в единый на-

родный фронт партии коммунистов, социалистов и радикалов.

Сейчас во Франции правительство, опирающееся на народный фронт. В правительство входят социалисты и радикалы. Коммунисты поддерживают его во имя борьбы с отвратительной угрозой, нависшей над миром, — во имя борьбы с фашизмом. Коммунисты стоят во главе народной борьбы за мир, за счастливую, свободную Францию.

Никогда не забуду я 14 июля 1935 года, день взятия Бастилии, проведенный мною в Париже. На площади Бастилии была тюрьма, которую восставший народ разрушил 14 июля 1789 года и начал этим революцию, свергнувшую короля, опрокинувшую феодальный порядок и открывшую новую эпоху в истории человечества. Этот день празднуется: народ Парижа выходит на улицу, пляшет день и ночь, веселится, как мудрец и как ребенок. И вот старая площадь, видевшая многое, 14 июля 1935 года увидела миллионы пролетариев, давших клятву единства и борьбы.

Впереди демонстрации шли вожди народного фронта. Тротуары, окна, карнизы были заполнены стотысячной толпой. Французская толпа — веселая толпа. Она смеется, балагурит, трещат хлопушки, фальшиво, но весело гремят песни. Вот показались вожди народного фронта, за ними шли центральные комитеты трех партий и затем, отдельно, деятели народного фронта: писатели, ученые, художники.

По тому, какими аплодисментами, какими криками встречали вождей этих трех партий, мы увидели, на чьей стороне любовь народа. Самые горячие приветствия, самые шумные аплодисменты трудовой народ Парижа посылал ЦК коммунистической партии.

Это была рабочая демонстрация, шествие людей с мозолистыми руками, во фригийских колпаках. В это время другая демонстрация, другие люди, с другими целями, шли по Елисейским полям. Мы с товарищами взяли такси и поехали с площади Бастилии на Елисейские поля. Все, что лежало между ними, казалось, вымерло... На бульварах, на площадях и набережных не было детей, стариков и старушек, только в скверах стояли отряды солдат и ружья в козлах.

Другой мир и другую душу увидели мы на Елисейских полях. Здесь, как и на площади Бастилии, были фран-

пузы. Но па площади Бастилии кричали: «Да здравствует Советская Россия!», а с Елисейских полей несся исступленный крик: «На виселицу Советы!», «Долой Советскую Россию!»

На площади Бастилии шла веселая трудовая толпа, а здесь, по Елисейским полям, шли фашисты в черных рубахах, в черных шапочках, и по-солдатски отбивали шаг.

Власть денег

Рабочие поддерживают правительство, которое сейчас во Франции, потому что оно борется за мир, против фашизма, укрепляет отношения с Советским Союзом. Но все же Франция — буржуазная страна, и главная власть в ней — власть денег. Правительство не может отменить эту власть: оно только пытается ограничить безраздельную власть над страной крупных банкиров и денежных тузов. Этого требуют не только рабочие и фермеры, но и большая часть интеллигенции и часть мелкой буржуазии, которых душат банкиры и фабриканты.

В правлении французского банка, в главной денежной организации страны, был совет двенадцати директоров. Эти двенадцать человек и были основными финансовыми хозяевами Франции.

Правительство распустило совет двенадцати, назначило нового управляющего государственным банком и выбило этим из рук банкиров и спекулянтов могучее орудие.

Все мы читали откровенные и удивительные истории о подкупе прессы в буржуазных странах. Но только приехав туда, на месте, столкнулись мы с этим ежедневным злодеянием и только удивились тому, как просто это делается.

Где-нибудь в Марокко или Алжире нашел кто-то залежи свинца или цинка. Нашли их ровно два с половиной пуда, то есть никакого промышленного значения эти «залежи» не имеют. Но спекулянты такого случая не пропустят. Сейчас же образуется акционерное торговое предприятие с капиталом, скажем, в миллион франков с целью эксплуатировать новые рудники. Для того чтобы собрать этот миллион франков, выпускается сто тысяч бумажек —

акций, которые надо продать. А дело-то все дутое, никакого цинка нет и в помине, акции продать трудно. Тогда зовут журналиста и говорят:

— Вот тебе десять тысяч франков, напиши, что ты там был и все видел...

И через три дня в газете появляется статья:

«Богатейшие залежи свинца, цинка, меди... Чудная природа. Кто хочет разбогатеть, должен купить эти акции».

Одна статья, вторая, третья — и все от собственного корреспондента, снимки, фотографии. Купившему облигации на 100 франков обещают, что он заработает на них 200 франков в будущем году. И публика несет последние гроши...

Все это произошло благодаря широкой и лживой рекламе. В стране есть такие люди, которые называются рантье. Часто это старик со старухой, которые, скопив небольшой капиталец, сидят на солнышке, делать ничего не делают, не работают, а все думают, как бы, не работая, нажиться. Одна газета советует: вкладывайте деньги в цинковые залежи. Другая кричит: в медные рудники!.. Наконец они выбрали... Они верят, что за свои десять тысяч франков в будущем году получат 20 тысяч. А в действительности не только этих 20 тысяч, но даже своих десяти они уже больше никогда не увидят. Мы говорим о старике со старухой; не в них одних, конечно, дело. Находится довольно людей, воспитанных так, что мысль о том, чтобы нажиться за счет других, не только не кажется им преступной, а является заветной и любимейшей их мечтой.

Так во всем.

Везде ложь, покупаемая и продаваемая. В театре так же, как и везде. Есть у меня деньги, — значит, могу я приехать в Париж, объявить, что приехал знаменитый певец, позвать к себе журналистов. Они напишут пятьдесят статей о том, какой у меня голос, как я пою, что в Москве меня на руках носили, и публика, конечно, придет. Несомненно здесь одно: чем хуже у меня голос, тем больше денег должен я заплатить за рекламу.

И гниль эта разъедает страну, изумительную по разнообразию и богатству, страну великих ученых, поэтов и живописцев.

«Красный пояс»

Париж опоясан небольшими городками. Они считаются его предместьями. В них расположены большинство фабрик и заводов столицы, крупнейшие ее предприятия и учреждения. Голоса этой трудовой массы отданы коммунистам. В большинстве окрестных городков коммунистические муниципалитеты (самоуправления). Пояс, стянувшийся вокруг Парижа, — «красный пояс».

Однажды советская делегация (мы приехали на Конгресс защиты культуры) отправилась в Вилльжюиф, в одно из красных предместий столицы. Мэр Вилльжюифа — Вайян Кутюрье — член ЦК Французской коммунистической партии, писатель и журналист, редактор газеты «Юманите».

Переход от города — сложного, противоречивого и страшного аппарата буржуазного государства — в Вилльжюиф — ячейку грядущего — был разителен.

Географически границы, где кончается Париж и начинаются пригороды, нет: нескончаемый город тянется на десятки километров, только кварталы становятся беднее по мере удаления от центра и все чаще попадаются рабочие блузы, пока они не становятся преобладающим родом одежды.

Мы приехали в Вилльжюиф и отправились в мэрию. В канцелярии все говорят друг другу «товарищ», и везде стоит такое содружество, простота и искренность, что мы сразу почувствовали себя на родине и поняли сердцем, а не только умом, что родина коммунистической идеи велика и безгранична, как мир.

В мэрии мы просидели несколько часов на приеме у Вайяна Кутюрье. К нему, к коммунистическому мэру, ходят с самыми необыкновенными делами. Ходят рабочие, бывают и буржуа, и спекулянты, и военные.

Больше всего было безработных. Один из них пожаловался Вайяну:

— Этот верблюд — мой хозяин — уволил меня и теперь отказывается дать записку в кассу для безработных. Помоги мне, пожалуйста, Вайян.

И Вайян помогает. Тут же он пишет «верблюду»:

«Уважаемый господин... такой-то... предлагаю Вам учинить полный расчет с таким-то. В противном случае...»

Есть полная надежда, что «верблюд» «противного

случая» дожидаться не будет. Рабочий берет записку и благодарит.

Через полчаса прибегает расстроенный, взбудораженный хозяин:

— Мосье Вайян, клянусь вам, в душе я тоже коммунист, но ста франков, клянусь вам, я ему не должен. Вы меня разоряете, вы неправильно насчитываете. Рабочим живется лучше, чем мне, я разорен. У меня не хватает денег на то, чтобы выплачивать проценты...

Тогда Вайян похлопывает его по плечу:

— Ничего, мой друг, терпеть осталось недолго... Когда у нас будет коммунизм, вам не придется платить проценты, а государству — пособий по безработице...

Хозяин цепенеет и уходит в задумчивости.

В Вилльжюифе коммунистическим муниципалитетом выстроена лучшая школа во Франции. Необыкновенно привлекательная, радостная и виртуозная по архитектуре. Стенная роспись, выполненная художником Люрса, полные света и гармонии классы, цветники, залы для физкультуры и кино. Для французов, привыкших к мрачным, средневековым колледжам, коммунистическая школа была восьмым чудом света. Перед прелестью и простотой этого сооружения, новых методов преподавания в новой школе должны были сдаться даже официальные власти. Министр народного просвещения выразил желание приехать на открытие школы. Ему дали понять, что приезд его не прибавит веселья... Он понял и не явился.

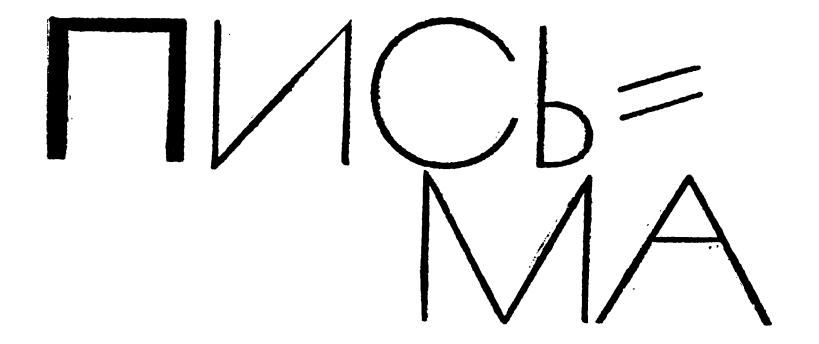
«Красный пояс» окружает Париж, и недалек час, когда красные предместья — к счастью всего передового человечества — сольются с красным Парижем.

М. ГОРЬКИЙ

В 1898 году в издательстве Дороватовского и Чарушникова появилась книга рассказов автора со странным именем — Максим Горький. Все было ново и сильно в этой книге: герои ее, вышибленные из жизни, но недвусмысленно ей угрожающие; изобразительные средства, полные движения, силы, красок. Во всей литературе дворян и разночинцев не найдем мы столько описаний солнца, сверкающего моря, лета и зноя — сколько в первых рассказах Горького. Они принесли ему славу, молниеносно распространившуюся на оба континента, славу, редко выпадавшую на долю человека. Радикальная Россия, пролетариат всего мира нашли своего писателя. Скрывшийся за псевдонимом — он оказался нижегородским цеховым малярного цеха Алексеем Пешковым. С первого же появления своего в литературе бывший булочник, грузчик стал в ряды разрушителей старого мира. Книги его, с такой небывалой, почти физической силой толкавшие на борьбу за социальную справедливость, зажегшие в миллионах эксплуатируемых людей действенную жажду красоты и полноты жизни — сделали Горького массовым, любимым, истинно народным писателем. Ни один литератор нашей эпохи не нанес обществу угнетателей таких действительных ударов, как он, ни одному литератору не удалось в такой мере, как ему, стать участником и строителем нового мира. Близкий друг Ленина — Горький сорок лет с неукротимым мужеством боролся с капитализмом, самодержавием и в последние годы своей жизни — с фашизмом. Великих сил потребовала эта борьба. Они были у

Горького. Нищий, задерганный мальчишка, украдкой от хозяев читавший по ночам книги, Горький, учась всю жизнь, достиг вершины человеческого знания. Образованность его была всеобъемлюща. Она опиралась на память, являвшуюся у Горького одной из самых удивительных способностей, когда-либо виденных у человека. В мозгу его и сердце — всегда творчески возбужденных — впечатались книги, прочитанные за шестьдесят лет, люди, встреченные им, — встретил он их неисчислимо много, — слова, коснувшиеся его слуха, и звук этих слов, и блеск улыбок, и цвет неба... Все это он взял с жадностью и вернул в живых, как сама жизнь, образах искусства, вернул полностью. Четыре десятилетия грызла его неизлечимая болезнь, ни разу не одержав победы над его духом; в последний раз он победил ее на одре смерти. Громадностью сделанного им мы обязаны тому, что он первый исполнил свою заповедь — превратить труд подневольный в непрерывную и радостную жизнь творчества. Им написано триста двадцать пять художественных произведений, среди них много романов, повестей, пьес и около тысячи публицистических статей; им основаны десятки журналов, газет, сборников, ставших возбудителями революционной и созидательной энергии русского народа. Работа его духа не знала остановок, уныния, падений. Сын рабочего класса — точный, неутомимый мастер, — он всю жизнь настойчиво передавал свой опыт другим. Все, что есть лучшего в советской литературе, открыто и взращено им. Переписка его, превосходящая по объему и непосредственным результатам эпистолярное наследие Вольтера и Толстого, по существу, является удесятеренным собранием его сочинений. Письма Горького, проникшие в самые глухие и скудные углы, обращенные вначале к отдельным лицам и группам, станут скоро достоянием человечества и зеркалом одной из самых плодотворных жизней на земле.

Перед нами образ великого человека социалистической эпохи. Он не может не стать для нас примером — настолько мощно соединены в нем опьянение жизнью и украшающая ее работа.


ПИСЬ=
МА

А. М. ГОРЬКОМУ

Москва, 25 июня 1925 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Спасибо за письмо. Оно рассеяло уныние, которому я был подвержен.

В начале нынешнего года — после полуторагодовой работы — я усомнился в моих писаниях. Я нашел в них вычуры и цветистость. Мне казалось, что для меня наступает дурное время. В Петербурге, в 1917 г., я понял, как велика моя неумелость, и ушел в люди. В людях я прожил шесть лет, и в 1923 вновь принялся за литературную работу. Меня мучила мысль о том, что я обманул ваши ожидания. Но теперь вы знаете, что я не обленился, не забросил писания, не забыл слов, сказанных вами мне в первый раз в кабинете «Летописи», на Монетной улице. Я не забыл их, Алексей Максимович. Они помогают мне в минуты неверия. Изо всех сил я буду стараться писать проще, душевнее, искреннее, чем писал до сих пор. И если я буду ошибаться, то прошу вас — не теряйте веры в меня.

В начале зимы собираюсь ехать за границу, может быть, увижу вас. Вторую половину лета и осень проведу на Северном Кавказе. Я очень люблю этот край, и там у меня есть веселые, прекрасные товарищи.

Стихи Есенина (прелестные, лучшие из всех, какие сейчас пишутся в России) высылаются вам, книга Огнева и № 6 альманаха «Круг» не вышли еще из печати.

Теперь просьба, — может быть, это и бестактная просьба... Жена моя, Евгения Борисовна Бабель, имеет непреодолимое желание уехать в Италию. Она учится живописи и хочет усовершенствоваться в своем искусстве. Вы пом-

ните Кудрявцева из «Новой жизни»? Он изучал испанский язык, у него было необыкновенной красоты издание «Дон-Кихота» на испанском языке, книга эта принадлежала в прошедшие времена какому-то герцогу, Кудрявцев читал ее с упоением. Так вот жена моя хочет ехать в Пизу, Лукку и еще куда-то. В здешнем итальянском посольстве ей сказали, что для скорейшего получения итальянской визы полезно сослаться на человека, живущего в Италии. По совету многих друзей я решился указать на вас, больше не на кого. Если вас запросят, не откажите, Алексей Максимович, ответить, что она человек тихий, для России бесполезный, для Италии безвредный. Извините, что затрудняю вас.

С рассказом, посвященным вам и напечатанным в предпоследнем № «Красной нови», вышло недоразумение. По причинам, от меня не зависящим, рассказ оборван на половине. Вторая половина появится в альманахе «Красная новь», выходящем на днях. Книжка будет вам послана немедленно. Я очень огорчался, что с вещью, посвященной вам, вышла глупая такая история.

Ваш, любящий вас всем сердцем

И. Бабель.

Мой адрес: Москва, Пречистенка, Обухов пер., 6, кв. 23.

А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 26 января 1928 г.

Villa Chauvelot

Дорогой Алексей Максимович.

Я уезжал из Парижа в деревню, вернулся и застал ваше письмо. Спасибо за приглашение. От всего сердца благодарю вас. Можно ли мне приехать весной? Я очень хочу вас видеть. Я все бьюсь над работой, которую начал давно. Поездка в Италию — соблазнительная чрезвычайно — может рассеять рабочее мое настроение, я этого боюсь. Поэтому мне хотелось бы приехать попозже, весной. Слухи о моих «болячках» преувеличены. Еще поживу.

Любящий вас

И. Бабель.

А. М. ГОРЬКОМУ

15 Villa Chauvelot, Paris, 15

29 февраля 1928 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Начинаю хлопотать о визе. Приеду в апреле. Спасибо, что не забываете меня. Тревожиться обо мне не стоит, а может, стоит... Перемудрил я, кажется. Окончу проклятую книгу, из которой никак выбраться не могу, и снова кинусь в «мир», хлебнуть свежего воздуха. И «мир» выберу погуще. Три года живу среди интеллигентов — и заскучал. И ядовитая бывает скука. Только среди диких людей и оживаю. Вот дурак-то выдался...

Был у меня Безыменский, рассказал, что вы бодры и в добром здравии. Я очень рад. Жуткина еще не видел, бог спас... (Жаров и Уткин называются в Москве Жуткин.)

Посылаю вам мою пьесу «Закат», чудовищно изданную «Кругом»; грубейшие опечатки совершенно искажают текст. Я, какие ошибки заметил, выправил. Пьеса эта вчера — 28/II — в первый раз была представлена на сцене 2 МХАТа, надо думать — провалилась.

До свиданья, Алексей Максимович.

Ваш всем сердцем

И. Бабель.

А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 10 апреля 1928 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Я жду итальянской визы. Ожидание это может продлиться неделю, а может и больше. Напишите мне, пожалуйста, когда вы едете в Россию. Как бы нам не разминуться... По совести говоря, Италия потеряет для меня тогда свою притягательную силу.

Я ничего не написал по поводу вашего юбилея, потому что чувствовал, что не сумею сделать это так, как надо. О ваших книгах и о вашей жизни у меня есть мысли, которые мне кажутся важными, но они не ясны еще, сбивчивы, противоречивы... Придет время, когда я все додумаю и смогу написать о вас книгу, я верю в это... А пока помолчу. Но все эти дни я шлю вам лучшие

пожелания моего сердца, пожелания, какие только можно послать человеку, ставшему неразлучным нашим спутником, другом, душевным судьей, примером... Мысль о вас заставляет кидаться вперед и работать изо всех сил. Ничего лучше нельзя придумать на земле.

Ваш
И. Бабель.

А. М. ГОРЬКОМУ

6 июля 1931 г.

Дорогой Алексей Максимович, я переписал еще несколько старых рассказов. (Новые не замедлят последовать.) Если будет время — прочитайте, пожалуйста.

Ваш
И. Бабель.

А. М. ГОРЬКОМУ

Париж, 18 марта 1933 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Томлюсь. Хочу ехать в Сорренто, в Москву — и не могу, нет денег. Написал в Москву, жду ответа. Пытаюсь заработать здесь, что трудно. Мне сделали предложение кинематографические фирмы; я поставил условия, очень их ограничивающие. Не знаю, примут ли. Подожду еще неделю, больше не выдержу. Если денег не добуду — займу у кого-нибудь и поеду. Несмотря на столь неопределенные обстоятельства — все-таки до свидания. Привет семье.

Ваш
И. Бабель.

А. М. ГОРЬКОМУ

Флоренция, 24 мая 1933 г.

Дорогой Алексей Максимович.

Глаза мои видют, ноги мои ходют, я во Флоренции. Этого достаточно для того, чтобы быть счастливым...

Собираюсь в Париж. Меня торопят с представлением

сценария. Кое-что обдумал. В июне рассчитываю увидеться с вами в Москве и очень этому радуюсь.

Маршака оставил в неудовлетворительном состоянии. Ничего не мог поделать; мне надо ехать; беспокоюсь об нем.

Когда приеду — расскажу вам и Яковлеву, что я увидел в Неаполе; очень будет хорошо, если у нас выйдет «сочинение»...

Поклон от всего сердца чадам и домочадцам.

Ваш
И. Бабель.

Д. А. ФУРМАНОВУ

Москва, 4 февраля 1926 г.

Дорогой дядя Митяй.

Посылаю «Конармию» в исправленном виде. Я перенумеровал главы и изменил названия некоторых рассказов. Все твои указания принял к руководству и исполнению, изменения не коснулись только «Павличенки» и «Истории одной лошади». Мне не приходит в голову, чем можно заменить «обвиняемые» фразы. Хорошо бы оставить их в «первобытном состоянии». Уверяю тебя, Дмитрий Андреевич, никто за это к нам не придерется. Опасные места я выбросил даже сверх нормы, например, в Чесниках и проч. Затем, если это тебя не затруднит, передай Ивану Васильевичу мои пожелания касательно внешности книги. Мне очень нравится, как издан Сиверко. Был бы очень рад, если бы «Конармию» удалось издать в небольшом формате, обязательно небольшом, шрифт пореже, поля побольше — и каждый рассказ с новой страницы.

Анне Никитичне мой искренний пламенный привет. Дай ей б.., не бог, а Маркс поправиться поскорее, и тогда я поставлю к водке бочонок таких огурцов, каких она отроду не видывала.

Завтра и послезавтра позвоню о дальнейших моих делах и переездах.

Умиляюсь собственной честности, посылаю тебе книжицу Зощенко.

Твой
И. Бабель.

Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 24 февраля 1928 г.

Дорогой Лев Вениаминович!

Сделайте милость, пойдите на представление «Заката» и потом не поленитесь описать мне этот позор. Получил я пьесу в издании «Круг». Это чудовищно. Опечатки совершенно искажают смысл. Несчастное творение!..

Из событий, заслуживающих быть отмеченными, на первом месте — упоительная, неправдоподобная весна. Оказывается, люди были правы — хороша весна в Париже!

Проездом в нашем городе гостят Безыменский и Жуткин. Первого из них видел и чуть не подавился от хохота. Непрезентабельно выглядят гении на фоне парижской мостовой! А впрочем, Безыменский — хороший человек.

До февраля я работал порядочно, потом затеял писать одну совершенно удивительную вещь, вчера же в 11½ часов вечера обнаружил, что это совершенное дерьмо, безнадежное и выспренное к тому же... Полтора месяца жизни истрачены впустую. Сегодня еще горюю, а завтра буду уже думать, что ошибки учат. Кончили ли вы уже вашу повесть? Жажду ее прочесть! Переехали ли на новую квартиру? Вообще опишите за вашу жизнь, а то я совсем оторвался от масс...

Крепко жму скептическую вашу руку.

И. Бабель.

Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 20 марта 1928 г.

Mon pauvre Vieux!..[1] Окружены упоительнейшей весной — живем великолепно. Недавно был ni carême[2], ну и дела пришлось увидеть. Нет, грех хулить, город хороший, беда только, что очень стабилизованный... В апреле уеду, наверное, в Италию к Горькому, патриарх зовет настойчиво, отказываться не полагается. Поживу там до отъезда

---

[1] Мой бедный старик! *(франц.)*

[2] Четверг на третьей неделе поста у католиков, когда происходят празднества и балы.

Горького в Россию. Несмотря на зловещее материальное положение — 80 фр. брату передали. Горько только подумать, что из этих денег, политых кровью и желчью, сделают такое мелкобуржуазное употребление. У меня сейчас, надо вам сказать, выдающееся пролетарское самосознание. Кстати, о «Закате». Горжусь тем, что провал его предвидел до мельчайших подробностей. Если еще раз в своей жизни напишу пьесу (а кажется — напишу), буду сидеть на всех репетициях, сойдусь с женой директора, загодя начну сотрудничать в «Вечерней Москве» или в «Вечерней Красной» — и пьеса эта будет называться «На переломе» (может, и «На стыке») или, скажем, «Какой простор!..». Сочинения я хоть туго, но сочиняю. Печататься они будут сначала в «Новом мире», у которого я на откупу и на содержании. Получил я уведомление о том, что Ольшевца уже нет в «Новом мире» — вот пассаж!.. Не знаете ли подоплеки?.. Я хворал гриппом, но теперь поправился и испытываю бодрость духа несколько даже опасную — боюсь лопну! Дружочек Лев Вениаминович, не забывайте меня, и бог вас не оставит. Очень приятно получать ваши письма. Наверное, и новости есть какие-нибудь в Москве.

Ваш
И. Бабель.

Л. В. НИКУЛИНУ

Париж, 2 апреля 1928 г.

Дорогой Л. В.

С наслаждением прочитал в «Новом мире» ваш прелестный, действительно прелестный очерк и, грешный человек, позавидовал вам — вот ведь никакого глубокомыслия, с прозрачной ясностью, простотой и умом. Я как-то никак не могу слезть с натуры. Очерк этот — лучшее, что я читал в наших журналах «о заграничных впечатлениях». Вот вправду взял умный и умудренный человек читателя за руку, и повел, и показал — без философии на века, без рискованных и часто дурацких противопоставлений, без назойливого учительства, — и показал так, что и сказать ничего нельзя — чистая правда и очень тонкая, очень честная, — и написано так же. Мне очень понравилось, и другим читателям тоже.

Я жду итальянской визы. Если дадут, поеду на месяц в Сорренто и, если ограниченные средства позволят, — еще куда-нибудь. Об отъезде сообщу вам.

Жалею Ольшевца. Я очень люблю породу евреев-пьяниц. Ведь это часто единственное, за что можно простить человека. Что он теперь делает? Первой книжки «Красной нови» не видел. Постараюсь найти. Если не трудно — пришлите.

...Приезжайте в августе. До этого времени я еще буду в Париже — вряд ли до августа кончу мой «Сизифов труд». Теперь здесь очень интересно, — можно сказать, потрясающе интересно — избирательная кампания, — и я о людях и о Франции узнал за последнюю неделю больше, чем за все месяцы, проведенные здесь. Вообще мне теперь виднее, и я надеюсь, что к тому времени, когда надо будет уезжать, — я в сердце и в уме что-нибудь да увезу. Будьте веселы и трудолюбивы!!! Будьте веселы и благополучны!.. Открытки ваши, выражаясь просто, растапливают мне сердце, и прошу их слать почаще.

Ваш

И. Бабель.

P. S. Что такое произошло с Полонским? Отчего он пал и в чем выражается его воскресение? И еще одна просьба — узнайте по телефону у кого-нибудь домашний адрес Ольшевца, я хочу ему написать, пускай не думает, что я хам.

И. Б.

Е. Д. ЗОЗУЛЕ

Париж, 10 января 1928 г.

Дорогой мой Zozulia! Я очень рад тому, что живописное ваше «безумие» продолжается. После вашего отъезда я подумал, что скептицизм мой был очень мелкотравчатый и что ваша «мания» — превосходная мания, полная жизни и огня. Мне бы такую... И теперь я почему-то верю в нее всем сердцем. Не бросайте, теперь уж и я чувствую, что бросать не надо... Теперь о моей растреклятой работе. По моим планам — я до весны пошлю в «Прожектор» рассказ, относительно книжки поговорим летом в Москве; я думаю, раньше лета мне не удастся всем не-

годующим моим кредиторам заткнуть хайла. Вы-то, надеюсь, не подозреваете меня, подобно растерзанным редакционным романтикам, в дьявольской хитрости: вот, мол, пишет, строчит, не печатает, ждет своего часа... Никакого часа я не жду, очень долго мне не писалось, сделаться профессионалом, к великому моему неудобству, мне никак не удается; как только допишу — сейчас же пошлю печатать, как и все прочие люди... О сплетнях, сообщаемых вами, пишут мне со всех концов. Сижу я здесь потому, что лечу временем семейные мои неурядицы, а во-вторых, не хочется приезжать в Москву с пустыми руками. Причины эти просты, как проста истина, вы-то знаете...

Собирается ли сюда Сима с девочкой? Как поживает ваш фотографический аппарат? Много ли работаете? Помните о душе!! Неуклонно трудитесь над тем, чтобы выслать Лебедевой деньги. Как известно, они здесь пригодятся. Я написал Воронскому, но не получил от него ответа. Что с ним? Редактирует ли он хотя бы «Прожектор»? Цифры «Огонька» действительно астрономичны. В Англии вы были бы лордом Нортклифом (?) Ну, досвидания. Привет вашим — и особо — Кольцовым. Евгения Борисовна — поклонница и обожательница ваша — кланяется от всего сердца.

Ваш

И. Бабель.

P. S. Только что узнал, что у Константиновских умерла племянница. Сегодня хоронили. Он в большом горе.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Belvédère Hotel 46 Rue des Pècheurs Marseille

29 октября 1927 г.

Дорогой мой Вячеслав Павлович! Никому никаких рассказов я не посылал. Никому, кроме вас, я никаких рассказов не пошлю. (Сообщение о «Перевале» привело меня в полное недоумение. Как говорится, ничего подобного.) Рассказы, которые я вам буду посылать, являются частью большого целого. Я работаю над ними в перебивку, по душевному влечению. Растреклятое это душевное влечение является причиной моих бедствий и моей неак-

куратности. Удавиться впору, но ничего поделать с собой не могу. Я знаю, что очередь «рассказов для напечатания» придет очень скоро, и жду — и вас прошу ждать. Право, у меня уже и слов больше для этих просьб нету. Напечатать «Закат» до постановки — значит... Вы знаете, что это значит... «В руки твои предаю дух мой...»

Я в Марселе. Höchst interessant[1]. Получили ли вы письмо, в котором я сообщал вам об отъезде моем в Марсель.

Дорогой мой, замученный мною редактор! Я не мечтаю больше о любви. Я мечтаю о том времени, когда бестрепетно смогу я «поднять очи на кредиторов моей совести...». Когтистый зверь, скребущий душу, — совесть!..

Письмо ваше переслано мне из Парижа. Я написал сегодня, чтобы зашли в Hôtel de Valence за Бакуниным. Я дурак, вообразил почему-то, что вы оставили для меня эту книгу в Торгпредстве, и спрашивал ее там.

В Марселе постараюсь посидеть подольше. Не сердитесь. Мы помиримся, уверяю вас, мы помиримся.

Любящий вас

И. Бабель.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

*St. Idelsbad, Villa Gustave Belgiqu*e

31 июля 1928 г.

Дорогой Вячеслав Павлович! Мне переслали из Парижа письмо вашего секретариата, формально правильное и чудовищно несправедливое и мучительное по существу. Я отвечу на него как можно искреннее, скажу, что думаю. А думаю я, что, несмотря на безобразные мои денежные обстоятельства, несмотря на запутанные мои личные дела, я ни на йоту не изменю принятую мною систему работы, ни на один час искусственно и насильно не ускорю ее. Не для того стараюсь я переиначить душу мою и мысли, не для того сижу я на отшибе, молчу, тружусь, пытаюсь очиститься духовно и литературно — не

---

[1] Чрезвычайно интересно *(нем.)*.

для того затеял я все это, чтобы предать себя во имя временных и не бог весть каких важных интересов. Месяца два тому назад я попытался поднатужиться, смазать, поспешить и поплатился за это страшным мозговым переутомлением, неработоспособностью, выбытием из строя на полтора месяца. Больше это не повторится. По-прежнему стою я на том, чтобы всю сделанную работу сдать «Новому миру», по-прежнему я полагаю, что несколько вещей я успею сдать до 1 января. Если редакция прекратит мне выплату денег — я ни в чем не изменю своего отношения к «Новому миру» и никому, кроме как вам, рукописей не пошлю. Возможно, что денежная нищета послужит мне только на пользу, и я смогу на пять месяцев раньше привести в исполнение задуманный мной план. План этот заключается в том, чтобы на ближайшие годы перестроить душевный и материальный мой бюджет таким образом, чтобы литературный заработок входил в него случайной и непредвиденной частью. Тряхнука я стариной, нырну в «массы», поступлю на обыкновеннейшую службу — от этого лучше будет и мне, и моей литературе.

В России я буду в начале октября. Пишу вам с побережья Северного моря, гощу у сестры. В конце августа вернусь в Париж. Я затеял там собирание материалов на очень интересную тему. Поиски эти возьмут у меня месяц, а потом домой.

Горестное письмо «Нового мира» смягчено известием о возвращении вашем в редакцию. В последние месяцы русская литература не балует нас добрыми вестями, поэтому нынешний день для меня, для любителя российской словесности, — радостный, а не грустный. Признание это тем более имеет цены, что оба ваши предшественника были давнишние мои личные друзья.

До свидания, Вячеслав Павлович.

Любящий вас

И. Бабель.

P. S. Сделайте одолжение: попросите секретариат написать мне, будут они мне посылать деньги или нет. Мне это, как вы понимаете, важно знать.

И. Б.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Киев, 16 октября 1928 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

Приехал только вчера и уже сегодня молодой здешний писатель Дмитрий Урин прочитал мне свои рассказы. Мне кажется, что это настоящий писатель, и я просил его, когда он приедет в Москву (а приедет он через три-четыре дня), обратиться к вам; похоже на то, что надо запомнить эту фамилию. Она может засиять хорошим блеском.

Родина — проехал я через станцию Шепетовку — встретила меня осенью, дождем, бедностью и тем, что для меня только в ней и есть — поэзией. Я совсем смущен теперь, гнусь под напором впечатлений и новых мыслей — грустных и веселых мыслей. Когда осяду и опомнюсь — напишу вам подробно и о делах, а пока здравствуйте.

Любящий вас

И. Бабель.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Киев, 28 ноября 1928 г.

Дорогой Вячеслав Павлович!

В третий раз принялся переписывать сочиненные мной рассказы и с ужасом увидел, что потребуется еще одна переделка — четвертая, на этот раз явно последняя. Ничего не поделаешь. О том, как мне солоно приходится, не хочу и говорить.

Голова побаливает часто. Былой работоспособности нет, маленько, видно, переутомился. Все же, думаю, преодолею. Анонс ваш на 29 год будет выполнен. По совести могу сказать, что делаю все от меня зависящее. Изредка попадаются мне на глаза отчеты о литературных совещаниях. По-моему, нервным людям стреляться впору, а веселым только и остается, что гнуть свою веселую линию. Так как я причисляю себя ко второй категории, то и живу безмятежно.

Противоестественных, антилитературных переворотов в своих мозгах не допускаю и чувствую себя поэтому

превосходно. Впрочем, все то, что говорится о распространении массовой литературы, — правильно. Спасибо, что из десяти мыслей — одна верна. Если принять в расчет, что вещают одни только должностные лица, то придется признать, что процент велик. В Киеве пробуду еще недолго. Собираюсь двинуться на Северный Кавказ. О всех моих начинаниях и передвижениях буду вас извещать.

Мой адрес пока: «До востребования. Главный почтамт, Киев». Очень обрадуюсь, если напишете. От всего сердца желаю вам бодрости, здоровья, веселья. Веселый человек всегда прав.

Ваш
И. Бабель.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов н/Д., 8 апреля 1929 г.

Дорогой Вячеслав Павлович! Отправил вам открытку из Кисловодска. Не знаю — получили вы ее и действителен ли еще адрес — Остоженка, 41? Моя база теперь — Сев. Кавказ, постоянный адрес — Ростов н/Д., Главный почтамт, до востребования. Летом буду работать и бродяжить, собираюсь поехать в Ставрополь, Краснодар, на несколько дней в Воронежскую губернию, потом в Дагестан и Кабарду. Ездить буду, конечно, не в международных вагонах, а собственным, нищенским и, по-моему, поучительным способом. Не соберетесь ли в «наши» края? Встретились бы и пожили вместе...

Дни мои (ночи сплю, если не страдаю бессонницей) проходят интересно, но трудно. В смысле работы я нажал на себя с излишним усердием, и снова стала побаливать голова. Все же появляются контуры возводимого здания. Да вот беда — раньше я все размахивался на романы, а выходили рассказцы короче воробьиного хвостика, а теперь какая, с божьей помощью, перемена. Хочу отделать штучку страниц на восемь (потому что ты ведь умрешь с голоду, сукин сын, — говорю я себе), а из нее, из штучки, прет роман страниц на триста. Вот главная перемена в многострадальной жизни, дорогой мой редактор, — жажду писать длинно! Тут мне, видно, и голову сложить...

И так как я по-прежнему сочиняю не страницами, а одно слово к другому, — то можете вы вообразить, как, собственно, выглядит моя жизнь?.. В августе пришлю вам первое рукописание. Это верно и честно. У меня есть основания так говорить. Помешать мне может только смерть, главным образом голодная смерть, потому что все мыслимые и немыслимые деньги кончаются. Нельзя ли возобновить до августа старинный наш договор? Вот можете смеяться сколько хотите — а у вас не будет более верного сотрудника, если вы вызволите меня в последний раз. Я с ужасом думаю о том, что придется согласиться на предложение одной организации и состряпать сценарий. Неохота смертная, не могу вам сказать, какая неохота. Я настроился возвышенно, преступно тратить силы и время на ненужную дребедень, а сил и времени уйдет уйма, потому что я не умею халтурить, уйдут драгоценнейшие месяцы. Впрочем, я не уговариваю. Надо думать, вы мне не верите. А я вот чувствую, что не верить мне — это ошибка.

Сделайте милость, пришлите ответ на это письмо обратной почтой. Пробудясь от сладостного сна, я сосчитал сегодня утром свои ресурсы — их четырнадцать рублей. Как говорится — надо решаться. И потом еще просьба. До меня давно уже доходят слухи, что очередные издания «Конармии» и «Одесских рассказов» — исчерпаны. Надо признать, что Госиздат в отношении меня никогда не торопился с переизданием: то, что проделывается с «Конармией», отвратительно. Я запросил Сандомирского, после вас — второго моего кредитора (кстати, кто это Сандомирский?), он очень любезно и дружественно ответил по всем пунктам и обошел молчанием вопрос о переиздании. А тысчонка эта спасла бы меня и рикошетом все мои обязательства. Будьте другом — позвоните Сандомирскому. Вам-то он, я думаю, ответит с полной определенностью.

Вот и все дела. Пойду сейчас на Дон смотреть на ледоход. Сегодня здесь первый весенний день, а еще вчера была зима. Я много бы хотел вам написать, но от весны ли, от чего ли другого болит голова. Отложим до следующего раза. Дайте руку. Будьте веселы и философичны.

Ваш, искренне Вам преданный

И. Бабель.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Ростов-на-Дону, 8 октября 1929 г.

Дорогой Вячеслав Павлович.

Черт меня знает, какие только места я за последние два месяца не облазил. Договор мотался за мной по десяти почтовым отделениям. В Ростове я уже недели две, все мусолил договор, но подписать не решился. Посылаю его вам с всеподданнейшими замечаниями. Составлял эту бумагу король юрисконсультов, не человек, а дьявол. В п. I я прошу вычеркнуть слово «всех», потому что два рассказа мне придется дать в альманахи (не в журналы, а альманахи). Но событие это произойдет через несколько месяцев после того, как я начну и буду продолжать печататься в «Новом мире», — так что ущерба его приоритету не выйдет. Вместо десяти печатных листов я написал шесть для пущей верности, хотя, надо надеяться, будет больше, иначе мне пропасть. Срок я поставил более просторный, потому что, потому что... Вячеслав Павлович, дело обстоит просто. Я хочу стать профессиональным литератором, каковым я до сих пор не был. Для этого мне нужно взять разгон. Темп этого разгона определяется мучительными (для меня более, чем для Издательства), моими особенностями, побороть которые я не могу. Вы можете посадить меня в узилище, как злостного должника (взять, как известно, нечего: нету ни квартиры, ни угла, ни движимого имущества, ни недвижимого — чем я, впрочем, горд и чему рад). Вы можете сечь меня розгами в 4 часа дня на Мясницкой улице — я не сдам рукописи ранее того дня, когда сочту, что она готова. При таких барских замашках, скажете вы, не бери, сукин сын, авансов, не мучай, подлец, бедных сирот юрисконсультов... Верно. Но, право, я сам не знал размеров постигшего меня бедствия, не знал всех каверзных «особенностей», будь они трижды прокляты, матери их сто чертей!!! Теперь, как только вылезу из этих договоров, заведу себе побочный заработок, чтобы не зависеть от дьявола, жаждущего моей души. Я бы и сейчас это сделал — завел бы побочный заработок, — да нету времени, надо писать. К чему веду я эту речь? К тому, что пройдет немного времени — и я стану у вас аккуратным работником. Всей силой души я хочу (и делаю для этого все, что могу) предупредить сроки, превысить количество. Если вы верите в это мое стремление (а по логике

вещей в него нельзя не верить), то поймете, что в нашем договоре я не ищу лазеек (на кого они мне беса?), а минимальных, твердо выполнимых условий для спокойной работы. Потом — на четыреста рублей никак не могу согласиться, — тогда мне лучше в водовозы идти, тогда жрать будет нечего.

Издав вышеизложенные вопли, перехожу к веселым материям.

Если отвлечься от дел да от плохого здоровья — все обстоит благополучно, и выпадают такие дни, что на душе бывает весело. Погода у нас на ять, сады на нашей улице одеты в багрец и золото, рыбу мы в изобилии ловим в гирлах Дона и благословляем небо, что проживаем в конуре, а не в столице. Вас же о самочувствии спрашивать не решаюсь — так, пожалуй, можете ответить, что закачаешься. До свиданья, Вячеслав Павлович. Не поддавайтесь нашептываниям дурного духа и не верьте, что я сволочь. Я не сволочь, напротив, погибаю от честности. Но это как будто и есть та гибель с музыкой, против которой иногда не возражают.

Ваш

И. Бабель.

P. S. В договоре я избегал дополнительного срока 1/I — 30, потому что 8/10 моего материала будет готово только в будущем году.

И. Б.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молоденово, 10 декабря 1930 г.

Дорогой В. П.

Проваливаясь в сугробах, я пробрался сегодня на станцию и позвонил домой, в Москву. Мне сказали, что от «Известий» есть письмо «под обратную расписку». Угадываю содержание этого письма. Так вот — вещи, предназначенные для «Нового мира», несколько дней тому назад (буквально несколько дней) закончены. Надо переписать их начисто. Я не могу этого сделать. Вы не сочтете капризом или бессмысленной фанатичностью, если я скажу, что мне надо опомниться, отойти, забыть и

потом со свежей головой дать le dernier coûp![1] В последние месяцы у вас не было «контрагента» более мучительно добросовестного. Я обрек себя на «заточение» и тюремное одиночество — чего больше?.. Так вышло, что только несколько месяцев тому назад уменье писать, простое уменье, вернулось ко мне, — и видят все бухгалтерии всего мира — я не пренебрег этим возвращением. Очень прошу вас приехать ко мне в гости — и я не постыжусь предъявить вам «вещественные доказательства». Печататься я начну в 1931 году — и для того, чтобы больше не было мучительных этих перерывов, надо подготовиться. Материал я предполагаю сдать весной, и в дальнейшем буду аккуратен и «периодичен», как любой фельетонист... Есть литераторы с гладкой судьбой, есть литераторы с трудной судьбой (правда, есть еще третьи — безо всякой судьбы). Я принадлежу ко вторым, — и оттого что эти ухабы не поддаются бухгалтерскому учету — неужели надо в них кидаться вниз головой?..

Я прошу у трудной моей судьбы последнюю отсрочку. Помогите мне получить ее.

Ваш
И. Бабель.

Собираюсь па несколько дней в Москву; я явлюсь тогда и вам на последнее растерзание и — правда, мы условимся относительно нашего «выходного дня». У нас хорошо тут. Я за вами вышлю лошадей в назначенный день, и мы разопьем в избе деревенского сапожника самовар мира.

Ваш
И. Б.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молоденово, 10 сентября 1931 г.

Дорогой В. П.

Только что дописал рассказ для «дебюта» в «Новом мире». По прежним правилам я отложил бы его на год, но теперь обстоятельства (а в соответствии с ними и правила) изменились. В ближайшие две недели отделаю и в конце сентября сдам.

---

[1] Последний удар! *(франц.)*

En m'accordant cette grace[1], вы дадите мне возможность печататься в «Новом мире» без перебоев из номера в номер. Право, надо помочь мне окончить мучительное мое нестроение по всем правилам акушерства, то есть без выкидышей, без преждевременных родов. Нормальные сроки сами собой подошли.

Ваш

И. Бабель.

В. П. ПОЛОНСКОМУ

Молоденово, 2 декабря 1931 г.

Дорогой В. П.

Посылаю корректуры. Рассказы, которые я теперь печатаю, написаны несколько лет тому назад и в последние месяцы отделаны (относительно). Я стал не тот, мысли не те, жизнь ушла вперед. Жалко прожитых годов (внутреннего моего настроения), не хочется их оставить без следа, вот хвосты и тянутся. В интересах моих и журнала печатать эти рассказы в комбинации с новыми; новые поспевают, полоса у меня рабочая.

Если бы начать печататься на несколько месяцев позже — вышло бы много веселее и значительней. Я бы хотел оттянуть и декабрьские, но вы, верно, не согласитесь, бейте в мою голову.

Попытаюсь вызвать вас по телефону из бывшего горьковского дома, а не то в начале будущей недели приеду на день в Москву.

Ваш

И. Б.

А. Г. СЛОНИМ

Париж, 7 марта 1928 г.

Милая Анна Григорьевна. Как и следовало ожидать — «Закат» провалился. «Событие» это произвело на меня, как бы это сказать, благоприятное впечатление, во-первых, потому, что я был к нему подготовлен и оно чрезвычайно утвердило меня в мысли, что я разумный и трезвый человек, и, во-вторых, я думаю, что плоды этого провала будут для меня в высокой степени полезны и

---

[1] Даровав мне такую милость *(франц.)*.

послужат мне на пользу. Вы, я думаю, были на спектакле. Жду от вас рецензии. Надо думать, что и играли плохо. Единственное, чего я не ожидал, — что спектакль выйдет скучным. А скука, оказывается, была томительная. Послал вам несколько дней тому назад биографию Бальзака, «une biographie romancé» [1], которая здесь в большой моде. Книжка интересная, ее бы, по-моему, можно перевести [...].

Я хворал гриппом, но теперь оправился и чувствую себя хорошо. У нас упоительная, нежная, неправдоподобно прекрасная весна. Я переполнен поэзией (и прозой!) и рвусь к небесам... Привет вашим хлебодавцам, которые плюют на меня с высокого дерева — ибо молчат, не пишут.

До свиданья. Ваш

И. Бабель.

А. Г. СЛОНИМ

Париж, 26 июня 1928 г.

Милая Анна Григорьевна.

Переводы для «Красной нивы» начнут поступать к вам с начала будущего месяца. Очередной номер «Candide» [1] я выслал. Ищу теперь только что вышедшую (или, может, она выйдет через день-два) книжку о знаменитом загадочном мультимиллионере Базиле Захарове (акционере величайших оружейных заводов мира). Книжка эта для Советской России, для разоблачения махинаций финансовых кругов и пушечных королей в деле подготовки войны, представляет чрезвычайный интерес. Заявите ее, не теряя времени, в Госиздате или лучше в ЗИФе. Если найдете нужным, можете позвонить Владимиру Ивановичу Нарбуту о том, что, по моему мнению, книгу эту следует издать во что бы то ни стало. За июнь я не получил от моего контрагента «Нового мира» ни одной копейки. Очень прошу вас позвонить в контору «Нового мира» и попросить их выслать мне деньги за июнь телеграфно, без всякого промедления, потому что, гм-гм, жить, как бы это сказать, не на что, и, кроме того, деньги за июль попро-

---

[1] Романизированная биография *(франц.)*.

[2] «Кандид»; французский журнал.

сите выслать в начале месяца, по возможности 1-го июля. Это очень для меня важно. Я думаю, что для вас не составит труда позвонить заведующему конторой и, в случае надобности, проследить исполнение моей просьбы.

Вот и все дела.

Тружусь. Конца трудам не видно. Еще годов на пять работы есть, а потом начну свиней разводить. Скучаю по России. Как только выполню намеченную мною программу — полечу в Россию с восторженным кудахтаньем.

Всем вам, как пишут мужики, — поклон с сердечной любовью.

И. Б.

P. S. Описание перелета через Тихий океан еще не вышло. Книгу обещают выпустить очень скоро.

И. Б.

А. Г. СЛОНИМ

Париж, 7 июля 1928 г.

Милая Анна Григорьевна!

[...] Я много работал и разъезжал (правда, победнéе, чем американские миллионеры) в последний месяц, — работал, потому что надо, а разъезжал, потому что здоровье мое оставляет желать лучшего. Я затеял «Сизифов труд», почти для меня непосильный, и мозги часто мне изменяют, переутомляются, мне нужно призвать на помощь всю силу воли для того, чтобы выйти победителем из борьбы (а это борьба), которую я теперь веду, — войны с собственными нервами, с мозгами, с утомляемостью, с собственной бездарностью, с припадками слабости, с условиями чужбины. Жаловаться тут, конечно, не на что. Жизнь тогда только и похожа на что-нибудь стоящее, когда борешься.

С высылкой очередного номера «Кандида» я запоздал, потому что был в деревне; с опозданием, но все же я его выслал. Остальные буду посылать правильно. Письмо Нарбуту я напишу, когда выйдет книжка о Базиле Захарове, это случится, я думаю, через день-два; я пошлю ее вам одновременно с письмом к Нарбуту. Статью от французского журналиста для «Красной нивы» получил, но она нуждается в коренной переделке, мне придется написать

ее почти наново, поэтому нельзя было ее послать вам. Подождем следующей. В Россию я рвусь всей душой — и думаю, что до конца этого года смогу выехать. Все зависит от того, как пойдет моя работа. А ее столько, размахнулся я так широко, что поневоле все идет медленно, а кроме того, «поспешишь — людей насмешишь». До свидания, бедная моя спасительница, да благословят боги вас, и супруга вашего, и сына вашего, и угодья ваши, и скот ваш, и всех нас грешных! Аминь!

И. Б.

P. S. Если не сочтете это бестактным, позвоните еще раз в контору «Нового мира» — чтоб они пораньше бы выслали деньги в этом месяце.

И. Б.

А. Г. СЛОНИМ

St. Idelsbad (parcoxyde), Villa Gustave Belgigue

31 июля 1928 г.

Милая Анна Григорьевна!

Не могу сказать вам, как переполнена благодарностью душа моя за то, что добровольно вы расхлебываете заваренную мной кашу. Я здесь кое-как работаю, без вас я не мог бы этого делать. И если из моей работы выйдет толк, — право, не малая заслуга будет принадлежать вам. Я постепенно сокращаю фронт моих метаний, дел, отношений и, несмотря на все мелкие и гнусные неприятности, — не теряю куражу ни на минуту и линию свою буду гнуть до тех пор, пока не согну ее. Что это с Львом Ильичом? Не переутомился ли он? Какие мы неверные, хрупкие машины, — и если бы их колеса не были одушевлены волей, то вся эта история вообще ни к черту бы не годилась. Надо бы Льву Ильичу, конечно, в деревню, к солнцу и воде — но что советовать, вы сами знаете... Я всеми силами души желаю ему выздоровления.

Получили ли вы книгу Лоуренса? Трудно найти лучшую книгу для перевода. Будет совершенно бессмысленно, если издательства откажутся от нее. Жалко упустить такой случай. Напишите мне, что вам ответят в ЗИФе [...].

«Новому миру» я отправлю сегодня ясное и искреннее послание. Я скажу им, что, несмотря ни на что, я не изменю ни на йоту систему своей работы, не ускорю ее насильно ни на один час и никаких точных сроков не назначу. Все, что я напишу, я отдам им, а к прекращению «пенсиона» я готов. Всем «подведомственным мне лицам» я объявил, что с радостью вхожу в период денежной нужды, что жизнь свою я перестрою так, чтобы не зависеть от литературных заработков, и что только при соблюдении этого условия из моих дел выйдет толк. Пробуду я здесь числа до 20-го августа, потом уеду в Париж и там буду готовиться к путешествию на родину. О сроках я, конечно, сообщу вам. Работал ли в последнее время Илюша? Доволен ли он своей поездкой в Ташкент? Постараюсь из здешних глухих мест отправить письмо воздушной почтой. Страна Фландрия чудесна. Мне это нравится больше Франции. Сердце мое лежит, оказывается, больше к германским северным народам. Раньше никогда бы я этого о себе не подумал. Погода, впрочем, плохая. Купаться все еще нельзя. Я-то этого не замечаю, у меня делов много, но спутники ропщут. Писать можете мне по адресу, изложенному на конверте. До свидания, моя спасители.

И. Бабель.

А. Г. СЛОНИМ

Париж, 29 мая 1933 г.

Милая А. Г. Вчера вернулся в Париж после полуторамесячного пребывания в Италии. Не успел побывать в Венеции — не хватило денег. Все затмила Флоренция. Впечатление неизгладимое на всю жизнь. Алексей Максимович поручил мне одну работу, которую надо исполнить здесь, потому я не мог приехать вместе с ним. Тоска по России все сильнее. Вернусь во второй половине июня.

В работе — неудачи. Пьесу написал — не вышло. Не могу пока определить — окончательная это неудача или еще поправимо. Сдал А. М. несколько рассказов для второго номера альманаха «Шестнадцатый год», один рассказ как будто ничего, остальные, по-моему, серы. Дочка за полтора месяца очень изменилась, хорошо говорит по-

русски, меньше шалит. Сегодня отдал напечатать ее негативы, когда будет готово — пошлю вам. Это должна была сделать Евгения Борисовна, но по забывчивости своей ничего не исполнила. Не переслала мне даже в Сорренто ваше письмо, я только здесь узнал о нем. Пробки, конечно, привезу. Напишите обо всех поручениях, теперь время. Привет мужчинам. Я радуюсь тому, что свиданье наше не за горами.

Ваш
И. Бабель.

А. Г. СЛОНИМ

Нальчик, 28 ноября 1933 г.

Mio amico [1] А. Г.

Живу месяца полтора в Кабардино-Балкарской области и житьем этим наслаждаюсь. Дела и люди удивительно интересные. Сегодня уезжаю в Балкарские ущелья, потом брошу якорь в колхозе и там сяду за письменный (или какой-нибудь вообще) стол. Адрес мой впредь до изменения: Нальчик (Северный Кавказ). До востребования. Как протекли ваша и Л. И. поездки? Каково объединенное ваше здоровье? Теперь признаюсь, что многое за последние годы просмотрел и за многим не уследил — надо наверстывать. Попросите Илюшу написать мне. Очень хочется знать, как он работает. В Москве морозы, здесь их нет, и я дышу порядочно. В ближайшие дни предстоит сделать несколько сот километров на лошади по местам головокружительной красоты...

Ваш
И. Б.

И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 26 января 1928 г.

Милый мой Исаакий! [...] Книги ты, я надеюсь, получишь. Книжный магазин сообщил мне, что задержка вышла из-за того, что никак нельзя было достать книгу Valery. Из снобизма книги Valery печатаются — можешь

---

[1] Мой друг *(итал.)*.

ты себе это представить — в пятидесяти или ста экземплярах, — делает он это для того, чтобы «чернь» не читала. Но поэт, все говорят, изумительный.

О моей работе... Контуры ее — успех ее или неуспех (для меня) обнаружится, я думаю, месяца через три. Тогда я тебе подробно о ней напишу. А сейчас что можно сказать — тружусь трудно, медленно, с мучительными припадками недовольства.

Здоровье удовлетворительно. Получил письмо от Горького, приглашает к себе в Италию. Если будут деньги — весной поеду. «Конармия» вышла в Испании в превосходном издании и, говорят, имеет там успех. Это открывает мне дорогу в Испанию, до сих пор ни одному русскому — ни белому, ни красному — визы не давали. Но для поездки нужно много денег...

Если можешь — пришли мне два-три экземпляра «Конармии».

Посылаю тебе записку Берсеневу, я ее нарочно пометил 5-го февраля; когда дело подойдет к премьере — предъявишь ее и получишь билеты. Где ты читал «Закат»? Разве он уже напечатан? Положительного твоего мнения об этой вещи, прости меня, я не разделяю. Как поживает Ита Ахрап? Где она, что она? Низко кланяюсь Люсе и отпрыску. Будьте веселы и благополучны.

Твой *И.*

И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 20 марта 1928 г.

Дорогой мой. Давно не писал тебе. Прости. Писать по совести — надо было жаловаться (бесполезное занятие), а не по совести — не хотелось. Переход на новые рельсы дается мне трудно, профессиональное занятие литературой (а я впервые здесь занялся ею профессионально) дается мне трудно, сомнения борят мя мнози, такой снисходительности к самому себе — писать и жить, как пишут и живут почти все другие, 99% пишущих, — не могу найти в своей душе.

Целый месяц хворал душевно и физически (очевидно, мозговое переутомление) и только теперь ощущаю

вновь в себе, или, вернее, вновь сочинил в себе, какую-то силу для борьбы и «размышления», выражаясь высокопарно.

Послезавтра, в воскресенье, едем к маме и Мере в Брюссель, а оттуда все вместе поедем, может быть, в какую-нибудь приморскую деревушку. Сколько пробудем в Бельгии — не знаю, может быть, месяц, потом вернемся в Париж, а в сентябре я очень бы хотел выехать в Россию, не в Москву, а в Россию. Во всяком случае, я на отлете...

Ответ на это письмо все же можешь прислать в Париж, мне перешлют. Как обстоят дела у тебя, что девочка, живете ли вы на даче? У тебя тоже было невеселое время, я знаю, и никто не мог это почувствовать лучше меня, тягостно отбивающегося от болезни. Надо назвать то, что я испытываю, настоящим словом, — то есть болезнью, неврастенией, как в дни юности. [...]

Твой *И.*

И. Л. ЛИВШИЦУ

Париж, 31 августа 1928 г.

Дорогой мой! Только что получил твое письмо. Очень жалко Надежду Израилевну, она все-таки была недюжинный и достойный человек, и жалко вас. Я хорошо знаю, что это такое — смерть в доме. Что теперь будет делать бедный Верцнер?.. Будут ли Верцнеры по-прежнему жить в Одессе? Напиши мне, пожалуйста, от какой смерти умерла Надежда Израилевна. Мама и Мера, когда узнают об этом, будут в совершенном отчаянии.

Я собираюсь выехать в Россию в конце сентября или в начале октября. Лева уезжает в Америку 26-го сентября. Так как он не может взять мать с собой, то бедная Женя должна будет остаться со старухой в Париже еще на неопределенное время. Вот крест!.. Где я буду жить в России, еще не знаю. Не думаю, чтобы в Москве. О работе моей я сам не могу сказать — двигается она или нет. A force de travailler [1] — настанет такой день, когда тайное для самого меня сделается явным. Работать мне много

---

[1] Благодаря труду *(франц.)*.

трудней, чем раньше, — другие у меня требования, другие приемы — и хочется перейти в другой «класс» (как говорят о лошадях и боксерах), в класс спокойного, ясного, тонкого и не пустякового письма. Это, нечего говорить, трудно. Да и вообще я такой писатель — мне надо несколько лет молчать, для того чтобы потом разразиться. Раньше были перерывы в восемь лет, теперь будут поменьше. И на том спасибо.

В «Пролетарий» пойди, потому что деньги очень нужны. Пойди для того, чтобы ответить на их предложение, а не вносить свое. Впрочем, я об этом всём писал тебе. О результатах сообщи воздушной почтой. Я рассчитываю, что мама и Мера приедут в Париж провести со мной последние две-три недели; если тебе не лень будет, пришли мне, дорогой мой, какую-нибудь наиболее показательную беговую программу. «Конармию» я получил своевременно. Спасибо. Ну, до свидания, теперь уж действительно до скорого. Люсе и Вере передай, что мало у них, наверное, друзей, которые так понимали бы и чувствовали, что у них на сердце, как я.

Твой
И. Бабель.

И. Л. ЛИВШИЦУ

Нальчик, 7 декабря 1933 г.

Mon vieux [1].

Удивлен отсутствием ответа на мою телеграмму — не случилось ли у тебя чего?

Получил от Партиздата предложение написать брошюру срочно об МТС или колхозах. Я этим занимаюсь сейчас и сижу здесь для этого. Постараюсь сделать, но срок мне нужен — не несколько дней, как телеграфирует Шеломович, а несколько месяцев. Только что в этом смысле отправил ему спешное письмо (адреса не знаю, написал просто Партиздат).

Завтра переезжаю на более или менее продолжительное жительство в колхоз, в километрах 50-ти отсюда, адрес остается прежний. Из деревни напишу. Привет фамилии.

И. Б.

[1] Старина *(франц.)*.

И. Л. ЛИВШИЦУ

Нальчик, 9 декабря 1933 г.

Mon vieux.

На телеграмму ты не отвечаешь. Христос с тобой, хотя, конечно, хамство.

Есть дело: получил сегодня из обкома материалы по Кабардино-Балкарской области, материал выдающегося интереса. Общеизвестно, что здесь даны непревзойденные образцы колхозного строительства. Можно бы к лету приготовить ряд очерков полубеллетристического, полустатейного характера. Я бы взялся — если бы Партиздат выдал на пропитание тысячи полторы-две (очень нужно).

Если считаешь уместным, достойным и небезнадежным — предложи. Ответ телеграфируй срочно в Нальчик, обком ВКП, Родионову, мне.

В ответ на телеграмму Шеломовича я писал ему, что собираюсь работать над такими очерками, — не знаю, дошло ли письмо, улицы не мог указать.

Завтра переезжаю в колхоз, километрах в 50-ти отсюда, адрес остается прежний — Нальчик.

Работаю много. Похоже, что ко мне вернулась «форма», какой не было несколько лет. Может, что и выйдет.

Привет Люсе, Вере и Танюше.

И. Б.

КОММЕНТАРИИ

Произведения И. Бабеля выходили в нашей стране отдельными изданиями тридцать три раза. Первые издания — «Любка Казак» и «Рассказы» — вышли в свет в 1925 году в серии библиотеки «Огонька». В этом же году книгу Бабеля «Рассказы» выпустил Госиздат. В 20-е годы издаются еще несколько сборников рассказов Бабеля и в Госиздате, и в издательстве «Земля и фабрика» (ЗИФ). Первое издание «Конармии» вышло в 1926 году (Госиздат). Книга выдержала восемь отдельных изданий (последнее — в 1933 г.).

Сборники рассказов И. Бабеля, появившиеся в 30-е годы, пополняются новыми произведениями. Это прежде всего «Рассказы», выпущенные Гослитиздатом в 1934, 1935, 1936 годах. Сборник рассказов 1936 года — наиболее полное из прижизненных изданий Бабеля.

Кроме этого, выходят «Одесские рассказы» (Гослитиздат, 1931) и последняя напечатанная при жизни писателя книга «Избранные рассказы» (Журн.-газ. объединение, 1936).

В разные годы выходили отдельными изданиями пьесы и сценарии И. Бабеля: киноповесть «Беня Крик» (1926), киносценарий по роману Шолом-Алейхема «Блуждающие звезды» (1926), пьесы «Закат» (1928), «Мария» (1935).

В 1957 году после большого перерыва вышла книга писателя «Избранное» (Гослитиздат, М.) с предисловием Ильи Эренбурга.

Произведения И. Бабеля изданы во всех странах Европы, в США, Канаде, Израиле. Первая книга Бабеля за границей появилась в 1926 году (на немецком языке); вскоре его книги выходят во Франции, Англии. Большинство изданий Бабеля за границей падает на последнее десятилетие.

Предлагаемый читателю сборник «Избранных произведений» И. Бабеля — наиболее полное из всех изданий этого автора в нашей стране, в основу его положено «Избранное» (Гослитиздат, 1957), кроме того, он включает рассказы, не входившие ни в одно из изданий; впервые в нем представлены также разделы: «Статьи и выступления», «Письма». Материал расположен по хронологии, тексты произведений, публиковавшихся при жизни автора, даются по последнему прижизненному изданию, не публиковавшиеся при жизни писателя и публикуемые впервые, — по автографам.

В настоящем издании произведения не датируются, так как сведения относительно их первых публикаций содержатся в комментариях; в тех случаях, когда имеются авторские датировки, они тоже приводятся в комментариях.

АВТОБИОГРАФИЯ

Впервые — в сборнике «Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков, под ред. Вл. Лидина». — «Современные проблемы», М. 1926. Печатается по тексту книги: «И. Э. Бабель, Статьи и материалы», «Academia», Л. 1928. Датировано автором: «Сергиев Посад. Ноябрь, 1924».

В 1932 году И. Бабель готовил новое издание автобиографии: он правил текст 1926 года, исключая в основном частные детали. В этом варианте автобиография кончается таким новым абзацем: «Потом снова настала для меня пора странствий, молчания и собирания сил. Я стою теперь перед началом новой работы» (машинопись с правкой автора хранится в ЦГАЛИ, ф. 1559, оп. 1, ед. хр. 3).

«КОНАРМИЯ»

Книга «Конармия» в ее первом издании (Госиздат, 1926) была составлена из тридцати четырех новелл, которые публиковались в одесских журналах и газетах: «Шквал», «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета»; журналах: «Леф», «Красная новь», «Прожектор» — с февраля 1923 года по апрель 1925 года. Основная работа над рассказами «Конармии» падает на полуторагодовой период — с лета 1923 года по начало 1925 года. Этому утверждению, казалось бы, противоречит авторская датировка новелл цикла июнем — сентябрем 1920 года. Противоречие снимается, если обратиться к сохранившемуся, правда,

не полностью, конармейскому дневнику И. Бабеля, который находится у вдовы писателя А. Н. Пирожковой и частично опубликован в т. 74 «Литературного наследства». Дневник Бабель вел в июне — сентябре 1920 года (Бабель попал в 1-ю Конную как корреспондент Юг-Роста, работал в газете «Красный кавалерист» — органе политотдела 1-й Конармии РСФСР, где печатался под псевдонимом К. Лютов). Обращение к дневнику и наброскам позволяет сделать вывод, что авторские датировки новелл 1920 годом обозначают не время написания рассказов, а время действия в них (см.: Л. Я. Ливщиц, Материалы к творческой биографии И. Бабеля. — «Вопросы литературы», 1964, № 4). Об этом говорил и сам Бабель: «...полученные от действительности впечатления, образы и краски я забываю. И потом возникает одна мысль, лишенная художественной плоти, одна голая тема... Я начинаю развивать эту тему, фантазировать, облекая ее в плоть и кровь, но не прибегая к помощи памяти... Но удивительное дело! То, что кажется мне фантазией, вымыслом, часто впоследствии оказывается действительностью, надолго забытою и сразу восстановленною этим неестественным и трудным путем. Так была создана «Конармия», причем даже фамилии героев, которые, казалось мне, я придумал, оказались подлинными именами людей» («Литературная газета», 5 сентября 1932 г., № 40).

В соответствии с первоначальным замыслом «Конармия» должна была состоять из значительно большего числа новелл, о чем свидетельствует запись 17 декабря 1924 года в дневнике Д. Фурманова, бывшего фактическим редактором первого издания «Конармии» (см.: Д. Фурманов, Из дневника, «Молодая гвардия», 1934, стр. 85).

Но многие наброски к «Конармии» так и не стали новеллами; намеченными в дневнике сюжетами, яркими портретами героев автор так и не воспользовался. С 1926 года Бабель не возвращается к работе над «Конармией». Появление в 30-е годы рассказов «Аргамак» (с 7—8-го издания включается в «Конармию») и «Поцелуй» (тематически связанного с этим циклом) не противоречит этому утверждению (см. письмо Бабеля В. Полонскому от 2 декабря 1931 года и комментарий к нему).

«Конармия», как и все другие произведения Бабеля, специально не оговоренные, печатается по наиболее полному последнему прижизненному изданию писателя — «Рассказы», Гослитиздат, М. 1936.

«Переход через Збруч». — Впервые — в газете «Правда» 3 августа 1924 года, № 175, под шапкой «Из дневника». Вторично — в

журнале «Красная новь», 1925, № 3, апрель. Датировано автором: «Новоград-Волынск, июль 1920 г.».

«Костел в Новограде». — Впервые — в газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 18 февраля 1923 года, № 963, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — «Красная нива», 1924, № 39, сентябрь.

«Письмо». — Впервые — в газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 11 февраля 1923 года, № 957, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Леф», 1923 [1], № 4, август — декабрь, с авторской датировкой «Новоград-Волынск, июнь 1920»; впоследствии снята автором.

«Начальник конзапаса». — Впервые — в журнале «Леф», 1923, № 4, август — декабрь, под заглавием «Дьяков». Под названием «Начальник конзапаса» — в «Конармии», Госиздат, 1926. Датировано автором: «Белев, июль 1920 г.».

«Пан Аполек». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1923, № 7, декабрь, под шапкой «Миниатюры».

«Солнце Италии». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май, под заглавием «Сидоров», с авторской датировкой «Новоград, июль 1920 г.»; впоследствии снята автором. Под названием «Солнце Италии» — в «Конармии» (1926).

«Гедали». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 4, июнь — июль, с подзаголовком «Из книги «Конармия», с авторской датировкой «Житомир, июнь 1920»; впоследствии снята автором.

«Мой первый гусь». — Впервые — в журнале «Леф», 1924, № 1, с подзаголовком «Из книги «Конармия», с авторской датировкой «Июль 1920 г.»; впоследствии снята автором.

«Рабби». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь — февраль. Автограф рассказа (без первой страницы) хранится в ЦГАЛИ (ф. 602, оп. 1, ед. хр. 4).

«Путь в Броды». — Впервые — в «Литературно-научном приложении к газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 17 июня 1923 года, № 1060, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Прожектор», 1923, № 21, декабрь. Датировано автором: «Броды, август 1920 г.».

«Учение о тачанке». — Впервые — в газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 23 февраля 1923 года, № 967, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Прожектор», 1923, № 21, декабрь.

---

[1] На титуле журнала ошибочно указан 1924 год.

«Смерть Долгушова». — Впервые — в газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 1 мая 1923 года, № 1022, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Огонек», 1923, № 9, май. Датировано автором: «Броды, август 1920 г.».

«Комбриг два». — Впервые — в журнале «Леф», 1923, № 4, август — декабрь, под заглавием «Колесников». Под названием «Комбриг два» — в «Конармии» (1926). Датировано автором: «Броды, август 1920 г.».

«Сашка Христос». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь — февраль.

«Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионовича». — Впервые — в журнале «Шквал» (Одесса), 1924, № 8, декабрь. Вторично — в журнале «30 дней», 1925, № 1, апрель. О том, как создавался рассказ, см. в статье: И. А. Смирин, На пути к «Конармии». — «Литературное наследство», т. 74, стр. 478.

«Кладбище в Козине». — Впервые — в газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 23 февраля 1923 года, № 967, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Прожектор», 1923, № 21, декабрь.

«Прищепа». — Впервые — в «Литературно-научном приложении к газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 17 июня 1923 года, № 1060, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Леф», 1923, № 4, август — декабрь, с авторской датировкой «Демидовка, июль 1920 г.»; впоследствии снята автором.

«История одной лошади». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май, под названием «Тимошенко и Мельников».

Под заглавием «История одной лошади» — в «Конармии» (1926). В этом рассказе, так же как и в рассказе «Продолжение истории одной лошади», начиная с этого издания «Конармии», подлинные фамилии начдива Тимошенко и командира первого эскадрона 1-й Конной — Мельникова были заменены вымышленными: Савицкий и Хлебников. Датировано автором: «Радзивиллов, июль 1920 г.».

«Конкин». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май, с авторской датировкой «Дубно, август 1920 г.»; впоследствии снята автором.

«Берестечко». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май, с авторской датировкой «Берестечко, август 1920 г.»; впоследствии снята автором.

«Соль». — Впервые — в «Литературно-художественном приложении к газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 25 ноября 1923 года, № 1195, под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — в журнале «Леф», 1923, № 4, август — декабрь. В 1925 году Бабель написал сценарий по этому рассказу; поставлен в этом же году режиссером П. Чардыниным на Одесской кинофабрике ВУФКУ.

«Вечер». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 3, апрель, под названием «Галин» (под шапкой «Из дневника»). С заголовком «Вечер» — в «Конармии» (1926). Датировано автором: «Ковель, 1920 г.».

«Афонька Бида». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь — февраль.

«У святого Валента». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май. Датировано автором: «Берестечко, август 1920 г.».

«Эскадронный Трунов». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 2, февраль, с подзаголовком «Из книги «Конармия». О том, как создавался рассказ, см. в указанной выше статье И. А. Смирина, стр. 478—479.

«Иваны». — Впервые — в журнале «Русский современник», 1924, кн. I с подзаголовком «Из книги «Конармия».

«Продолжение истории одной лошади». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, под названием «Тимошенко и Мельников». Под заглавием «Продолжение истории одной лошади» — в «Конармии» (1926). Датировано автором: «Галиция, сентябрь, 1920 г.».

«Вдова». — Впервые — в «Литературно-художественном приложении к газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 15 июля 1923 года, № 1084, под названием «Шевелев», под шапкой «Из книги «Конармия». Вторично — под этим же названием — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май. Заглавие «Вдова» рассказ получил при включении его в первое издание «Конармии» (1926) и во всех сборниках сохранил это название, кроме следующих трех: «Конец святого Ипатия», ЗИФ, М. — Л. 1927; «История моей голубятни», ЗИФ, М. — Л. 1926; «История моей голубятни», ЗИФ, М. — Л. 1927, где рассказ печатался как «Шевелев». Датировано автором: «Галиция, август 1920 г.».

«Замостье». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май. Датировано автором: «Сокаль, сентябрь, 1920 г.».

«Измена». — Впервые — в художественно-литературном альманахе «Пролетарий», Харьков, 1926, с подзаголовком «Ненапечатанная глава из «Конармии».

«Чесники». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 3, апрель — май.

«После боя». — Впервые — в журнале «Прожектор», 1924, № 20, октябрь, с подзаголовком «Из книги «Конармия». Датировано автором: «Галиция, сентябрь, 1920 г.».

«Песня». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 3, апрель, под заглавием «Вечер», под шапкой «Из дневника», с авторской датировкой «Сокаль, VIII, 1920 г.»; впоследствии снята автором. Под заглавием «Песня» — в «Конармии» (1926).

«Сын рабби». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 1, январь — февраль. Автограф рассказа (без первой страницы) хранится в ЦГАЛИ (ф. 602, оп. 1, ед. хр. 4).

«Аргамак». — Впервые — в журнале «Новый мир», 1932, № 3, март, с авторской датировкой «1924—1930»; впоследствии снята автором.

«ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ»

Цикл «Одесские рассказы» во всех изданиях Бабеля включал четыре рассказа: «Король», «Любка Казак», «Отец», «Как это делалось в Одессе». В соответствии с авторской датировкой этих рассказов 1923—1924 годами, критика долгое время полагала, что «Одесские рассказы» созданы после «Конармии», и делала на этом основании определенные выводы о характере творческой эволюции Бабеля. Однако в работах о Бабеле последних лет (статьи Л. Я. Лившица в «Вопросах литературы», 1964, № 4, и И. А. Смирина в «Литературном наследстве», т. 74) достаточно убедительно доказывается, что время интенсивной работы писателя над «Одесскими рассказами» — лето 1921 — весна 1923 года. В этот период были написаны три из четырех рассказов («Король», «Любка Казак», «Как это делалось в Одессе») и два опубликованы («Король», «Как это делалось в Одессе»).

С «Одесскими рассказами» тематически связаны рассказы «Закат» (1924—1925; впервые в «Литературной России», 1964, № 47), «Фроим Грач», пьеса «Закат», во всех изданиях 30-х годов включаемая в этот цикл, и киноповесть «Беня Крик». Сценарий «Беня Крик», в основу которого положены сюжеты «Короля» и «Как это делалось в Одессе», был поставлен в 1926 году режиссером В. Вильнером на Одесской кинофабрике ВУФКУ, фильм вышел на экран 18 января 1927 года.

«Король». — Впервые — в газете «Моряк» (Одесса), 1921, 23 июня, № 100. Вторично — в журнале «Леф», 1923, № 4, август — декабрь. Датировано автором: 1923.

«Как это делалось в Одессе». — Впервые — в «Литературном приложении к газете «Известия Одесского губисполкома, губкома КП(б)У и губпрофсовета» 5 мая 1923 года, № 1025. Вторично — в журнале «Леф», 1923, № 4, август — декабрь. Датировано автором: 1923.

«Отец». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 5, август — сентябрь, с подзаголовком «Из одесских рассказов». Датировано автором: 1924.

«Любка Казак». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1924, № 5, август — сентябрь, с подзаголовком «Из одесских рассказов», под названием «Любка Казак». Датировано автором: 1924.

РАССКАЗЫ

В этот раздел включены рассказы, не объединенные Бабелем в циклы, тематически очень разнообразные. Последовательность их расположения диктуется временем написания, при отсутствии авторской датировки — временем первой публикации.

«Илья Исаакович и Маргарита Прокофьевна». — Впервые, вместе с рассказом «Мама Римма и Алла», — в журнале «Летопись», 1916, № 11, ноябрь. Печатается по тексту журнала. Публикацию этих рассказов Бабель считал началом творчества (см. «Начало»), хотя одновременно его очерки (подписанные Баб-Эль) печатались в «Журнале журналов» («Публичная библиотека», № 48, «Девять», № 49). В выступлениях и статьях он не раз возвращался к своему творческому дебюту: «Зеленым мальчиком я попал к Горькому и 20-ти лет, в ноябре 1916 года, напечатал первую вещь в горьковской «Летописи». Мне сейчас же было предъявлено обвинение сразу по трем статьям царского свода указов: я был привлечен за порнографию, кощунство и покушение на ниспровержение существующего строя. В марте 1917 года я должен был привлекаться к суду» (из выступления И. Бабеля на заседании Секретариата ФОСП, 13 июля 1930 года. — Отдел рукописей ИМЛИ, ф. 86, оп. 1, ед. хр. 5).

Рассказы Бабеля были замечены критикой: «Рассказы — просты, наблюдательны и знают дозы, — это не так уж заурядно, как можно думать. В сущности, весь опыт литературной техники заключается в чувстве меры и в знании масштаба. И. Бабелю это дано... За автором чувствуется литературная культура: специальная начитанность, а м. б. и не совсем малая подготовка»,

но одновременно «здесь есть свежесть новизны, которую не тушит явная школа и даже как бы нескрываемая выучка» («Журнал журналов», 1916, № 52, стр. 13).

«Шабос-Нахаму». — Опубликован в Петроградской социал-демократической газете «Вечерняя звезда» 16 марта 1918 года, с подзаголовком «Рассказ из цикла «Гершеле». Вторично — в журнале «Знамя», 1964, № 8. Печатается по тексту газеты.

«Линия и цвет». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1923, № 7, декабрь, с подзаголовком «Истинное происшествие» (под шапкой «Миниатюры»). Печатается по тексту: И. Бабель, Рассказы (2-е изд.), Госиздат, М. — Л. 1927.

«Иисусов грех». — Впервые — в альманахе «Круг», кн. 3, «Круг», М. — Пг. 1924. Вариантом рассказа является «Сказка про бабу», опубликованная в журнале «Силуэты» (Одесса), 1923, № 8—9. Датировано автором: 1922.

«История моей голубятни». — Впервые — в журнале «Красная новь», 1925, № 4, май. По первоначальному замыслу Бабеля этот рассказ открывал новый, автобиографический цикл (книгу) — «История моей голубятни», тематически с рассказом непосредственно связаны известные новеллы: «Первая любовь», «В подвале», «Пробуждение» и рассказ «Детство. У бабушки» («Литературное наследство», т. 74, стр. 483—488). Автограф этого рассказа с надписью на обложке «Детство. II. У бабушки», с датировкой автора: «Саратов, 12, 11, 15», хранится у вдовы писателя А. Н. Пирожковой. Датировано автором: 1925.

«Первая любовь». — Впервые — в альманахе «Красная новь», кн. I, Госиздат, М. — Л. 1925. Историю напечатания рассказа см. в письме И. Бабеля М. Горькому (25 июня 1925 г.) и комментарий к нему. Датировано автором: 1925.

«Конец св. Ипатия». — Впервые — в газете «Правда» от 3 августа 1924 года, № 175 (под шапкой «Из дневника»). Вторично — в журнале «30 дней», 1925, № 5, май. Датировано автором: 1925.

«Ты проморгал, капитан!» — Впервые — в журнале «Красная нива», 1924, № 39, сентябрь. Вторично — в журнале «Красная новь», 1925, № 3, апрель (под шапкой «Из дневника»). Датировано автором: 1924.

«Конец богадельни». — Опубликовано в журнале «30 дней», 1932, № 1, январь, с подзаголовком «Из «Одесских рассказов». Печатается по тексту: И. Бабель, Рассказы. «Федерация», М. 1932. Датировано автором: 1920—29 гг.

«Дорога». — Опубликовано в журнале «30 дней», 1932, № 3, март. Печатается по тексту журнала. Первоначальным этюдом к этому рассказу можно считать «Вечер у императрицы» (из «Пе-

тербургского дневника), журнал «Силуэты» (Одесса), 1922, № 1. Датировано автором: 1920—1930 гг.

«В подвале». — Впервые — в журнале «Новый мир», 1931, № 10, октябрь. Имел подзаголовок «Из книги «История моей голубятни». Датировано автором: 1930 г.

«Пробуждение». — Впервые — в журнале «Молодая гвардия», 1931, № 17—18, сентябрь, с подзаголовком «Из книги «История моей голубятни». Датировано автором: 1930 г.

«Карл-Янкель». — Впервые — в журнале «Звезда», 1931, № 7, июль.

«Гюи де Мопассан». — Впервые — в журнале «30 дней», 1932, № 6, июнь. В беседе с сотрудниками и активом журнала «Смена» (сентябрь 1932 г.) Бабель пояснил, что «Рассказ «Гюи де Мопассан» относится к 1920—1922 годам и представляет собой творческий опыт, этюд, не претендующий на показ социального облика Мопассана как писателя». Публикацию рассказа в 1932 году писатель мотивировал тем, что огромная роль Мопассана стала особенно ясна ему после посещения Франции (в 1931 г.): «Этот писатель непопулярен на своей родине, недаром он с такой убийственной точностью показал быт Франции. В рассказе... ...я хотел лишь сказать о необычайном мужестве этого человека. Я еще буду писать о Мопассане и в новом рассказе постараюсь раскрыть его образ» («Смена», 1932, № 17—18).

«Фроим Грач». — Опубликован в журнале «Знамя», 1964, № 8. Печатается по тексту машинописи, хранящейся в ЦГАЛИ (ф. 622, оп. 1, ед. хр. 42). Этот рассказ вместе с тремя другими («Мой первый гонорар», «Нефть», «Улица Данте») в 1933 году Горький рекомендовал для альманаха «Год шестнадцатый». Но мнения членов редколлегии альманаха разделились, и рассказы опубликованы в альманахе не были. Два рассказа были напечатаны в других изданиях («Нефть», «Улица Данте»). «Фроим Грач» долго оставался ненапечатанным.

«Нефть». — Впервые — в газете «Вечерняя Москва», 14 февраля 1934 года, № 37 (3066). Историю напечатания «Нефти» см. в комментарии к рассказу «Фроим Грач».

«Улица Данте». — Впервые — в журнале «30 дней», 1934, № 3, март. Рассказ был блестяще иллюстрирован художником Ю. Пименовым.

В основе рассказа событие, действительно произошедшее: Бабель присутствовал на суде, где разбиралось дело женщины, ставшей впоследствии героиней рассказа. Впечатления от суда легли в основу очерка Бабеля «Последнее убийство» (автограф первой

страницы очерка и машинопись с правкой автора остальных страниц хранятся в частном архиве.

«Сулак». — Опубликовано в журнале «Молодой колхозник», 1937, № 6, июнь. Печатается по тексту журнала.

«Ди Грассо». — Опубликовано в журнале «Огонек», 1937, № 23, август. Печатается по тексту журнала.

«Поцелуй». — Опубликовано в журнале «Красная новь», 1937, № 7, июль. Печатается по тексту журнала.

«Суд». — Опубликовано в журнале «Огонек», 1938, № 23, август (под шапкой «Из записной книжки»). Печатается по тексту журнала.

ВОСПОМИНАНИЯ

«Багрицкий». — Опубликовано в альманахе «Эдуард Багрицкий», «Советский писатель», М. 1936. Печатается по тексту альманаха. Предложение издать альманах, посвященный памяти Эдуарда Багрицкого, было высказано Н. Асеевым, О. Бриком и С. Кирсановым на страницах «Литературной газеты» 18 февраля 1934 года, № 19, посвященной только что скончавшемуся поэту. Альманах вышел под редакцией В. Нарбута, состоял из разделов: статьи о творчестве поэта, неопубликованные произведения, хронологическая канва для биографии Багрицкого, наконец, воспоминания друзей поэта: Ю. Олеши, И. Бабеля, Вал. Катаева, С. Бандарина, С. Гехта, К. Паустовского, В. Шкловского и др. В основу всех воспоминаний легли выступления писателей в газетах, на вечерах, посвященных памяти Э. Багрицкого. В основу статьи Бабеля тоже положена написанная им речь, с которой он собирался выступить на одном из таких вечеров. По свидетельству А. Н. Пирожковой, Бабель выступал на вечере памяти Багрицкого в Политехническом музее в марте 1934 года (автограф речи хранится в Отделе рукописей ИМЛИ, ф. 86). В автографе есть строки, не вошедшие в окончательный текст статьи, но представляющие определенный интерес. Например, после слов: «...поэзия есть дело насущное, необходимое, ежедневное» — в автографе следует: «Двух людей знаю я, общение с которыми заражает верой и безграничной жаждой труда. Это Горький и Багрицкий» (ф. 86, оп. 1, ед. хр. 7).

«Начало». — Впервые — под таким заглавием в «Литературной газете» 18 июня 1937 года, № 33. Под заглавием «Из воспоминаний» в газете «Правда», 18 июня 1937 года, № 213. Без каких-либо изменений «Начало» было перепечатано в книге «Год XXI», альманах 13, Гослитиздат, М. 1938. Печатается по тексту альманаха.

В основу «Начала» легло интервью И. Бабеля, данное корреспонденту «Комсомольской правды» С. Трегубу; стенограмма, выправленная писателем, была напечатана в «Комсомольской правде» 27 июля 1936 года, № 172, под заглавием «Учитель. Беседа с тов. И. Бабелем».

Помимо стилистических разночтений в «Учителе» и «Начале» есть различия и по существу, они касаются двух последних абзацев в «Учителе» и соответствующего им последнего абзаца в «Начале». Вот как заканчивается «Учитель»: «Начиная с этого времени и дальше — в течение всей моей жизни он был моим первым и главнейшим учителем. Его смерть я ощущаю как потерю учителя и судьи, потому что это был читатель, равного которому не было в мире. До встречи с Горьким я не печатал ни одной строчки и, может быть, не занимался бы литературой, если бы в течение годов меня беспрерывно и страстно не толкала его рука. Она толкала меня в течение двадцати лет. Такой интерес он проявлял не только ко мне, но и ко всем работникам советской литературы. Обычными словами не выразить всей той невиданной и безбрежной любви и страстности к человеческому творчеству, какая была у него. Горький буквально бледнел, когда человек, от которого он ожидал многого, оказывался творчески бесплодным. Горький дал мне возможность печататься. Он меня направил в люди. Он во мне воспитал строгое отношение к работе. Он до последних лет беспощадно меня критиковал.

Он учил меня не лгать, не восхищаться самим собой, презирать самовлюбленность. Это был человек громадной широты диапазона. Благодаря своему образованию, он мог подняться до высоты объективности в суждении, недоступной никому. У меня не было двух учителей в жизни. У меня был один учитель — Горький».

Переработка этих строк, как можно убедиться при сравнении их с последним абзацем «Начала», шла по трем направлениям. Достижение большего лаконизма: исключение повторений, стилистических «излишеств». Стремление избежать любых намеков на претенциозность, патетическую риторику. Наконец, сознательный отказ в 1938 году от естественного в июле 1936 года (прошел лишь месяц со дня смерти Горького) выражения непосредственного чувства утраты.

Давая интервью, Бабель ответил на ряд вопросов корреспондента. Ответы Бабеля опубликованы в статье С. Трегуба «Учитель» — «Начало». К воспоминаниям И. Э. Бабеля об А. М. Горьком» («Литературная Россия», 13 марта 1964 г., № 11).

«Закат». — Впервые — в журнале «Новый мир», 1928, № 2, февраль.

Пьеса в ее самом первом варианте была написана необычно для Бабеля быстро. «В Ворзеле за девять дней я написал пьесу. Это значит, что за девять дней жизни, в условиях, мною выбранных, я успел больше, чем за полтора года», — сообщает Бабель в одном из писем к близкому другу (26. VIII 1926 г., частный архив). В сентябре 1926 года пьеса переделывается Бабелем заново, и в октябре он отдает ее на суд людям, мнением которых особенно дорожил... «Пьеса моя произвела на слушателей — Марков, Воронский и несколько актеров Художественного театра — благоприятное впечатление, но мы условились, что я сделаю кое-какие дополнения. Я чувствую, что третья сцена у меня не доработана и не хочу сдавать пьесу в таком виде» (письмо от 18. X 1926 г., частный архив). Продолжая со свойственной ему требовательностью отделывать «Закат», Бабель, прежде чем отдать пьесу театрам, в печать, «опробывает» ее на слушателях, устраивает публичные чтения; они состоялись 23 и 25 марта 1927 года в Киеве, 1 и 2 апреля в Одессе, 4 апреля — в Виннице. Реакция слушателей, мнение прессы («Вечерний Киев», 27 марта 1927 г., № 20) явились для Бабеля новым стимулом для «подчистки пьесы», только 22 июня он посылает рукопись В. Полонскому в «Новый мир». В конце июля писатель уезжает за границу — сценическая судьба пьесы развертывается без него.

Впервые пьеса была поставлена в Баку и Одессе: 23 октября 1927 года состоялась премьера «Заката» в Бакинском Рабочем театре (БРТ) (режиссер Вас. Ф. Федоров, художник И. Ю. Шлепянов), 25 октября в Одесском театре русской драмы (режиссер А. Л. Грипич, художник Н. И. Данилов). Вслед за ними постановку осуществил Одесский театр украинской драмы (премьера состоялась 1 декабря, ставил спектакль режиссер Е. Б. Вильнер). По отзывам прессы, наиболее удачным, самым «бабелевским» из периферийных постановок «Заката» получился спектакль в Одесском театре русской драмы. В Москве «Закат» был поставлен МХАТом 2-м. Ставил пьесу ведущий режиссер театра Б. М. Сушкевич. Премьера состоялась 28 февраля 1928 года. В печати единодушно отмечалась высокая театральная культура постановки, прекрасные декорации М. Левина. Но спектаклю явно не хватало цельности: в стилевом решении каждой сцены был разнобой (первая — в комедийном ключе, вторая — в фарсовом, в третьей — налицо элементы символики). «Музыку

Бабеля» услышали не все актеры. Их трактовка ролей была очень разноплановой. Бирман (Двойра) блестяще создала образ стилизованный, гротескно-иронический. Прекрасно игравшие Азарин (Арье-Лейб) и Корнакова (Маруся) трактовали своих героев в чисто бытовом плане. Боярский в исполнении Гейрота выглядел водевильным персонажем, карикатурой. Не совсем удалась роль Бени Крика замечательному актеру Берсеневу. Из всего актерского ансамбля уже совершенно выпадал Чебан, исполнитель главной роли. «Чебан, играющий Менделя Крика, вступает в открытую схватку со всем происходившим до него на сцене, — писал один из рецензентов. — Вместо жанра и гротеска — трагический надрыв... Вместо легкой тонировки от быта, от южной акцентировки — чистая пафосная речь, подчеркивающая отвлечение от быта, от места» («Новый зритель», 1928, № 10). Спектакль успеха не имел и после шестнадцати представлений сошел с репертуара. Бабель, предчувствовавший неудачу, писал родным, спустя месяц после премьеры: «Театр не сумел передать зрителю тонкости комедии, с виду грубоватой, и если они продолжают вывешивать афишу, это, ясное дело, обусловлено тем, что там есть моего, а не тем, что идет от театра, могу сказать это без тщеславия» (2. IV 1928 г., частный архив).

В 60-е годы пьеса обретает второе сценическое рождение. В сезоне 1965 года «Закат» поставлен в будапештском театре «Талия», в театре «Габима» (Израиль). С 1966 года «Закат» идет в Национальном театре Праги, готовится постановка пьесы в ГДР (Дрезденский театр).

«Мария». — Опубликована полностью в журнале «Театр и драматургия», 1935, № 3, март. Отрывки из пьесы появились раньше в газетах: «Литературный Ленинград», 26 апреля 1935 года, № 19 (первая картина), «Литературная газета», 10 марта 1935 года, № 14 (пятая картина). Печатается по тексту книги: И. Бабель, Мария, Гослитиздат, 1935.

Первая редакция пьесы была завершена Бабелем в Сорренто, где он гостил у Горького (март — май 1933 г.). Бабель читал пьесу Горькому и, уезжая на родину, оставил ему рукопись. «...планы на будущее будут зависеть от совета, который он мне даст после прочтения пьесы», — писал он родным (24. IV 1933 г., частный архив). Отзыв Горького содержался в его письме Бабелю, условно датированном 1933—1934 годами: «...когда я сам прочитал рукопись пьесы, — писал Горький, — она меня удивила, но не взволновала. Не буду говорить о том, что это искусная работа и в ней мастерски даны очень тонкие острые детали, но в целом

пьеса — холодная, назначение ее неопределенно, цель автора — неуловима. У всех, кто искренне любит литературу, в том числе и у меня, есть к вам особое, исключительное отношение: от вас, очень талантливого и мудрого человека, ждут каких-то особенно четких и больших работ. Эта пьеса не оправдывает ожиданий, вами внушенных...» («Литературное наследство», т. 70, стр. 43—44).

Бабель признал справедливость суровой горьковской критики (см. письмо А. Г. Слоним от 25. V 1933 г., в данном издании) и приступил к ее переработке. «Марию», так же как и «Закат», Бабель, прежде чем отдать в журнал, «опробовал» на слушателях. 28 февраля 1934 года Бабель читал пьесу в Литературном музее (см.: «Литературная газета, 4 марта 1934 г., № 26; «Вечерняя Москва», 2 марта 1934 г.). Есть сведения, что театр имени Е. Б. Вахтангова тогда же принял пьесу к постановке и уже репетировал ее. Но публикация пьесы в марте 1935 года вызвала резкие отклики в печати (см. И. Лежнев, Новая пьеса И. Бабеля. — «Театр и драматургия», 1935, № 3; М. Майзель, Драгоценные осколки. — «Литературный Ленинград», 1 ноября 1935 года, № 5). В театре имени Е. Б. Вахтангова пьеса так и не была поставлена.

В начале 1935 года Бабель писал родным (частный архив): «Происходит странное изменение: я не хочу писать в прозе, а только в драматической форме». С увлечением этим жанром и связаны намерения Бабеля продолжать работу над «Марией». «Продолжение «Марии», над которой сейчас работает Бабель, будет посвящено утверждению новых, революционных начал и роли в этом Марии» («Литературная газета», 4 марта 1934 г., № 26). «Мария», как мы слышали, является первым звеном трилогии, в которой действие охватывает период с 1920 по 1935 год. Дальше мы увидим Марию не только в названии пьесы, но и в самой пьесе, узнаем о ней не только по отзывам да по письму, но и в живом слове и действии», — сообщал И. Лежнев в названной статье. Но материалов, подтверждающих работу Бабеля над трилогией, не сохранилось.

В сезоне 1964 года пьеса «Мария» была поставлена в Италии флорентийским театром «Пикколо» (режиссер Б. Менегатти, художник С. Фалени, музыка Д. Шостаковича). 14 декабря 1964 года газеты «Унита» и «Паэзе сера» в больших статьях, посвященных спектаклю, отмечали его несомненный успех (показательно название статьи в «Унита» — «Мария» Бабеля в постановке, обладающей большими достоинствами»). В 1965 году постановка «Марии» осуществлена в Чехословакии — Оломоуцкий театр.

«В Одессе каждый юноша...». — Впервые — в «Литературной газете» (1 января 1962 г., № 1). К. Г. Паустовский, публикуя отрывок из шестой части автобиографического цикла «Повесть о жизни» (отрывок назывался «Четвертая полоса»), полностью приводил предисловие Бабеля к предполагавшемуся сборнику молодых одесских писателей (1923). Печатается по тексту «Литературной газеты». О том, как родилось это предисловие, К. Паустовский рассказывает в «Книге скитаний» («Советская Россия», 1964, стр. 30—31).

Гехт Семен Григорьевич (1903—1963) — советский писатель, журналист.

Славин Лев Исаевич (р. 1896 г.) — советский писатель.

Душевным и чистым голосом подпевает им Паустовский... — Интересен позднейший отзыв И. Бабеля о Паустовском (см. выступление на вечере 28 сентября 1937 года. — «Наш современник», 1964, № 4, стр. 99).

Гребнев Григорий Никитич (1901—1960) — автор нескольких научно-фантастических и приключенческих книг.

Колычев Осип Яковлевич (р. 1904 г.) — советский поэт.

Работа над рассказом. — Опубликовано в журнале «Смена», 1934, № 6, июнь, с подзаголовком «Из беседы с начинающими писателями» (под рубрикой «Лаборатория творчества»). Печатается по тексту журнала.

Статья представляет собой стенограмму беседы И. Бабеля с начинающими писателями, группирующимися вокруг комсомольского журнала «Смена». Ещё в сентябре 1932 года состоялась первая беседа Бабеля с активом журнала (см.: «Смена», 1932 г. № 17—18; «Литературная газета», 5 сентября 1932 г., № 40). Рассказывая о состоявшейся беседе, корреспондент газеты, в частности, писал: «В заключение Бабель обещал принять участие в работе журнала «Смена». Я рад закрепить нашу дружбу. Сегодняшняя встреча предварительная. Я сейчас работаю над новыми рассказами о колхозной деревне и через месяц буду читать их у вас. Тогда же вы познакомите меня с творческой продукцией молодых писателей вашего коллектива». Познакомившись, правда, много позднее обещанного срока с рассказами молодого писателя Меньшикова, Бабель выступил с их анализом.

Рышков В. А. (1862—1924), *Баранцевич К. С.* (1851—1927), *Потапенко И. Н.* (1856—1929) — авторы многочисленных романов, повестей, пьес, отмеченных явными признаками искусства недол-

говечного, приспосабливаемого ко вкусам нетребовательного читателя.

Речь на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. — Впервые под заголовком «Содействовать победе большевистского вкуса» в «Литературной газете» 24 августа 1934 года, № 110; под заголовком «Пошлость — вот наш враг» в «Правде» 25 августа 1934 года, № 234. Печатается по тексту: «Первый Всесоюзный съезд советских писателей», стенографический отчет (Гослитиздат, М. 1934, стр. 278—280). С этим текстом совпадает публикация в «Литературной газете». Текст, опубликованный в «Правде», отличается от стенограммы стилистически, кроме того, в нем отсутствует первый абзац речи. Бабель произнес речь на одиннадцатом (вечернем) заседании съезда (23 августа).

Статьи Горького о языке... — Имеются в виду статьи Горького: «О прозе», «По поводу одной дискуссии», «Открытое письмо Серафимовичу», «О бойкости», «Беседы с молодыми» и др., которые появились в печати в предсъездовские месяцы в связи с развернувшейся дискуссией о языке.

...вот как вчера Горький... — Имеются в виду следующие слова из выступления А. М. Горького на съезде 22 августа: «Уважаемые товарищи! Мне кажется, что здесь чрезмерно произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов: великий, высокий, длинный и т. д. *(смех)*. Не думаете ли вы, что, слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение других? Поверьте мне: я не кокетничаю, не рисуюсь. Меня заставляют говорить на эту тему причины серьезные... я опасаюсь, что чрезмерное расхваливание одних способно вызвать у других чувства и настроения, вредные для нашего общего дела, для нормального роста нашей литературы» (стенографический отчет, стр. 225).

Вот я сказал об уважении к читателю... — О том, какого читателя он видит перед собой всякий раз, когда берется за перо, Бабель говорил и в одном из выступлений: «Я стараюсь выбрать себе читателей, причем я тут стараюсь не задавать себе легкой задачи. Я себе задаю читателя, чтобы он был умный, образованный, со здоровым и строгим вкусом... Здесь самое главное — представить себе читателя и представить построже. Со мной так. Читатель живет в душе моей, но так как он живет довольно долго, то я его смастерил по образу и подобию своему, может быть, этот читатель слился со мной... Причем, если я выбрал себе читателя, то тут, я думаю о том, как мне обмануть, оглушить этого умного читателя. Я его уважаю. Это ужасная вещь — старинная актерская мудрость — «публика дура». Надо взять себе серьезного кри-

тика и стараться его оглушить до бесчувствия. Такое самолюбие у человека должно быть. А как только это чувство пробуждается, вы перестаете делать гримасы» (И. Бабель, О творческом пути писателя. — Журнал «Наш современник», 1964, № 4, стр. 100).

...как говорит Эренбург, кролик я или слониха... — В речи на съезде И. Г. Эренбург критиковал чрезмерное увлечение некоторых докладчиков, авторов статей подсчетом количественных показателей литературной работы, нередко за счет игнорирования качества произведений: «Я вовсе не о себе хлопочу. Я лично плодовит, как крольчиха *(смех)*, но я отстаиваю право за слонихами быть беременными дольше, нежели крольчихи *(смех)*. Когда я слышу разговоры — почему Бабель пишет так мало, почему Олеша не написал в течение стольких-то лет нового романа, почему нет новой книги Пастернака и т. д., — когда я слышу это, я чувствую, что не все у нас понимают существо художественной работы. Есть писатели, которые видят медленно, есть другие, которые пишут медленно. Это не достоинство и не порок — это свойство, и нелепо трактовать таких писателей, как лодырей или как художников, уже опустошенных» (стенографический отчет, стр. 184).

...на нашем знамени должны быть написаны слова Соболева... — Выступая на съезде, Соболев закончил речь словами: «Партия и правительство дали советскому писателю решительно все. Они отняли у него только одно — право плохо писать» (стенографический отчет, стр. 203—204). Выступивший на следующий день Горький, процитировав эти слова, назвал их «очень вескими и верными правде».

О работниках новой культуры. — Опубликовано в «Литературной газете» 31 марта 1936 года, № 19, с подзаголовком «Из речи тов. И. Бабеля». Печатается по тексту газеты. В основе статьи — выступление И. Бабеля на общемосковском собрании писателей, где обсуждались вопросы борьбы с формализмом и натурализмом. Собрание проходило с 16 по 26 марта 1936 года. Созыв собраний с такой повесткой дня был подготовлен появлением в газете «Правда» (февраль — март) ряда статей об искусстве. Оценку выступления Бабеля см. в «Литературной газете» 31 марта 1936 года, № 19.

Путешествие во Францию. — Опубликовано в журнале «Пионер», 1937, № 3, март. Печатается по тексту журнала. Статья написана специально по просьбе редакции, — это предопределило ее особый стиль — стиль непринужденной, доверительной беседы с юными читателями. Написана под впечатлением последней

поездки И. Бабеля во Францию в 1935 году на Антифашистский конгресс защиты культуры. В ходе работы Бабель, безусловно, опирался и на свои впечатления от пребывания в этой стране в 1926—1928, 1931, 1933 годах (см.: И. Бабель, На Западе. — «Вечерняя Москва», 6 сентября 1933 г., № 213; И. Э. Бабель о заграничной поездке. — «Литературный Ленинград», 26 сентября 1933 г., № 9; стенограмма беседы И. Бабеля с писателями в редакции «Вечерней Москвы» 11 сентября 1933 г.; отдел рукописей ИМЛИ, ф. 86).

Никогда не забуду я 14 июля 1935 года. — О большом впечатлении, произведенном на него народной демонстрацией 14 июля, Бабель говорил и на встрече делегатов Конгресса с трудящимися Москвы: «Мы, граждане Советской страны, знаем толк в революционных празднествах, и все же мы были потрясены! До галлюцинации воскрес в этот день дух Великой французской революции. Народ был спаян единым страстным порывом, он был полон революционного ликования, и до смерти не забыть эту мощную и грозную демонстрацию готовности к последнему бою!» (См.: Дельман, Широким фронтом против фашизма. Тт. И. Бабель, В. Киршон и И. Луппол о Конгрессе защиты культуры. — «Литературная газета», 15 августа 1935 г., № 45.)

Однажды советская делегация... остановилась в Вильжюифе... — Делегаты Конгресса были в Вильжюифе на церемонии присвоения одной из улиц имени Горького. Ранее Бабель посетил Вильжюиф во время заграничной поездки 1933 года. Его рассказ о Вильжюифе на встрече с писателями в «Вечерней Москве» интересен как первая наметка к более детально разработанному очерку, ставшему частью публикуемой статьи: «Никогда не забуду дня, проведенного в Вильжюифе, у Вайяна Кутюрье, мэра этого городка под Парижем. Вы приезжаете в коммунистическую мэрию, входите в официальное учреждение — орган самоуправления, — где на стене висит портрет Ленина, где люди говорят друг другу — «товарищ», где лавочники и буржуа, входящие в кабинет коммуниста-мэра, чувствуют себя не слишком удобно, и протираете себе глаза,— неужели вы в Париже? Коммунистический муниципалитет построил в Вильжюифе лучшую во Франции школу, похожую на последние советские стройки с применением наших приемов обучения. Им много сделано в области борьбы с безработицей и в области социалистического просвещения.

Таких мэрий вокруг Парижа несколько. Их называют «красным поясом». Необыкновенно волнующие чувства испытывал я, попадая в эти коммунистические ячейки. Власть их, правда, простирается на ничтожные клочки территории, но территория эта

является частью города, город называется Парижем» («Вечерняя Москва», 16 сентября 1933 г., № 213).

М. Горький. — Опубликовано в журнале «СССР на стройке», 1937, № 4, апрель. Этот номер целиком посвящен жизни и творчеству великого пролетарского писателя. Статья Бабеля шла как передовая. Кроме того, Бабелю принадлежит план номера и монтаж текста. Печатается по тексту журнала.

ПИСЬМА

Эпистолярное наследие И. Бабеля невелико: его письма публиковались в «Литературном наследстве», т. 70 (к Горькому), в журнале «Знамя», 1964, № 8 (отрывки из писем к друзьям). Представленные в нашем издании письма печатаются с незначительными сокращениями, касающимися главным образом бытовых подробностей, которые не представляют общественного и литературного интереса. Сокращения обозначены многоточием, взятым в квадратные скобки. Все письма печатаются по автографам.

Даты, а также названия мест, откуда посылались письма, во всех случаях унифицированы и вынесены в начало письма.

Недописанные и сокращенно написанные слова дополнены без применения специальных скобок.

А. М. Горькому

В нашем издании публикуются почти все сохранившиеся письма Бабеля к Горькому. Из писем Горького к Бабелю сохранилось лишь одно (см. «Литературное наследство», т. 70, стр. 43—44). Письма Бабеля хранятся в архиве Горького, публиковались в «Литературном наследстве», т. 70. — «Горький и советские писатели. Неизданная переписка».

Москва, 25 июня 1925 г.

Спасибо за письмо... — Письмо Горького не сохранилось. В одном из писем к близкому другу (от 25. VI 1925 г., частный архив) Бабель сообщает: «Я получил чудное, душевное письмо от Горького! Надо ответить на него целым трактатом...»

Они помогают мне в минуты неверия... — О содержании беседы Горького с Бабелем в редакции «Летописи» см. в очерке «Начало» и комментарии к нему.

Стихи Есенина... высылаются вам... — С. Есенин, Стихи (1920—1924), «Круг», М.—Л. 1925. В одном из писем (14. VI

1925 г., частный архив) Бабель называет последние стихи Есенина «величественными, трогательными, гениальными».

Книга Огнева... — Н. Огнев, Рассказы, «Круг», М. — Л. 1925.

№ 6-й альманаха «Круг». — Вышел в свет в 1927 году, в нем была опубликована статья М. Горького «Заметки читателя».

...Кудрявцев из «Новой жизни»... — Упоминаемый в письме Кудрявцев, по всей вероятности, изображен Бабелем в рассказе «Гюи де Мопассан» под именем Алексея Казанцева (см. «Литературное наследство», т. 70). «Новая жизнь», общественно-литературная, социал-демократическая газета, издавалась в Петрограде с апреля 1917 года по июль 1918 года. В ней принимал деятельное участие Горький. В 1918 году (март — июль) в этой газете появились очерки И. Бабеля под общим заголовком «Дневник» (под псевдонимом Баб-Эль»: «Недоноски» (№ 51), «Дворец материнства» (№ 56), «Эвакуированные (№ 66), «Заведеньице» (№ 76), «Мозаика» (№ 73), «Слепые» (№ 94), «Вечер» (№ 95) и др.

Я очень огорчился, что с вещью, посвященной Вам, вышла глупая такая история... — Речь идет о рассказе «История моей голубятни», напечатанном в «Красной нови» (1925, № 4) с посвящением М. Горькому. В подстрочном примечании к журнальной публикации сообщалось: «Данный рассказ является началом автобиографической повести». В альманахе «Красная новь» (кн. I, М.—Л. 1925) был напечатан рассказ «Первая любовь»; он и составляет вторую часть этой повести. «Недоразумение» тем не менее не было ликвидировано при переизданиях рассказов, — они существуют как самостоятельные произведения. Горький был очень тронут посвящением ему рассказа «История моей голубятни». В письме к редактору «Красной нови» А. К. Воронскому, вместе с которым Бабель жил летом 1925 года в Сергиевом Посаде, он писал: «С вами Бабель? Пожмите ему руку, я очень благодарю его за посвящение мне «Голубятни», растет этот человек и все лучше пишет. Ему следует отнестись к языку еще строже. Я писал ему, но не уверен, что он получил мое письмо» (18. VI 1925 г.). «М. Горький и советская печать», Архив А. М. Горького, т. X, кн. 2, М. 1965, стр. 20—21.

Париж, 26 января 1928 г.

...вернулся и застал ваше письмо... — Письмо Горького обнаружить не удалось.

Все бьюсь над работой, которую начал давно... — По свидетельству вдовы Бабеля А. Н. Пирожковой, это был роман «Коля Топуз», герой которого — налетчик (во многом напоминающий

Беню Крика) постепенно перевоспитывается в условиях советской действительности: он становится колхозником, а затем шахтером. Известно, что Бабель работал над этим романом на протяжении многих лет.

Еще поживу... — Не получая ответа от Бабеля, обеспокоенный слухами о его тяжелом нервном состоянии, вызванном переутомлением, Горький писал И. Груздеву (27.XII 1927 г.): «Ищу Бабеля, этот спрятался куда-то и, говорят, «в нервах». «Переписка Горького с Груздевым», «Наука», М. 1966, стр. 160.

Париж, 29 февраля 1928 г.

Приеду в апреле... — См. комментарий к письму от 10 апреля 1928 года.

Тревожиться обо мне не стоит, а может, и стоит... — См. комментарий к письму от 26 января 1928 года.

Жаров и Уткин называются в Москве Жуткин... — А. И. Безыменский, А. А. Жаров, И. П. Уткин в феврале 1928 года гостили у Горького в Сорренто.

Я какие ошибки заметил — выправил... — И. Бабель, Закат. Пьеса, «Круг», М. — Л. 1928. Получив книгу, Горький отозвался о «Закате» «очень лестным письмом» (см. письмо Бабеля А. Г. Слоним от 15. III 1928 г., журнал «Знамя», 1964, № 8).

...надо думать, провалилась... — О постановке «Заката» во МХАТе 2-м см. комментарий к пьесе.

Париж, 10 апреля 1928 г.

Италия потеряет для меня свою притягательную силу... — Из-за задержки итальянской визы Бабель не успел посетить Горького в Сорренто, так как 20 мая Горький выехал в СССР. Первая их встреча со времени революции состоялась в мае 1931 года (письмо родным 24. V 1931 г., частный архив).

Я ничего не писал по поводу вашего юбилея. — 60-летие со дня рождения А. М. Горького отмечалось в марте 1928 года.

6 июля 1931 г.

Я переписал еще несколько старых рассказов... — Речь идет, видимо, о рассказах «Дорога» и «Аргамак», опубликованных в журналах «30 дней» и «Новый мир» в 1932 году (см. письмо В. Полонскому от 2 декабря 1931 г. и комментарий к нему); возможно, о рассказах «В подвале» (1931), «Пробуждение» (1932), очень связанных с ранее опубликованными: «История моей голубятни», «Первая любовь».

Париж, 18 марта 1933 г.

Хочу ехать в Сорренто... — Бабель по приглашению Горького приехал в Италию в десятых числах апреля и пробыл до 27 мая.

Мне сделали предложение кинематографические фирмы... — По предложению одной из французских кинематографических фирм Бабель работал над сценарием; есть свидетельство М. И. Будберг, секретаря А. М. Горького, что Бабель начинал работу над сценарием «Конармии», но ряд замечаний в письмах к родным (18. VI 1933 г.; 22. VII 1933 г., частный архив) опровергают его. Сценарий Бабелем не был завершен. По свидетельству А. Н. Пирожковой, Бабель писал в то время сценарий «Азеф», который тоже не был экранизирован.

Флоренция, 24 мая 1933 г.

Меня торопят с представлением сценария... — См. комментарий к письму от 18 марта 1933 года.

...беспокоюсь о нем... — С. Я. Маршак был в это время болен, с помощью Горького он получил возможность жить и лечиться в Италии.

...расскажу вам и Яковлеву... — Художник Василий Николаевич Яковлев (1893—1953) в конце 1932 — начале 1933 года жил у Горького в Сорренто.

...если у нас выйдет «сочинение»... — По поручению Горького Бабель собирался написать очерк о Неаполе. «...мне это по душе, попытаюсь», — писал он родным (11. V 1933 г., частный архив).

Д. А. Фурманову

Публикуемое письмо Бабеля одно из шести его писем к Д. А. Фурманову (1894—1926). Все сохранившиеся письма Бабеля к Фурманову и Фурманова к нему (Отдел рукописей ИМЛИ, ф. 86, ед. хр. 30) в сопровождении детального комментария приведены в статье Л. К. Кувановой «Фурманов и Бабель» («Литературное наследство», т. 74, стр. 502—512).

Знакомство писателей состоялось, по-видимому, в декабре 1924 года. В Госиздате готовилось первое издание «Конармии»; Фурманов, работавший в этом издательстве редактором отдела художественной литературы, выполнял фактически роль редактора книги. Свидетельством их совместной работы над «Конармией» и является это письмо. Об отношении Фурманова к Бабелю и Бабеля к Фурманову см. заметки Фурманова «Из дневника

писателя», «Молодая гвардия», 1934, и стенограмму выступления Бабеля на вечере, посвященном 10-летию со дня смерти Фурманова. — Журнал «Москва», 1963, № 4.

Москва, 4 февраля 1926 г.

«История одной лошади»... — Речь идет о рассказах из книги «Конармия» — «Жизнеописание Павличенки, Матвея Родионыча», «История одной лошади»; см. комментарии к этим рассказам.

...например, в «Чесниках»... — «Чесники» — рассказ из книги «Конармия»; см. комментарий к этому рассказу.

...передай Иван Васильевичу... — Иван Васильевич Евдокимов (1887—1941) — советский писатель. В тот период работал в Госиздате. Его повесть «Сиверко» была издана в 1925 году.

...каждый рассказ с новой страницы... — Об этом же писал Бабель и самому Евдокимову (3. III 1926 г.): «Дорогой Иван Васильевич. Посылаю просмотренную корректуру. «Надеюсь на вас, дорогой товарищ и редакция», что книга будет иметь достойный вид, бумага будет белая и толстая, а шрифт черный и четкий...» (ЦГАЛИ, ф. 1246, оп. 3, ед. хр. 199).

Анне Никитичне мой непременный, пламенный... — Анна Никитична Фурманова (1897—1941) — жена Д. А. Фурманова.

Л. В. Никулину

Лев Вениаминович Никулин (р. 1891 г.) — советский писатель, учился вместе с Бабелем в Одесском коммерческом училище. Осенью 1927 года был одновременно с Бабелем в Париже. Л. Никулиным написаны воспоминания «Годы нашей жизни. И. Бабель» (журнал «Москва», 1964, № 7); в них Никулин цитирует письма Бабеля к нему. Письма Бабеля к Л. Никулину хранятся в Отделе рукописей ИМЛИ (ф. 71), публиковались в журнале «Знамя», 1964, № 8.

Париж, 24 февраля 1928 г.

...не поленитесь описать мне этот позор... — В Москве пьеса «Закат» была поставлена во МХАТе 2-м (см. комментарий к пьесе).

Несчастное творение... — Пьеса «Закат» вышла в издательстве «Круг» в 1928 году.

Париж, 29 февраля 1928 г.

Кончили ли вы уже вашу повесть?.. — По-видимому, речь идет о работе Никулина над произведением, основанным на французских впечатлениях (см. письмо Никулину от 24 февраля 1928 г.).

Париж, 20 марта 1928 г.

Предвидел до мельчайших подробностей... — См. комментарий к пьесе «Закат».

...у которого я на откупу и содержании... — См. письма к В. Полонскому.

Ольшевца уже нет в «Новом мире»... — Макс Осипович Ольшевец — редактор журнала «Шквал» и одесской газеты «Известия», позднее сотрудник «Нового мира».

Париж, 2 апреля 1928 г.

...действительно, прелестный очерк... — Л. Никулин, Воображаемые прогулки. — «Новый мир», 1928, № 3; издано отдельной книгой — «Вокруг Парижа», ЗИФ, М. 1929.

Об отъезде сообщу вам... — См. комментарий к письму А. М. Горького от 10 апреля 1928 года.

Жалею Ольшевца... — См. комментарий к письму Никулину от 20 марта 1928 года.

...кончу мой «Сизифов труд»... — В своих воспоминаниях о Бабеле Л. Никулин так расшифровывает эту фразу: «Бабель жадно вникал в быт Франции, он решил писать о ее людях, и, может быть, уже писал и думал увезти в сердце и уме образы этой страны, это вернее всего и был его «сизифов труд» (журнал «Москва», 1964, № 7, стр. 185). Возможно, Бабель имеет в виду работу над сценарием (см. комментарий к письму Бабеля Горькому от 26 января 1928 года).

Что такое произошло с Полонским... — См. комментарий к письму В. Полонскому от 31 июня 1928 года.

Е. Д. Зозуле

Ефим Давидович Зозуля (1891—1941) — писатель, журналист, один из руководителей журнала «Огонек». Письма Бабеля Зозуле хранятся в ЦГАЛИ (ф. 216), публиковались в журнале «Знамя», 1964, № 8.

Париж, 10 января 1928 г.

О сплетнях, сообщаемых вами... — Бабель имеет в виду широко распространившиеся к концу 1927 — началу 1928 года слухи о том, что он, уехавший летом 1927 года за границу, не собирается возвращаться на родину. В одном из парижских писем (26. XII 1927 г., частный архив) Бабель так откликнулся на эти сплетни: «Мне и здесь передавали о том, что московские сплетники болтают о моем «французском подданстве». Тут и отвечать нечего. Сплетникам и скушным людям и не снилось, с какой любовью я думаю о России, тянусь к ней, работаю для нее».

Я написал Воронскому... Что с ним?.. — А. К. Воронский (1884—1943) — литературный критик, публицист, с 1921 по 1927 год — редактор первого советского «толстого» журнала «Красная новь». С 11 номера за 1927 год подпись Воронского как члена редколлегии исчезает со страниц этого журнала. «Прожектор» (иллюстрированный литературно-художественный и сатирический журнал) он редактировал до конца 1927 года.

Привет... Кольцовым... — Михаил Ефимович Кольцов (1898—1942) — советский журналист, писатель. Бабель, вероятно, познакомился с ним еще накануне революции, когда некоторое время учился в психоневрологическом институте, студентом которого был Кольцов. Письмо Бабеля к М. Кольцову опубликовано в журнале «Знамя», 1964, № 8.

В Англии вы были бы лордом Нортклифом... — Лорд Нортклиф — основатель крупного английского газетного треста.

Евгения Борисовна... — Евгения Борисовна Гронфайн — первая жена И. Бабеля; умерла в Париже в 1948 году.

В. П. Полонскому

Вячеслав Павлович Полонский (Гусин, 1886—1932) — публицист, критик, исследователь литературы, с 1926 по 1931 год — редактор журнала «Новый мир».

Знакомство Бабеля с Полонским как редактором произошло, вероятно, в период сотрудничества Бабеля в газете «Вечерняя звезда» (1918), одним из редакторов которой был В. Полонский. Бабель глубоко уважал Полонского: «Вы один из немногих истинных наших критиков, один из немногих людей, для которого хочется работать самоотверженно, изо всех сил», — заметил Бабель в письме от 13. III 1927 г., открывшем их большую переписку (ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 22). Двадцать три письма Бабеля к Полонскому хранятся в ЦГАЛИ (ф. 1328), часть из них была опубликована в журнале «Знамя», 1964, № 8.

Марсель, 29 октября 1927 г.

Как говорится, ничего подобного... — В альманахе «Перевал», 1928, № 6, были напечатаны три рассказа Бабеля; один — «Старательная женщина» — впервые, два — «Ходя» (из книги «Петербург 1918 г.»), «В щелочку» (из книги «Офорты») — вторично, ранее публиковались в журнале «Силуэты» (Одесса), 1923, №№ 6—7, 12.

Напечатать «Закат» до постановки — значит... — Хотя Бабель послал Полонскому пьесу еще в июне, редактор подчинился воле автора и напечатал ее уже после трех премьер (см. подробнее в комментарии к «Закату»).

...эту книгу в Торгпредстве и спрашивал ее там... — Возможно, речь идет о книге В. П. Полонского «Александр Бакунин. Жизнь, деятельность, мышление», 1926, т. I. Полонский послал эту же книгу Горькому в Сорренто.

Бельгия, 31 июля 1928 г.

От этого будет лучше и мне, и моей литературе... — Бабель осуществил это свое намерение: в 1930 году он поселился в Молоденове, под Москвой (Звенигородский р-н), прожил там довольно долго, работая секретарем сельского Совета. Это время интенсивной работы Бабеля как писателя (см. письма В. Полонскому из Молоденова).

...о возвращении вашем в редакцию... — В начале 1928 года в редколлегию «Нового мира» вместо Полонского был введен С. Ингулов. С № 4 по № 8 журнал подписывали А. Луначарский, С. Ингулов, И. Скворцов-Степанов, а с № 9 вновь А. Луначарский, В. Полонский, И. Скворцов-Степанов. С. Б. Ингулов (р. 1893 г.) был действительно давнишним другом Бабеля. Будучи секретарем Одесского губкома КП(б)У, он помог Бабелю попасть в 1-ю Конную армию.

Киев, 16 октября 1928 г.

...писатель Дмитрий Урин... — Дмитрий Эрихович Урин (1905—1934) — автор рассказов, повестей, романов, выходивших в 20—30-е годы в издательствах Киева и Ленинграда. В 1928 году в Киеве вышла его первая книга «Автомобиль святейшего синода» (три рассказа).

Киев, 28 ноября 1928 г.

...что говорится о распространении массовой литературы — правильно. — В конце ноября — начале декабря в Москве проходило IV Всесоюзное совещание рабселькоров. В речах выступающих настойчиво звучала мысль о том, что «культурная революция может идти правильным путем только тогда, когда в ней примут интенсивное участие широкие массы» (Луначарский), что «...судьба советской массовой книги и нашего массового журнала должна быть связана с рабселькоровским движением» (Б. Халатов) («Правда» 7 декабря 1928 г., № 280). Вероятно, Бабель имеет в виду это совещание.

Письмо печатается впервые.

Ростов н/Д., 8 апреля 1929 г.

Отправил вам открытку из Кисловодска... — Открытка из Кисловодска, посланная Полонскому 28 марта 1929 года, была получена им (ЦГАЛИ, ф. 1328, оп. 1, ед. хр. 22). В открытке Бабель

писал, что уезжает из Кисловодска на Терек, а оттуда вернется в Ростов. «Живу хорошо. Тружусь как в юности — вольно. Если с голоду не подохну — все будет хорошо». В Кисловодске Бабель был с 20 по 29 марта, приехал туда, чтобы встретиться с «буденовскими ребятами», друзьями по 1-й Конной.

...кто это Сандомирский? — Сандомирский — в то время заведующий литературно-художественным отделом Госиздата.

Молоденово, 10 сентября 1931 г.

...рассказ для дебюта в «Новом мире»... — Речь идет, видимо, о рассказе «Гапа Гужва» (первая глава из книги «Великая криница»), опубликованном в «Новом мире», 1931, № 10. Этот рассказ, посвященный коллективизации деревни, перепечатан в журнале «Знамя», 1964, № 8.

Молоденово, 2 декабря 1931 г.

...отделано (относительно)... — Речь идет, вероятно, о рассказах «Аргамак» и «В подвале», опубликованных в «Новом мире», 1932, №№ 3 и 10 (см. датировку их автором).

А. Г. Слоним

В 1916 году Бабель жил на квартире у Анны Григорьевны Слоним (1887—1954) и ее мужа инженера Льва Ильича Слонима (1883—1945) (см. воспоминания Бабеля — «Начало»). С той поры началась их многолетняя дружба. Письма Бабеля к Слонимам хранятся в личном архиве адресатов. Семнадцать писем Бабеля А. Г. Слоним опубликованы в журнале «Знамя», 1964, № 8.

Париж, 7 марта 1928 г.

А скука, оказывается, была томительная... — Речь идет о спектакле МХАТа 2-го (см. комментарий к «Закату»).

Париж, 26 июня 1928 г.

Переводы для «Красной нивы»... — «Красная нива» — литературно-художественный еженедельный журнал, выходил в 1923—1931 годах.

Владимиру Ивановичу Нарбуту. — В. И. Нарбут (1888—1946) — поэт, в этот период был одним из руководителей издательства «ЗИФ».

Книгу обещают выпустить очень скоро... — Речь идет о книге «Мой самолет и я» американца Г. Линдберга, который первым совершил в 1928 году беспосадочный перелет Нью-Йорк — Париж через Атлантику.

Бельгия, 31 июля 1928 г.

Получили ли вы книгу Лоуренса... — Томас Эдуард Лоуренс — британский разведчик, агент на Ближнем и Среднем Востоке; его книга «Семь столпов мудрости» вышла в 1926 году (сокращенный вариант под названием «Восстание в пустыне» — в 1927 году).

Работал ли в последнее время Илюша... — Илья Львович Слоним — сын Л. И. и А. Г. Слонимов (р. 1906 г.), скульптор.

Париж, 29 мая 1933 г.

Я не мог поехать вместе с ним... — См. комментарий к письму Бабеля Горькому от 18 марта 1933 года.

Пьесу написал — не вышло... — Речь идет о пьесе «Мария» (см. комментарий к пьесе).

Остальные, по-моему, серы... — См. комментарий к рассказу «Фроим Грач».

И. Л. Лившицу

Исаак Леопольдович Лившиц (р. 1892 г.) — редакционно-издательский работник, ближайший друг Бабеля со школьных лет. Письма Бабеля Лившицу хранятся в личном архиве адресата, фотокопии с них переданы в ЦГАЛИ (ф. 1559). Девять писем Бабеля Лившицу опубликованы в журнале «Знамя», 1964, № 8.

Париж, 26 января 1928 г.

Достань книгу Валери... — Поль Валери (1871—1945) — французский поэт.

Посылаю тебе записку Берсеневу... — Иван Николаевич Берсенев (1889—1951) — народный артист СССР, в то время артист, режиссер и помощник директора МХАТа 2-го.

...как поживает Ита Ахрап?.. — Ита Клементьевна Ахрап — знакомая Бабеля, корректор.

Низко кланяюсь Люсе... — Людмила Николаевна — жена И. Л. Лившица.

Париж, 20 марта 1928 г.

...едем к маме и Мере... — Мера — Мария Эммануиловна Шапошникова, сестра писателя (р. 1897 г.).

...что девочка... — Дочь И. Л. Лившица — Таня.

Париж, 31 августа 1928 г.

Очень жалко Надежду Израилевну... — Надежда Израилевна — мать жены И. Л. Лившица.

...бедный Верцнер... — Николай Осипович Верцнер — отец жены И. Л. Лившица.

Лева уезжает в Америку... — Лев Борисович Гронфайн — брат первой жены Бабеля — Евгении Борисовны.

Сообщи воздушной почтой... — В письме Лившицу (20. III 1928 г.) Бабель писал: «Предложение мое «Пролетарию» сводится к следующему: в течение 29 года [...] я обязываюсь дать им книгу в 6 печ. листов (3 старых, 3 новых вещей)». Книги Бабеля в этом издательстве не выходили.

«Конармию» получил своевременно... — Речь идет, вероятнее всего, о книге «Конармия» (3-е изд.), Госиздат, М. 1928.

Люсе и Вере передай... — Вера Николаевна Верцнер — сестра жены И. Л. Лившица.

Нальчик, 7 декабря 1933 г.

...в километрах 50-ти отсюда... — Бабель поселился в станице Пришибской Кабардино-Балкарской АССР. Оттуда он писал родным (13. XII 1933 г., частный архив): «Движение за коллективизацию достигло в этом году решающего прогресса, и сейчас открываются перспективы поистине безграничные: земля преображается. Не знаю, сколько здесь пробуду. Страшно интересно быть свидетелем роста этих новых форм человеческих и экономических отношений».

Нальчик, 9 декабря 1933 г.

Может, что и выйдет. — Бабелем был собран большой материал о Кабардино-Балкарии; на встрече с коллективом редакции журнала «Две пятилетки» (26 апреля 1935 г.) Бабель в течение 2 часов рассказывал о социалистическом переустройстве в Кабардино-Балкарии («Литературная газета», 5 мая 1935 г., № 25), но очерков об этом он так и не опубликовал, возможно, вообще не написал.

СОДЕРЖАНИЕ

ОДЕССКИЕ РАССКАЗЫ

РАССКАЗЫ

ВОСПОМИНАНИЯ

ПЬЕСЫ

СТАТЬИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

ПИСЬМА

Исаак Эммануилович
БАБЕЛЬ

ИЗБРАННОЕ

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор
Ю. Боярский

Технический редактор
Л. Платонова

Корректор *Г. Сурис*

Сдано в набор 12/VII 1966 г.
Подписано к печати 28/X 1966 г.
А18110. Бумага типографская № 1
84 × 108$^{1}/_{32}$ — 15,5 печ. л. — 26,04 усл.
печ. л. 22,951 + 1 вкл. = 23,001 уч.-изд. л. Тираж 75 000 экз. Заказ № 275.
Цена 92 коп.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

*

Ленинградская типография № 2
имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома
Комитета по печати при Совете
Министров СССР.
Измайловский пр., 29.

92 к.